

В.А.МИЛЮТИН

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ



В.А. МИЛЮТИН

**ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 4 6

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издательства	3
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ в. А. МИЛЮТИНА. Вступительная статья доктора экономических наук <i>И. Блюмина</i>	5
МАЛЬТУС И ЕГО ПРОТИВНИКИ.	39
I. Историческое развитие вопроса о народонаселении. Маль- тус Судьба его учения.	46
II, Критический взгляд на результаты теории Мальтуса. . .	68
III Критический взгляд на существо теории Мальтуса . . .	99
IV. Обзор новейших теорий народонаселения.	139
ПРОЛЕТАРИИ И ПАУПЕРИЗМ В АНГЛИИ И ВО ФРАНЦИИ	158
Статья первая.	—
Статья вторая.	237
ОПЫТ О НАРОДНОМ БОГАТСТВЕ ИЛИ О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ экономии.	273
Статья первая.	—
Статья вторая.	304
Статья третья и последняя.	331
ОПЫТ О НАРОДНОМ БОГАТСТВЕ ИЛИ О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ экономии.	358
Статья первая.	—
Статья вторая и последняя.	401



Редактор *С. Басист*

Переплёт и титульный лист работы худ. *Н. А. Седельникова*

Подписано к печати 28 июня 1945 г. А17836. Объём 28 п. л. Тираж 10000 экз.
Заказ № 729. Цена 10 руб.

3-я типография «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» Огиза при
Совете Министров РСФСР. Москва. Краснопролетарская, 16.

Владимир Алексеевич Милютин—один из талантливейших русских экономистов 40-х годов прошлого столетия. Близко связанный с передовыми кругами русского общества—кружком Белинского, петрашевцами, редакцией «Современника»,—он был в свое время одним из наиболее ярких представителей передовой общественной мысли.

Наибольший интерес представляют его статьи: «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» («Отечественные записки», т. L, 1847), «Мальтус и его противники» («Современник», № VIII и IX, 1847) и две статьи, посвящённые подробному разбору книги Бутовского «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии» («Современник», № X, XI, XII, 1847; «Отечественные записки», т. LV, 1847).

Статьи В. Милютина ни разу не переиздавались и стали библиографической редкостью.

В связи с возросшим интересом советского читателя к истории русской экономической мысли Государственное издательство политической литературы сочло нужным переиздать указанные выше статьи В. Милютина.

Статьям Милютина предпослано предисловие доктора экономических наук *И. Г. Блюмина*.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ В. А. МИЛЮТИНА

Владимир Алексеевич Милютин является одним из наиболее глубоких и оригинальных русских экономистов 40-х годов.

Биографические сведения о нем, к сожалению, очень скудны. Милютин родился в 1826 г. в небогатой семье петербургского фабриканта. Он вырос под влиянием своей матери, родной сестры одного из крупнейших государственных деятелей царствования Николая I, П. Д. Киселева. Вероятно, известное влияние на Владимира Алексеевича оказали его старшие братья—Дмитрий Алексеевич, который впоследствии, при Александре II, был военным министром, и Николай Алексеевич, один из крупнейших деятелей крестьянской реформы. Уже тогда, в 40-х годах, оба брата, в особенности Николай Алексеевич, разделяли оппозиционные взгляды по отношению к крепостническому режиму эпохи Николая I.

Владимир Алексеевич учился сначала в Московском, а затем в Петербургском университете на юридическом факультете, который он окончил в 1847 г. В Петербурге тогда читал курс политической экономии Порошин, который впервые в России с университетской кафедры знакомил своих слушателей с учением утопических социалистов и в частности с учением Фурье. Отсюда, вероятно, у Милютина возник интерес к утопическому социализму, оказавшему весьма большое влияние на формирование его воззрений.

Уже в 1847 г. Милютин опубликовал ряд замечательных экономических статей. «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» («Отечественные записки», т. L, 1847), две большие статьи в связи с выходом в свет книги Бутовского «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии» («Современник», № X, XI, XII, 1847, и «Отечественные записки», т. LV, 1847), «Мальтус и его противники»—первая

критика мальтузианства на русском языке («Современник», № VIII и IX, 1847).

С конца 40-х годов Милютин начинает заниматься вопросами истории русского права. В 1849 г. он защитил магистерскую диссертацию на тему: «О недвижимых имуществах духовенства в России» (напечатана после его смерти в «Чтениях Московского общества истории и древностей Российских», 1859—1861). В последние годы своей жизни Милютин много работал над подготовкой докторской диссертации «О дьяках». Эта работа осталась незаконченной.

Перу Милютина принадлежит ряд работ по вопросам истории: «Очерки русской журналистики, преимущественно старой» («Современник», 1851), «Обзор дипломатических сношений древней России с Римской империей» («Современник», 1851), «Алкивиад» («Современник», 1855).

С 1850 г. Милютин был назначен адъюнкт-профессором Петербургского университета.

В 1850—1851 гг. он читал на юридическом факультете о действующих гражданских законах со включением законов о судопроизводстве, в 1850—1853 гг.—об основных законах и законах о состояниях. В 1853 г. Милютин был избран профессором по кафедре законов благочиния и благоустройства. Последний курс охватывал многие вопросы экономической политики. В мемуарной литературе Милютин изображается как один из наиболее популярных профессоров той эпохи.

Чрезмерная работа подорвала и без того слабое здоровье Милютина. В 1854 г. он уехал лечиться за границу. Ни воды, ни климат, ни врачи не могли излечить Милютина. Последние письма Милютина из-за границы были проникнуты глубокой грустью. В августе 1855 г. отпуск Милютина кончился и он должен был вернуться в Петербург. Между тем врачи объявили ему, что болезнь его неизлечима. В отчаянии Милютин застрелился в Эмсе в 1855 г.

Милютин был связан с петрашевцами. Правда, эта связь была кратковременной. Известно, что до 1847 г. он бывал на знаменитых «пятницах» Петрашевского. Потом эта связь прекратилась. Когда начались аресты петрашевцев, III отделение отдало распоряжение об аресте Милютина, но произвести этот арест не удалось, так как его не было в Петербурге. Приказ об аресте, очевидно, скоро был отменен. В общем Милютин не подвергался репрессиям за связь с петрашевцами. Хотя Милютин и прервал связь с кружком петрашевцев, но по своим взглядам он был близок к ним.

Милютин был тесно связан с кружком «Современника» — с Белинским, Некрасовым, Панаевым. Белинский в ноябре 1847 г. писал Боткину: «Теперь есть еще в Петербурге молодой человек, Милютин. Он занимается соп атоге и специально политической экономией. Из его статьи о Мальтусе ты мог видеть, что он следит за наукою, и что его направление дельное и совершенно гуманное, без прекраснотушии»¹. В девятом номере «Современника» за 1855 г. редакция журнала (тогда уже в ней работал Чернышевский), сообщая о смерти Милютина, писала: «Русская наука лишилась одной из надежд своих, русская литература — одного из умных и даровитых писателей, «Современник» — одного из деятельных и постоянных своих сотрудников, — мы лишились одного из самых близких людей к нам. Потеря эта чувствительная для русской науки и для русской литературы, еще чувствительнее для нас, которые коротко знали Милютина и поэтому были искренно привязаны к нему... Мы видели в нем одного из благороднейших представителей молодого поколения»².

Статьи Милютина по экономическим вопросам пользовались большой популярностью среди радикальных демократических кругов. Об этой популярности говорит хотя бы такой факт, что великий русский сатирик Салтыков М. Е. посвятил В. А. Милютину свою повесть «Противоречия», написанную в 1847 г. Эта повесть, дающая острую критику дворянского быта, была в своё время крупным общественным событием. Салтыков платился за неё ссылкой в Вятку.

О большой популярности статей Милютина о пролетариате говорится в известном романе петрашевца Пальма «Алексей Слободин», рисуя деятельность петрашевцев.

В 50 и 60-х годах некоторые из противников Чернышевского указывали на преемственность борьбы, которую вёл великий революционный демократ, и литературной полемики «Современника» в 1847 г. против Бутовского (а эту полемику вёл В. Милютин). Так, например, в органе буржуазного либерализма «Экономический указатель» за 1857, г. указывалось, что «Новая школа «Современника».. существует не со вчерашнего дня. Когда в 1847 г. появилось сочинение г. Бутовского, новая школа сильно против неё восстала»³.

Близость В. Милютина к радикальному демократическому течению была широко признана не только представителями этого течения, но и его противниками.

¹ Белинский, Письма, т. III, 1914, стр. 272.

² «Современник» № IX, 1855, стр. 54.

³ «Экономический указатель» № 46, 1857, стр. 1085.

Сороковые годы XIX века, когда выступил со своими экономическими статьями Милютин, представляют весьма знаменательный период в истории России. В эти годы усилился процесс разложения крепостного хозяйства, начавшийся ещё в конце XVIII века. Это были годы начала железнодорожного строительства (в 1842—1849 гг. строится Николаевская железная дорога, соединяющая Петербург с Москвой), широкого развития механического прядения в хлопчатобумажной промышленности, начала промышленной разработки каменного угля в Донецком бассейне (1842 г., Грушевский район). В эту эпоху возникают судостроительные и паровозостроительные заводы. Для экономического развития России большое значение в этот период имело упорядочение денежного обращения.

Всё более усиливавшаяся эксплуатация крепостных крестьян подрывала их хозяйство и тем самым расшатывала устои крепостнической экономики. Сельское хозяйство России вступило в полосу частых неурожаев (в 40-х годах неурожайными были 1840, 1844—1846, 1848 гг.). Положение русского сельского хозяйства резко ухудшилось вследствие падения мировых цен на сельскохозяйственные продукты.

В ответ на усиление крепостнической эксплуатации участились крестьянские волнения. Крестьянский протест проявлялся в многообразных формах, выражаясь в фактах неповиновения помещику, поджогах, побеггах, нападениях на помещиков и т. д. Наиболее яркой формой крестьянских волнений были открытые крестьянские восстания.

Крестьянский вопрос встал как грозный вопрос, от решения которого зависели судьбы страны. Даже ультрареакционное правительство Николая I не могло совершенно не считаться с этим. «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь,—писал Белинский в своём знаменитом письме к Гоголю,—уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами, и сколько последние ежегодно режут первых)...»¹

Но правительство Николая I не пошло дальше самых робких шагов в области ограничения крепостного права (Указ об

¹ *Белинский, Письма*, т. III, 1914, стр. 231.

обязанных крестьянах 1842 г.). Когда же вспыхнула на Западе революция 1848 г., перепуганное насмерть правительство отбросило всякие разговоры *об* ограничении крепостного права.

Несмотря на высочайшие резолюции и окрики, несмотря на все цензурные рогатки, крестьянский вопрос продолжал волновать русское общество. Министр внутренних дел Перовский в одной из своих записок вынужден был признать в 1845 г., что этот вопрос «сделался одним из довольно обыкновенных предметов откровенной беседы в образованных состояниях».

Крестьянский вопрос тянул за собой всю совокупность вопросов, связанных с характеристикой будущего направления хозяйственного развития страны. В 40-х годах проблема экономических судеб развития России выступила в нашей литературе в *полемике между славянофилами*, и западниками в своеобразном преломлении—как проблема отношения к Западу.

Не случайно наиболее прогрессивные деятели той эпохи (Белинский, Герцен, Грановский и др.) оказались в лагере западников. Именно от западников исходила проповедь гуманизма, политических свобод, необходимости усвоения всех достижений западноевропейской культуры.

Милютин принадлежал к западникам. Он испытал на себе влияние Белинского. В статье Милютина «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» имеется открытое выступление против славянофилов. Нарисовав яркую картину обнищания рабочих в Англии и Франции, Милютин вместе с тем считает нужным выступить против тех, которые На основании этих фактов делают вывод о, гниении Запада. «Близоруким судьям Запада можно сказать,—писал наш автор,—что они смотрят и не видят, слушают и не слышат. Они не понимают, *что* эта борьба интересов есть признак не распада, а жизни, что она показывает не гнилость общества, а напротив, его зрелость, его свежесть, его силу... И можно ли назвать устарелым то общество, которое сознает в себе несправедливость и сидится победить её?»¹

Западничество, однако, не представляло собой однородного течения. Западниками были И первый носитель революционного демократизма в России—Белинский, и Герцен, в котором, по словам Ленина, «демократ всё же брал верх над либералом», и Грановский, отрицательно относившийся к социалистическим теориям, и типичные буржуазно-помещичьи либералы, как

¹ См. наст. изд., стр. 162.

Кавелин... Многие из западников в последующие годы далеко разошлись в разные стороны. О некоторых из своих друзей из кружка западников 40-х годов Герцен писал в 1862 г.: «Между нами и бывшими близкими людьми в Москве все окончено... Поведение Коршей, Кетчеров... и всей сволочи таково, что мы поставили над ними крест и считаем их вне существующих».

Уже в 40-х годах среди западников наметились два течения—утопически-социалистическое и буржуазно-либеральное.

Милютин примыкал к социалистическому крылу западников. В своих статьях он резко выступает против тех, которые видят одну только блестящую сторону западноевропейской цивилизации. Милютин призывает к всесторонней оценке последней. Он—против замалчивания теневых сторон западноевропейского быта. «Если мы не будем останавливаться на одной поверхности,—писал он,—а проникнем в самую глубину современной жизни, то увидим, что под внешним блеском и богатством государств Западной Европы кроется язва нищеты и страданий, язва страшная и глубокая. Мы увидим, что эта нищета и эти страдания постоянно тяготеют над рабочими классами; что никакая предусмотрительность, никакая деятельность, никакие добродетели не могут спасти их от этого рокового и неотвратимого жребия»¹

В учении левого крыла западничества отразилась идеология русского утопического социализма. Последний представляет собой весьма своеобразное явление, значительно отличающееся от западноевропейского утопического социализма Сен-Симона, Фурье, Оуэна и др.

Важнейшей особенностью русского утопического социализма было то, что он вырос из освободительного движения, т. е. из движения, направленного против крепостнического режима.

Несостоятельность, реакционность крепостного хозяйства была очевидна для всех сколько-нибудь прогрессивных людей той эпохи. В этом сказалась большая работа деятелей декабристского движения. Критика крепостного хозяйства была уже пройденным этапом, и речь шла в 40-х годах уже о способе его отмены и о том, что должно притти ему на смену. Поэтому критика капитализма связывалась с оценкой способов ликвидации крепостного хозяйства и с дальнейшим направлением хозяйственного развития России.

Продумывая всю совокупность вопросов, связанных с освобождением крестьян, русские передовые деятели считали

¹ См. наст. изд., стр. 161.

необходимым учесть уроки западноевропейского развития. наших деятелей очень волновал вопрос, как избежать пауперизма и пролетарского состояния масс, дринявших угрожающие размеры после ликвидации феодальных отношений в Западной Европе. Ответа на этот вопрос они искали в произведениях западноевропейских утопических социалистов. Поэтому антикрепостническая борьба как центральная задача в сознании наиболее передовой и радикальной части русского общества начинает связываться с борьбой против капитализма. Передача земли крестьянам рассматривается как важнейшее мероприятие, устраняющее возможность пауперизма и развития капиталистических отношений, как первый шаг к реализации социалистического идеала. Крестьянская идея «права на землю» становится отправным пунктом программы освободительного движения. Она составила основную ось русского утопического социализма.

Критику пауперизма, анализ бедственного положения рабочих в Западной Европе русские социалисты-утописты использовали как идеологическое оружие в борьбе против безземельного освобождения крестьян. Тем самым они расчищали почву для демократической постановки вопроса о формах ликвидации крепостнического строи. Они себя считали социалистами, но объективно их деятельность выражала борьбу за наиболее демократические формы капитализма.

Отсюда вытекает и другая особенность русского утопического социализма—тесное переплетение утопической идеологии социализма с передовыми формами политической борьбы. На Западе утопические социалисты—Сен-Симон, Фурье и Оуэн—не верили в творческие силы масс, боялись революции и чуждались политической борьбы. Они апеллировали к богатым филантропам к правительствам. Между тем в России социалисты-утописты шли в передовых рядах политических борцов за дело освобождения народа. В России впервые было осуществлено сочетание идеи социализма и демократии.

Тесная связь русского утопического социализма с освободительным движением определила ещё одну особенность первого—критическое отношение ко многим сторонам западноевропейского утопического социализма, которые можно объяснить оторванностью последнего от широкого политического движения. В России, в работах наших выдающихся социалистических писателей—Белинского, Герцена—дана одна из первых попыток критики западноевропейского утопического социализма с более передовых позиций.

В нашей литературе уже в 40-х годах указывался на игнорирование в работах западноевропейских утопических

социалистов действительных процессов, на отсутствие постановки практических вопросов, на увлечение фантастикой при изображении социалистического строя.

Несомненно, что Сен-Симон и Фурье оказали влияние на формирование русского утопического социализма. Рассматривая вопрос о различии между старыми утопическими теориями (Томаса Мора, Кампанеллы и др.), и современными ему утопистами, Милютин отмечает: «...прежние утопии придуманы были тогда, когда ещё не существовало науки народного благосостояния (т. е. политической экономии.—И. Б.), между тем как новейшие образовались уже после, и вследствие построения этой науки. От этого и происходит, что новейшие школы в своем стремлении к отысканию идеального устройства обществ заботятся преимущественно о решении экономических задач, об организации хозяйственных отношений»¹. Это выдвижение на передний план экономических проблем, связанных с организацией социалистических общин, характерно преимущественно для Фурье и его школы. И Милютин, характеризуя «нынешних утопистов», очевидно имел в виду прежде всего Фурье.

Милютин критически усваивал учение великих утопистов. Он пытался отбросить фантастические элементы фурьеризма и подняться над его уровнем.

В своих экономических статьях Милютин проявил себя как оригинальный и самостоятельный исследователь.

* *
*

Отправным пунктом теоретического анализа Милютина было положение о том, что политическая экономия должна служить делу народа, что она должна разрабатывать вопросы о средствах улучшения положения трудящихся, о способах ликвидации пауперизма и т. д. Милютин исходил при этом из правильного представления о существовании неразрывной связи между теорией и практикой. «В политической экономии, как и во всякой другой сфере познаний,—писал он,—теория и практика, наука и искусство должны идти дружно, рука об руку; искусство должно необходимо опираться на науку; теория должна неизбежно иметь целью практику...»²

Опираясь на представление о практических задачах экономического исследования, Милютин отвергает определение политической экономии как науки о богатстве и противопоставляет

¹ См. наст. изд., стр. 345.

² Там же, стр. 352.

ему определение как науки о материальном благосостоянии. За этими двумя формулами скрываются, как показал автор, два глубоко различных подхода к вопросу о судьбе трудящихся. Первая формула концентрирует основное внимание исследователя на вопросах увеличения материального производства, на вещественных результатах последнего. При этом живые производители со своими нуждами и интересами остаются в тени. В этом сказывается безучастность к вопросу о положении трудящихся, отсюда игнорирование жгучих вопросов обнищания. В этом грехе, как подчёркивает Милютин, повинны современные экономисты (под которыми он имеет в виду представителей буржуазной экономии), «...всё, что могло усилить производство и содействовать умножению продуктов,—писал он,—было ими восхвалено, превознесено до небес; вредные последствия нынешних экономических учреждений, их бедственное влияние на судьбу рабочего класса совершенно ускользнули от их внимания; они не позаботились даже о том, чтобы указать эти последствия, оценить это влияние и поискать каких-либо средств для обеспечения работников от насилия капиталистов и злоупотреблений индустриализма»¹.

Только выдвижение на передний план вопросов материального благосостояния может, по мнению Милютина, дать правильное направление экономическим исследованиям. Только в этом случае может быть выполнено главное назначение политической экономии, которое, по определению нашего автора, «...состоит в открытии средств для облегчения страданий человечества, для уничтожения нищеты и для развития материального благосостояния»².

Определению политической экономии как науки об условиях материального благосостояния Милютин придавал огромное значение. Он при этом руководствовался правильной мыслью, что вопросы материального благосостояния имеют исключительное значение для общественного развития. «Сбросив с себя феодальные путы,—писал он,—промышленность сделалась теперь одним из важнейших явлений народной жизни, и интересы материальные заняли одно из первых мест в ряду интересов общественных... Улучшение внешнего быта—необходимое условие и для нравственного развития человечества»³.

Милютин придавал большое значение выработке правильного метода, ибо без этого невозможно подлинно научное

¹ См. наст. изд., стр. 310.

² Там же, стр. 293.

³ Там же, стр. 158, 160.

развитие политической экономии. «Для успехов политической экономии в настоящее время,—писал он,—недостаёт только одного условия: *той истинно научной и верной методы*, которая одна может, положив конец и бредням отвлеченной метафизики и грубому обожанию фактов, доставить прочное и надежное средство для раскрытия истинных начал науки не из произвольных и мечтательных соображений, а из действительных и точных данных, собираемых наблюдением и объясняемых разумом»¹.

В поисках новых методов для научного развития политической экономии Милютин обратился к модному продукту философии той эпохи—позитивизму Огюста Конта. Милютин был одним из первых авторов, познакомивших русского читателя с позитивизмом. Про Огюста Конта он писал, что «...современная положительная наука, в лице одного из замечательнейших ее представителей, успела уже доказать совершенно научным образом и необходимость и возможность употребления положительной методы для изучения общественных фактов»². Принимая учение Конта о трех стадиях развития наук—мифологической, метафизической и позитивной, Милютин утверждал, что все современные ему экономические школы находятся на метафизической стадии. Спасение, по его мнению, нужно искать в перестройке политической экономии на началах позитивизма.

Нет особой необходимости доказывать несостоятельность методологического рецепта, предложенного Милютиным. Он правильно характеризовал современные ему экономические школы как метафизические, но совершенно ошибочно пытался преодолеть это метафизическое направление при помощи позитивизма. Учение Конта меньше всего давало средств для борьбы с метафизикой, ибо позитивизм является недиалектическим, т. е. метафизическим и одновременно идеалистическим учением. Белинский в своём письме к Боткину 17 февраля 1847 г. весьма резко отозвался о Конте. «Конт—человек замечательный,—писал Белинский,—но чтоб он был основателем новой философии—далеко кулику до Петрова дня!»³ «Конт,—продолжал Белинский в том же письме,—не видит исторического прогресса, живой связи, проходящей живым нервом по живому организму истории человечества. Из этого я вижу, что область истории закрыта для его ограниченности»⁴. «...Область философии также вне его натуры, как и область истории,

¹ См. наст. изд., стр. 394. Курсив автора.

² Там же, стр. 391.

³ Белинский, Письма, т. III, 1914, стр. 173.

⁴ Там же, стр. 174.

и... исключительно доступная ему сфера знания есть математические и естественные науки»¹.

Нужно, однако, отметить, что в трактовке позитивного метода Милютин проявил большую оригинальность, значительно отклонившись от ортодоксального контовского позитивизма. В формулы позитивной философии ваш автор вложил весьма отличное от них содержание. По существу Милютин находился на пути к правильному разрешению методологических проблем, хотя и не дошел до окончательного их разрешения. Он некоторые свои глубокие и ценные методологические идеи облачил в костюм, заимствованный у контовской философии.

Основные недостатки метафизического направления Милютина сводит к трем пунктам: к недостаткам в отношении метода, доктрины и практического приложения науки.

Порочность метода метафизического направления, по Милютину, выражается в преобладании воображения над наблюдательностью, в отказе от изучения действительности путём наблюдения и эксперимента. Анализ метафизического направления приобретает у Милютина особый смысл в связи с его критикой буржуазных экономистов. Он обвиняет последних в том, что они не показывают действительности во всём её многообразии, что они игнорируют столь важные факты, как пауперизм и другие отрицательные стороны действительности.

В отношении доктрины Милютин считает наиболее характерным для метафизического направления стремление к раскрытию абсолютных истин; между тем метод, который защищает Милютин стремится к превращению всех абсолютных понятий в относительные. Из конкретного материала, при помощи которого Милютин иллюстрирует это положение, видно, что под относительностью понятий он прежде всего имеет в виду исторически ограниченный, преходящий характер выражаемых ими явлений. Требование об относительности понятий наш автор направляет против тенденций к абсолютизации капиталистических явлений. Вслед за формулировкой положения о превращении абсолютных понятий в относительные Милютин пишет: «Всякому, кто знаком с состоянием современной литературы, хорошо известно, что все школы, политические и экономические, поддерживают, каждая с своей стороны, какой-нибудь безусловный, неподвижный тип общественной организации и отвергают тем всякую возможность изменения и развития общественных идей по мере изменения и развития самой цивилизации»². Таким образом, под

¹ Белинский, Письма, т. III, 1914, стр. 175.

² См наст. изд, стр. 382.

неправильной релятивистической оболочкой, заимствованной у Конта, метод в трактовке Милютина прежде всего выступает как требование изучения общественных явлений под углом зрения развития.

Исключительный интерес представляет критика Милютиным метафизического направления по вопросу о практическом приложении науки. Метафизические теории исходят из представления о возможности произвольного изменения общественных явлений под влиянием деятельности человека. Милютин подвергает эти теории глубокой критике, исходя из представления об объективном характере закономерностей общественного развития. «Все политические и социальные школы,—пишет он,—постоянно приписывают человеку власть изменять по произволу устройство общественных отношений и навязывать свои личные стремления целым народам или даже целому роду человеческому. Они всегда позабывают, что в этой сфере, точно так же как и во всех других, существует известный порядок вещей, неизменный и необходимый, который ограничивает деятельность человека точными, постоянными пределами. Одна из главных целей приложения положительной методы к общественным наукам состоит именно в том, чтоб доказать существование этих независящих от воли человека законов и уничтожить, таким образом, заблуждение относительно неограниченной власти людей над миром общественных явлений»¹.

Наличие объективных законов в области общественных отношений позволяет предвидеть дальнейшее развитие общественных явлений. «Такое предвидение,—писал Милютин,—ограниченное, разумеется, известными пределами, доступно для человека в отношении к явлениям астрономическим, физическим, химическим и т. д.; нет никакого сомнения, что оно будет возможно и в отношении к явлениям общественным, как скоро наука положительная раскроет действительное соотношение этих явлений и тот необходимый, постоянный порядок, которому подчиняется общественная жизнь в своем постепенном развитии»².

Таким образом, научный метод в представлении Милютина неразрывно связан с борьбой против игнорирования существенных явлений действительности и в особенности против замалчивания её теневых сторон, против абсолютизации капиталистических отношений и игнорирования процесса развития общественной жизни и, наконец, против идеалистического отрицания объ-

¹ См. наст. изд., стр. 383.

² Там же.

ективных, независящих от воли человека законов общественного развития. В этом смысле методологические воззрения Миллютина, несмотря на их позитивистское облачение, были прогрессивными, хотя они не исчерпывали, конечно, и не могли исчерпать основ научного материалистического метода. Эти методологические воззрения позволили ему дать интересную и глубокую критику капитализма и современной ему буржуазной политической экономии.

Методология Миллютина далеко выходит за пределы контовской философии. Действительные методологические воззрения Миллютина носят на себе отпечаток идей утопического социализма. Существуют якобы вечные, неизменные, необходимые, основанные на самой природе вещей, законы, по которым должно происходить производство, распределение, обращение и потребление богатств. Иными словами, наш автор полагал, что существует в теории какой-то нормальный общественный строй, отвечающий требованиям разума и справедливости. Основная задача политической экономии заключается, по мысли Миллютина, в том, чтобы вскрыть эти необходимые естественные законы и выяснить условия, при которых они могут быть реализованы. Основную ошибку буржуазных экономистов он видел в смещении временных законов данного общественного строя с необходимыми, нормальными законами. «Как узнать,—спрашивал он,—посредством наблюдения над окружающими нас явлениями; степень необходимости, общности и разумности этих законов? Как отделить в них временное от вечного, условное от безусловного, случайное *от* необходимого? Очевидно, что одно такое наблюдение не может объяснить нам ни постоянных, непрменных условий существования и устройства обществ, ни общих, неизменных законов общественного развития. А между тем в этом именно и заключается главная обязанность и призвание науки. Наука должна исследовать общие и постоянные, а не частные и временные законы...»¹

В этой трактовке общих, необходимых законов сказались характерные для утопических социалистов рационализм и моральный подход. Необходимые законы, по Миллютину,—это законы разумные и Морально оправданные, обязательные для всякого общества. Эти законы реализуются после устранения капиталистического строя являются законами Несправедливыми и неразумными, основанными на извращении нормального, естественного порядка.

¹ См. наст. изд., стр. 314.

Таким образом, отвергая метафизику, Милютин сам не избежал её влияния. Хотя некоторые вопросы политической экономии Милютин трактовал исторически, но не будучи вооружён материалистической диалектикой, он не сумел открыть исторической необходимости революционного крушения капитализма и наступления социализма. Поэтому, подобно другим утопическим социалистам, Милютин прибегнул к помощи абсолютных неизменных законов. «Прямая, главная обязанность политической экономии заключается в открытии тех общих, постоянных *законов*, по которым совершается материальное развитие обществ»¹. В этом противоречивость метода Милютина. По отношению к капитализму он выступал за относительность законов общественной жизни, а по отношению к социализму он исходил из признания постоянства, неизменности необходимых законов. С одной стороны, Милютин защищал положение об объективных, не зависящих от воли человека законах, но в то же время он требовал оценки экономических явлений с точки зрения общих принципов морали и права.

Это противоречие характерно для многих социалистов-утопистов.

* *
*

Экономические работы Милютина были в основном посвящены критике капитализма и современной ему буржуазной политической экономии. Такой повышенный интерес к вопросам капитализма со стороны передовых русских людей 40-х годов не был, конечно, случайностью. Выше мы показали, что он был связан с чрезвычайно актуальным вопросом той эпохи о способах ликвидации крепостнических отношений и путях дальнейшего хозяйственного развития России.

Для выяснения причин огромного интереса к капиталистической экономике особое значение имеет вторая часть статьи Милютина «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции», посвященная характеристике бедственного положения английских и ирландских крестьян. Милютин констатирует наличие в английской деревне трёх классов: землевладельцев, капиталистов и, рабочих. Позиции этих классов сжато и убедительно обрисованы Милютиным в следующих словах: «Небольшое число богатых землевладельцев, класс арендаторов, настоящих капиталистов, составляющих также часть аристократии, и под ними безыменная и бесчисленная толпа, находящаяся в постоянной и

¹ См. наст. изд., стр. 379.

бесплодной борьбе с гнетущей её нищетой: в борьбе, из которой нет другого выхода, кроме нищенской смерти или переселения в отдаленные страны»¹. Английские батраки, по словам Милютина, находятся в худших условиях, нежели антильские невольники. «Английский крестьянин,—пишет он,—подвергается тем же страданиям и тому же унижению, как и невольник, но не имеет того куска хлеба, который обеспечен по крайней мере последнему»².

Переходя к выяснению причин, обусловивших бедственное положение английских крестьян, Милютин особое внимание уделяет роли крупного землевладения. Он подчёркивает аристократический дух английского законодательства и факт сохранения в последнем следов его феодального происхождения. Отсюда наш автор делает вывод, что важнейшим условием, определяющим судьбу и благосостояние производителей, занятых в сельском хозяйстве, является сохранение за ними собственности на землю. «Благосостояние сельского сословия прочно и обеспечено в той стране, где поземельная собственность не сосредоточивается в руках привилегированного класса, образуя небольшое число огромных поместий, но раздробляется на множество незначительных участков, к приобретению которых способны лица всех состояний и классов. Крестьяне не подвергаются ни нищете, ни бедности там, где они сами по большей части являются помещиками...»³

Показав необходимость превращения сельскохозяйственных производителей в собственников земли, Милютин, однако, не отрицает преимуществ крупного хозяйства. Он правильно указывает на то, что существующая в Англии система ведения сельского хозяйства в форме крупных ферм способствует развитию последнего. Чрезмерное дробление сельскохозяйственных предприятий может приостановить развитие земледелия. Выход из этой трудности Милютин видит в создании «...ассоциации мелких помещиков, посредством соединения их между собой для обрабатывания их участков общими силами и общими средствами»⁴.

На аграрном плане Милютина лежит печать двойственности. Признавая преимущества крупного хозяйства перед мелким и делая попытку разрешить проблему развития сельского хозяйства путём производительных ассоциаций, Милютин в то же время не отказывается от принципа мелкой крестьянской

¹ См. наст. изд., стр. 245.

² Там же, стр. 246.

³ Там же, стр. 240.

⁴ Там же, стр. 241.

собственности: она сохраняется в ассоциации. «Право поземельной собственности может быть раздроблено до чрезмерности, между тем, как самый предмет этой собственности, земля, может и должен оставаться нераздельным и единым»¹.

Здесь важно отметить глубокую для своего времени мысль Милютина о том, что нормальный общественно-экономический строй в сельском хозяйстве определяется двумя условиями—переходом земли в руки крестьян и осуществлением крупного производства. Оба эти условия могут сочетаться только в сельскохозяйственной ассоциации. Эта мысль играла крупную роль в идейном арсенале русского утопического социализма 60—70-х годов.

Критика Милютиным капитализма отражает на себе указанную выше противоречивость его методологии. С одной стороны, он пытается подойти исторически к капитализму, показывая его прогрессивность и правомерность для определенной эпохи. С другой стороны, он критикует капитализм с точки зрения абсолютных и вечных принципов права и морали.

Основу современного экономического строя Милютин видит в осуществлении принципа *laissez faire, laissez passer*, т. е. в неограниченной свободе развития промышленности. Этот принцип есть верховное начало, под влиянием которого совершается современное экономическое развитие. Но свобода промышленности выгодна только капиталистам, а «для многочисленного класса работников она бывает по большей части губительна и вредна. Свобода промышленности поставляет труд в самое невыгодное отношение к капиталу; она имеет самое вредное влияние на *распределение* производимых богатств... Она постоянно увеличивает долю капиталистов и постоянно уменьшает долю работников»².

Рисуя в весьма сильных выражениях отрицательное влияние свободы промышленности на положение рабочих, Милютин в то же время отмечает, что в своё время она была исторически оправдана и означала тогда значительный шаг вперёд. «В свое время,—пишет наш автор,—она была необходима для того, чтоб сообщить промышленности энергию и жизненность, пробудить производительные способности человека и открыть им сферу для исхода и обнаружения... Но если легко оправдать свободу промышленности в отношении к прошедшему, то не так легко оправдать ее в отношении к настоящему и будущему. В момент падения феодальных учреждений она была необходима

¹ См. наст. изд., стр. 242.

² Там же, стр. 170—171. Курсив автора.

и благодетельна для человечества; в настоящую минуту она и недостаточна и вредна»¹.

Конечно, трактовка свободы промышленности как важнейшей основы капиталистического строя должна быть отвергнута: капитализм сохраняет все свои важнейшие особенности и при отказе государства от принципа невмешательства в экономическую жизнь и при переходе от системы свободной конкуренции к монополии. Милютин и не мог дать правильной характеристики капитализма при тогдашнем уровне развития науки и самой капиталистической системы. Впервые эта проблема могла быть и была разрешена Марксом. Но важно отметить, что этот вопрос Милютин попытался осветить исторически, подчеркнув прогрессивность и необходимость для определённой эпохи важнейшей, по его мнению, основы капиталистического строя.

Наряду с таким историческим подходом мы встречаем у Милютина осуждение капитализма на основе общих моральных принципов. Так, например, он считает несовместимым с принципом справедливости превращение труда в товар (как и все экономисты домарксовой эпохи, Милютин отождествлял труд и рабочую силу). «Труд и деятельность человека,—писал он,—не могут быть поставлены наряду с товаром. При повышении или понижении цены товара, идёт дело только о барыше или убытке для купца; но вопрос о задельной плате есть вопрос о спасении или гибели рабочих классов,—вопрос, с разрешением которого тесно связаны и жизнь, и здоровье, и нравственность нескольких миллионов людей. Позабыть об этом, уподобить труд товару,—значит смотреть на человека, как на машину, как на вещь бесчувственную, не имеющую никаких прав»².

Подобно английским социалистам-утопистам, вышедшим из школы Рикардо (Томсону, Грею, Брею), Милютин видел несправедливость капиталистических законов распределения в том, что они противоречат принципу трудовой стоимости. Раз труд есть настоящий и единственный источник богатства, комментирует Милютин Адама Смита, то заработная плата должна равняться продукту труда. «Дальнейшее развитие этого вывода,—продолжает наш автор,—привело бы необходимо к безусловному осуждению нынешних законов распределения богатств между производителями»³.

В своей критике капитализма Милютин сосредоточил основное внимание на рассмотрении проблемы обнищания рабочих.

¹ См. наст. изд., стр. 324.

² Там же, стр. 186—187.

³ Там же, стр. 330.

Он высказывает по этому вопросу ряд глубоких мыслей. Он понимает, что существует неразрывная связь между развитием производительных сил капитализма и прогрессирующим ухудшением положения рабочих. «При нынешних отношениях, существующих между капиталом и трудом,—писал он,—промышленный прогресс совершается нередко в пользу одних капиталистов и в ущерб работников, так что почти везде народное богатство и нищета представляются между собой тесно связанными, развиваются в одно и то же время и в совершенно одинаковой прогрессии»¹. Милютин весьма подробно проследил влияние прогрессирующего разделения труда и в особенности машин на рост нищеты рабочих.

Большая заслуга Милютина заключается в том, что он нарисовал жуткую картину растущего обнищания рабочих. Он прежде всего показывает неизбежность снижения заработной платы в силу неблагоприятного для рабочих изменения соотношения спроса и предложения труда. Предложение труда растет быстрее, нежели спрос на последний. «...Так как искателей весьма много, то естественно, что заработная плата должна понижаться всё более и более, так что она должна наконец дойти и действительно доходит до того предела, за которым уже остаётся умирать с голода»². Наш автор подчеркивает положение, что заработная плата во многих случаях в ряде отраслей не покрывает необходимых потребностей.

Милютин не ограничивается указанием только на снижение заработной платы. Яркими красками набрасывает он картину всестороннего ухудшения положения рабочих. Он показывает, как разрушительно влияет чрезмерная работа на здоровье рабочих, как вредно отражается на их умственном развитии продолжительный рабочий день, а также монотонный характер работы. Наиболее вредными результатами крупной промышленности он считает замену взрослых мужчин женщинами и детьми.

Так называемая теория компенсации вызывает резкие нападки Милютина. «Вообще говорят,—пишет он,—что работники, лишившиеся дела вследствие изобретения машины, всегда могут найти для себя работу в других отраслях промышленности. Но такое мнение совершенно несправедливо; приведенные примеры составляют не более как редкое исключение из общего правила; и можно было бы, напротив, привести бесчисленное множество фактов, доказывающих, что все отрасли производительности уже переполнены работниками и что для новых

¹ См. наст. изд., стр. 133.

² Там же, стр. 182.

пришельцев нигде нет вакантных мест»¹. Он указывает, что положение рабочих незавидно и в тех отраслях, где существует повышенный спрос на труд. «Требование на труд,—пишет Милютин,—может увеличиться в значительной мере; но в увеличении своем оно подвержено беспрестанным колебаниям, замедлениям, остановкам, очень часто нарушающим равновесие между запросом и предложением труда»². В дальнейшем он ссылается на экономические кризисы как на одну из важнейших причин ухудшения положения работников.

В статьях Милютина мы встречаем замечательные высказывания, свидетельствующие о том, что он уже нащупал противоречие между ростом производительных сил и капиталистической формой этого процесса, хотя и не смог дать точное выражение этому различию. Милютин выступает против тех, кто ищет средства улучшить положение рабочих на путях задержки роста производительных сил. Развитие последних Милютин совершенно верно характеризует как необходимое условие уничтожения бедности. Для того чтобы устранить пауперизм, нужно, по мнению нашего автора, не приостанавливать прогресса производства, а изменить существующие социально-экономические отношения. «Для рабочих классов,—пишет он,—не могут быть вредными ни развитие промышленности, ни все те явления, которые составляют необходимые условия для её успехов. Для них вредны только те законы и учреждения, посредством которых народное богатство, вместо того, чтобы распространяться в одинаковой мере на все классы общества, сосредоточивается в руках немногих избранных, в руках людей, владеющих капиталами»³.

В качестве иллюстрации глубокого подхода Милютина к капиталистической экономике можно указать на то, что он уже подошёл к пониманию противоречия между значением машины как таковой и результатами ее применения в современных условиях. Машины, пишет он, «представляясь по своему истинному назначению и свойству самым могущественным и деятельным орудием прогресса и благосостояния, являются нынче при всеобщей разрозненности и борьбе интересов, самым обильным и прямым источником постоянного и постепенного оскудения физических и умственных сил в каждом отдельном работнике...»⁴. Такое же противоречие существует между влиянием разделения труда как такового и его современных форм применения.

¹ См. наст. изд., стр. 209.

² Там же, стр. 199.

³ Там же, стр. 185.

⁴ Там же, стр. 129.

Ограниченность Милютина в вопросе о техническом прогрессе при капитализме выразилась в том, что он противоречие между развитием производительных сил и капиталистической формой сводил к противоречию между производством и распределением. Все отрицательные явления капитализма он выводил из отношений распределения. Такая ограниченность свойственна всем социалистам-утопистам, не говоря уже о многих буржуазных и мелкобуржуазных экономистах.

Но при всём несовершенстве представления о противоречии между ростом производства и его капиталистической формой оно давало Милютину возможность значительно глубже проанализировать проблемы обнищания и пауперизма, нежели большинству современных ему писателей.

* *
*

Критика капитализма в работах Милютина тесно переплетается с критикой вульгарной политической экономии. Это переплетение не случайно.

Если основной принцип капитализма, *laissez faire*, защищается экономистами, то лучшей критикой самого принципа является критика его защитников, представителей буржуазной политической экономии. В глазах Милютина такая критика имеет еще более важное значение, ибо, явно переоценивая роль буржуазной политической экономии, он рассматривал её не только как продукт, но и как исходный *пункт* капиталистического развития. Говоря о принципе свободы промышленности, он замечает: «Начало это перешло в жизнь из науки. Провозглашённое в первый раз физиократами, принятое и развитое школой Адама Смита, оно сделалось вскоре основным принципом политической экономии, ее девизом и опорой. Но учение это не осталось в книгах—оно проникло наконец и в практическую деятельность»¹.

Из критических статей Милютина наибольший интерес представляют его большие статьи, направленные против Бутовского. Одна статья напечатана в «Современнике» в 1847 г. (№ X, XI и XII), другая—в том же году в «Отечественных записках» (№ LV). Книга Бутовского «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии» (в трёх томах) представляла собой первый русский большой курс по политической экономии. Вместе с тем эта книга была первым большим произведением на русском языке, которое было целиком подчинено задаче апо-

¹ См. наст. изд., стр. 169.

логетики капиталистического *строя*. Одна из основных задач Бутовского состояла в том, чтобы доказать случайный характер пауперизма. На протяжении трёх томов своего пухлого, водянистого произведения Бутовский старается показать, что капиталистическая система не имеет никакого касательства к пауперизму. Последний трактуется Бутовским как аномальное явление. «Из того же, что это явление есть аномальное, противное законам экономическим,—писал он,—мы не можем заключить о несправедливости этих законов»¹.

В своём объяснении пауперизма Бутовский примыкает к Мальтусу. Вина за пауперизм лежит, мол, не на капиталистической системе, а на самих рабочих, которые размножаются-де слишком быстро и не проявляют никакой предусмотрительности.

С большим мастерством показывает Милютин низкий теоретический уровень книги Бутовского, наличие в ней многочисленных противоречий, вытекающих из отсутствия ясности по основным вопросам политической экономии, из отсутствия принципиально последовательной точки зрения. «Бутовский—эклектик по преимуществу,—отмечает Милютин,—и притом такой эклектик, который соединяет белое с чёрным без всякого умысла, а просто потому, что не отличает ясно одного от другого»².

Весьма убедительно Милютин раскрывает невежество Бутовского как критика социалистических и коммунистических теорий. Бутовский охотно подхватывал самые нелепые обвинения против социалистов и коммунистов. Он, например, приписывает коммунистам стремление к осуществлению равного раздела имуществ. Такое отношение Бутовского вызывает у Милютина чувство глубокого возмущения. «На чём основано,—спрашивает Милютин,—это пренебрежение нашего экономиста к теориям новейших школ? Что они неудовлетворительны и неполны—с этим мы и сами соглашаемся; но каковы бы ни были Их недостатки, они, тем не менее, существуют, приобретают с каждым днем новых последователей, поддерживаются людьми учёными и даровитыми и, следовательно, вовсе не принадлежат к числу тех отсталых идей, с которыми можно обходиться без церемоний, ничем не стесняясь. Нам просто кажется, что г. Бутовский отзывается так лаконически о новейших школах только потому, что не имеет о них надлежащего

¹ Бутовский, Опыт о народном богатстве..., т. I, стр. XXXVIII.

² См. наст. изд., стр. 410.

понятия»¹. «Вообще, каждая глава «Опыта о народном богатстве» доказывает, что автор этой книги незнаком с новейшими сочинениями о политической экономии»².

Показав отсутствие оригинальности в работе Бутовского, Милютин указывает, что критика этой работы могла бы ограничиться несколькими словами. Но тем не менее Милютин считал своим общественным долгом подвергнуть воззрения Бутовского детальной критике, поскольку эта книга могла получить широкое распространение.

В основе воззрений Бутовского лежала система Сэя. Для того чтобы раскрыть апологетический характер взглядов Бутовского, нужно было выяснить несостоятельность учения Сэя. Это дало повод Милютину расчитаться с современной ему вульгарной экономией, взгляды которой Бутовский перепевал в своей книге.

Критика, данная Милютиным вульгарной экономии, отличается большой глубиной и оригинальностью. Основное достоинство этой критики заключается в историческом подходе к рассматриваемым экономическим учениям. Милютин совершенно верно указывает, что нельзя дать правильную оценку тому или иному учению, не выяснив условий его появления, его источников, его места в истории экономических учений, его связи с другими теориями.

Вот почему, поставив перед собой сравнительно ограниченную задачу—подвергнуть критическому разбору воззрения школы Сэя,—Милютин начинает с анализа истории экономических учений. Его очерк, напечатанный в X номере «Современника» за 1847 г., несмотря на свою краткость, является первой серьёзной попыткой дать на русском языке анализ истории экономических учений.

Милютин начинает с рассмотрения вопроса о причинах, препятствовавших возникновению экономической науки в античном мире и в средние века. Ответа на этот вопрос Милютин совершенно правильно ищет в социально-экономических условиях этих эпох.

Затем он переходит к рассмотрению учений меркантилистов, физиократов, Адама Смита. Милютин старается показать исторические условия их возникновения, выяснить, в какой мере они отвечали нуждам и потребностям своего времени, раскрыть тем самым их правомерность для определённых условий времени и места. При этом Милютин высказывает очень ценное

¹ См. наст. изд., стр. 440.

² Там же, стр. 441.

и глубокое соображение, что «деятельность исторических людей надо и ценить исторически, т. е. принимая в соображение не требования нашей эпохи, но требования той эпохи, в которую они жили и действовали»¹.

Это положение наш автор иллюстрирует на примере теории Смита. Он показывает, что нельзя предъявлять Адаму Смиту такие же обвинения, как Сэю и его ученикам. Адам Смит жил в такую эпоху, когда ещё не ставился вопрос о борьбе с обнищанием и пауперизмом. При А. Смите социальный вопрос не стоял так, как он стоит в середине XIX века. Тогда основная проблема состояла в устранении причин, препятствовавших развитию производительности, связанных с меркантилистской политикой, феодальными пережитками и т. д. «Угадав эту потребность и посвятив свои труды изучению средств для её удовлетворения,—пишет Милютин,—Адам Смит исполнил то, в чём заключается настоящее и единственное призвание, деятельности великих людей. Если он не сделал больше, то единственно потому, что не мог этого сделать в ту эпоху, в которую жил, и среди тех интересов, которые двигали современным ему обществом»².

С совершенно другими требованиями нужно, по Милютину, подходить к современным экономистам. Они не могут не знать об ужасающем росте нищеты. Они не имеют права обойти эти факты. Они не могут придерживаться принципов, практическая реализация которых привела к резкому ухудшению положения трудящихся. Поэтому «они заслуживают вполне ту неумолимую, беспощадную строгость, с которой преследует их новая (социалистическая—Ред.) школа»³.

¹ См. наст. изд., стр. 299. Этого же требования придерживается Милютин и в своей статье «Очерки русской журналистики» («Современник» № I, II, III, 1851), посвященной издававшемуся в XVIII веке Миллером журналу «Ежемесячные сочинения». «Политическая экономия,—писал Милютин,—занимала в «Ежемесячных сочинениях» довольно важное место. Само собой разумеется, что содержание большей части относившихся к ней статей вовсе не удовлетворяет требованиям и взглядам современной науки. В то время как в теории, так и на практике вполне господствовала система совершенно ложная и в основаниях своих и в последствиях. Влияние меркантильных понятий об источниках народного богатства отразилось, естественно, и на большей части политэкономических статей, помещенных Миллером в его журнале. Обвинять за это Миллера, без сомнения, не станет никто. Нельзя требовать от редактора журнала, чтобы он предугадывал будущее и шёл впереди своего века. Достаточно, если в его издании вполне и верно отражается современное состояние науки» («Современник» № III, 1851, стр. 15).

² Там же, стр. 303.

³ Там же, стр. 298.

С большой силой Милютин подчёркивает, что Сэй и его школа, несмотря на то что они клянутся в верности заветам Адама Смита, сделали шаг назад по сравнению со своим учителем. В частности Милютин обращает особое внимание на то, что Сэй отказался от наиболее ценной и важной части экономического учения Адама Смита—от теории трудовой стоимости. Милютин не ограничивается простой констатацией этого факта, но пытается вскрыть его глубокий социальный смысл. Из положения о том, что труд является единственным источником стоимости, следует, по мнению нашего автора, вывод, что весь продукт труда должен принадлежать производителю. Между тем Сэй выдвигает капитал в качестве источника стоимости наравне с трудом. Такое искажение теории Смита приводит к тому, что «современное распределение богатств, основанное на преувеличении прав капитала и отрицании прав труда, должно было после этого показаться Сею в высшей степени справедливым и разумным»¹.

Сопоставляя экономические взгляды Адама Смита и Сэя, Милютин приходит к очень важному выводу, что Сэй отнюдь не может быть назван продолжателем дела Адама Смита. «В высшей степени неосновательно приписывать Сею заслугу распространения теории Смита; Сей развивал и популяризировал не настоящую систему своего учителя, но систему, искажённую и видоизменённую его учениками, или, говоря точнее, свою собственную систему, вовсе не похожую на первоначальное учение шотландского экономиста»².

Основное обвинение, выдвигаемое Милютиным против школы Сэя, состоит в забвении практических задач политической экономии. Последняя выродилась, по словам Милютина, в чисто отвлеченную «теорию ценностей и обменов», её характеризует «метафизика, или, если можно так выразиться, онтология народного богатства». Вместо того чтобы вскрыть наиболее глубокие причины социальных бедствий, экономисты школы Сэя встали на путь оправдания существующего социально-экономического строя.

Крупнейший недостаток учения школы Сэя Милютин усматривает в том, что явления, имеющие место в современном (т. е. капиталистическом) обществе, она распространяет на все времена и эпохи, превращая их тем самым в абсолютные и всеобщие законы. Такая абсолютизация капиталистических законов развития неизбежно приводит к игнорированию социальных бедствий, связанных с современным строем. «Отчего,

¹ См. наст. изд., стр. 330.

² Там же, стр. 327.

например,—спрашивает Милютин,—экономисты так мало обращали внимания на нищету и вовсе не заботились об отыскании средств для противодействия её причинам? Понятно, что добросовестные из них руководились тут только тою мыслию, что эти причины пауперизма тесно связаны с самым устройством экономических отношений и носят на себе тот же характер необходимости, какой носит на себе, по их понятию, и самое это устройство»¹.

Признание абсолютности и всеобщности законов существующего строя делает бессодержательными всякие попытки его оценки. А отказ от такой оценки, как тонко подметил Милютин, в конце концов приводит даже добросовестного исследователя к оправданию существующего строя. Экономисты школы Сэя, пишет наш автор, «вышли из того начала, что наука не должна заботиться о том, что справедливо и несправедливо, а кончили тем, что усвоили себе безобразную гипотезу абсолютной справедливости и полного совершенства всех существующих экономических учреждений»².

Вскрыв апологетический характер учения Сэя и его школы, Милютин приходит к выводу, что оно отражает классовые интересы буржуазии. «Теория эта,—писал он,—была принята с восторгом французской *«bourgeoisie»*, которая в неограниченной свободе промышленности находила самое лучшее средство упрочить своё могущество и обезопасить себя разом как от влияния власти, так и от притязаний низших классов. Сей был самым верным органом интересов, идей и потребностей среднего сословия, его одушевляли те же начала отрицательного либерализма, какие руководствовали постоянно исторической деятельностью этого сословия. Этим объясняется, почему Сей сделался любимым, привилегированным экономистом *«bourgeoisie»*...»³.

Милютин был одним из первых писателей не только в России, но и в Западной Европе, которые вскрыли классовую природу вульгарной экономии. В России до Чернышевского никто не дал такой глубокой критики вульгаризаторов учения Смита, как это сделал Милютин.

Крупной заслугой Милютина была также его оригинальная критика учения Мальтуса. Против Мальтуса в русской литературе в 30 и 40-х годах выступали отдельные писатели (например, Одоевский в «Русских ночах», Андросов в журнале

¹ См наст. изд., стр. 315.

² Там же, стр. 316.

³ Там же, стр 330—331.

«Телескоп»), но это были отрывочные замечания. Впервые развернутую и глубокую критику мальтузианства в русской литературе дал Милютин.

Для его критики мальтузианства характерно, что разбору ошибок Мальтуса предшествует анализ исторической обстановки, в которой появилась работа Мальтуса «Опыт о народонаселении» и в которой он смог приковать к себе такое огромное внимание. Это помогло Милютину вскрыть классовые корни мальтузианства, показать, чей социальный заказ призвано было выполнять это учение. «Мальтус,—писал Милютин,—явился как ревностный защитник торизма, как экономист привилегированных классов в то самое время, как аристократия истощила уже безуспешно все средства, находившиеся в ее руках, для противодействия напору новых идей и народных требований»¹.

Милютин выдвигает против учения Мальтуса ряд серьезных аргументов; некоторые из них получили дальнейшее развитие в знаменитой критике мальтузианства, данной Чернышевским. Так, рассматривая положение Мальтуса об удвоении населения через каждые 25 лет, Милютин правильно указывает на недопустимость обобщения статистических данных по США, где быстрый рост населения объясняется специфическими причинами. В связи с пессимистическими оценками возможности прироста сельскохозяйственной продукции, которые дает Мальтус, Милютин подвергает критике закон убывающего плодородия почвы, лежащий в основе мальтузианской теории. Милютин тонко подметил, что сам Мальтус плохо верил в эффективность «морального воздержания», которое он выдвигал в качестве важнейшего рецепта для разрешения социального вопроса. Наш автор правильно указывает, что Мальтус развил это положение «...как будто нехотя и единственно для того, чтобы сделать уступку требованиям общественного мнения, громко и с негодованием восстававшего против возмутительности учения, не находившего никаких других средств для исцеления зла, кроме нищеты и разврата»².

Милютину удалось нащупать исходный методологический порок мальтузианской теории, выражающийся в том, что корень социальных бедствий последняя видит не в особенностях общественной организации, а в каких-то надуманных законах природы. «Кто не знает,—писал наш автор,—что та страшная нищета, от которой в настоящую минуту страдают

¹ См. наст. изд., стр. 61.

² Там же, стр. 91.

почти одинаково все общества Западной Европы, имеет свой источник не столько в недостатке производительности, сколько в несправедливости и нерациональности тех законов, по которым распределяются нынче богатства между отдельными классами производителей...»¹ Милютин возражает Мальтусу, что нельзя объяснить проблему народонаселения, абстрагируясь от социальных причин, что «истинный закон народонаселения может быть открыт только тогда, когда наука объяснит общие и основные законы общественной жизни...»².

Критика мальтузианской теории, данная Милютиным, отразилась на себе влияние его общей концепции о нормальных, всеобщих, разумных законах. При исследовании вопросов народонаселения, по мнению Милютина, необходимо разрешить две проблемы. Во-первых, необходимо вскрыть нормальный и естественный закон народонаселения, вытекающий из природы вещей, из общих связей, существующих между ростом народонаселения и увеличением материальной продукции. Во-вторых, необходимо выяснить отклонения от этого нормального закона, вызванные специфическими особенностями того или иного общественного строя. К таким отклонениям от нормального порядка Милютин относит перенаселение в капиталистических странах, связанный с ним пауперизм и т. д. Все эти явления он рассматривает как «признак насильственного низвержения естественных отношений, существующих при обыкновенном порядке вещей между производительностью и народонаселением...»³ И тут сказались характерная для Милютина точка зрения утопического социализма, рассматривавшая все явления капиталистической экономики с точки зрения их соответствия мысленно сконструированному идеальному, совершенному общественному строю.

Критические статьи Милютина против Сэя и Мальтуса представляли тогда выдающееся событие в русской литературе. Если бы эти статьи были переведены на иностранные языки, то они, несомненно, произвели бы большое впечатление и за рубежами России.

* *
*

Сэю и Мальтусу Милютин противопоставляет социалистов-утопистов, к которым он относится с большой симпатией. Признавая целый ряд крупных заслуг за социалистами-утопистами,

¹ См. наст. изд., стр. 131.

² Там же, стр. 43.

³ Там же, стр. 130.

он особенно подчёркивает тот факт, что утописты правильно понимают задачи политической экономии как науки о благосостоянии, а не как науки о богатстве. В актив утопистов Милютин заносит и тот факт, что они оставили в стороне метафизику богатства и обратились к исследованию чисто практических вопросов. Милютин вменяет в заслугу социалистам то, что они в основу своих исследований положили не «отвлечённую идею ценности», а «живую идею человека». Наконец, к числу заслуг утопистов Милютин причисляет и тот факт, что они не отрывают политическую экономию от других общественных наук.

Но, разделяя воззрения социалистического учения (которое тогда существовало в форме утопического социализма), Милютин чувствовал несовершенство, неудовлетворительность утопического социализма. Он обвиняет утопистов в игнорировании действительности, в том, что деятельность воображения и фантазии подменяет у них изучение реальных процессов. Основной грех утопистов, по его мнению, состоит в том, что они ограничиваются только вопросами должного, не входя в рассмотрение вопросов сущего. Милютин показывает, что экономисты (под которыми понимаются по существу только вульгарные экономисты) и социалисты-утописты представляют две крайности в развитии общественной мысли, которых следует избегать.

«...Первые (т. е. экономисты.—*И. Б.*) признают всё действительное справедливым, вторые (т. е. социалисты.—*И. Б.*)—всё справедливое возможным. Одни унижают науку, употребляя её как средство для оправдания современной действительности, другие отрицают самую действительность, нисколько не принимая её в соображение при построении своих теорий»¹;

Чувствуя неудовлетворительность современного ему утопического социализма, наш автор выдвигает чрезвычайно интересную и для своего времени пророчески звучащую идею о необходимости превращения утопии в науку. Есть двоякого рода утопии. Существуют утопии, основанные только на игре воображения, и утопии, принимающие в расчёт условия действительной жизни. «Но как скоро,—добавляет Милютин,—при построении наших теорий мы перестаём довольствоваться воображением и начинаем изучать самую действительность, утопия уже начинает терять характер утопии и принимает мало-помалу характер чисто научный. Таким образом, утопия сама собой и

¹ См. наст. изд., стр. 353.

вследствие присущей ей силы развития переходит в науку и мало-помалу из несбыточной мечты превращается в идею совершенно практическую и вполне способную к постепенному или даже немедленному переходу из сферы отвлечения в сферу действительности»¹.

Рассматривая под этим углом зрения работы западноевропейских утопистов, Милютин приходит к выводу, что им ещё не удалось превратить утопию в науку. Но Милютин далёк от каких-либо пессимистических прогнозов. С верой глядит он в будущее социалистической теории «Этого назначения (т. е. превращения утопии в науку.—И. Б.),—пишет он,—современные учения до сих пор еще не выполнили, но должны выполнить его рано или поздно; и в постоянном стремлении к такой цели заключается, по нашему мнению, как настоящее их призвание, так и залог для дальнейших успехов науки»².

В разработке проблем социализма Милютин примыкает к наиболее выдающимся русским деятелям 40-х годов—Белинскому и Герцену. В отношении Милютина применимы слова Плеханова, написанные по адресу Белинского; и Герцена: «Что передовые русские люди 40-х годов не могли сделаться основателями научного социализма, это в достаточной мере объясняется экономической отсталостью России и их неполным знакомством с экономикой Запада. Но что эти люди дошли до сознания неудовлетворительности утопического социализма, это свидетельствует об их выдающейся даровитости»³.

Как уже сказано было выше, Милютину самому не удалось разрешить проблему превращения социалистической утопии в науку: этому мешала порочность его методологии. Выше мы уже говорили, что наш автор пытался найти справедливые и разумные законы, под углом зрения которых следует оценивать явления действительности, а также и планы будущего общественного устройства. Эти методологические начала свойственны, как известно, почти всем утопическим социалистам.

Идеология утопического социализма весьма заметно сказалась на общих теоретических представлениях Милютина. Он рассматривает социалистические идеалы как крупнейшую движущую силу исторического развития. «...Не будь в человеке способности противопоставлять действительному факту свою идеальную

¹ См наст. изд, стр. 350.

² Там же, стр. 356.

³ Плеханов, Соч., т. XXIII, стр. 408.

утопию, не было бы развития, не было бы и прогресса»¹. Исходя из своего понимания решающей роли идеала, Милютин следующим образом формулирует задачи философии истории: она должна объяснить «...способ перехода идеала в действительность и развитие действительности сообразно с идеалом». Иными словами, исходным пунктом общественных наук, по мнению Милютина, является идеальный общественный строй, закономерности которого дают ключ к пониманию существующих общественных отношений.

Милютин испытал на себе, очевидно, сильное влияние Белинского. Возможно, что критическое отношение к социалистам-утопистам возбудил у нашего автора «неистовый Виссарион», который в переписке со своими друзьями уделял этим вопросам большое внимание. Но был вопрос, в котором Милютин значительно уступал великому критику. Это вопрос о взаимоотношении труда и капитала. Белинский, как видно из его рецензии на роман Эжена Сю «Парижские тайны», представлял себе весьма четко всю глубину противоречий между капиталистами и рабочими. Как видно из его писем к Боткину и Анненкову за 1847 г., он имел глубокое представление о роли буржуазии на разных этапах исторического развития.

Между тем у Милютина по этому кардинальному вопросу не было достаточной ясности. Он видел причину социальных бедствий капиталистического общества, с одной стороны, в обособлении средств производства от рабочей силы, с другой—в недостаточной связи между капиталистами и рабочими, в наличии между ними антагонистических отношений. В связи с этим Милютин видит спасение рабочих то в соединении капитала с трудом, то в установлении какой-то мифической общности интересов между капиталом и трудом. В одном месте он пишет: «До тех пор, пока работник будет совершенно чужд капиталисту, пока он не будет участвовать в его выгодах и барышах, пока он будет только наемником его, а не товарищем, до тех пор между производителями всегда будет борьба. Пока отношение между работником и капиталистом не будет основываться на началах взаимной доверенности, тесной связи и справедливости, до тех пор успехи промышленности и народного богатства будут покупаться дорогою ценою, ценою бедности и нищеты многочисленного класса работников»². А в другом месте Милютин пишет, что несовершенство капиталистического строя заключается в «разрозненности» капитала и труда.

¹ См. наст. изд., стр. 346.

² Там же, стр. 211.

Было бы неправильно сделать вывод, что Милютин был сторонником незначительных реформ в классовой системе распределения. Он отдавал себе отчёт в том, что необходима коренная перестройка существующих социально-экономических отношений. Он критиковал Сисмонди за то, что тот «...вовсе не понимал настоящего смысла современных требований и думал отделаться ничтожными полумерами, когда дело шло о радикальном преобразовании на Западе экономического устройства»¹.

Для Милютина характерно другое—не реформизм, а сильное влияние буржуазного просветительства. Элементы просветительства были присущи всем виднейшим представителям утопического социализма в России. Но элементы просветительства были выражены у отдельных деятелей в разной форме и в разной степени. Так, например, Белинский в рассматриваемую эпоху выступает как первый провозвестник революционной демократии. В своих письмах он писал о маратовской любви к человечеству. Что касается Милютина, то, как видно из его статей, он возлагал главные надежды на просвещённых деятелей и на просвещённые правительства.

Весьма показательны для Милютина его высказывания о рабочих коалициях. Он весьма резко высказывается о деятельности последних. «Такие коалиции работников,—пишет он,—сопровождаются обыкновенно насилием, грабежом, разбоем, разпутством и вообще последствиями в высшей степени вредными и для общественной безопасности и для общественного благосостояния»¹.

Не понимая роли масс как важнейшего рычага борьбы, Милютин апеллирует к общественной власти, которая изображается им как какая-то надклассовая сила. «Только общественная власть,—пишет он,—представительница интересов всех и каждого, может своим вмешательством обуздывать сильных, покровительствовать слабым, отвращать несправедливости и противодействовать беспорядку»³.

Милютин по существу предлагает как основной метод борьбы за преобразование существующего строя—убедить общество в необходимости таких преобразований. Такое внедрение новых убеждений может быть проделано постепенно, без больших потрясений и толчков. Отсюда—защита Милютиным принципа постепенности и отрицание скачков. Эта мысль отчетливо выступает в следующем критическом замечании нашего автора

¹ См. наст. изд., стр. 341.

² Там же, стр. 175.

³ Там же, стр. 322.

по адресу утопических социалистов. «Забывая преимущественно о том,—писал он,—чтоб найти тип самой совершенной, самой разумной организации труда, они недостаточно сознают, что человечество не может делать скачков в своем развитии и не может следовательно перейти прямо и без приготовления из нынешнего своего состояния в состояние полного и безусловного совершенства. Если бы новые школы понимали эту истину, они бы обратили своё внимание преимущественно на то, чтоб найти средства для *постепенного* усовершенствования экономической организации»¹.

Хотя социально-политические взгляды Милютина не получили сколько-нибудь отчётливого выражения в его статьях, но отдельные его высказывания дают основания сделать вывод, что Милютин был сторонником мирных методов разрешения социальных противоречий. Если у Герцена, по оценке Ленина, при всех его колебаниях между либерализмом и демократизмом в конечном счете одерживал верх его демократизм, то у Милютина ярче сказывалась либеральная тенденция. Это сказалось в его отходе от петрашевцев, в отрицании положительного значения рабочих коалиций, в подчеркивании принципа постепенного развития, в отрицательном отношении к активности народных масс и вообще к революционным методам разрешения общественных противоречий.

* *

Статьи Милютина в свое время представляли собой большое общественное событие. Крупнейшей заслугой Милютина был развёрнутый анализ причин растущего обнищания и пауперизма на Западе. Этот анализ давал богатый материал для критики капитализма, хотя у самого Милютина не было ещё достаточно ясного научного представления о природе капиталистического способа производства. Другой заслугой Милютина является оригинальная критика современной ему вульгарной экономии, опирающаяся на глубокий анализ истории экономических учений. Этим самым он способствовал расчистке почвы для распространения в России социалистических идей. Третьей заслугой нашего автора является оригинальная постановка вопроса об утопическом социализме, в частности выдвижение идеи о том, что утопия должна быть превращена в науку. Если ему не удалось решить этой крупнейшей научной задачи, то сама эта попытка была очень оригинальной и плодотворной. Она

¹ См. наст. изд, стр. 353—354. Курсив автора.

позволила ему дать критику некоторых сторон утопического социализма.

Восставая против вульгарной экономии, Милютин боролся против ее метафизических воззрений, противопоставляя последним историческую точку зрения. Критикуя западно-европейских социалистов-утопистов, он стремился преодолеть присущий им идеализм, противопоставляя последнему понимание объективных закономерностей общественной жизни. Хотя Милютину не удалось преодолеть метафизическую и идеалистическую точку зрения, ибо исходная точка его воззрений сама носила метафизический и идеалистический характер, он сыграл крупную прогрессивную роль в истории русской экономической мысли.

Милютин предвосхитил ряд положений, ставших исходными пунктами «экономической теории трудящихся» Чернышевского и его блестящей критики буржуазной политической экономии.

Но крупнейшей заслугой Чернышевского является революционная постановка вопроса о путях хозяйственного переустройства России, отсутствовавшая у Милютина.

При оценке экономических статей Милютина нельзя забывать, что у него не было еще законченной экономической концепции, что она у него только еще формировалась. Приходится только удивляться, как такой молодой автор при тогдашнем состоянии экономической науки смог подняться до такой глубокой и оригинальной постановки вопросов. Вместе с тем нельзя не выразить сожаления по поводу того, что так рано оборвалась работа Милютина по экономическим вопросам, в разработку которых он внес столь ценный вклад.

Милютин остается одним из наиболее оригинальных и глубоких русских экономистов 40-х годов. Обстановка, в которой он выступал, была крайне неблагоприятна. Он выступал в мрачную эпоху царствования коронованного жандарма Николая Палкина. И тем не менее Милютин нашёл в себе силы для пропаганды в яркой, увлекательной, полемически заострённой форме ряда передовых идей, подхваченных после него наиболее выдающимися деятелями 50—60-х годов.

И. БЛЮМИН

МАЛЬТУС И ЕГО ПРОТИВНИКИ

ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ МНЕНИЙ ОБ ОТНОШЕНИЯХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ К РАЗВИТИЮ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

*Раститесь и множитесь
и наполняйте землю.*

«КН. Бьпия»

Настоящее время есть эпоха перелома и кризиса для большей части общественных наук и особенно для политической экономии. Прежнее развитие этих наук, совершавшееся так мирно и гладко посредством вывода новых положений из начал установившихся и общепризнанных, сменилось нынче упорной борьбой между противоположными системами и ее необходимым последствием,—всеобщей неопределенностью и шаткостью убеждений. Критический анализ подкопался под самые основания того стройного экономического здания, которое воздвигли Адам Смит и его последователи,—еще весьма недавно построенная ими система возбуждала собой всеобщее удивление и восторг; нынче она распадается с каждым днем более и более под беспрестанными ударами своих неумолимых противников. С другой стороны современные деятели науки, несмотря на их гордую самоуверенность, несмотря на их торжественные обещания—создать новое на развалинах старого, ими разрушенного, до самой настоящей минуты показывали столько же несостоятельности для воссоздания, сколько обнаружили они прежде энергии и силы для разрушения. Таким образом, рассматривая теперешнее состояние политической экономии, мы встречаем везде одни только развалины, обломки прежних учений, переживших свое время наряду с плачевными остатками новых систем, из которых одни имели существование самое эфемерное и непродолжительное, другие же погибли в самых зародышах своих, не успевших увидеть света и застигнутых смертью даже прежде своего рождения.

Совершенно неуместно было бы здесь входить в подробное рассмотрение вопроса: чем обусловливается в настоящую минуту такое положение вещей и какие средства имеем мы в нашей власти для того, чтобы из него выйти? Мы заметим только, что

в одних лишь близоруких судьях, вовсе незнакомых с законами исторического развития, подобное состояние науки может возбуждать недоверчивость относительно ее дальнейшей будущности. На самом деле такие критические, переходные эпохи встречаются в истории каждой науки и составляют даже необходимое условие для усовершенствования человеческих понятий. Во всех без исключения сферах познания, развитие наших идей начинается неизбежно с одностороннего догматизма, с безусловной веры в справедливость учений, выведенных из произвольного и поверхностного толкования мимоходом подмеченных и наудачу взятых фактов. Но для того, чтобы от этих ложных систем, принятых на слово и без надлежащей проверки, перейти к положениям, совершенно сознанным и научно доказанным, всегда необходимо предварительно начать с отрицания, разрушить прежние кумиры, ослабить старые авторитеты и очистить поле для свежих деятелей, для новых идей. И хотя совершенно несправедливо то мнение, будто может существовать в науке направление исключительно отрицательное, неимеющее в себе ничего положительного; хотя всякое отрицание устарелых теорий должно происходить необходимо во имя каких-нибудь новых начал, но тем не менее надо сознаться, что всегда в первое время эти новые начала принимаются более сердцем, нежели разумом, и более предчувствуются, нежели сознаются. По этому самому отличительный и существенный характер таких критических эпох в науке заключается именно в неопределенности ее основных начал, в борьбе старых систем, отживших свой век и потерявших право на законное существование, с новыми идеями, которым без сомнения принадлежит будущность, но которые покуда по своей нетвердости и незрелости не представляют еще достаточного удовлетворения потребностям общества и науки.

Но само собой разумеется, что шаткость основных начал должна необходимо отразиться и в решении всех частных вопросов, входящих в состав науки. Поэтому во всем, что в настоящую минуту пишется, печатается и говорится о науках общественных, ясно заметны следы всеобщего беспорядка и крайней разногласицы. Между отдельными частями политической экономии можно найти весьма мало таких, которые бы обработаны были полным и удовлетворительным образом, напротив в отношении к большей части экономических вопросов, сколько-нибудь важных и существенных, господствует совершенная неизвестность и неопределенность; прежние их решения отвергнуты; новые не придуманы, или если и придуманы, то не вполне доказаны, не всеми признаны. В некоторых частях

политической экономии эта запутанность еще более увеличивается вследствие того, что для решения одной и той же задачи найдено экономистами бесчисленное множество формул, по большей части противоречащих друг другу и взаимно себя уничтожающих. В таком именно положении находится, между прочим, и тот важный вопрос, который составляет предмет этой статьи, вопрос о народонаселении и об отношениях его к развитию производительности. В конце прошлого столетия английский экономист Мальтус обратил в первый раз внимание науки на постоянное размножение народонаселения и на все экономические и общественные явления, связанные с этим фактом. Развита им теория имела в свое время огромный успех и не только была принята в руководство учеными при разрешении вопросов экономических и социальных, но усвоена также во многих европейских государствах людьми практическими, положившими начала Мальтуса в основание своих правительственных и законодательных действий. В этом отношении можно сказать без преувеличения, что ни одна ученая теория не имела такого быстрого, такого решительного влияния на науку и действительность, как теория Мальтуса. Но с другой стороны нельзя также не заметить, что этой теории никогда не удавалось стать в число непреложных, неоспоримых аксиом и удостоиться всеобщего, единогласного признания; при самом появлении своем она возбудила противодействие, споры и недоумения и подала повод к продолжительной борьбе. Окончательный результат этой борьбы оказался для нее в высшей степени невыгодным. В настоящее время число противников этого учения несравненно многочисленнее, нежели число *его* последователей; притом к *его* приверженцам принадлежат только одни отсталые экономисты, верные и слепые последователи прежней школы; напротив в рядах *его* противников стоят все без исключения представители нового направления политической экономии, несмотря на противоположность их мнений и взглядов относительно всех других вопросов науки. Но и в этом случае, точно так же как и во всех других, политическая экономия остановилась покуда на одном отрицании: отвергнув учение Мальтуса, признанное *ею* ложным, она еще не успела заменить это старое и ложное учение—учением новым и истинным. Между множеством различных теорий народонаселения, высказанных как последователями Мальтуса, выходящими из одинаковых с ним начал, так и противниками *его*, полагавшими в основание своих учений начала совершенно противоположные, нет покуда еще ни одной, которую бы можно было признать последним словом науки, вполне достаточным для устранения всех споров и недоумений.

Для того, чтобы с самого начала предупредить всякие недо-
разумения и отвратить ложные ожидания, мы считаем необходи-
мым заметить, что цель этой статьи состоит вовсе не в том,
чтобы представить удовлетворительное и окончательное реше-
ние этого запутанного вопроса. Подобная претензия с нашей
стороны была бы без сомнения смешна и несбыточна. Само
собой разумеется, что нет ничего легче, как придумать какую-
нибудь новую теорию народонаселения в дополнение ко всем
тем, которых уже расплодилось так много в последнее время.
Но все подобные теории, основанные не на строгом изучении
фактов, а на одних только гадательных предположениях, ни-
сколько не подвигают вперед вопроса и приносят науке более
вреда, нежели пользы. Идеализм наделал так много зла в области
наук точных, к числу которых должна принадлежать между
прочим и политическая экономия, что в настоящее время стали
к счастью убеждаться более и более в совершенной бесполез-
ности и ничтожности всех исследований чисто спекулятивных.
Все произвольные теории, не извлеченные из жизни и опыта,
а представляющие собой плод кабинетной мудрости и праздно-
го воображения ученых, встречаются нынче в общественном
мнении только холодное равнодушие и вполне справедливую
недоверчивость. Политическая экономия, точно так же как и
все другие науки общественные, может быть выведена из ее
теперешнего хаотического состояния не иначе, как посредством
прилежного, методического анализа экономических явлений и
правильного вывода общих законов из наблюдений над част-
ными фактами. Есть много людей, проводывающих ту мысль,
что глубокий мрак, покрывающий нынче важнейшие из эконо-
мических вопросов, может быть рассеян только появлением
гения, который сумеет воспользоваться всеми прежними трудами
и произвести окончательный переворот в науке открытием свет-
лых и научных формул для всех неясных стремлений и идей,
пробудившихся нынче в общественном сознании. Подобные ожи-
дания совершенно неосновательны. Вообще в наше время гении
являются редко и, по мере развития образования в массах,
аристократии таланта суждено с каждым днем терять свое
значение и падать более и более; общество не будет иметь
никакой нужды в гениальных людях, когда мало-помалу все
сделаются способными к тому, что составляло прежде удел
одних только высоких избранных натур. В частности для раз-
вития политической экономии нужны теперь не блистательные
и смелые гипотезы, а медленное и неутомимое накопление на-
блюдений и опытов, и следовательно потребности современной
науки могут быть удовлетворены не гениальными людьми, а

прилежными и добросовестными тружениками. Трудолюбивая деятельность таких людей, руководимая не личным произволом, а правилами истинной методы, может разрешить важнейшие из вопросов науки и приготовить богатые материалы для разрешения задач практических. Окончательного же решения последних должно ожидать уже не от науки, а от самой жизни.. Но эти общие начала, от которых необходимо зависит успешное развитие целой науки, могут быть приложены вполне и к частному вопросу о народонаселении. И этот вопрос, подобно всем другим, может быть решен удовлетворительно только посредством многостороннего анализа, путем индуктивной методы. Но очевидно, что вывод истинных начал науки посредством такой методы требует продолжительных, разнообразных трудов, для которых недостаточны усилия одного человека, а нужны усилия даже не одного, а многих поколений. С другой стороны общественные явления, порождаемые размножением народонаселения, находясь в такой тесной, близкой связи со всеми другими явлениями той же сферы, что странно было бы и думать о возможности разрешить этот частный вопрос отдельно и независимо от всех других вопросов, с ним связанных. Истинный закон народонаселения может быть открыт только тогда, когда наука объяснит общие и основные законы общественной жизни; а к такому объяснению, повторяем еще раз, не могут привести ни в каком случае труды одного человека или одного поколения; этого результата можно достигнуть не иначе, как посредством постепенного и безостановочного накопления тех данных, которые даются жизнью и собираются наукой.

Сознавая вполне всю невозможность разрешить окончательно запутанный спор, занимающий науку в продолжение пятидесяти лет, мы решились однако изложить подробно нынешнее состояние этого вопроса, имея при этом в виду двоякую цель. С одной стороны, принимая в соображение современную важность политической экономии, всеобщее стремление, которое у нас заметно обнаруживается к ближайшему знакомству с этой наукой, и наконец совершенный недостаток удовлетворительных и полных руководств по этой части не только на русском, но и на других европейских языках, мы надеялись удовлетворить до известной степени потребностям русских читателей, представив им возможно подробный и верный отчет о современном положении одного из важнейших вопросов экономической науки, в котором всего яснее и резче высказываются существо и оттенки различных экономических систем и направлений. Подобный труд, по нашему мнению, может сопровождаться некоторой пользой и для самой науки. Ее сомнительные, гипоте-

тические вопросы от непрерывных и продолжительных споров, от образования разнородных, противоположных теорий с течением времени необходимо запутываются и затемняются. Поэтому в развитии науки встречаются минуты, когда бывает необходимо сделать небольшую остановку, окинуть беглым взглядом все то, что уже сделано и что остается сделать, оценить прежние труды и усилия и указать на те сомнительные пункты, которые уже получили полное объяснение, точно так же как и на те, которые еще ожидают такого объяснения. Другими словами, при беспорядочном накоплении множества материалов, собранных в разные времена, вследствие случайных обстоятельств, без связи и системы, рождается часто настоятельная необходимость разобрать внимательнее эту нестройную груду данных, отделить в ней случайное от необходимого, ложное от истинного и, определив таким образом величину пройденного пути, указать и на тот пустой промежуток, который остается восполнить науке для достижения окончательной дели всех ее стремлений. В нашей статье мы старались, по возможности, удовлетворить этой потребности, которая нигде не обнаруживается с такой ясностью и силою, как в вопросе о народонаселении, наиболее сомнительном и темном из всех экономических вопросов.

Но вместе с тем мы сознаемся, при составлении этой статьи нами руководило и другое, более самолюбивое побуждение. Хотя в настоящее время число противников Мальтуса, как мы уже заметили выше, гораздо значительнее числа его последователей, но тем не менее число последних до сих пор еще довольно велико и между ними огромное большинство принадлежит таким людям, которые не решаются отвергнуть теорию Мальтуса только потому, что находят в его выводах гораздо более убедительности и логики, нежели во всех доводах его многочисленных противников. Нельзя сказать, чтобы такое мнение было совершенно несправедливо. В самом деле ни одного из сочинений, написанных в опровержение теории Мальтуса, нельзя назвать вполне удовлетворительным и сообразным с требованиями науки, несмотря на то, что вопрос о народонаселении имеет самую богатую и обширную литературу, состоящую из бесчисленного множества различных книг, появившихся беспрестанно во Франции, Англии и Германии в течение целых пятидесяти лет. Все критические разборы теории Мальтуса, сделанные его противниками, не опровергают вполне коренных оснований этой теории, потому что основываются или на одних красноречивых возгласах и филантропических соображениях, имеющих мало веса в науке, или на таких экономических

началах, которые можно справедливо назвать устарелыми и ложными. Одни из них, обращаясь только к практическим результатам учения Мальтуса, не касаются самого существа этого учения; другие имеют целью раскрыть несправедливость основного начала этой теории, но не достигают вполне этой цели вследствие слабости доводов, по большей части не имеющих никакого ученого достоинства. После этого понятно, почему даже такие люди, которые отличаются самым широким и человечным взглядом на общественную жизнь и которые уже отвергли основные начала экономистов, по странной непоследовательности поддерживают еще теорию Мальтуса, несмотря на то, что эта теория глубоко потрясает веру в возможность будущих успехов и обрекает человечество на вечные страдания и муки. Недостаток многосторонности и убедительности, общий почти всем критикам Мальтуса, удерживает таких людей в рядах последователей его учения тем более, что каждый из нас, по свойственной человеку слабости, неохотно расстается со своими, прежними убеждениями и готов придаться ко всякому случаю, доставляющему ему повод сохранить уважение к теории, под влиянием которых возрос и образовался его ум... Эту-то категорию людей имели мы преимущественно в виду, когда решились на попытку представить еще раз критический разбор теории Мальтуса; что же касается до тех, которые поддерживают эту теорию только потому, что находят в ней удовлетворение своим личным интересам и видам, то мы отказываемся заранее от всякой надежды поколебать их убеждения. Мы желали подействовать только на убеждения людей добросовестных и уважающих истину, надеясь, что, подвергнув теорию Мальтуса новой оценке, чуждой прежней односторонности и основанной не на одних пустых возгласах, а на истинных началах науки, можно будет раскрыть несправедливость этой теории более убедительным и, главное, более научным образом. До какой степени мы успели выполнить эту трудную задачу, предоставляем судить нашим читателям.

Для достижения цели, нами предположенной, мы постараемся, во-первых: объяснить состояние вопроса о народонаселении до появления книги Мальтуса, изложить основания его учения и показать его влияние на науку и жизнь; во-вторых, подвергнуть подробному критическому разбору практические результаты этого учения, бывшие до сих пор главным предметом всех нападков и опровержений; и в-третьих, обратив внимание на самое существо этой теории, раскрыть ее противоречие с истинными началами политической экономии. Мы заключим наш труд

кратким обзором и оценкой тех многочисленных взглядов на отношения народонаселения к производительности, которые были высказаны как последователями, так и противниками Мальтуса.

I

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОПРОСА О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ. МАЛЬТУС. СУДЬБА ЕГО УЧЕНИЯ

Вопрос о народонаселении принадлежит к числу важнейших вопросов политической экономии. Народонаселение представляет в себе главное средоточие всех экономических явлений и основную идею всей экономической науки. Наука эта, по самому общему, вульгарному ее определению, рассматривает производство, распределение и потребление ценностей, но во всех этих случаях единственный предмет, который она имеет в виду, есть народонаселение, которое одно и производит и распределяет и потребляет богатства. Главный источник того ложного, абстрактного направления, которое приняли экономисты—последователи Адама Смита, заключается именно в том, что они позабыли это естественное отношение богатства к народонаселению и стали смотреть на первое, как на самоцель народнохозяйственной деятельности, вместо того чтобы видеть в нем одно только средство для удовлетворения человеческих потребностей.

Но вопрос о народонаселении не есть вопрос исключительно экономический: он имеет, как увидим ниже, самую тесную и близкую связь со всеми общественными интересами, нравственными, политическими, юридическими, религиозными и философскими. В сущности при решении каждого общественного вопроса должно иметь в виду одно только начало, так как и в основании всей общественной науки должен лежать необходимо один только принцип. Но до тех пор, пока в действительности, а следовательно и в науке существует еще неестественное различие между началом справедливости и началом пользы, между интересами индивидуума и интересами общества, до тех пор и при решении общественных вопросов нельзя не иметь в виду всех этих разнородных, отчасти даже противоположных требований и интересов. Вопрос о народонаселении не может следовательно быть решен на основании одних экономических начал; он должен быть необходимо рассмотрен со всех точек зрения, которые устанавливаются различными самостоятельными принципами, лежащими в основании наук общественных.

Рассматривать вопрос о народонаселении во всей его обширности и многосторонности начали только в новейшее время. Древнему миру оставался постоянно недоступным этот широ-

кий взгляд на общественные явления. Древние философы, сообразно с общим направлением своей умственной деятельности, рассматривали вопрос о народонаселении с точки зрения исключительно политической. Главная цель их размышлений об этом предмете состояла в том, чтобы показать, до какой степени постоянное распространение народонаселения могло быть полезным или вредным для государства, сообразным или несообразным с требованиями политической пользы. Этот вопрос они решали по большей части отрицательно и полагали, что государство, при большом количестве народонаселения, не может никогда оставаться благоустроенным. Поэтому правителям республик они всегда советовали употреблять различные меры для того, чтобы удержать народонаселение в должных пределах и не допустить его до чрезмерного размножения. Так например Платон для своей идеальной республики полагал одним из необходимейших условий самое ограниченное число граждан, не более 5 040 человек¹; Аристотель в своей «Политике» говорит прямо, что во всякой мудро управляемой республике как пространство территории, так и число народонаселения должно быть необходимо ограничено известными, весьма тесными пределами. По его мнению, число жителей каждого государства должно быть всегда таково, чтобы все граждане могли знать лично друг друга и жить без большого труда естественными произведениями занимаемой ими территории². Для уменьшения народонаселения и Платон и Аристотель предлагали средства самые странные и противоестественные. В числе этих средств первое место занимало убийство новорожденных детей. «Закон», говорит Аристотель: «должен определить, какие из новорожденных должны быть сохраняемы, какие умерщвляемы; ни в каком случае не должно воспитывать уродов, или детей, лишенных какого-нибудь члена. Если необходимо остановить размножение народонаселения, а между тем учреждения и нравы государства не дозволяют убивать новорожденных, то правители должны назначить для каждой четы известное число детей, которых она может иметь; в случае предстоящего излишка, беременная мать должна уничтожить в себе свой зародыш, прежде нежели он сделается одушевленным»³. Платон предписывает такую же меру и старается оправдать ее. «Правители» говорит он: «должны определить заранее число браков, так чтобы число граждан оставалось всегда неизменным, а но-

¹ *De legibus*, V, d. 737 ed. Serrani (О законах, V, стр. 707, изд. Серрани. — *Ред.*).

² *Polit.*, VII, 4, 5 (Политика, VII, 4, 5. — *Ред.*).

³ *Polit.*, VII, 16.

ворожденные заменяли бы только собой граждан, похищенных болезнями, войной, неожиданными случаями. Такая мера может предупредить излишнее увеличение или уменьшение народонаселения. Дети порочных людей, уроды, незаконнорожденные, дети слишком взрослых родителей должны быть убиваемы; не должно никогда обременять ими республику»¹.

В этих мнениях Платона и Аристотеля отражается не личный взгляд этих философов, а общие убеждения целого народа, целой эпохи. Философия в этом случае была совершенно согласна с самой действительностью, и философы выражали только языком науки действительный закон, существовавший во всех древних государствах. Правители как греческих республик, так и Рима смотрели на размножение народонаселения, как на величайшее бедствие для государства. Причины такого взгляда были весьма многочисленны и разнообразны; но главный источник его кроется в самых основаниях экономической организации древних обществ. И в Греция, и в Риме, вследствие всеобщего презрения к промышленному труду, вся производительная сила сосредоточивалась в одних невольниках. Свободные граждане занимались только войной, отправлением публичных должностей и отчасти земледелием; по большей части они были только потребителями, а не производителями. На рабах лежала обязанность доставлять привилегированным классам государства все материальные средства для поддержания жизни, для увеличения массы наслаждений, для удовлетворения всеобщей потребности в праздности и роскоши. При таком положении вещей весьма понятно, что всякое увеличение в числе свободного населения, т. е. в числе праздных потребителей, увеличивало только сумму общественных потребностей, не увеличивая нисколько самых средств для удовлетворения всем нуждам новых членов общества. Таким образом всякий излишек свободных граждан расстраивал равновесие между народонаселением и средствами пропитания и потому древние законодатели и правители для того, чтобы сохранить это равновесие, для того, чтобы предупредить оскудение и упадок привилегированных классов, должны были необходимо заботиться всеми мерами о постоянном противодействии естественному распространению народонаселения. В этой постоянной заботе кроется одна из главных причин той деятельной колонизации, которою так отличались народы древнего мира. Большая часть их колоний основана была с тою целью,

¹ *De Repubhca*, lib. V, p. 460, 599 (О государстве. КН. V, стр. 460, 599. — *Ред.*).

чтобы освободить метрополию от излишка свободного населения и доставить оставшимся гражданам возможность поддержать свое достоинство, не прибегая к унижительному труду. Но кроме основания колоний, древние употребляли для той же цели и многие другие средства. Положительные свидетельства древних писателей ясно доказывают, что во многих греческих республиках следовали на самом деле советам Платона и Аристотеля. Отцу везде предоставлялось право убивать новорожденных детей, и Аристотель, разбирая законы критские, говорит прямо, что это право установлено было именно с тою целью, чтобы уничтожать постепенно излишек населения. «Я не стану», говорит он: «упоминать здесь ни о законах *об* разводе, ни о поощрениях к противоестественной любви, имевших в виду остановить размножение народонаселения»¹.

По свидетельству Плутарха, и в Спарте и в Фивах—городах, отличавшихся особенно строгой нравственностью, поощрение к противоестественному удовлетворению чувственным наклонностям рассматривалось как самая похвальная политическая мера для удержания числа граждан в должных пределах. Солон запретил рабам вступать в любовные сношения с молодыми людьми и, причисляя эту страсть к самым похвальным и добродетельным наклонностям человека, приглашал всех свободных граждан предаваться этой наклонности, стараясь отдалить от нее рабов, недостойных, по причинам своего низкого происхождения, принимать участие в таком высоком наслаждении. К числу второстепенных средств для противодействия размножению народонаселения можно отнести также гражданские законы, которые у греков определяли возраст, необходимый для вступления в брак. В Спарте от мужчины требовалось 30 лет, от женщины—20. Платон в своей Республике предписывает те же ограничения. Аристотель требует, чтобы при вступлении в брак мужчина имел 37 лет, женщина—18. Очевидно, что при теплом климате Греции и Малой Азии, где женщины раньше чем в других странах приобретают и теряют способность воспроизведения, где мужчины сохраняют эту способность весьма недолго, назначение такого высокого возраста для вступления в брак должно было служить самым сильным препятствием для чрезмерного размножения свободного населения².

¹ *Polit*, II, 10.

² Подробные доказательства существования этого общего стремления к уменьшению народонаселения у всех древних законодателей изложены в сочинении *Dureau de la Malle. Economie politique des Romains Paris. 1840, t. I, hb. II, chap. XIII.* (Дюро де-ла Малль.

В средние века, с тех пор, как в западноевропейских государствах монархическая власть приобрела известную самостоятельность и силу, произошло радикальное изменение в общем мнении о политических последствиях, сопровождающих размножение народонаселения. Правительства новых государств действовали в этом отношении совершенно наперекор правительствам древних республик. Все их усилия клонились постоянно к той цели, чтобы отвратить уменьшение народонаселения и содействовать всеми мерами его увеличению. В этом стремлении они были руководимы мыслию весьма естественной и понятной в то время. Имея в виду только свою личную пользу и не возвышаясь до сознания пользы общественной, правительства европейских обществ заботились единственно о том, чтобы увеличить свое могущество и силу. Но в те времена могущество и сила государств обнаруживались преимущественно в числе войска и в состоянии финансов. Поэтому размножение народонаселения, увеличивая число людей, способных к отправлению военной повинности и к уплате вещественных податей, казалось самым естественным и надежным средством для усиления государства. По возрождении наук на западе Европы, эта мысль перешла и в те сочинения, которыми положено было первое начало ученому обработыванию политических наук. Первые публицисты, сообразуясь с общим духом времени, сильно настаивали на необходимости содействовать всеми мерами размножению народонаселения и, подобно древним философам, предлагали разные средства для достижения этой цели. Правительства почти всех европейских государств постоянно следовали этим советам, строго запрещая эмиграции, уменьшая *minimum* возраста, необходимого для вступления в брак, подвергая разным невыгодам холостых и бездетных, установляя

Политическая экономия римлян. Париж. 1840, т. I, кн. II, гл. XIII. — *Ред.*)

Во времена империи и даже несколько раньше мы встречаем стремление совершенно противоположное. При Августе свободное народонаселение Рима так значительно уменьшилось, что императоры старались уже всеми мерами о поощрении браков и об умножении числа римских граждан. Самим Августом был издан с этой целью известный закон: *Lex Julia et Papia Pappaea* (Закон Юлия и Паппия Паппея. — *Ред.*), установивший конкубинат, различные награды для отцов семейства и наказания для холостых и бездетных. Это быстрое уменьшение народонаселения во времена империи составляет одно из самых любопытных и поучительных явлений экономической истории Рима. Но мы не можем рассматривать его здесь, потому что это отвлекло бы нас слишком далеко от нашего главного предмета. Наша цель состоит в том, чтобы показать развитие идей о народонаселении, а не развитие самого народонаселения.

в пользу отцов многочисленных семейств различные почести, награды, денежные пособия, льготы от податей и пр. К этим поощрениям со стороны правительства присоединились поощрения со стороны церкви. Католическое духовенство, отчасти для содействия видам правительства, отчасти для пресечения разврата, проповедывало необходимость брачной жизни, угрожало безбрачным небесным гневом, поощряло супругов к постоянному исполнению супружеских обязанностей и указывало на брак и рождение детей, как на самый верный и близкий путь к спасению и блаженству. До самых поздних времен издавались в Западной Европе законы с целью поощрения супружества и следы этого стремления заметны в некоторых законах, до сих пор ещё имеющих действительность и силу. В пример можно привести постановление Кольберта, изданное в 1666 году и предоставлявшее пожизненную льготу от податей в пользу всякого отца семейства, имеющего не менее десяти детей. На основании этого закона, дворянин, имевший десять детей, получал от короля 1 000 франков ежегодной пенсии; имевший 12 получал 2 000. Молодые люди, женившиеся на двадцатом году жизни, освобождены были на пять лет от податей; наоборот, если они оставались холостыми и по достижении этого возраста, то должны были платить подати, хотя бы жили вместе со своими отцами и не имели самостоятельного хозяйства. Вместе с этим для уменьшения числа холостых Кольберт старался положить предел размножению монастырей и религиозных общин, запретив им приобретать имущества в собственность от частных лиц посредством дара, покупки или завешания.

В XVII и XVIII столетиях это общее направление, господствовавшее и в книгах и в практической жизни, стало мало-помалу встречать противодействие некоторых публицистов, старавшихся доказать, что увеличение числа граждан весьма часто приносит более вреда, нежели пользы государству. Число этих публицистов, вступавших в противоречий с общими убеждениями своей эпохи, было весьма незначительно. К ним можно причислить Артура Юнга, Монтескье, Франклина, Джемса Стеуарта и Тоунсенда (Townsend). Их мнения не могли впрочем иметь большого влияния и веса, потому что они не были развиты подробным и ученым образом, а высказывались только изредка и мимоходом. Притом вопрос о народонаселении рассматривался, как и в древнем мире, с точки зрения исключительно политической; предметом исследований было то влияние, которое производит распространение народонаселения на могущество и силу государства. Никому не приходило в голову

рассмотреть влияние этого явления на благосостояние и судьбу самого народонаселения и основать все выводы не на политических соображениях, а на той необходимой связи, которая существует между развитием народонаселения и развитием народного богатства. Между тем, оставаясь в этих узких границах, вопрос о народонаселении не мог быть подвинут вперед; необходимо было взглянуть на него шире и перевести его из сферы чисто политической в сферу социальную и экономическую. Эту услугу науке оказал Мальтус.

Для того, чтобы понять истинный смысл и внутреннее значение теории Мальтуса, необходимо прежде сказать несколько слов о состоянии умов в Англии во время появления его книги, и о личном характере, о семейных отношениях самого Мальтуса. Тем и другим объясняются вполне характер и судьба его учения.

«Опыт о законе народонаселения» Мальтуса появился в свет в самом конце XVIII столетия, в 1798 году. В это время кровавая борьба, волновавшая Францию в продолжение девяти лет, приближалась заметно к развязке. Энтузиазм и энергия прежних лет ослабевали мало-помалу, и *всеобщая* апатия, одинаковое утомление всех партий, желание насладиться миром и тишиной после столь продолжительного и насильственного напряжения сил предвещали необходимо скорый конец переломного периода. Можно было предвидеть уже в то время неизбежное наступление новой эпохи, эпохи внутренней тишины и внешних завоеваний. Совсем иначе было в Англии, где напротив все, казалось, предвещало неотразимость социального кризиса, подобного тому, который совершался во Франции. Философия XVIII века и французская революция имели сильное влияние на направление умственной и общественной деятельности английского народа. До тех пор, пока идеи, приготовившие революцию, оставались только в виде отвлеченностей, утопий и надежд, они возбуждали сильную и живую симпатию во всех образованных и преимущественно высших классах общества. Но как скоро те же самые идеи из книжной, отвлеченной сферы стали переходить в жизнь и действительность, Англия разделилась на две непримиримые партии, из которых одна встретила преобразования, происходившие во Франции, с любовью и надеждой, другая с негодованием и гневом. Английская аристократия, которая прежде оказывала покровительство и давала убежище философам, изгнанным из Франции, и поддерживала открыто все основные начала их учения, встретила с самого начала действительное осуществление этих начал с боязнью и недоверчивостию. Потом, после кровавой расправы 1793 года,

поняв вполне ту страшную участь, на которую обрекал ее успех новых идей, так неудачно и неловко ею усвоенных, она противопоставила распространению этих идей в Англии самое энергическое и отчаянное сопротивление. Но это сопротивление оказывалось с каждым днем более и более недостаточным для того, чтобы удержать поток событий. Никакие усилия не в состоянии были заглушить громкие жалобы массы против монополий и притеснений. Жалобы эти с каждым днем становились сильнее и страшнее. Новые идеи глубоко запали в общественное сознание, и, не ограничиваясь высшими классами общества, стали заметно проникать в самые низшие его слои. Покуда борьба сосредоточивалась, правда, в одной только сфере умственной и литературной; но можно было опасаться, что рано или поздно мысль о необходимости реформы, которая раздавалась уже громко со всех сторон и грозила совершенным разрушением всем национальным, коренным учреждениям Англии, преодолет все препятствия и перейдет мало-помалу в самую действительную жизнь. Это опасение вполне оправдывалось всеобщим брожением умов в Англии. Вся умственная деятельность этой страны устремлена была на решение социальных и политических вопросов; везде, в парламенте, в клубах, в книгах и журналах, даже внутри семейств кипела грозная и ожесточенная борьба между защитниками существовавших учреждений и представителями новых идей и потребностей.

Это глубокое раздвоение мнений и интересов, волновавших в то время всю Англию, отразилось и внутри одного семейства, жившего в графстве Сюррей. Глава этого семейства, Даниил Мальтус, один из самых достаточных помещиков графства, человек образованный и умный, по своим убеждениям и симпатиям принадлежал к числу самых жарких последователей философии XVIII века. Давид Юм и Жан-Жак Руссо, во время путешествия последнего по Англии, посетили его замок, и это посещение оставило глубокие следы в уме Даниила Мальтуса, который с тех пор стал навсегда в ряды учеников и последователей женевого философа. Младший из двух сыновей его, знаменитый впоследствии Томас-Роберт Мальтус¹, не разде-

¹ Томас-Роберт Мальтус, член Королевского Лондонского Общества и Парижской Академии Нравственных и Политических Наук, профессор истории и политической экономии в Коллегиуме Ост-Индской Компании, родился 14 февраля 1766 г. в Рукери (Rookery), близ Доркинга в графстве Сюррей. К его старшему брату, по английскому закону, переходило все отцовское наследство; поэтому молодой Мальтус должен был вступить в духовное звание. Он

лял несколько убеждений и надежд своего отца. Таким образом, наперекор обыкновенному закону природы, внутри одного семейства, отец представлял в себе идеи и потребности новых поколений; сын являлся защитником интересов аристократии и ревностным приверженцем существовавшего порядка вещей. Это коренное разногласие между отцом и сыном подавало повод к беспрестанным и жарким спорам, укреплявшим в уме Мальтуса его убеждение в безусловной необходимости неравного распределения благ и в несбыточности всех надежд на возможность уничтожения нищеты, страданий и зла. Это убеждение, развиваясь с каждым днем более и более, искало только случая, чтобы высказаться со всей ясностью и полнотой, и случай этот не замедлил представиться. Один из самых блистательных представителей нового умственного движения в Англии, Вильям Годвин, издал в 1793 году свое сочинение о политическом правосудии¹, наделавшее много шума и замечательное тем, что живой и существенный вопрос того времени был в нем высказан с совершенной ясностью и разрешен чрезвычайно смело, без всяких оговорок и уступок.—Годвин был ученик Руссо, Гельвеция и барона Ольбаха. Он старался доказать в своей книге, что нравственное зло и все страдания и бедствия человечества имеют свой источник не в природе человека, а в худой организации обществ. Выходя из того начала, что зло может быть уничтожено не иначе, как уничтожением его источника, Годвин предложил в своем сочинении целый ряд политических и социальных реформ, которые², по его мнению, должны были восстановить первобытное равенство между людьми и изгладить навсегда следы пороков, бедствий и нищеты.

воспитывался сначала дома, потом в Варрингтонской Академии, в Ланкастерском Графстве, наконец *у знаменитого а то время Жильберта Вакефильда. 18-ти лет он вступил в Кембриджскую Коллегию Иезуитов и в 1788 г. сделан¹ был членом этого ордена. В следующем году он получил духовный сан и, поселившись в замке своего отца, исправлял должность викария соседнего прихода. В 1803 году, через год после второго издания «Опыта о народонаселении», он был сделан профессором истории и политической экономии в Коллегиуме Ост-Индской Компании, в Эйлесбери (Ailesbury) и занимал эту должность в продолжении 30 лет. Он женился в 1804 году, умер от аневризма 29 декабря 1834 года, на 70 году своей жизни, в Бате, оставив двух детей, сына и дочь. Кроме знаменитого «Опыта» он написал еще «Начала политической экономии» и множество монографий. См. *Notice sur la vie et les travaux de Malthus, par Charles Compté* 1836. (*Заметки о жизни и деятельности Мальтуса*, Соч. Шарля Конта. 1836 г. — *Ред.*)

¹ An inquiry concerning political justice. 2 t. in 8. Лондон. 1793. 3-е издание было в 1797 году. (Исследование о политической справедливости 2 тома в 1/8 листа. — *Ред.*)

Основные идеи, изложенные в этой книге насчет общественного устройства, воспитания, нравственности и литературы, Годвин старался развивать и популяризировать посредством издания особого сборника под названием: *The Enquirer*. Одна из статей этого сборника—«о скупости и щедрости» возбудила жаркие прения между Мальтусом и его отцом и послужила, по словам самого Мальтуса, ближайшим поводом к изданию его знаменитого сочинения «Опыт о народонаселении». Таким образом истинной причиной происхождения Мальтусовой теории народонаселения было стремление представить новые аргументы против идей Годвина и других подобных ему философов, и доказать посредством ученого исследования естественных отношений народонаселения и производительности несбыточность мысли о бесконечном усовершенствовании человечества и абсолютную невозможность такого общественного устройства, которое бы представлялось сообразным во всех отношениях с требованиями разума и истины. Характер этих побуждений, которыми руководствовался Мальтус при издании своей книги, уже достаточно указывает на самое назначение и цель построенной им теории. Существенные основания этой теории заключаются в следующем¹.

Воспроизводительная сила человека, говорит Мальтус, сама в себе не находит для себя никаких границ точно так же, как и воспроизводительная сила животных и растений. Если бы на всей земле остался только один род растений, то он один в самое непродолжительное время мог бы покрыть зеленью всю поверхность земного шара. Точно так же, если бы исчезли все жители земли и остался бы один только народ, в течение нескольких столетий он мог бы населить собой всю землю, как скоро его постоянное распространение не встречало бы для себя никаких внешних препятствий. Но в действительности нельзя указать ни одной страны, где бы это постепенное распространение народонаселения не находило для себя каких-либо преград. Поэтому нигде мы не видим быстрого размножения людей, которого можно было бы ожидать, если бы принимать в соображение одну только воспроизводительную силу, человека, упуская из виду все причины, удерживающие людей

¹ *Essai sur le principe de la population par Malthus*, traduit de l'Anglais par M. M. Pierre et Guillaume Prevost. Paris. 1845. Edition Guillaumin, (*Опыт закона народонаселения, соч. Мальтуса*, стерев. с английского гг. Пьера и Гильома Прево. Париж. 1845. Изд. Гильомена. — *Ред.*) Все ссылки я нашей статье сделаны на это издание. При изложении теории Мальтуса мы старались по возможности выражаться словами самого автора.

от вступления в брак и от рождения себе подобных, или уничтожающие существующее население. Есть однако страна на земном шаре, где эти препятствия действовали с меньшей силой и где распространение народонаселения совершалось при самых благоприятных обстоятельствах. Эта страна—Северо-Американские Соединенные Штаты. Там в продолжение полутораста лет народонаселение удвоивалось постоянно каждые двадцать пять лет. И так как в течение этого времени число смертных случаев в некоторых городах превосходило число рождений, то необходимо принять, что в остальных местах число рождений было так велико, что пополняло этот промежуток и превосходило среднюю величину двадцатипятилетнего удвоения. Принимая в основание этот факт, не подверженный никакому сомнению, можно положить без преувеличения, и с полной достоверностью, что *народонаселение, если оно не встречает никаких препятствий, удваивается по меньшей мере в каждый 25-ти летний период и размножается постоянно, следуя геометрической прогрессии.*

Но человек не может существовать, если он не находит для себя достаточных средств пропитания. Средства же пропитания умножаются далеко не так быстро, как самое народонаселение. Народонаселение в 10 000 человек может удвоиться в 25 лет точно так же, как и народонаселение в 1 000 человек. Но сумму продуктов известной земли не всегда можно удвоить посредством труда, и достать средства пропитания, необходимые для продовольствия большего числа людей, не так легко и удобно, как может показаться с первого взгляда. Деятельность человека бывает всегда ограничена известной местностью. Как скоро вся земля, находящаяся в его распоряжении, будет занята и разработана, для увеличения средств пропитания необходимо будет, при недостатке свежих земель, подвергнуть земли, уже возделанные, новой, совершеннейшей разработке. Но выгоды, которые можно ожидать от улучшения способов производства, по самому существу почвы не могут увеличиваться постоянно и в одинаковой прогрессии; напротив, они будут уменьшаться с каждым годом значительным образом, между тем как народонаселение, везде где только оно находит средства пропитания, не встречает для себя никаких границ, так что всякое его умножение является в свою очередь деятельной причиной для дальнейшего размножения.

В Англии и Шотландии сельское хозяйство доведено, как известно, до высшей степени совершенства. Но и в этих странах, если бы даже предположить, что вследствие новых успехов агрономии и вследствие улучшения способов производства про-

дукты земли удвоятся в первые двадцать пять лет (предположение не совсем вероятное), то и тогда нельзя никак ожидать, чтобы в следующие двадцать пять лет эта сумма продуктов снова удвоилась. Подобное ожидание совершенно бы противоречило всем нашим понятиям о плодотворной силе почвы. Среднее количество продуктов земли, получаемое в настоящее время вследствие новой, лучшей разработки, может конечно увеличиваться, так что в течение каждого двадцатипятилетнего периода к нему будет присоединяться известный прирост; но самые эти периодические прибавки не только не будут увеличиваться, но напротив будут постоянно уменьшаться. Другими словами *средства пропитания никогда не могут увеличиваться, подобно народонаселению, в геометрической прогрессии и при самых благоприятных обстоятельствах могут размножаться только в прогрессии арифметической.*

Сравнив между собой эти два закона размножения, мы должны необходимо прийти к следующим результатам. Предположим, что население Великобритании состоит нынче из 11 миллионов человек, и что нынешние продукты ее почвы достаточны для содержания такого числа людей. Через 25 лет население будет в 22 миллиона человек и сумма средств пропитания также удвоится, так что будет еще достаточной для прокормления всех жителей. Но в следующие за тем 25 лет число населения достигнет до 44 миллионов, а средства пропитания доставят содержание только 33 миллионам. В следующий период, при населении в 88 миллионов, средства пропитания будут достаточны только для содержания половины этого числа людей. Наконец после первого столетия число жителей будет в 176 миллионов, а средства пропитания будут достаточны только для 55, так что 120 миллионов человек должны будут умереть голодной смертью.

Если теперь вместо одной Англии мы возьмем целую поверхность земного шара, то эта прогрессия будет еще разительнее, потому что тут уже нельзя будет избежать ее последствий посредством переселений. Род человеческий и средства пропитания будут размножаться следующим образом:

Народонаселение	1,	2,	4,	8,	16,	32,	64,	128,	256
Средства пропитания	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9

Таким образом через два столетия средства пропитания будут относиться к числу народонаселения, как 9 к 256, а через три столетия, как 13 к 4096. Наконец через две тысячи лет различие между двумя величинами будет огромно и почти неизмеримо.

Из этого можно заключить, что настоящее и главное препятствие развитию народонаселения заключается в недостатке средств пропитания. Но это главное и высшее препятствие, к которому примыкают и из которого исходят все остальные, действует непосредственным и прямым образом только в случае голода. Непосредственные же препятствия народонаселения, действующие постоянно и безостановочно, слагаются из всех обычаев и болезней, происходящих от недостатка средств пропитания, сюда же должно присоединить и все независящие от этого недостатка физические и нравственные причины, отнимающие преждевременно жизнь у человека.

Эти препятствия развитию народонаселения, которые действуют с большей или меньшей силой во всех человеческих обществах, приводя число жителей каждой страны в настоящее соотношение с средствами пропитания, могут быть разделены на два класса. Одни из них удерживают народонаселение от чрезмерного размножения; другие уничтожают народонаселение уже образовавшееся. Совокупность первых составляет так называемое препятствие *предупреждающее* (*preventive check*), совокупность вторых—препятствие положительное или *разрушающее* (*positive check*).

Препятствия предупреждающие заключаются в воле самого человека, который воздерживается от брака и от рождения детей, как скоро не видит возможности содержать свое семейство. Иногда человек руководствуется при этом побуждениями похвальными и, воздерживаясь от брака, ведет скромную жизнь; иногда напротив он отказывается от брака для того, чтобы предаться распутству, которое в свою очередь, когда доходит до известных пределов, предупреждает также рождение детей. Разрушающие препятствия бывают различного рода. Они состоят из всех причин, сокращающих каким бы то ни было образом жизнь человеческую. Сюда можно отнести все вредные для здоровья занятия, излишние или слишком тяжкие труды, крайнюю бедность, дурную пищу, нездоровый воздух в больших городах, всякого рода бедствия, болезни, чуму, язву, голод, войну, естественные несчастья. Все эти многообразные препятствия, как предупреждающие, так и разрушающие, могут быть подведены под три главные категории: нравственное принуждение или воздержание (*moral restraint*), пороки и бедствия всякого рода (*misery*).

Между всеми этими препятствиями, удерживающими народонаселение в должных пределах, нравственное воздержание представляется наименее мучительным для человека, наиболее сообразным с его внутренним достоинством. Но история пока-

зывает нам, что число людей благоразумных, воздержанных и добродетельных бывает всегда и везде весьма незначительно. Поэтому мы встречаем почти во всех странах постоянное стремление людей к чрезмерному размножению, превышающему средства пропитания; только нищета, бедствия и пороки могут своим губительным и страшным действием восстанавливать настоящую соразмерность между народонаселением и средствами пропитания. *«Таким образом это постоянное стремление народонаселения к излишнему распространению сопровождается неизбежно бедностью низших классов общества и полагает решительное препятствие всякому улучшению их судьбы»*¹.

В современных обществах влияние этого закона на развитие нищеты и на упадок низших классов общества происходит обыкновенно следующим образом. «Представим себе такую страну», говорит Мальтус: «где средства пропитания будут достаточны только для существующего в ней населения. Постоянное стремление последнего к размножению, стремление, имеющее место даже в самых неустроенных обществах, увеличит непременно число людей с такой быстротой, с какой не могут увеличиться средства пропитания. Известная сумма естественных произведений, которая была достаточна например для прокормления 11 миллионов человек, должна быть распределена теперь между 11 миллионами с половиной. Такое положение вещей сделает жизнь бедного еще тягостнее прежнего и доведет многих до самого отчаянного положения. Притом, так как с увеличением числа работников предложение труда превзойдет его требование, то задельная плата необходимо упадет в цене; вместе с этим цена хлеба и других жизненных припасов возвысится, и таким образом работник принужден будет, если он не хочет отказаться от прежнего образа жизни, работать гораздо больше, чем прежде. Во время такого бедственного положения браки сделаются реже и содержание семейств будет так затруднительно, что народонаселение необходимо остановится и перестанет размножаться. В то же время низкая цена труда, излишество работников и необходимость работать более прежнего будут побуждать земледельцев к увеличению их деятельности, к расчистке неводеланных земель и к новой, более старательной и совершенной разработке земель уже возделанных. Таким образом мало-помалу средства пропитания достигнут до того же самого положения, в котором они находились до начала кризиса. Тогда положение работника улучшится; вместе с этим устранится препятствие, которое останавливало размножение народонаселе-

¹ *Malthus*

ния, и после непродолжительного промежутка повторится опять необходимо такой же точно кризис¹.

Главный практический результат, вытекающий прежде всего из этих основных начал, положенных Мальтусом, очевиден и понятен. Если постоянная несоразмерность между развитием средств пропитания есть явление неизбежное, основанное на самом законе природы, то само собой разумеется, что и нищета рабочих классов есть также явление неизбежное, основанное также на законе природы. Страдания и бедствия человечества являются следовательно роковой необходимостью, против которой человек не в силах ничего сделать, против которой даже безумно роптать. Все возможные усилия уничтожить такой порядок вещей, который основан на взаимодействии двух равно необходимых законов, не могут иметь никаких других последствий, кроме неудачи и разочарования. Остановимся покуда на этом первом и главном результате, и постараемся: найти в нем объяснение той участи, которая постигла теорию Мальтуса.

Сочинение Мальтуса, при самом появлении своем в свет, произвело огромное впечатление и доставило автору в самое короткое время европейскую известность. Впечатление, им произведенное, было впрочем весьма различно, и мы заметили выше, что эта теория подала повод к жаркой, упорной борьбе, до сих пор еще не успевшей прийти к окончательной развязке. Имя и учение Мальтуса сделались для одних предметом самого неограниченного благоговения и восторженных похвал, для других предметом самой ожесточенной ненависти, самых неумеренных нападок. Восторг почитателей Мальтуса и озлобление его противников доходили до крайности. Немецкий переводчик Мальтуса, Гегевиш, называл его теорию—«откровением законов нравственного мира, подобным открытию законов мира физического, сделанному Ньютоном». Противники Мальтуса, увлекаясь справедливым негодованием против результатов его теории, нападали часто и на самый личный характер Мальтуса, обвиняя его в безнравственности, бесчеловечии, в корыстных и низких делах. Появилось бесчисленное множество сочинений, изданных как в опровержение, так и в защиту Мальтуса, и в одной Англии насчитывают более двадцати книг и шестидесяти журнальных статей, написанных против этой теории. Среди этой борьбы учение Мальтуса приобретало себе с каждым днем новых поклонников между высшими классами общества и особенно между людьми, сосредоточивавшими в руках своих политическую власть. Под их покровительством это учение

¹ *Malthus*, p. 17.

стало постепенно переходить из книг в действительную жизнь. В 1834 году английский парламент преобразовал законодательство о бедных сообразно с началами и советами Мальтуса. В большей части европейских государств правительства, испуганные пророчествами Мальтуса, отменили прежние законы, которые покровительствовали размножению народонаселения, и таким образом прежнее стремление к поощрению брачной жизни заменилось вдруг стремлением совершенно противоположным. Особенно сильное влияние имела теория Мальтуса на судьбу политической экономии. Ученики Адама Смита приняли ее с радостью, как великое экономическое открытие, как вполне успешное решение важного вопроса, нетронутого самим Смитом. С тех пор начало народонаселения сделалось одним из основных начал экономической науки и признано было за самую твердую и непреложную аксиому.

Нет ничего легче, как объяснить этот восторг, возбужденный теорией Мальтуса в известных классах общества: стоит только вспомнить основной результат этой теории и тогдашнее состояние умов в Англии и в целой Европе. Сочинение Мальтуса имело огромный успех, потому что явилось весьма кстати и представило новый сильный аргумент в пользу партии, которая с каждым днем теряла более и более свое значение и силу. Мальтус явился как ревностный защитник торизма, как экономист привилегированных классов в то самое время как аристократия истощила уже безуспешно все средства находившиеся в ее руках, для противодействия напору новых идей и народных требований. Мысль о необходимости существенного преобразования общественных отношений, проникала мало-помалу в общественное сознание и наконец перешла в самую жизнь. Всеобщая потребность в переходе от старого порядка вещей к новому усиливалась постоянно и громко требовала себе удовлетворения. Среди страшной борьбы, возбужденной этим требованием и отчаянным противодействием привилегированных классов, всеобщее внимание устремлено было на экономическую науку; все партии признавали ее безмолвно за верховного судью в этом деле и с трепетом ждали от нее решения для этого запутанного вопроса. Но политическая экономия, только что созданная в это время Адамом Смитом, еще не успела коснуться вопроса о распределении богатств. Вопрос этот был уже подвергнут подробному и глубокому рассмотрению со стороны философов и юристов; но политическая экономия еще не высказала своего приговора и, объяснив подробно те законы, по которым, при нынешнем состоянии общества, произведенные богатства распределяются между его членами, не ска-

зала еще ничего о возможности или невозможности заменить этот порядок вещей другим устройством. Очевидность и твердость экономических формул, открытых Смитом, имели последствием всеобщую доверенность к политической экономии, от которой ожидали решения удовлетворительного и непреложного, способного прекратить разом все разногласия и недомыслия. Этому всеобщему ожиданию взялся удовлетворить Мальтус, и через него высказала, казалось, свой приговор сама наука. Но этот приговор заключал в себе так много пристрастия и односторонности, так явно клонился в пользу одной партии и так мало брал в соображение требования справедливости и интересы большинства, что не все могли подчиниться ему беспрекословно, признать его справедливым и отказаться от неотъемлемого права апеллировать на него перед судом здравого смысла и науки. Притом, практические результаты, выведенные Мальтусом из его основного начала, так противоречили всем общепринятым понятиям, философским, нравственным и религиозным, и заключали в себе так много жестокого и возмутительного, что не могли не отвратить от этого страшного и противоестественного учения всех людей с натурой не зачерствелой, а живой и восприимчивой, способной сочувствовать бедствиям человечества и страдать его страданиями. Но зато с другой стороны все, находившие существовавший порядок вещей сообразным с своими личными интересами, схватились с жаром за теорию Мальтуса, превознесли ее до небес, обратили науку в орудие для достижения своих неблагородных целей и, стали провозглашать радостно и громко, что политическая экономия разрешила окончательно спор, что народонаселение размножается всегда быстрее, нежели средства пропитания, что это излишнее размножение людей основано на самом законе природы,— что, следовательно, нищета и страдания, последствия такого размножения, представляются также явлением неизбежным, естественным, основанным также на законе природы, и что, наконец, всякая мысль о возможности уничтожить или уменьшить страдания человечества и улучшить настоящий порядок вещей, есть не что иное как утопия, мечта, нелепость, находящая себе опровержение как в истории, так и в действительности,— как в истинных началах науки, так и в непреложных законах, установленных для человеческого развития самим провидением.

Противоположность между интересами целого общества, отвергающими теорию Мальтуса, и исключительными интересами одной касты, находящими в ней полное удовлетворение, не перестает существовать и в настоящее время; поэтому весьма есте-

ственно, что и самое разногласие, возбужденное этой теорией, до сих пор еще не могло совершенно прекратиться. Нельзя не заметить, однако, что это разногласие выражается теперь далеко не так сильно и резко, как выражалось оно прежде. С одной стороны, приверженцы Мальтуса, отчаиваясь в победе и видя постоянную безуспешность своих усилий, уступают мало-помалу поле битвы своим врагам и, обнаруживая необыкновенную готовность к уступкам всякого рода, перестают уже поддерживать свое любимое учение с прежней энергией и страстью. С другой стороны, противники Мальтуса, видя ослабление своих врагов и имея полное право считать себя победителями, убеждаются в свою очередь, что неправильность практических выводов Мальтуса сама собой очевидна и не требует дальнейших доказательств, между тем как несправедливость его основного начала до сих пор еще не вполне доказана и не может быть доказана иначе, как посредством научного исследования отношений, существующих между народонаселением и производительностью. Таким образом, спор о начале народонаселения теряет мало-помалу характер ожесточенной и непримиримой борьбы, и прежняя жаркая полемика уступает место спокойному исследованию и анализу фактов. Эти исследования не привели еще науки к желаемому результату и, объяснив удовлетворительно многие стороны вопроса, не успели еще разъяснить вполне остальные его стороны. Но прежде, нежели мы укажем на то, в чем, по нашему мнению, заключается категорическое и гипотетическое содержание вопроса о народонаселении, мы заметим, что в наше время, после долгих споров о Мальтусе и вследствие этих споров, наука и общественное сознание пришли к двум общим и несомнительным результатам, почти единогласно признаваемым всеми.

Во-первых, все неумеренные нападки, сделанные противниками Мальтуса на личный характер этого экономиста,—признаны в настоящее время несправедливыми и неосновательными. Эпоха страстного увлечения в этом деле уже прошла; настало время тихих, ученых разысканий и следовательно теперь всякое смещение личности с идей уже не может быть допускаемо. Мы не станем, конечно, обвинять Годвина и других противников Мальтуса за то невольное увлечение, которому они подчинились в жару спора и негодования. Мы знаем очень хорошо, что подобного увлечения невозможно избежать во время борьбы, и что те самые люди, которые всего сильнее нападают на эту слабость, предаются ей прежде других, как скоро доходит дело до их самолюбивых претензий или до их заветных убеждений. Но теперь, когда прошло уже более пяти-

десяти лет со времени появления книги Мальтуса, когда личный характер и жизнь его сделались более или менее известными для всех, было бы совершенно непростительно повторить снова первую ошибку и не оправдать Мальтуса от несправедливых обвинений, на него возведенных. Мы имеем теперь полную возможность оценить беспристрастно и умеренно труды и заслуги Мальтуса и, не соглашаясь несколько с его учением, признавая его выводы бесчеловечными и жестокими,—отдать полную справедливость благородству его намерений и добросовестности его убеждений. Последний пункт поставлен теперь вне всякого сомнения. Мальтус развивал и защищал свое начало народонаселения не потому, чтобы он хотел через это приобрести покровительство и одобрение английской аристократии, но потому, что он был твердо убежден в его справедливости и разумности. В недобросовестном искажении истины для личных, корыстных целей должно обвинять не Мальтуса, а современных его последователей, упорно и сознательно отвергающих самые сильные, самые убедительные доказательства, приводимые против их теории. Неумолимая жестокость тех практических результатов, до которых дошел Мальтус, должна быть также приписана не личному его характеру, а той строгой логической последовательности, с которою он выводил эти результаты из основного начала, положенного им в основание своей теории. Нам известно, что в частной жизни Мальтус отличался всегда необыкновенным добродушием, мягкостью характера и искренним сочувствием к страданиям человечества. Проповедуя необходимость совершенного равнодушия к судьбе бедных классов общества, он сам в действительности отступал нередко от этих бесчеловечных и противоестественных правил и таким образом доказывал собственным примером невозможность их применения.

Во время самого сильного разгара борьбы, возбужденной учением Мальтуса, многие из противников его старались доказать, что не он обратил первый раз внимание науки на необходимую связь, существующую между развитием народонаселения и производительности,—что эту связь имели в виду и прежние мыслители, и что даже самое начало народонаселения, ему приписываемое, принадлежит вовсе не ему и недобросовестно было ему присвоено. Эти обвинения также не могут быть признаны справедливыми. Общественное мнение произнесло окончательный суд в этом деле, связав навсегда, вопреки всем усилиям библиографов, имя Мальтуса с теорией народонаселения, им высказанной. Действительно, нельзя не признать, что эта теория, какова бы ни была впрочем ее справедливость, при-

надлежит Мальтусу неоспоримо и неотъемлемо. Правда, и прежде Мальтуса были писатели, которые, как сказано было выше, сомневались в благодетельных последствиях постоянного раа—множения народонаселения, некоторые на них упоминали даже о том общем законе, по которому развитие народонаселения соотносится всегда с развитием средств пропитания. Тем не менее, до появления книги Мальтуса, этот общий закон не был подвергнут никем подробному и ученому исследованию. Притом все прежние писатели ограничивались только тем, что провозглашали начало, не выводя из него никаких результатов; Мальтус не „только старался доказать действительность этого начала, собрав для этого огромное количество исторических и статистических данных, но извлек из него множество практических последствий, которые собственно придают его теории ее оригинальность и значение¹. Наконец, во всяком случае нельзя не сознаться, что Мальтус оказал важную *услугу* науке тем, что первый стал рассматривать вопрос о народонаселении во всей его многосторонности и глубине, видя в нем вопрос общественный, а не исключительно политический.

Другой результат пятидесятилетней полемики между последователями и противниками Мальтуса заключается в том, что в настоящее время никто уже не приписывает этой теории безусловной справедливости и непогрешимости. Одни отвергают как основные начала, так и практические результаты этого учения, другие, отвергая результаты, принимают только основные начала, хотя первые вытекают совершенно логически и естественно из последних. Даже самые ревностные последова-

¹ Обилие фактических материалов составляет одно из главных достоинств сочинения Мальтуса. Первое издание его «Опыта», вышедшее в 1798 году без имени автора, было крайне неудовлетворительно в этом отношении. Мальтус не был ученым в полном смысле этого слова, и потому, издав в первый раз свою книгу преимущественно с целью политической, он для подтверждения своего учения заимствовал только небольшое число фактов из сочинений Юма, Смита, Валласа и доктора Приса. Но чрезвычайный успех его теории и возбужденные ею споры побудили его изучить основательнее этот вопрос и проследить влияние начала народонаселения на благосостояние народов в различные эпохи истории. Заимствуя для этой цели множество материалов из исторических сочинений и отчетов путешественников, он решился дополнить их собственными наблюдениями над различными странами Европы. Весной 1799 года он оставил Англию и посетил Данию, Швецию, Норвегию, часть России, Швейцарию и Савойю. Факты, собранные им из книг и из личных наблюдений, вошли во 2-е издание его «Опыта», сделанное в 1803 году и. подписанное его именем. Они не всегда отличаются точностью и притом расположены без связи и искусства; несмотря на это, в них можно найти много любопытного и поучительного.

тели Мальтуса не принимают его идей во всем их объеме, а допускают в них то те, то другие изменения или ограничения. Впрочем вопрос о том, до какой степени справедлива или нет теория Мальтуса, и в чем именно заключается ее несправедливость, до сих пор еще составляет предмет разногласий и споров. Подвергнув результаты и существо теории Мальтуса научному, методическому разбору, мы надеемся уяснить до известной степени этот вопрос и раскрыть возможно очевидным образом произвольность начал, лежащих в основании гипотезы Мальтуса.

Всякая новая идея, всякая ученая гипотеза тогда только может быть признана одним из истинных начал науки, когда посредством надлежащей и строгой проверки раскроется достаточным образом ее справедливость и сообразность с другими несомненными началами и законами. Для проверки всякой мысли, выдаваемой за истину, в руках человека находятся обыкновенно два средства, два критериума. Одно из этих средств, самое непосредственное и ближайшее, состоит в сличении, в сопоставлении новой идеи с идеями уже известными, доказанными, поставленными вне всякого сомнения и спора. Исходя из того несомненного начала, что как в целой совокупности человеческих познаний, так и в каждой отдельной науке, различные истины и начала должны находиться между, собою не в противоречии и разногласии, а в единстве и гармонии, мы имеем полное право требовать от каждой новой идеи, чтобы она не только не противоречила нашим настоящим, несомненным убеждениям, но напротив мирилась бы и гармонизировала с ними. Сопоставление вновь явившейся гипотезы с общепризнанными истинами может привести к одному из двух результатов. Или окажется, что новая теория сходится во всех пунктах с этими истинами, дополняет их и объясняет и не только не нарушает собой их гармонии, но, напротив, находит себе между ними естественное законное место,—и тогда мы уже имеем до известной степени право признать с первого раза эту теорию, если не истинной, то по крайней мере заключающей в себе все признаки и условия истины и правдоподобия. Или, напротив, новая гипотеза, кем-либо придуманная и открытая, окажется совершенно несогласной с самыми заветными, самыми непреложными нашими убеждениями, будет противоречить им и ниспровергать их и своим вторжением в их сферу нарушать их гармонию, порядок и единство,—и тогда такое противоречие, поставит человека в необходимость или отказаться от всех прежних убеждений, всеми признанных и совершенно доказанных, или же отвергнуть без всякого дальнейшего анализа новую

теорию, *по* причине ее несообразности с самыми, очевидными и верными началами, с самыми непреложными аксиомами науки.

Но такой способ обнаружения справедливости или несправедливости ученых гипотез, вполне достаточный для людей с непоколебимыми и твердыми убеждениями, не может быть никогда одинаково удовлетворителен и убедителен для всех. Путем сопоставления идей можно только показать несправедливость теории, но невозможно доказать этой несправедливости; другими словами, невозможно раскрыть ее причины и источника. Таким образом является необходимым второй критериум истины, второй способ проверки, состоящий в положительном раскрытии и доказательстве неосновательности той или другой гипотезы путем наведения и силлогизма, посредством подробного и верного анализа не результатов теории, а самых оснований, на которых она зиждется. Этот анализ может, разумеется, привести опять к двоякому заключению: или он подкрепляет благоприятные результаты первой проверки и докажет окончательно справедливость гипотезы, или, напротив, оправдывает недоверчивость, возбужденную первой проверкой, и раскроет неосновательность придуманной теории совершенно положительным и научным образом.

В этой статье мы воспользуемся и тем и другим критериумом истины для полного раскрытия несправедливости тех Начал, на которых основана теория Мальтуса. Сначала, изложив те результаты, к которым приводит необходимо эта теория, мы постараемся показать их несообразность с истинными началами философии, нравственности и политики. Потом, обратив внимание на основное начало Мальтуса, мы постараемся посредством тщательного анализа экономических и общественных явлений определить истинное отношение производительности к народонаселению и обнаружить таким путем неправильность решения, данного Мальтусом этому вопросу.

Первую половину этой задачи выполнить не трудно. Практические результаты, к которым приводит теория Мальтуса, так очевидно нелепы, так явно противоречат всем общепринятым понятиям и убеждениям, что нет никакой надобности употреблять большие усилия для их опровержения. Опровергать их даже вовсе не нужно. Достаточно изложить выводы Мальтуса во всей их наготе для того, чтобы убедить всех и каждого в их несообразности с истинными началами науки и с действительными законами человеческой природы и общественной жизни.

II КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРИИ МАЛЬТУСА

Эпохи переходные не отличаются никогда единством и общностью убеждений. Поэтому существенную принадлежность нашего века, принадлежащего без сомнения к числу таких эпох, составляет чрезвычайное разнообразие индивидуальных мнений и верований. Это разнообразие есть плод глубокого раздвоения, проникающего собой всю умственную и общественную деятельность современных поколений. Горькое сожаление о прошедшем, осужденном на неминуемую гибель, и живая вера в будущее, еще скрытое от нас непроницаемым покровом, составляют два крайние полюса, между которыми в шумном и беспорядочном круговороте движутся, сталкиваются, сходятся и расходятся самые противоположные, самые разнородные требования, интересы, идеи и системы. В философии, в нравственности, в политике, во всех сферах человеческого мышления, падение старых авторитетов и освобождение разума от прежних оков, предоставив полный простор разгулу фантазии и личного размышления, уничтожили то единодушие, с которым прежде почти все без исключения веровали беспрекословно в известный ряд идей, в известные философские и политические учения. Теперь каждый отдельный человек имеет или считает долгом иметь свою особую *profession de foi*¹, свой личный взгляд на вещи, и в этих личных взглядах общие идеи, под влиянием точности каждого, принимают свои особые оттенки и разнообразятся до бесконечности. Известная поговорка: «сколько голов, столько умов» никогда не имела столько практического значения, как в наше время; ее можно назвать без преувеличения самым полным и верным выражением умственного состояния нынешней эпохи.

Но в истории человечества каждый отдельный момент отличается своим особым характером; каждое поколение имеет свое призвание, каждое столетие имеет свою задачу, которую юно обязано осуществить и выполнить. Эта основная задача века составляет то общее, неизменное начало, которое возвышается над всеми частными, произвольными или случайными явлениями и, выражаясь во всех отдельных событиях каждой эпохи, придает им единство, значение и смысл. Поэтому и в наше время, среди бесконечного разнообразия интересов, стремлений и взглядов, нетрудно открыть небольшое число

¹ Символ веры, мировоззрение — *Ред.*

общих, единогласно признаваемых идей, которые составляют как бы *лозунг* и девиз нашего века, то зная, за которым следуют современные поколения, стремящиеся различными путями к одной и той же цели. Такие идеи имеют характер не субъективного воззрения, а объективной истины; выработанные столетиями: и извлеченные из самой жизни, они составляют исходную точку самых противоположных учений и общее основание самых различных убеждений. Тот, кто не исповедует этих идей, кто не успел усвоить их себе и проникнуться ими, не может быть назван человеком современным, стоящим вровень с своим веком; он представляет собой абнормальное, уродливое явление, плачевный остаток мертвого и сгнившего прошедшего среди свежих и юных элементов новой жизни. Число таких общепризнанных идей и начал в настоящее время весьма незначительно; но эта самая малочисленность их придает им особенную важность и значение. То единодушие, с которым эти идеи признаются всеми за несомненную истину, представляет тем сильнейшее ручательство за их верность и справедливость, чем более разногласия и противоположности находим мы во всех других вопросах общественных и философских. Поэтому, как скоро является система, которая приводит к результатам, явно ниспровергающим эти общие убеждения века, общественное сознание имеет полное право встретить с недоверчивостью и даже отвергнуть эту новую систему, или, по крайней мере, смотреть на ее несообразность с началами, всеми признанными, как на самый сильный и убедительный аргумент против ее справедливости.

Одна из таких идей, которые можно по справедливости назвать общими, коренными убеждениями века, есть идея о постоянном, постепенном, бесконечном усовершенствовании человечества. В настоящее время самые разнородные, даже диаметрально противоположные друг другу мнения и системы сходятся между собой в том, что все опираются одинаково на веру в усовершенствование. Смотри по различию взглядов и убеждений, смотри по степени развития и образования каждого, всякий отдельный человек понимает усовершенствование по-своему и полагает его в том или другом. Но мнения о существовании усовершенствования могут быть различны; самая же вера в прогресс проникает одинаково всех, является звеном, связывающим в одно целое все философские и политические партии и составляет главное основание современных взглядов на жизнь и развитие человечества, взглядов, уже не допускающих ни исторического фатализма, ни исторического скептицизма, и представляющих историю не игрой слепого случая, не царством

неизбежного рока, а постоянным открывением всеобщего разума, двигающего людьми и событиями и исправляющего человека и общество путем постепенного развития и усовершенствования к осуществлению того высокого идеала, в котором заключается назначение и цель человечества.

В существе дела самые мнения о значении и цели усовершенствования, несмотря на видимую противоположность, разнятся между собою только в оттенках или во внешнем выражении. В основании всех этих различных мнений лежит одна и та же простая и очевидная мысль. Если назначение человечества состоит в том, чтобы постоянно совершенствоваться и развиваться, то весьма понятно, что совершенство должно признать необходимо окончательной целью стремлений человечества и последним пределом его деятельности. Но совершенство, как для отдельного человека, так и для целого человечества, состоит в гармоническом всестороннем развитии его способностей и сил и в полном удовлетворении всем законным его потребностям, данным ему природой и развитым образованностью. Другими словами, истинное призвание человечества заключается в непрерывном стремлении к счастью, к блаженству, к развитию своего благосостояния в физическом, материальном, умственном и нравственном отношениях. Повторяем еще раз: мысль о счастье, как последней цели стремлений человечества, есть мысль, признаваемая всеми одинаково, но только понимаемая и высказываемая различно. Эта мысль у поэтов и философов выражается нередко в поэтических образах или в отвлеченных формулах, но в существе своем она остается всегда единой и неизменной. Даже последователи аскетизма, жертвующего живой природой человека во имя безжизненной абстракции, исповедуют ту же самую идею, с тем только различием, что, отказывая человеку в одном счастье, обещают ему счастье другого рода. Но аскетическое учение, которое без сомнения имело некогда историческое значение и принесло в свое время значительную пользу, в настоящую минуту исчезает с каждым днем пред распространяющимся светом образованности. Благодаря необыкновенным успехам промышленности и новым более разумным взглядам на человека и общество, мы смотрим теперь на счастье, как на удел, доступный человечеству и на земле. Не допускать этого значило бы идти наперекор природе и существу человека. Человек приходит на землю с известными потребностями, без удовлетворения которых он не может существовать, с известными желаниями, от достижения которых он ожидает для себя удовольствий и наслаждений. Если он не внимает призыву своих нужд, если он оставляет их без

удовлетворения, он терпит лишения, чувствует недостаток, одним словом, *страдает*; но страдание так противно природе человека, что самые тяжкие труды, самые чрезвычайные усилия кажутся ему ничтожными и легкими, как скоро посредством их он надеется уменьшить тяжесть своей доли и увеличить массу своих наслаждений. Природа, которая устроила все разумно и предусмотрительно, вложив в организм человека настоятельные потребности и стремления, не хотела, чтобы эти потребности и стремления оставались без удовлетворения, не хотела обречь человека на вечную и незаслуженную муку. Поэтому она рассыпала везде щедрой рукой обильные дары, служащие человеку средством для достижения его целей и дала в то же время самому человеку возможность и силу воспользоваться этими средствами. Посредством своего труда и при содействии сил природы, человек возвышает мало-помалу степень своего благосостояния, сбрасывает с себя оковы нищеты и страдания и устраняет те препятствия, которые он встречает на пути к развитию своего благоденствия. В этом постоянном стремлении человечества к счастью и к уничтожению тех преград, которые полагают противодействие этому стремлению, заключается настоящий источник всего прекрасного, благородного и высокого, являющегося в жизни и деятельности человека, истинная причина происхождения обществ и всех успехов общественной жизни и единственная исходная точка всякого философского воззрения на исторические события.

Но признавая таким образом, что жизнь и история человечества есть не что иное, как ряд постепенных успехов и усовершенствований, принимая счастье за настоящую цель и окончательный результат человеческой деятельности, нелепо было бы отвергать в то же время возможность достижения этой цели и думать, что счастье на земле должно оставаться навсегда недоступным человеку. В подобном взгляде легко обнаружить недостаток логики и последовательности. Осуждать человечество на вечное стремление к усовершенствованию, когда цель этого стремления—совершенство, для него недоступна и недостижима,—есть верх неразумия.

Как скоро мы принимаем две предшествующие аксиомы—постоянство успехов и развития человечества и существование в человеке врожденного стремления к благоденствию, мы должны принять в то же время, как неизбежный, логический результат, вытекающий прямо из этих двух посылок, полную возможность постепенного достижения с течением времени того идеала; того совершенства, которое составляет цель всей нашей деятельности. Другой вопрос: в чем именно должно состоять это

совершенство и до какой степени различные идеалы счастья и блаженства могут быть сообразны с природой и свойствами человека, могут быть осуществимы на земле? Тут можно допустить вполне возможность и законность споров, недоумений, разногласий; тут могут иметь [место] различные догадки, различные гипотезы, более или менее удовлетворительные и правдоподобные, смотря по тому, более или менее они согласуются с существом человека, с законами природы и с указаниями истории и действительности. Мы можем думать (и иные, основываясь на аналогии между человеком и физической природой, действительно так думают), что человеку суждено рано или поздно достигнуть того идеального состояния, того безусловного, безграничного совершенства, за которым уже не остается никакого предмета желаний, никакой дальнейшей цели стремлений, так что с достижением этой цели род человеческий, лишившись той побудительной причины, которою обуславливались его развитие и деятельность, должен неминуемо перестать развиваться, а следовательно, и жить и, вступив таким образом в новую фазу своей деятельности, в период постепенного и постоянного падения, стремиться к уничтожению и смерти, точно так же как прежде он стремился к усовершенствованию и жизни. Или напротив, не признавая в аналогии достаточного мерила истины, отвергая первую мысль, как несообразную с началами здравого смысла, и допуская гипотезу бессмертия человеческого рода, мы можем предполагать, что развитие человечества должно быть бесконечно, что всякий новый успех его должен заключать в себе источник и побудительную причину для дальнейших успехов, и что совершенство для человека может быть только относительное, условное, состоящее в уничтожении всех тех причин, которые заставляют его вместо развития мирного, естественного, любовного, покупать каждый шаг вперед, каждую победу над препятствиями ценой страшной борьбы, ценой страданий, унижения и мук. Но во всяком случае, примем ли мы ту или другую гипотезу, мы должны неизбежно для того, чтобы не отступить от исходной точки обоих этих мнений, признать необходимость и, следовательно, возможность уничтожения тех болезней общества, которые, основываясь не на природе вещей, а на недостатках общественной организации, полагают противодействие природному влечению человека к твердому упрочению своего благоденствия, порождая, как первое и ближайшее последствие, нищету, а за ней и все другие бедствия, терзающие человечество; всеобщую, страшную борьбу интересов и мнений, физический, умственный и нравственный упадок целых классов общества, коснеющих в не-

вежестве, разврате и унижении. Требования пользы и требования правды, интересы каждого отдельного лица и интересы целого общества соединяются тут воедино для того, чтобы укрепить в нашем сознании мысль о необходимости преобразовать порядок вещей, основанный на противоестественном дуализме начал, в существе своем единых и тождественных. Религия, философия и история приводят нас в этом случае к одному и тому же результату. Первая предписывает нам верить, что воля божия осуществится рано или поздно на земле, точно так же как она осуществляется на небе. Вторая говорит нам, что все разумное должно быть действительным, что противоречие между разумом и бытием не может существовать постоянно, но должно постепенно исчезать и изглаживаться, как и всякое явление неразумное, призрачное, не имеющее в себе внутреннего оправдания. История показывает нам, как вследствие безостановочных, хотя и медленных успехов, человечество приближается более и более к достижению этого результата, выдаваемого многими за произвольную и неосуществимую утопию, как разрушая мало-помалу преграды, встречаемые на этом пути, оно уже успело пройти половину дороги, победив уже множество враждебных начал и подготовив решительными мерами скорое падение и смерть остальных. Ограничиваясь даже одной чисто экономической сферой и принимая в соображение только материальное благоденствие рабочих классов, необходимое условие всякого другого усовершенствования, умственного и нравственного, мы видим из истории, как постепенно рабство древнего мира, уничтожавшее в человеке все условия его человеческого достоинства, сменилось феодальным устройством, основанным на отношениях вассальных; как *это* в свою очередь уступило место системе монополий и корпораций, где безопасность и благосостояние производителей являлись следствием не права, а привилегии и милости; как, наконец, свобода промышленности и труда, основное начало нынешнего устройства экономических отношений, предоставив производителям классам полный и неограниченный произвол в их деятельности, освободив их от прежних притеснений и тягостного гнета, породила в то же время неравную борьбу между производительными силами и, предоставив слабым в жертву сильнейшим, положила зародыш новой феодальной аристократии, основанной на неограниченном владычестве капитала над трудом. Еще один шаг—и цель будет достигнута. Неограниченная свобода промышленности, или—что то же, безусловное господство анархии и произвола, падет рано или поздно, точно так же как пали и все другие неразумные, несправедливые учреждения,

произведенные силою исторической необходимости в ею же уничтоженные; и организация труда, основанная не на состоянии, а на единстве и солидарности интересов, водворит со временем мир и гармонию там, где мы видим теперь только непримиримую борьбу и глубокий разлад всех основных стихий общественной деятельности. Организация труда решительно и безусловно необходима для удовлетворения самым настоятельным потребностям современного человечества, а все безусловно необходимое не может быть невозможным. Мы не имеем притом никакой причины сомневаться в этой возможности и находим, напротив, самый сильный повод к устранению всех этих сомнений в нынешнем настроении общественного сознания и в тех блистательных подвигах, которые производит теперь промышленная деятельность человека под влиянием постепенного разделения труда, распространения машин, улучшения способов производства, развития кредитной системы и других экономических усовершенствований, несмотря на то, что все эти усовершенствования, прилагаемые нами к испорченной и неустроенной среде, далеко не могут производить всех тех результатов, какими бы они могли сопровождаться при условиях более благоприятных и при устройстве более разумном.

Таким образом, вера в усовершенствование человечества, мысль о блаженстве, как окончательной цели человеческой деятельности, и, наконец, уверенность в необходимости и возможности изгнать из общественного устройства все то, что полагает преграду к достижению этой цели,—вот в чем заключаются наиболее существенные убеждения нашего поколения и нашего времени.

Теория Мальтуса приводит, как мы уже видели, к результатам совершенно уничтожающим все эти убеждения. Приняв ее, мы должны отречься навсегда от всякой надежды на постепенное усовершенствование общественной жизни и на исцеление тех язв, от которых страдают современные общества. Пауперизм со всеми его страшными последствиями является после этого не результатом дурной экономической организации, а явлением естественным, необходимым, имеющим свой источник в законе народонаселения, в законе самой природы. Этот неутешительный взгляд на общество и на его судьбу составляет самую характеристическую черту Мальтусова учения и вытекает из него, как логический, совершенно необходимый результат. Мы уже старались показать, что этому-то именно результату обязана эта теория и тем необыкновенным восторгом, с которым встретили ее одни, и той непримиримой ненавистью, с которой преследовали ее другие. Нам остается только

доказать, что сам Мальтус вполне понимал практическое значение своего учения, и что он не только не отвергал указанных нами результатов, но напротив, как будто построил свою теорию единственно с той целью, чтобы оправдать и доказать неразумность этого мрачного, фаталистического воззрения на постоянное борение с нищетой и страданием, как на вечный необходимый удел человека на земле.

В предисловии ко второму изданию своей книги¹. Мальтус сознается сам, что его теория одолжена своим происхождением одному из памфлетов Годвина, направленному против тех злоупотреблений, к которым подает повод сосредоточение огромных богатств в руках небольшого числа лиц;—и прибавляет к этому, что он развил свое начало народонаселения преимущественно с тем, чтобы оценить посредством его различные взгляды на усовершенствость человека и общества, обращавшие на себя в то время всеобщее внимание. Самое сочинение свое Мальтус начинает следующими, вполне объемлющими все дело словами:

«Если бы мы захотели», говорит он: «предвидеть будущее успехи общества, мы бы должны были естественно рассмотреть прежде всего два вопроса:

1) Какие причины препятствовали до сих пор усовершенствованию людей или увеличению их счастья?

2) До какой степени можно надеяться на возможность устранить совершенно или даже только отчасти действие этих причин, препятствующих успехам человечества?

Подобное исследование составило бы труд слишком обширный, который отдельным человеком не мог бы быть выполнен успешно. Цель этого «Опыта» состоит главным образом в том, чтобы рассмотреть влияние одной великой причины, тесно связанной с природою человека, действовавшей постоянно и могущественно со времени самого происхождения обществ, и несмотря на то до сих пор еще мало оцененной теми людьми, к кругу занятий которых она относилась. Правда, явления, доказывающие действие этой причины, весьма часто были указываемы и приводимы в известность; но никто еще не усмотрел естественной и необходимой связи, существующей между этой причиной и некоторыми замечательными ее последствиями, хотя к числу этих последствий должно, по всей вероятности, отнести пороки, несчастье и то слишком неравное распределение благ природы, которые желали во все времена исправить люди просвещенные и благонамеренные»².

¹ *Malthus*, p. 4.

² *Ibid.*, p. 5, 6.

Это начало чрезвычайно замечательно по той добросовестной откровенности, с которой Мальтус указал на важный вопрос, составляющий настоящий предмет его исследований и возбужденных ими споров и скрытый под скромным названием теории народонаселения. Современные последователи Мальтуса не всегда подражают в этом отношении своему учителю и редко ставят действительный вопрос так открыто и прямо. Выписанные нами слова показывают ясно побуждения Мальтуса, цель его теории и практические результаты, к которым она должна необходимо привести. В них выражается та главная задушевная мысль Мальтуса, которая преследовала его постоянно к которой проникнуто все его сочинение с начала до конца. Читая эту книгу, чувствуешь на каждом шагу присутствие этой основной идеи, к оправданию которой клонятся постоянно все выводы и рассуждения. Объясняя в первой главе своего сочинения настоящие отношения, существующие между развитием народонаселения и развитием средств пропитания, Мальтус повторяет несколько раз с особенной силой и явным направлением укоренить в уме читателя сознание этого пункта, самого важного и существенного,—что нищета и все страдания человечества должны быть рассматриваемы, как существенный результат постоянного размножения народонаселения и, следовательно, как явление, основанное на законах самой природы¹, на требованиях горестной, но крайней необходимости². Рассмотрев в подробности влияние этого закона на судьбу различных народов, древних и новых, и доказав бесчисленным множеством фактов, что везде и всегда нищета и порок являлись единственным средством для уравнивания народонаселения с средствами пропитания, Мальтус от прошедшего и настоящего переходит к будущему и посвящает несколько глав опровержению мысли о бесконечной усовершенности человека и полемике против социальных и политических учений Валласа, Кондорсета, Годвина, Овена и других писателей, принимавших эту мысль за исходную точку своих теорий. Основываясь на своей теории народонаселения, Мальтус старается доказать, что всякая надежда на постепенное уничтожение причин, препятствующих благоденствию человеческих обществ, есть не более, как необычная и нелепая утопия и что «при самом лучшем устройстве общественных отношений, люди никогда не перестанут ощущать недостатка в средствах пропитания. Напрасно продукты земли будут умножаться с каждым годом; народонаселение станет

¹ *Malthus*, p. 15, 467.

² *Ibid.*, p. 6, 11, 329.

размножаться в еще быстрее прогрессии и всегда будет необходимо, чтобы излишек его уничтожался постоянным или периодическим действием нравственного принуждения, порока и нищеты»¹. Вооружаясь против утопистов, Мальтус противопоставляет им два главных доказательства, и оба они вытекают прямо из выведенной им теории народонаселения. Первый довод Мальтуса состоит в том, что не во власти человека уничтожить действие такой причины, которая основана на неизбежном законе природы. Человек может отвратить только такие несчастья, которые проистекают от него самого, от худой организации, данной им той среде, в которой он живет и действует. Но к несчастью, по мнению Мальтуса, только весьма немногие из человеческих бедствий принадлежат к этой категории. «Самая важная ошибка Годвина», говорит он, «проникающая все его сочинение, состоит в том, что он приписывает человеческим учреждениям все бедствия, терзающие общество. Политическое устройство и законы, определяющие права собственности, кажутся ему источниками всех зол и всех преступлений. Если бы этот взгляд был основателен, мы бы могли еще не отчаиваться совершенно в возможности изгнать зло из обитаемого нами мира; а разум был бы тогда действительно тем орудием, посредством которого можно бы было надеяться произвести эту благотворительную реформу. Но на самом деле несчастья, приписываемые человеческим учреждениям, несмотря на действительность некоторых из них, могут быть названы легкими и поверхностными в сравнении с теми, которые имеют свой источник в законах природы и в страстях людей»². Приняв такое начало, Мальтус естественно имел полное право назвать в другом месте своего сочинения³ учение об усовершенствовании человека и общества—не более, не менее как *нелепым парадоксом*, едва заслуживающим опровержения. Другое доказательство его против утопистов, также основанное на теории народонаселения, развиваемое им с особенной подробностью и любовью, имеет по словам его «ту выгоду, что оно не только постоянно и однообразно подтверждается опытом всех времен и мест, но и что кроме того, оно так ясно в теоретическом отношении, что на него невозможно придумать никакого ответа, сколько-нибудь похожего на истину, и что, следовательно, это доказательства уничтожает даже всякий предлог для предпринятия какой-нибудь новой попытки к осуществлению противоположных идей»⁴. «Это

¹ *Malthus*, p. 318.

² *Ibid.*, p. 329.

³ *Ibid.*, p. 326.

⁴ *Ibid.*, p. 343.

решительное доказательство», как говорит сам Мальтус, «основывается на неизбежной нищете, к которой должна привести в течение самого непродолжительного времени всякая экономическая система, основанная на справедливом раздаянии благ. Это—необходимый результат влечения, свойственного человеческому роду размножаться быстрее, чем средства пропитания»¹, влечения, которое, по мнению Мальтуса, должно еще более усилиться при усовершенствованном общественном устройстве². В других главах, посвященных преимущественно указанию тех улучшений, которые могут быть сделаны в судьбе низших классов общества, Мальтус выражается между прочим следующим образом: «Все старания самых просвещенных правительств, все усилия мудро направляемой промышленности могут сделать только то, что неизбежные препятствия, останавливающие народонаселение, будут действовать ровнее и производить только ту сумму зла, которой нельзя избежать; надежда на совершенное отстранение этих препятствий подала бы только повод к напрасным попыткам»³. «Цель моего сочинения состоит не столько в том, чтобы предложить план улучшения судьбы низших классов, сколько в том, чтобы доказать необходимость довольствоваться теми способами улучшения, которые предписаны нам самой природой»⁴. «Главная и постоянная причина нищеты не зависит вовсе или по крайней мере зависит весьма мало от формы правления или от неравного разделения благ; не во власти богатых доставить бедным занятия и хлеб; и следовательно бедные, *по самой природе вещей* не имеют никакого права требовать от них того или другого; таковы важные истины, вытекающие из начала народонаселения»⁵.

Действительно, и мы скажем вместе с Мальтусом: таковы «важные истины, вытекающие из начала народонаселения» Останется только решить вопрос: можно ли признать истинной такую теорию, которая приводит к таким *истинам*?

Подобных мест из сочинения Мальтуса можно бы было привести бесчисленное множество. Но мы ограничимся сделанными выписками, в наших глазах вполне достаточными и убедительными. Таким образом мы считаем поставленным вне всякого сомнения и спора первый существенный пункт, на который мы хотели обратить внимание наших читателей: *учение Мальтуса, как по существу своему, так и по смыслу, в ко-*

¹ *Malthus*, p. 342.

² *Ibid*, p. 344, 345.

³ *Ibid*, p. 466.

* *Ibid.*, p. 575.

б *Ibid.*, p. 577.

тором оно понимается самим Мальтусом и его последователями, приводит к результатам, совершенно уничтожающим все наши верования в постепенное усовершенствование человека и общества, в счастье, как назначение и цель человеческой деятельности и наконец в возможность уничтожения всех зол, порождаемых или развиваемых современным пауперизмом, и составляющих главный источник физического, умственного и нравственного упадка низших классов общества.

Но этого мало. Теория Мальтуса противоречит и другой совершенно несомнительной истине, признаваемой в наше время одинаково людьми самых противоположных убеждений, идеалистами и материалистами, консерваторами и прогрессистами, людьми анализа и людьми верования. Одно из самых твердых и общих убеждений нашей эпохи есть убеждение в непреложной разумности природы, в ее постоянной, непогрешимой верности самой себе, в подчинении всего сущего общим и единым законам, водворяющим гармонию и порядок во всех явлениях мира физического и нравственного. В наше время все убеждены одинаково в том, что природа устраивает все предусмотрительным образом и что всем управляет не слепой случай, не бессмысленный рок, а разумная необходимость, приводящая к одной конечной цели все то, что кажется иногда случайным и произвольным. Эта истина глубже всякой другой вкоренена в нашем сознании, и составляет исходный пункт всякого научного исследования, всякого познания и всякого верования. Высказанная в первый раз Анаксагором, эта гипотеза единого разума, управляющего всем миром, принята и развиваема была всеми другими философами, полагавшими ее в основание своих систем. С развитием естественных и исторических наук эта мысль, явившаяся сначала только в виде гипотезы, придуманной, а *prîori*¹ является с каждым днем более и более несомнительной, более и более утверждаемой на точных и верных доказательствах. Чем глубже проникает ум человека в изучение физической природы, и чем внимательнее приводит он в известность явления, принадлежащие к сфере человеческой деятельности, тем более² он убеждается в глубокой разумности, последовательности и единстве природы и всех ее законов. Ту же самую истину выражает и религия, когда предписывает нам верить в существование провидения, создавшего мир и управляющего им непрерывно по своим премудрым и благим целям.

¹ В данном случае — в виде предположения. — *Ред.*

² В «Современнике», откуда мы перепечатали статью, ошибочно напечатано *менее*. Нами исправлено *более* — *Ред.*

Теория Мальтуса наносит глубокий и неотразимый удар этой основной истине и вместе всему зданию науки, на ней утвержденному. Приняв раз эту теорию, мы уже не можем сохранить за природой ее принадлежностей разумности, предусмотрительности и единства. Мы должны напротив сознаться в том, что она не осталась верна самой себе и, вступив в противоречие с своими собственными законами, навлекла на себя справедливый упрек в беспечности и жестокости¹. В самом деле из начала Мальтуса вытекает тот результат, что природа разом и в одно время поставила два закона, прямо друг другу противоположные и по самому существу своему находящиеся неминуемо в постоянной борьбе. С одной стороны она дала человеку неограниченную способность производить себе подобных, и обратив это удовлетворение естественной потребности в одно из высших для него наслаждений, тем самым сделала чрезмерное размножение людей постоянным уделом человека на земле. Но с другой стороны та же самая природа, так безумно щедро, так расточительно рассыпавшая всюду элементы и зародыши жизни, оказалась безмерно и жестоко бережливой, как скоро дело коснулось до средств пропитания, до пищи и места, необходимых для поддержания бытия в каждом существе? Она дает человеку возможность родиться и не дает ему возможности жить; она влагает в него стремление к воспроизведению себе подобных и в то же время не принимает никаких мер для предупреждения тех бедствий, которые могут произойти от этого стремления. Пускай человечество размножается постоянно в прогрессии геометрической, а продукты земли в прогрессии арифметической и пусть все усилия человека сблизить эти две прогрессии останутся тщетными и бесплодными: вот что говорит разумная, предусмотрительная, чуждая противоречий природа; и после этого та же самая природа, устроившая все ко благу и счастью человека, осуждает его на вечную нищету, на вечный разврат,—единственные средства для предупреждения столкновений между слишком быстрым развитием народонаселения и более медленным развитием средств пропитания. Что сказать о таком результате? Очевидно, что нам необходимо или признать подобную мысль богохульством и поруганием природы, или же сознаться, отрекшись от всех наших внутренних, коренных убеждений, что мы совершенно неосновательно присвоили провидению, управляющему миром,—свойства справедливого, благого, мудрого и могущественного? «Как», говорит по этому случаю один из

¹ В «Современнике» — *жесткости* — *Ред.*

современных писателей, «человек один между всеми животными, по завидной над ними привилегии, создан был производителем; Провидение повелело ему владеть землей и обрабатывать семейства, счастье поставлено было для него в отправлении этой двойной функции труда и любви; этим путем назначено ему было усиливать непрерывно свою энергию, увеличивать свои средства, развивать свои производительные способности, доставлять простор всем своим симпатиям; и вдруг, в ту самую минуту, как наступает время осуществить все эти великолепные обещания, провидение, которое никогда не обманывало человека, изменит всем этим обетам. Для того, чтобы узнать счастье, человечество, подобно Сатурну, должно будет пожирать своих детей! Любовь будет действовать слишком быстро; труд слишком медленно. Общественный организм будет так ложно устроен, так плохо придуман, что человек для поддержания своего бытия не будет иметь другого средства, кроме постоянной растраты своей плоти, и крови. Ему суждено будет умирать для того, чтобы жить; разве он согласится воздержаться от воспроизведения себе подобных, что во всяком случае есть также гибель и несчастье. Смерть будет единственным исполнителем законов политической экономии, обязанным восстанавливать равновесие между народонаселением и производительностью и соразмерять плоды любви с плодами труда, число разумных существ с количеством ценностей? Кто же воспрепятствовал природе, увеличив в нашу пользу плодотворную силу земли, ограничить в то же время нашу способность размножения и посредством своевременного ослабления нашей воспроизводительной силы остановить это страшное и постоянное истребление человеческого рода?

«Приняв этот закон народонаселения, мы должны будем сознаться, что творческая сила природы, в деле создания, впала в безвыходное противоречие, и мы, существа развивающиеся и предусмотрительные, испытываем на себе ответственность и последствия ее бессилия. Необходимость не могла обойтись без случайности; порядок сохраняется посредством беспорядка; органические существа не наслаждаются, подобно неорганической материи, вечностью движения, и хотя нет никакого противоречия в идее постоянного благосостояния, однако, по необъяснимой слабости нашей природы, это постоянство представляется невозможным. Наши наслаждения невозможны без горя; средством для развития нашего благосостояния является нищета. Все сознаются в том, что этот контраст должен необходимо разрешиться разумным примирением; но где открыть, как найти это

примирение, это условие, при котором добро и зло разрешились бы в высшее, синтетическое единство? И что можем мы думать вне этого дуализма, страдать или наслаждаться, быть или не быть? Счастье и страдание, точно так же как субъект и объект, дух и материя суть два полюса, выше которых нет более синтеза, нет более идеи, потому что без них и сам мир не может существовать. Но если так, то к чему же нам еще отыскивать разгадку тайны нашего существования? К чему может вести наш труд и какие могут еще сохраняться у нас надежды? Наша судьба это—нищета, наш труд—нищета; наши надежды—нищета. Социализм выполнил до сих пор только половину своей задачи; осыпав проклятиями все экономические учреждения, как причины Нищеты, он должен был кроме того произнести проклятие и на самый труд, проповедовать отчаяние и безнадежность. Окончательный результат, к которому должен привести социализм, это самоубийство. Действительно, если человечеству суждено всегда развиваться в промышленности, в науке и в искусстве, то человеку суждено также запечатлеть своей кровью каждый из шагов своих на этом поприще; необходимость требует, чтобы над ним тяготела беспрестанно смерть более и более тяжкая, смерть, посредством которой он искупает нежность своих чувств, живость своих симпатий, плодотворность своих трудов, глубину своего энтузиазма, прелесть своих наслаждений; смерть, которая, принимая столько же различных форм, сколько принимает их и самая жизнь, поражает человека в его сердце, в его чувствах, в его разуме и уничтожает его миллион раз. Смерть! Вот последнее слово науки, вот самый существенный закон природы! *Finis est hominis sicut jumentis*¹. Но если мы были извлечены из ничтожества единственно для того, чтобы умереть, то спрашивается, в чем же заключалась для нас и для целого мира необходимость выйти из этого ничтожества? После этого творчество, жизнь, необходимость, порядок и человек,—все это является призраком, нелепостью..»

Таковы страшные результаты, к которым должна необходимо привести теория Мальтуса всякого, кто хочет остаться логически последовательным и верным ее основному началу. Приняв эту теорию, мы встречаемся неизбежно с дилеммой, из которой нет другого исхода, кроме отрицания самой теории или отрицания всего того, что мы привыкли, следуя внушениям сердца и разума, считать истинным, высоким и священным. Это противоречие мальтусова начала с нашими убеждениями

¹ Смерть — такой же удел человека, как и животного. — *Ред.*

о единстве и разумности законов природы составляет самую слабую сторону этой теории; и этот пункт, понятный и очевидный для всякого, даже лишенного ученого образования человека, кинулся в глаза прежде всех других и был до сих пор, главным предметом всех нападков и опровержений. Сам Мальтус и его последователи чувствовали справедливость упреков, сделанных им в этом отношении, и понимали вполне те вредные последствия, какими могла сопровождаться для теории народонаселения правдивая оценка странного вывода, из нее исходящего. Поэтому, желая в одно и то же время спасти существенные основания этой теории и отвратить от нее упрек в ниспровержении самых основных начал разумного мирозерцания, Мальтус и его ученики в дополнение к настоящему началу народонаселения придумали еще так называемую теорию *нравственного принуждения* (*moral restraint, contrainte morale*), о которой и не упоминалось в первом издании сочинения Мальтуса, где нищета и порок выставляются как единственное средство, употребляемое природой для восстановления равновесия между народонаселением и средствами пропитания. Так как эти средства отличались безнравственностью и жестокостью, и так как ни одно из них не могло быть приписано без богохульства провидению и согласовано с требованиями разума, то Мальтус решился, в сознании бессилия природы, воззвать к свободному произволу человека и предоставить каждому из нас исправлять несовершенство мировых законов посредством благоразумного удержания страстей в известных пределах. Воздержание от брака до тридцати или сорокалетнего возраста, вообще до того времени, когда человек делается уже вполне способным содержать свое семейство,—вот в чем заключалось, по мнению Мальтуса, единственное сообразное с нравственностью и разумом средство для того, чтобы удержать народонаселение от чрезмерного размножения. Эта теория, основанная на началах аскетических, на начале самоумерщвления плоти и противодействия страстям, принята была единогласно всеми экономистами, учениками Смита и Мальтуса. Последователи ее рассуждают обыкновенно таким образом: «человек, говорят они, есть существо, по природе своей двойственное, состоящее из духа и тела. Его животные потребности могут иногда вступать в несогласие и коллизию с высшими потребностями и стремлениями его природы духовной. Но дух есть и должен быть всегда владыкой всего человеческого существа, обязанным руководить потребностями тела, умерять их и даже в случае нужды, совершенно подавлять. В том именно заключается высокое достоинство и превосходство человека над животными, что он

в своей деятельности не следует исключительно инстинкту, а подчиняет его влечения высшим и совершеннейшим требованиям своей свободно разумной воли. Поэтому и в том случае, когда инстинкт и потребности животной природы влекут человека к производству себе подобных, а разум убеждает его между тем в необходимости преодолеть это влечение для предупреждения тех зол, которые неизбежно, по закону самой природы, должны последовать за его удовлетворением, человек может и должен, посредством присущего ему произвола, отвергнуть путь, указываемый ему природой телесной, и, последовав внушениям разума, воздержаться от удовлетворения физической потребности, обещающего ему за небольшое наслаждение в настоящем бездну зол и несчастий в будущем. Это-то воздержание, состоящее из подчинения грубых наклонностей тела благороднейшим потребностям духа, и есть то, что называется нравственным принуждением. Посредством нравственного принуждения человек может сам, собственной предусмотрительностью, которая имеет свой источник в его разуме и воле, отвратить страшные последствия неизбежной коллизии между двумя противоположными законами природы и, воздерживаясь от брака, от рождения себе подобных, предупредить тем самым чрезмерное размножение народонаселения, не соответствующее средствам пропитания. Из трех средств, ведущих к этой цели, нищета и разврат являются несообразными с достоинством человека, с разумностью природы. Одно нравственное принуждение, возможное только для человека и основывающееся на превосходстве его духа перед потребностями тела, общими ему со всеми животными, удовлетворяет всем существенным условиям, от которых зависит наше благоденствие и нравственное достоинство. Таким образом ясно обнаруживается несправедливость упреков, делаемых по этому случаю природе, упреков в несправедливой и жестокой беспечности, в недостатке предусмотрительности и последовательности. Природа вложила, правда, в человека стремление размножаться быстрее, нежели средства пропитания; но она дала ему в то же время и разум, силой которого это стремление, в том случае, когда оно оказывается вредным или опасным, может быть умеряемо, приостанавливаемо и даже совершенно подавляемо. Таким образом исчезают все противоречия, И человек, опираясь на свою свободноразумную волю, восстанавливает гармонию и равновесие между противоположными законами, приходящими между собой в столкновение».

Так рассуждают Мальтус и его последователи, и нет ничего легче, как обнаружить всю слабость их доводов, всю неразумность и непрактичность того средства, которое они предлагают

для примирения повелительных требований нашего разума с нелепыми и неестественными результатами их теории народонаселения. Во-первых, теория нравственного принуждения, даже и в том случае, когда бы нравственное принуждение можно было действительно признать удовлетворительным средством для уравнивания народонаселения с средствами пропитания, несколько бы не выполняла своей задачи и не достигла своей цели; очевидно, что вместо уничтожения противоречия, допущенного Мальтусом между двумя законами природы, она только перемещает это противоречие, переводит его в другую теснейшую сферу, в сферу человеческой деятельности. Очевидно, что в основании этой новой теории лежит также противоречие между требованиями разума и требованиями инстинкта, между потребностями духовной и влечениями чувственной природы человека. Над законами природы остается тяготеющим попрежнему упрек в неразумии, непоследовательности, непредусмотрительности и жестокости. Природа влагает в человека сильную, настоятельную, требующую себе удовлетворения потребность и потом, отказывая ему в средствах удовлетворять этой потребности и заставляя его бороться с ней и преодолевать ее, обрекает его тем самым на вечные лишения, на страдания и несчастья. Где же тут последовательность? Человеку предоставляется выбор: повиноваться внушениям своей природы или исполнять требования общества; но если он решится предаться влечению любви, то его ожидают неминуемо нищета и страдания; если же он согласится подчинить свою деятельность советам холодного рассудка и благоразумия, то он обрекает себя тем самым на тягостное лишение—и следовательно опять не избегает страдания. И в том и в другом случае несчастье является для него неизбежным уделом, предписываемым ему самой природой. Понятно, что этим средством не только не восстанавливается, но напротив, еще более нарушается то равновесие, которое должно существовать между различными элементами человеческого организма, а известно, между тем, что всякий правильный и живой организм должен необходимо находить средства равновесия в самом себе и не нуждаться для прекращения анархии своих элементов во внешних мерах предупреждения или принуждения. Таким образом мысль о единстве и непогрешимой мудрости природы очевидно потрясается измененной теорией Мальтуса, точно так же как и первоначальной. Все различие между Ними состоит только в том, что в первой противоречие обнаруживается недостатком равновесия между воспроизводительной силой человека и производительной силой природы физической; во второй это противоречие является

присущий самой натуре человека, в которой два противоположные элемента, духовный и телесный, осуждаются на вечный разлад, на непрерывную борьбу. Самое это противоречие между требованиями разума и влечениями инстинкта, составляющее основное начало этой теории,—есть ли в самом деле такой факт, действительность которого может быть признана и допущена? Не походит ли больше этот взгляд на безжизненную, лишенную всякого практического значения абстракцию, чем на живое понимание природы и свойства человека? Подобное воззрение на отношения между духовной и телесной природой человека, как начала взаимнопротивоположные и враждебные, как остаток средневекового дуализма, не может без сомнения быть допущен в современной науке, умеющей уже, благодаря успехам человеческого ума, отделять условное от безусловного, случайное от необходимого, временное от вечного, и понимающей, что силой исторического развития могут быть отторгнуты друг от друга и поставлены в неприязненные отношения такие начала, которые по существу своему едины и которым рано или поздно суждено достигнуть этого единства и в действительности, т. е. возвратиться в свое нормальное, естественное состояние. Что человек и его деятельность представляются в настоящую минуту не более как бесконечный ряд разногласий и противоречий, повидимому непримиримых и безвыходных, в этом нет никакого сомнения и спора; но этим еще далеко не решен весь вопрос и остается еще рассмотреть: следует ли видеть в этих противоречиях произведение самой природы и, следовательно, явление необходимое и вечное, или произведение человека, и следовательно явление, которое легко может быть временным, призрачным и условным? С одной стороны, рассматривая внимательно все эти противоречия, терзающие современное человечество, легко убедиться, что каждое из них имеет свою причину и свой источник в том или другом препятствии, поставленном самим человеком гармоническому развитию своих сил и способностей; но что поставлено и произведено самим человеком, то легко может быть им же устранено и уничтожено. С другой стороны, нельзя также не сознаться, если только не отступать от указаний здравого смысла, науки и истории, что закон аномалии не может быть законом природы, что раздвоение и борьба есть не более как один из моментов исторического развития, приводящий всегда рано или поздно к единству и примирению, что наконец безусловный и вечный разлад между различными элементами и силами, входящими в состав человеческого организма, не может быть постоянным уделом человека и нормальным его состоянием,

сообразным с законами его естества. Всякий организм, а следовательно и организм человека, в существе своем един и целен; различные потребности, ему присущие, от влияния внешних причин могут, конечно, прийти в столкновение и борьбу; но эта борьба, как явление, обусловленное случайными причинами, есть сама в свою очередь не более, как явление случайное,—и по законам природы, одинаковым как для человека, так и для прочих существ, нормальное состояние каждого организма заключается в гармоническом развитии всех его сил, в равномерном удовлетворении всем его потребностям, не допускающем никакого пожертвования одной силой или потребностью в пользу другой. Поэтому в настоящем случае необходимо признать, что теория нравственного принуждения не имеет для себя никакого разумного основания и опирается на начале совершенно ложном, на противоестественном предположении вечной борьбы между двумя элементами, от природы своей входящими в согласии и гармонии. Если сама природа вселила в организм человека потребность физической любви и физического воспроизведения себе подобных, то понятно, что удовлетворение подобной естественной потребности не может быть никак неразумным и незаконным. Все то, что дано природой, в высшей степени разумно, и потому разум не может порицать, останавливать или подавлять удовлетворения Действительным нуждам, вытекающим из естественных свойств человека; иначе разум вступил бы в противоречие с самим собой, оказался бы сам в высшей степени неразумным. Повторяем впрочем опять: этим объяснением нормальных отношений между различными силами человеческого организма мы вовсе не думаем отрицать действительности глубокого разлада, встречающегося нынче непрерывно между требованиями разума и влечениями инстинкта, разлада, обусловленного влиянием исторического развития и внешних обстоятельств. Под влиянием этих неблагоприятных причин, мы нередко находим в настоящую минуту нарушение общего закона равновесия и гармонии; то разум человека, отторгаясь от единства с действительной жизнью и теряя свой объективный характер, создает в себе самом посредством самого крайнего отвлечения целый мир пустых призраков, из которых он потом силится вывести практические правила для своей деятельности, и применением этих правил изуродоваты и исказить свою живую и цельную натуру; то, напротив, физические потребности человека, подавленные и приостановленные в своем естественном развитии внешними преградами, восстают с энергией против этого противодействия, преодолевают его и, купив право самоудовлетворения ценой

страшной борьбы, выходят из границ, назначенных им самой природой и, развиваясь в ущерб прочим потребностям и силам, доходят до самых неумеренных крайностей, противных природе и осуждаемых разумом. Но ни в том, ни в другом случае мы не имеем права обвинять природу за то искажение первобытной гармонии, которое есть дело самого человека; подобное обвинение было бы богохульством, потому что в природе устроено все разумно. Точно так же и в том случае, когда требования рассудка вступают в борьбу; с влечением человека к любви и наслаждению, мы должны смотреть на такое состояние, как на преходящее и неразумное нарушение общего закона природы, которая без сомнения создала людей—людьми не для того, чтобы они сделались евнухами.

Нет никакой нужды доказывать, что теория нравственного принуждения содержит в себе прямое и открытое противоречие с основными началами религии и с общепринятыми понятиями нравственными. Ею осуждаются и преследуются уже не порочные и безнравственные наклонности и наслаждения, а самое законное удовлетворение самой законной потребности. Практические советы Мальтуса и его последователей клонятся прямо к постепенному уничтожению брака, союза, который рассматривался всегда как учреждение по преимуществу нравственное и вполне сообразное с предписаниями религии. Совершенно очевидно также, что в основании этой теории лежит самая возмутительная, жестокая несправедливость. Удовольствия брачной жизни, единственные удовольствия, доступные нынче несчастным жертвам пауперизма и монополий, делаются теперь в свою очередь предметом монополии, привилегией богатых. В практическом отношении ничтожность этой теории еще очевиднее и разительнее. Последователи Мальтуса как будто забывают, что при настоящих условиях общественного устройства семейная жизнь, составляя единственную и последнюю цель всех надежд, стремлений и усилий работника-пролетария, составляет вместе с тем главное побудительное начало, заставляющее его трудиться и сносить безропотно все лишения, составляет также и единственную узду, удерживающую его в пределах повиновения закону и уважения к собственности. Только твердость и святость семейных уз представляют в настоящую минуту прочное ручательство за ненарушимость общественного порядка и за неприкосновенность имущественных прав каждого из членов общества; а потому противодействовать образованию семейств и осуждать пролетариев на безбрачие значит уничтожать тем самым главное условие, необходимое для сохранения спокойствия и мира в современных обществах. Непрактичность

средства, предложенного Мальтусом для уравнивания производительной силы человека и производительной силы земли, обнаруживается еще И в том, что приложение этого средства предполагает невозможное низвращение нормальных периодов человеческого развития и противоречит обыкновенному ходу вещей, основанному на непреложных законах природы. Брак, по теории Мальтуса, остается доступным только для людей, достигших уже определенного возраста, именно тот возраста, когда страсти уже затихают, ослабевают и теряют свою прежнюю энергию. Но само собой разумеется, что все возможные усилия последователей Мальтуса не в состоянии будут изменить в этом отношении того порядка, в котором совершается развитие человеческого организма, и придать юности свойства старческого бессилия, а старости—юношеский жар и страстную пылкость молодых лет. Наконец, надо заметить также, что Мальтус и его последователи, предписывая средство, предполагающее необыкновенное и также ненормальное развитие нравственной силы в человеке, тем самым ставят себя в противоречие с историей и действительностью. В прошедшем влияние этого начала нравственного принуждения на развитие народонаселения было весьма незначительно и почти ничтожно, что доказывается между прочим совершенно убедительным образом в сочинении самого Мальтуса, собравшего множество фактов в подтверждение той мысли, что во всех обществах древнего и нового мира только пороками, войной, болезнями и нищетой устанавливалась соразмерность между народонаселением и средствами пропитания. В настоящем начало нравственного воздержания должно бы было составлять руководительное начало деятельности преимущественно для низших классов общества, всего более страдающих от чрезмерной плодовитости; но известно, между тем, что в обществах Западной Европы нравственный упадок низших классов достиг в настоящую минуту до самых крайних пределов. При той глубокой, почти животной безнравственности, до которой дошли теперь европейские пролетарии вследствие пагубного влияния экономических учреждений, основанных на совместном действии начал конкуренции и монополии, может ли человек благоразумный и добросовестный сколько-нибудь рассчитывать на возможность подчинения их деятельности требованиям расчетливо и предусмотрительного рассудка? может ли он ожидать с их стороны того героизма самопожертвования и воздержания, который требуется от них последователями Мальтуса? Есть ли далее какая-нибудь возможность надеяться, чтобы Несчастный, задавленный горем и бедностью пролетарий, для оправдания идей Мальтуса, согласился принести в жертву

последнее наслаждение, которого не успели еще у него отнять притеснения капиталистов и нерациональное устройство экономических отношений? Стоит только посмотреть внимательнее вокруг себя и познакомиться хотя бы поверхностно с результатами статистических исследований для того, чтобы убедиться в совершенной неосуществимости всех подобных ожиданий. Во всех европейских государствах низшие слои общества представляют несравненно быстрее размножение народонаселения, нежели высшие. И самый лучший пример этого представляет несчастная Ирландия, где по мере увеличения нищеты увеличивается постоянно и число ее жертв. В таком факте нет ничего странного и необъяснимого: чем более подавляется в человеке вследствие нищеты его человеческое достоинство, тем менее становится он способным к предусмотрительности и обдуманности; понятно, что потребность физической любви, при совершенном отсутствии средств для удовлетворения всем прочим потребностям, должна достигнуть необходимо чудовищных размеров и развиться с особенной энергией и силой. Поэтому-то отличительная черта ирландцев и всех других несчастных, страдающих от бедности, заключается в самом холодном и жестоком равнодушии как к своей судьбе, так и к судьбе своего потомства и в самой крайней беспечности, заставляющей бедных, подобно животным, размножаться с невероятной, изумительной быстротой. По той же самой причине мы находим в истории, что высшие классы общества, всего менее нуждающиеся в нравственном принуждении, всего более подчинялись влиянию этого начала, отличались всегда особенной предусмотрительностью и осторожностью в деле заключения браков и распространения своих родов и никогда не предавались свободно влечению своих инстинктов из опасения потерять свое общественное положение и уменьшить сумму своих наслаждений. Об этом замечательном факте мы скажем подробнее в другом месте, когда дело дойдет до мнения Сисмонди, построившего на основании этого явления особую теорию народонаселения; здесь мы упоминаем о нем только вскользь, для того чтобы показать всю несостоятельность и непрактичность теории Мальтуса и его последователей, которые так сильно восстают против всяких утопий и непрактических взглядов и которые между тем сами придумали самую неосуществимую утопию, явно противоречащую всем началам здравого смысла, всем опытам истории и всем явлениям современной действительности.

Надо впрочем заметить, что сам Мальтус не заблуждался нисколько насчет действительного значения предложенного им средства и вовсе не разделял в этом отношении обманчивых

надежд своих последователей. Мы уже видели, что в первом издании его книги, в числе прочих препятствий, останавливающих развитие народонаселения, вовсе и не упоминалось о нравственном принуждении. Мальтус причислил его к этой категории только при втором издании своего «Опыта», как будто нехотя и единственно для того, чтобы сделать уступку требованиям общественного мнения, громко и с негодованием восстававшего против возмутительности учения, не находившего никаких других средств для исцеления зла, кроме нищеты и разврата. Но развивая и доказывая свою теорию нравственного принуждения, Мальтус поступал кажется не совсем добросовестно и шел повидимому наперекор своим настоящим убеждениям. По крайней мере в его сочинении можно найти много таких мест, в которых проглядывает иногда худо скрываемая недоверчивость к действительности нравственного принуждения для предупреждения зол, вытекающих из закона народонаселения. В одном месте он говорит: «страсть человека имеет характер силы и общности, и можно предполагать с достоверностью, что если бы она ослабела, она бы сделалась недостаточной. Бедствия, ею порождаемые, составляют необходимый результат этой общности и этой энергии. Все заставляет нас думать, что творец имел целью населить землю; но кажется, что этой цели не иначе можно достигнуть, как сделавши народонаселение способным размножаться быстрее средств пропитания. И если, несмотря на найденный нами закон размножения, люди распространились не слишком быстро по лицу земли, то очевидно, что эту способность размножения нельзя признать несоразмерной с ее целию. Потребность в средствах пропитания была бы не довольно настоятельна и не сообщила бы достаточного развития человеческим способностям, если бы стремление народонаселения к быстрому, чрезмерному размножению не усиливало бы энергии и силы этой потребности»¹. Из этих слов видно, что сам Мальтус понимал невозможность положить пределы страсти человека, побуждающей его к распространению своего рода на земле, не ослабив через это его производительной силы и не поколебав в то же время самых существенных оснований нынешнего общественного порядка. В другом месте сомнения Мальтуса высказываются еще яснее: «общество, устроенное по самому великолепному плану, какой только можно себе вообразить», говорит он: «движимое всеобщей благосклонностью, а не эгоизмом или личным интересом, общество, в котором все порочные наклонности всех его граждан будут

¹ *Malthus*, p. 473.

исправлены разумом, а не силой, подвергнется весьма скорой порче вследствие неизбежных *законов* природы и вовсе не вследствие первобытного несовершенства человека или каких-либо недостатков человеческих учреждений; превратится в общество, подобное нынешнему, разовьет также противоположность между классом работников и классом капиталистов и будет иметь главным движением, точно так же как и нынче, эгоизм и личный интерес»¹.

Очевидно, что если начало нравственного принуждения даже при таком идеальном состоянии общества, а котором «порочные наклонности граждан исправляются разумом», не может предохранить общество от упадка и гниения, то еще легче можно ожидать благих последствий от этого начала при нынешнем, далеком от идеала, начертанного Мальтусом, порядке вещей. Как мало вообще надеялся Мальтус на действительность своего средства, видно из того, что он поставил с самого начала основным правилом для своей ученой деятельности «не признавать справедливым никакого мнения о будущем усовершенствовании общества, если оно не оправдывается опытом прошедшего», потом провозгласил прямо, что «начало нравственного принуждения действовало всегда весьма слабо в прошедшие времена». Из этого сближения двух мест ясно видно, что теория нравственного принуждения со стороны Мальтуса была не более, как невольной уступкой, сделанной им в пользу всеобщего убеждения в справедливости и разумности законов природы, но что в сущности вне нищеты и разврата он не находил никакого другого средства для удержания народонаселения в должных пределах.

В чем бы ни состояли впрочем личные убеждения самого Мальтуса, дело в том, что его теория нравственного принуждения не может ни в каком случае выдержать строгой критики и представляется совершенно ложной как в теоретическом, так и в практическом отношениях. Таким образом последователям Мальтуса предстоял новый труд; на них лежала обязанность придумать новое средство для уничтожения противоречия, существовавшего между теорией народонаселения и присущей уму человека мыслию о единстве и разумности законов природы. Так как *нравственное* принуждение оказалось несоответствующим этой цели, то они естественно должны были перейти мало-помалу к принуждению *физическому* и на нем основать свои надежды относительно противодействия чрезмерному размножению народонаселения. Эта новая теория не замедлила

¹ *Malthus*, p. 338.

действительно явиться и притом явилась в формах самых чудовищных и отвратительных. Один из учеников Мальтуса, Маркус, издал в Лондоне сочинение, в котором предложил для предупреждения излишнего народонаселения подвергать новорожденных асфикции, производимой по особому способу, не сопряженному с болью (painless extinction). Другой ученик его, Вейнгольд, советник регентства в Саксонском королевстве, в своем сочинении, изданном в Галле в 1827 году, предложил для той же самой цели средство, употребляемое в Италии для снабжения ее певцами и в Турции—для снабжения гаремов верными и безопасными хранителями добродетели женщин. Подобные мнения не требуют без сомнения никакого опровержения. Ответственность за такие нелепости не может падать, конечно, на самого Мальтуса, который никогда не предлагал ничего подобного; но нельзя однако не сознаться, что Мальтус не дошел до таких результатов единственно потому, что не решился вывести с логической последовательностью всех последствий из своего начала. Обыкновенно говорят, что самая несомненная истина, если она доведена до крайности, должна привести к самым нелепым результатам. Мы полагаем совершенно наоборот, что действительно истинное начало должно остаться истинным и в самых крайних своих последствиях, и что только для начал ложных или односторонних подобный логический вывод последствий может оказаться вредным и невыгодным. Если поэтому теория физического принуждения есть не более, как логический, неизбежный результат теории народонаселения, то мы имеем полное право, восходя от последствия к причине, смотреть и на самую теорию народонаселения, как на теорию ложную и нелепую¹.

¹ Кроме предложений Маркуса и Вейнгольда, в последнее время предложены были и многие другие средства для противодействия развитию народонаселения, также основанные на начале физического принуждения некоторые из них до невероятности нелепы, как например, предложение употреблять при удовлетворении чувственных наклонностей известное средство, предупреждающее рождение детей, или предложение одного доктора извлекать посредством особого инструмента, устроенного *ad hoc* (для этой цели. — *Ped.*), зародыш прежде его рождения. Другие средства не столь возмутительны, но также чрезвычайно странны. Иные предлагают употреблять предосторожность весьма простую, но действительность которой подвергается многими сомнению, именно воздерживаться от половых сношений в продолжение одной или двух недель, предшествующих и следующих за, периодическими болезнями женщины на том основании, будто только в эти эпохи женщины бывают способны к воспроизведению. Всего замечательнее средство, предложенное Лудоном. (Solution du probleme de la population et des subsistances par Ch. Loudon. 1842, Paris.) (Решение проблемы населения и средств существования,

Итак вот второй существенный пункт, извлеченный нами из критики последствий теории Мальтуса и поставленный теперь, сколько нам кажется, вне всякого сомнения и спора. *Теория Мальтуса приводимо к таким результатам, которые находятся в прямом и открытом противоречии как с философской мыслью о единстве и разумности законов природы, так и с религиозным верованием в благость и мудрость провидения, управляющего миром. Все средства, предполагаемые для устранения этого противоречия, проявляются ли они в виде нравственного или в виде физического принуждения, оказываются одинаково нелепыми и недостаточными для достижения своей цели.*

Таким образом, критический обзор различных положений, вытекающих логически из теории Мальтуса, привел нас к двум важным результатам, внушающим сильные предубеждения против справедливости основного начала этой теории и уничтожающим заранее всякую надежду на возможность признать это начало рациональным и истинным. Эти два результата достаточно характеризуют практическое значение мальтусовой теории и

Соч. Ш. Лудона, 1842 г. Париж. — *Ред.*) Автор этого сочинения, отвергая с негодованием все нелепые, варварские и безнравственные теории своих предшественников, старается доказать, приводя в подтверждение своих мыслей множество фактов: 1) что жизнь человеческая разделяется на известное число определенных периодов, куда относятся период зарождения, период вскармливания, период роста, период воспроизведения, период старости; 2) что между этими периодами время кормления грудью продолжается обыкновенно три года, и что в продолжение этих трех лет женщина, которая кормит грудью, вследствие антагонизма между сосцами и маткой, лишается способности воспроизведения; 3) что если бы каждая женщина, вступивши в брак на 21 году, кормила каждого из своих детей в продолжение трех лет, то народонаселение, вместо того чтобы умножаться, клонилось бы напротив к постепенному уменьшению. Эти положения доктора Лудона, не вполне доказанные в физиологическом отношении, представляются еще менее убедительными, если их рассматривать с общественной точки зрения. Как против системы Лудона, так и против всех теорий, основанных на началах предупреждения или принуждения, можно представить одно общее и главное опровержение, о котором мы упомянули уже выше. Все подобные средства, не говоря уже о глубокой их безнравственности, противоречат здравому смыслу в том отношении, что предполагают необходимость чисто *внешних*, случайных мер предупреждения или принуждения для того, чтобы восстановить равновесие и естественное отношение между различными отправлениями человеческого и общественного организма, между тем как во всяком организме, правильно и нормально действующем, различные отправления и силы должны уравниваться необходимо *сами собой*, вследствие присущих каждому организму внутренних законов, а не вследствие посторонней силы, извне приходящей.

содержат в себе достаточное доказательство той мысли, которую мы преимущественно старались теперь доказать, мысли о несообразности начала народонаселения, принимаемого последователями Мальтуса, с самыми непреложными аксиомами науки и с самыми заветными верованиями нашей эпохи. Мы имеем поэтому полное право остановиться на двух выведенных нами пунктах и избавить себя от тяжкого труда перечислять, а читателей наших от неприятной обязанности выслушивать все нелепости, к которым должно необходимо привести логическое развитие последствий из начала, положенного Мальтусом в основание его системы. В заключение, для того чтобы поставить читателей в возможность произнести окончательный суд над практической стороной разбираемого нами учения, мы прибавим только, что Мальтус, оставаясь верным своему началу и лишив на основании этого начала бедные классы общества единственных наслаждений, ими сохраненных—наслаждений брака и семейной жизни, лишил их в то же время и на основании той же идеи, последнего средства для облегчения их участи, доставляемого по крайней мере некоторым из них: в современных обществах. Мы говорим здесь о тех мерах, которые принимаются везде правительствами и частными лицами для противодействия некоторым наиболее несправедливым последствиям настоящей экономической организации и которые, не касаясь ни сколько причин и источника зла, уменьшают однако, по мере возможности губительное влияние этого зла на жизнь, здоровье и судьбу несчастных жертв пауперизма. Благотворительность, как общественная, так и частная, нашла себе самых жестоких и непримиримых врагов в Мальтусе и его последователях, которые не усомнились произнести самое решительное осуждение, самые грозные проклятия на этот способ проявления любви к ближнему, казавшийся им еще более преступным, нежели самое холодное равнодушие к участи страдающих и больных членов общества. Не выходя из того понятия, что всякое безвозмездное подаяние, делаемое бедному, внушает ему ложные ожидания насчет возможности найти, даже при недостатке труда, содержание для себя и для своего семейства, и тем самым способствует деятельным образом излишнему размножению народонаселения,—Мальтус вывел из этого то заключение, что действия общественного призрения и частной филантропии должно необходимо уменьшить, ограничить и даже, если можно, совершенно уничтожить. Правительства, которые, по мнению Мальтуса, не имели уже никакой возможности выполнить свое настоящее назначение, т. е. заботиться о принятии мер для пресечения зла уничтожением его причин, так как

эти причины, по началам теории народонаселения, находились не во власти человека, а основывались на законе самой природы, правительства должны были отказаться даже от обязанности противодействовать последствиям зла, должны были уничтожить у себя все или почти все благотворительные учреждения и довести, следовательно, до самых крайних последствий приложение любимой идеи экономистов, идеи абсолютного невмешательства и невозмутимого квиетизма. Единственное средство, которое, по мнению Мальтуса, может употребить благоразумное правительство для уменьшения нищеты и для улучшения судьбы бедных классов, состоит в том, чтобы торжественно отвергнуть *мнимое* право бедного требовать себе вспоможения, приступить к постепенному уничтожению всех учреждений, основанных на признании этого права и, наконец, для предупреждения всяких ложных ожиданий на содействие общества, издать закон, в котором объявить формально, что права получать пособия от благотворительных заведений будут лишены все дети от браков, заключенных по прошествии года со времени издания этого закона, и все дети незаконные, рожденные по прошествии двух лет, считая с этого времени. «Подобный закон будет заключать в себе», говорит Мальтус, «ясное, точное и понятное для всех предостережение, смысл которого не возбудит ни в ком ни малейших сомнений... Этот закон не нарушит ничьих прав, не принесет никому вреда (!) и следовательно никто не будет иметь права на него жаловаться.. Прежде нежели можно будет предпринять какие-либо значительные изменения в существующей нынче системе общественного призрения, мы обязаны, следуя внушениям справедливости и чести, объявить ничтожность мнимого права бедных на получение вспоможений от общества». Переходя от правительства к частным лицам, Мальтус предложил и последним столь же благонамеренные и благоразумные советы, вполне сообразные с общим духом его учения. Вооружаясь всеми силами против того деятельного выражения любви к ближнему, которое предписывалось в продолжение стольких веков и нравственностию и религией, он старался доказать богатым, что, помогая своим меньшим братьям и удовлетворяя таким образом одной из благороднейших потребностей своей природы, они приносят обществу более вреда, нежели пользы, и совершают поступок не похвальный, а преступный. Бедным Мальтус старался внушить, что они обязаны воздерживаться от заключения браков и от удовлетворения своих законных потребностей, сносить безропотно свою тягостную участь и не питать бесплодных надежд на возможность ее улучшения и, наконец, верить, вопреки здравому смыслу и положительным законам, устанавливающим

во всех государствах ограничения частной собственности и благотворительные учреждения разного рода, что каждый имеет полное право делать из своего имущества такое употребление, какое ему заблагорассудится и что общество не имеет никакой обязанности доставлять вспоможение тем из своих членов, которые по причинам, независимым от их воли, лишились возможности содержать себя и доставлять содержание своему семейству. Все эти нелепые и бесчеловечные советы высказаны были Мальтусом в совершенно соответствующих им выражениях, глубоко поражающих своей возмутительно холодной жестокостью. Для примера приведем два места, которые в этом отношении пользуются особенной известностью и которые даже сам Мальтус счел за нужное исключить из последнего издания своей книги. Дело идет о том, что бедный не имеет никакого права требовать для себя вспоможение от общества, и что общество имеет полное право отказать ему в этих вспоможениях, хотя бы даже бедный мог доказать совершенно ясно, что это вспоможение решительно необходимо для спасения его жизни и что притом его бедность не может быть несколько приписана его вине. Вот как высказывает Мальтус эту человеколюбивую мысль:

«Тот кто родится на свет в обществе уже достаточно населенном, если он не может получить средств пропитания от своих родителей, от которых он вправе их требовать, и если общество не нуждается в его труде, не имеет ни малейшего права требовать для себя хотя бы самую ничтожную часть средств пропитания и на самом деле *он может быть назван лишним в этом мире. На великом, пирушестве природы для него нет места. Природа предписывает ему удалиться и не замедлит исполнить свое собственное предписание*, если ему не удастся возбудить в свою пользу жалость пирующих. Если они встанут и дадут ему место, немедленно явятся новые посетители и потребуют той же милости. Как скоро распространится слух о том, что каждому приходящему даются подаяния, зала немедленно наполнится множеством людей, требующих подаяния и для себя. Порядок и гармония праздника будут нарушены; обилие, царствовавшее прежде, заменится недостатком; счастье пирующих будет уничтожено видом нищеты и унижения, который будет представляться со всех сторон залы и надоедающими жалобами тех, которые, ничего не получив, будут объявлять свое справедливое негодование на ложные ожидания, им внушенные. Пирующие слишком поздно узнают, что они сделали дурно, уклонившись от исполнения строгих законов, предписанных великой виновницей праздника против допущения на пир-

шество излишних гостей, потому что она, желая чтобы все ее гости наслаждались изобилием и сознавая невозможность напиться неограниченное число людей, запретила *из человеколюбия* допускать к окруженному уже со всех сторон столу новых посетителей».

«Когда сама природа принимает на себя обязанность управлять всем и наказывать виновных, всякое помышление о возможности отнять скипетр из ее рук является признаком самого смешного тщеславия. Итак пусть этот человек (т. е. бедный, которому общество не доставляет возможности добывать хлеб свой посредством труда) подвергнется тому наказанию, на которое осудила его за его бедность сама природа. Надо доказать ему, что законы природы, которые суть в то же время и законы Божьи, осудили на страдание его и его семейство, что он не имеет никакого права на самую малейшую часть общей пищи и что, если он и его семейство избавляется от голодной смерти, то этим они обязаны единственно милосердию какого-нибудь великодушного благотворителя»¹.

К этим жестоким² и бесчеловечным словам, кажется, нечего прибавить. Читая их, можно подумать, что они написаны человеком в высшей степени холодным и зачерствелым, в котором деятельность рассудка убила совершенно действие сердца и чувство. А между тем их писал человек, который по свидетельству всех близко его знавших, отличался всегда необыкновенным добродушием, мягкостью характера и живой любовью к ближнему. Что подумать после этого о той теории, которая, приводя к самым нелепым и возмутительным результатам, изменяет и самый характер своих последователей и заставляет их, вопреки природному влечению к добру и любви, вопреки существенному голосу человеколюбия и сострадания, произносить самые строгие приговоры, отличающиеся неслыханной жестокостью и варварским бесчеловечием?

Мы исполнили теперь первую половину нашей задачи. Сличив практические последствия, вытекающие из теории Мальтуса, с самыми несомненными истинами современной науки, с самыми священными верованиями нашей эпохи, мы пришли к тому очевидному заключению, что эта теория явно противоречит всем этим истинам и глубоко колеблет все эти верования; другими словами, мы доказали положительно посредством этого критического взгляда на результаты мальтусова учения, что основное начало этого учения не может быть ни в каком случае справед-

¹ *Malthus*, edition de 1803, p. 531.

² В «Современнике» — *жестким*. — *Ред.*

ливым, но *должно* необходимо оказаться ложным и несообразным с существом вещи. Теперь нам остается только оправдать это заключение и, подвергнув критической оценке уже не результат, а самое основание теории Мальтуса, и раскрыв путем анализа нетвердость и ложность этого основания, доказать таким образом, что *действительно* закон народонаселения, высказанный Мальтусом, не выражает собой того настоящего отношения, которое существует и должно существовать между развитием народонаселения и развитием производительности

III

КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СУЩЕСТВО ТЕОРИИ МАЛЬТУСА

Приступая к разбору самого существа теории Мальтуса, мы считаем нужным прежде всего положить строгое различие между двумя главными началами, из которых слагается эта теория и которые весьма неправильно смешиваются обыкновенно друг с другом. Вся сущность учения Мальтуса и его последователей может быть выражена в двух следующих формулах. Во-первых: число народонаселения в каждой стране находится всегда в соразмерности с средствами пропитания, и эта соразмерность, в случае ее нарушения, восстанавливается немедленно действием порока, нищеты и разного рода обстоятельств, уменьшающих число рождений или увеличивающих число смертных случаев. Во-вторых: народонаселение, по самому закону природы, размножается всегда в гораздо быстреей прогрессии, нежели средства пропитания, так что порок, нищета и другие причины, восстанавливающие равновесие между этими двумя величинами, принадлежат по самой природе вещей к числу явлений необходимых и действующих постоянно.

Справедливость первого из этих двух начал совершенно очевидна сама по себе и весьма убедительно доказана в сочинениях Мальтуса и его последователей. Мы уже имели случай заметить, что заслуга, оказанная Мальтусом науке, состоит не столько в открытии этой истины, сколько в сознании ее практической важности и в подтверждении ее бесчисленным множеством фактов, исторических и статистических. Но соглашаясь вполне с этой первой половиной теории народонаселения, мы не можем однако принять ее в том именно виде, в каком высказал ее Мальтус, а должны необходимо для большей точности выражений и во избежание многих ложных выводов сделать в этой формуле небольшое, но весьма важное изменение, заме-

нив слова: *средства пропитания* словом: *производительность*. По нашему мнению не одни только средства пропитания, но целая производительность страны составляет настоящий предел, полагаемый природой развитию народонаселения, и наука, ограничиваясь только первым отношением, неполным и односторонним, должна необходимо впасть в самые грубые заблуждения и раздробив на самобытные части понятие, в существе своем нераздельное, живое понимание предмета заменить безжизненными и ничтожными абстракциями. Главные причины, заставляющие их сделать это изменение в формуле Мальтуса, заключаются в следующем:

Не о хлебе едином жив будет человек, говорит св. Писание. Экономический смысл этого текста заключается в том, что кроме средств пропитания есть еще множество других предметов, безусловно необходимых для поддержания человеческой жизни. Потребности человека многочисленны и разнообразны, и между ними есть весьма много таких, которые так же настоятельно требуют себе удовлетворения, как и потребность пищи. В холодном климате одежда и жилище не менее нужны для существования человека, как и самый хлеб. Кроме того развитие образованности и общественной жизни создает множество новых, столь же Необходимых нужд и придает этот характер необходимости нуждам второстепенным и мнимым. Сила этих искусственных потребностей, развиваемых цивилизацией, ничем не уступает силе потребностей естественных, общих всем людям на всех ступенях образования. И тем и другим должен удовлетворять одинаково человек, если хочет продлить свое существование на земле. Из этого видно, что даже при совершенно достаточном количестве средств пропитания, народонаселение может еще оставаться необеспеченным относительно своего содержания, так что постоянное увеличение числа людей может быть приостановлено не одним только недостатком в средствах продовольствия, но также и недостатком в средствах для удовлетворения другим потребностям человека, живущего в обществе. Следовательно рассматривая необходимое отношение, существующее между народонаселением и земледельческой производительностью страны, мы не схватываем вопроса во всем его объеме, а ограничиваемся только одной его стороной и пренебрегаем всеми остальными, не менее важными и существенными. При таком одностороннем направлении мы не в состоянии будем объяснить одного из важнейших фактов общественной жизни, который обнаруживался и обнаруживается одинаково всегда и везде, именно постоянного упадка аристократических родов и; того общего закона, по которому семейства, живущие в рос-

коши или достатке, всегда мало-помалу вырождаются и угасают. Известно из истории, что в числе аристократических семейств бывает всегда несравненно более таких, которые исчезают после известного числа поколений, нежели таких, которые, размножаясь постоянно, раздробляются с течением времени на многочисленные ветви. Известно также, что во всех обществах как древнего, так и нового мира, аристократии всегда оказывались неспособными поддерживать себя в одинаковом числе собственными средствами, не прибегая к помощи низших классов общества для восполнения тех промежутков, которые постоянно обнаруживались в их рядах. Между тем, если мы допустим, что размножение народонаселения находит для себя предел только в недостатке средств пропитания, то мы никогда не в состоянии будем объяснить этого факта и должны будем необходимо признать его совершенно несообразным с нашими началами и выводами. Аристократические семейства и вообще высшие классы общества пользуются всегда и везде достаточным для их продовольствия количеством средств пропитания, так что с их-то стороны и должно бы было ожидать преимущественно быстрого и безостановочного размножения, между тем как в действительности мы встречаем в большей части случаев совершенно противное. Сисмонди в своих «Новых началах политической экономии» представил для опровержения мнений Мальтуса весьма простой и убедительный расчет относительно известного французского дома Монморанси, который без сомнения никогда не нуждался в хлебе и, не находя для себя препятствий в средствах пропитания, мог бы весьма легко размножаться в геометрической прогрессии, принимаемой Мальтусом. По тому расчету, который сделал Сисмонди, принявший в основание мальтусову гипотезу двадцатипятилетнего удвоения, выходит, что число потомков первого Монморанси, жившего около 1000 года по Р. Х., достигло бы в 1800 году до невероятной цифры 2 147 475 648 человек, между тем как напротив число людей, носящих это имя, в настоящую минуту, как известно, весьма незначительно. Очевидно, что причина, препятствовавшая размножению этого рода, заключалась вовсе не в недостатке средств пропитания, а в недостатке имуществ, потребных для обеспечения каждому из возможных членов этого дома равного содержания, соответствующего той общественной степени, которую занимал родоначальник этого семейства и с которой не должен был сходиться ни один из его потомков. Прилагая к целому обществу этот результат, выведенный из частного примера, мы имеем полное право заключить, что принимая успехи известной отрасли земледельческой промышлен-

ности за единственное условие, от которого зависят успехи самого народонаселения, мы далеко не доходим до полного и многостороннего сознания всех причин, полагающих преграду действию воспроизводительной силы человека.

Рассматривая этот пункт с противоположной точки зрения, мы придем необходимо к подобному же результату. Если с одной стороны, несмотря на обеспеченность и обилие средств пропитания, малое развитие прочих отраслей производительности может положить преграду постоянному размножению людей, то зато с другой стороны самый недостаток средств пропитания еще не составляет причины, препятствующей сохранению и распространению народонаселения, если только другие отрасли промышленности успели уже достигнуть до известной степени совершенства и развития. Нет ничего легче, как оправдать это заключение.

Во всяком правильно и рационально устроенном обществе, в котором производительная деятельность его членов не предоставлена на произвол случая и насилия, а организована разумным и предусмотрительным образом, между всеми отраслями народной промышленности должны существовать необходимо тесная связь, равновесие и солидарность. Успех каждой отдельной ветви производства обуславливается необходимо успехом и благосостоянием всех других отраслей, находящихся друг с другом по самому существу своему в самой органической и живой связи. Если поэтому при правильной и гармонической организации труда и может иногда случиться от влияния разного рода обстоятельств замедление в успехах той промышленности, которая доставляет обществу нужные средства для его продовольствия, то этот недостаток в одной отрасли производства должен необходимо отразиться как в каждой из остальных, так и в целой их совокупности. Следовательно в этом случае совершенно бесполезно и излишне разъединять то, что по существу своему едино, и брать в соображение вместо целого одну только его часть, находящуюся от этого целого в зависимости необходимой и безусловной.

Что же касается до современных обществ с настоящим их устройством, то очевидно, что и в каждом из них недостаток средств пропитания не может служить препятствием для развития народонаселения при успешном состоянии других отраслей народной промышленности. В подобном случае каждое общество имеет полную возможность доставить себе посредством обмена то количество средств пропитания, в котором оно нуждается для продовольствия своих членов. Если предположить страну,

в которой при чрезмерном изобилии продуктов мануфактурной промышленности будет обнаруживаться сильный недостаток в хлебе и других припасах, составляющих пищу человека, то очевидно, что, меняя свои излишние мануфактурные произведения на хлеб и сельские продукты других народов, эта страна не будет никогда страдать от голода или ощущать недостаток в средствах пропитания. Подобные обмены между образованными обществами весьма легки и удобны и нет никакого сомнения, что удобство их будет постоянно увеличиваться с каждым днем вследствие усовершенствования путей сообщения и вследствие падения тех учреждений, которые до сих пор ограничивали или подавляли свободу торговли. В прошлом и нынешнем годах неурожай, общий почти всем странам Западной Европы, имел в каждой из них последствием ощутительный недостаток: в средствах пропитания, но этот недостаток весьма легко был восполнен в таких странах, которые, подобно Франции, отличаются сильным развитием прочих отраслей производительности, огромными привозами хлеба из тех государств, где он родился в изобилии. Если же жители Ирландии гибли тысячами от голода и не могли, несмотря на все усилия правительства, обеспечить свое продовольствие и противодействовать вредным последствиям неурожая и болезни картофеля, то очевидно, что причина этого горестного факта заключается в несчастном положении Ирландии, где все без исключения отрасли производительности находятся в одинаково жалком и ничтожном состоянии. Впрочем мы можем в этом случае сослаться на авторитет самих экономистов и даже таких, которые принадлежат к числу самых ревностных и безусловных последователей теории Мальтуса. Почти все они сознаются в том, что недостаток средств пропитания легко может быть уменьшен посредством обменов в каждой стране, достигшей до известной степени промышленного развития, и что следовательно было бы несравненно справедливее, вместо отношения между народонаселением и средствами пропитания, принимать в соображение то отношение, которое существует между народонаселением и целой производительностью каждого общества. «Мальтус», говорит Сисмонди¹, «положил в основание своей теории тот принцип, что во всякой стране число народонаселения ограничивается необходимо тем количеством средств пропитания, которое может доставить эта страна. Эта мысль может быть

¹ Nouveaux principes d'economie politique par *Simon de Sismondi* 1827. Tome II, p. 269. (Новые начала политической экономии, Соч. Симона де Сисмонди. 1827. Т. II, стр. 269. — *Ред.*)

верна только в приложении к целому земному шару или к такому народу, который не имеет никакой возможности достать у соседей своих какую-либо часть средств, нужных ему для продовольствия; во всех других случаях внешняя торговля изменяет это правило». Для тех, которым покажется недостаточным авторитет Сисмонди, бывшего вместе экономистом и врагом экономистов, мы сошлемся на авторитет другого писателя, Шторха, одного из самых верных и покорных приверженцев идей Адама Смита и его школы. Признавая вполне справедливость теории, высказанной Мальтусом, Шторх делает однако в ее основной формуле то же самое изменение, необходимость которого мы доказываем в настоящую минуту—и рассматривает постоянно не отношения народонаселения к средствам пропитания, а отношения народонаселения к ежегодной производительности каждой страны. «В стране, уединенной от других, говорит он, и не имеющей внешней торговли, народонаселение будет соразмеряться не с целой массой произведений ее промышленности, но только с той частью этих произведений, которая будет состоять в средствах продовольствия. Напротив в стране, торгующей с другими государствами, народонаселение может зависеть от всей суммы продуктов ее промышленности, потому что посредством обменов избыток различных средств для удовлетворения прочим потребностям человека может заменить собой недостаток средств для пропитания Голландия покупает себе хлеб посредством своих полотен, Швеция посредством своего железа, Норвегия посредством своего кораблестроительного леса»¹. Наконец ко всему этому мы можем присоединить самый сильный и убедительный авторитет в этом деле, авторитет самого ревностного последователя теории народонаселения, самого деятельного провозвестителя и распространителя экономических идей Смита и Мальтуса. Мы говорим о Жан-Баттисте Сее (Say), который в своем «Полном курсе политической экономии» признает истинной границей для размножения людей недостаток средств для их существования (*moyens d'existence*) и называет поэтому не средства пропитания, а целую производительность страны настоящим мерилom народонаселения. «Заметьте, говорит он именно, «что я говорю о продуктах вообще, а не о хлебе или каком-либо другом продукте в особенности. Я не сказал, что каждый народ тем многочисленнее, чем больше производит он хлеба для своего продовольствия,

¹ Cours d'Economie politique par *Henri Storch* St. Petersburg. 1815. Tome V, p. 114. (Курс политической экономии, Соч. *Генриха Шторха* С.-Петербург. 1815. Том V, стр. 114. — *Ред.*)

потому что такое мнение опровергалось бы опытом. В Польше на одной квадратной лье растет более хлеба, чем в Голландии; однако квадратная лье в Польше доставляет пропитание меньшему числу жителей, нежели квадратная лье в Голландии. Почему? Потому что это пространство земли в Голландии хотя и не производит столько хлеба, сколько в Польше, дает однако в совокупности большее число продуктов. Ценность того, что она производит, дает ей возможность купить то, чего у ней нет. Следовательно народонаселение в своем развитии соотнобразуется не с тем или другим продуктом в особенности, но с целой производительностью вообще¹. Каким образом происходит это восполнение недостатка средств пропитания избытком произведений в прочих отраслях промышленности Сей объясняет весьма подробно и удовлетворительно, выводя из своих исследований следующее заключение: «изо всего этого вы видите, что желая *узнать* настоящие отношения народонаселения к производительности, мы неизбежно впадаем в заблуждение, если станем обращать внимание на свойство продуктов. Это уже дело самого народонаселения. Благодаря удобству обменов, оно имеет полную возможность, не заботясь о свойстве продуктов, думать единственно об усилении своей производительности, так как произведенная им ценность всегда может доставить ему ту вещь, в которой оно больше всего нуждается. Относительно целого народа мы можем следовательно обращать внимание только на сумму продуктов и должны повторить еще раз, что во всякой стране число жителей может размножаться и действительно размножается до тех пор, пока находит к этому возможность в состоянии целой производительности этой страны².

Таким образом, опираясь на самые очевидные идеи и факты, подтверждаемые даже такими ортодоксными экономистами, каковы Шторх и Сей,—мы доказали, что первая из двух формул, составляющих основание мальтусовой теории, будучи совершенно справедливой сама в себе, оказывается несправедливой в том виде, в каком выразил ее Мальтус. На этом основании и следуя примеру, данному Сеем, мы сделаем небольшое отступление от формулы Мальтуса и, поставив иначе занимающий нас вопрос, рассмотрим отношение народонаселения не к средствам пропитания, а к целой производи-

¹ Cours complet d'economie politique pratique par Jean Baptiste Say. Edition Guillaumin. Paris. 1840. Tome II, p. 129. (Полный курс практической политической экономии, Соч. Жана Баптиста Сэ. (Изд. Гильюмена. Париж. 1840. Том II, стр. 129. — *Ред.*).

² *Say*, Tome II, p. 130.

тельности каждого отдельного общества. Так как это изменение нисколько не мешает нам признать вместе с Мальтусом, что постоянное распространение народонаселения находит для себя естественный и необходимый предел в успехах и состоянии народного богатства, то мы можем теперь перейти; прямо к рассмотрению второй формулы, которую провозгласил Мальтус и в которой собственно и заключается по нашему мнению сомнительная и ошибочная сторона его учения.

В отношении к этой второй формуле мы должны опять сделать необходимое различие между двумя основными началами, из которых она складывается. Из множества собранных им данных, относящихся к прошедшим эпохам и к настоящему времени, Мальтус, смешивавший подобно всем экономистам смитовой школы частные факты, обусловленные временем и местом, с правилами безусловно необходимыми и общими для всех времен и мест,—вывел тот закон народонаселения, который по его мнению должен действовать постоянно на всех ступенях общественного развития и во все периоды жизни человечества. В основании этого закона лежат два произвольные предположения, ни на чем не основанные: во-первых гипотеза *неограниченной* способности человечества к постоянному и быстрому размножению, во-вторых гипотеза недостаточности производительных сил человека для приведения в соразмерность числа народонаселения с массой народного богатства. Оставляя на время в стороне первую гипотезу, против которой мы приведем наши возражения впоследствии, и допуская покуда вместе с Мальтусом, что воспроизводительная сила человека сама в себе совершенно неограниченна и что при обстоятельствах благоприятных народонаселение может развиваться с самой неимоверной быстротой,—мы постараемся прежде всего разрешить вопрос: действительно ли производительность в своем развитии никогда не может поспеть за народонаселением и можно ли на самом деле эту несоразмерность между двумя силами человека признать достаточной и необходимой причиной для вечного и постоянного существования нищеты, разврата и прочих бедствий, тяготеющих над человеком в современных нам обществах и при нынешней организации экономических отношений?

Совершенно отрицая справедливость решения, данного Мальтусом этому последнему вопросу, мы считаем необходимым прежде всего для объяснения причин, побуждающих нас отвергнуть учение Мальтуса об этом предмете,—сказать несколько слов о значении той научной методы, которою он пользовался при своих ученых исследованиях и в которой по нашему мне-

нию заключается главный источник всех его заблуждений. Метода эта была совершенно одинакова с той, которой следовали Адам Смит и все лучшие экономисты либеральной школы. Писатели этой школы во всех тех случаях, когда они не увлекались примером философов и юристов и не выводили действительных законов промышленного развития из гадательных соображений и произвольных гипотез,—следовали постоянно в своих изысканиях эмпирическому направлению и, пренебрегая одними чисто спекулятивными исследованиями, старались выводить все начала науки из строгого анализа частных явлений общественной жизни. Эта метода, которой мы обязаны бесспорно открытием или подтверждением важнейших законов политической экономии, заслуживает без сомнения полного одобрения и доверия, так что приложение ее к развитию и оправданию основных начал экономической науки составляет одну из главнейших заслуг Адама Смита и его последователей и самое значительное преимущество этой школы, как над ее предшественниками, так и над современными ее противниками, которые, стараясь вывести решения всех вопросов науки из идей разума и права, с гордым презрением смотрят на людей, стремящихся к открытию истины более скромным и вместе более верным путем эмпирии и анализа. Но индуктивная метода, при всей своей твердости и важности, может весьма легко повести к односторонним и ложным заключениям во всех тех случаях, когда успех и верность ее приложения не обеспечены достаточным образом дарованием и искусством изыскателей и точным соблюдением известных правил, предписываемых опытом и логикой. Что неправильное и неискusstvenное приложение этой методы к решению различных вопросов общественной науки может привести весьма легко к самым ошибочным и странным результатам, в этом всего яснее можно убедиться из примера и заблуждений тех же экономистов. Главная причина большинства ложных и неправильных идей, пущенных ими в ход и принятых за несомненные истины, заключалась именно в том, что стараясь выводить постоянно общие законы из наблюдения над конкретными фактами, они не всегда изучали с надлежащей полнотой частные явления и не всегда умели выводить из них в логической последовательности настоящие их результаты. Первый недостаток их обычной методы заключался в том, что факты, служившие основанием их рассуждений и силлогизмов, были обыкновенно весьма неполны и отрывочны и избирались ими преимущественно из общественных явлений, относящихся к настоящей эпохе или к эпохе, ей непосредственно предшествовавшей. Таким образом пренебрегая

опытом прошедших времен и не заботясь о сличении действия и влияния однородных экономических явлений в различные периоды истории человеческих обществ, они естественно должны были принимать обусловленные временем факты, существовавшие только в момент их исследований, за выражение общих и постоянных законов, всегда существующих и действующих. К этому обильному источнику заблуждений и ложных выводов Присоединился и другой, находившийся с первым в самой тесной связи. Выводя из сличения частных фактов общие законы, экономисты вполне удовлетворялись этим результатом и вовсе не заботились о том, чтобы оправдать вполне существование этих законов и исследовать те причины, которыми необходимо обуславливались их действие и сила. Такое равнодушие к самой существенной стороне каждого ученого вопроса сопровождалось обыкновенно не только неясным и неполным сознанием сущности выведенного закона, но и кроме того во многих случаях совершенной неправильностью результатов, выведенных повидимому из данных вполне убедительных и несомненных. Всякому, кто хоть сколько-нибудь знаком с обыкновенным способом извлечения общих результатов из статистических цифр и фактов, должно быть известно, что между общественными явлениями нет решительно ни одного, которое бы не было произведением множества разнородных, часто даже противоположных друг другу причин и сил, и что следовательно нет ничего легче, как впасть в самую грубую ошибку, если ограничиваться при выводе общих правил из частных фактов одним только существованием факта, не заботясь нисколько о причинах и основаниях этого существования. Весьма часто случается, что самый добросовестный статистик, собрав и сличив бесчисленное множество цифр, указывающих на одно и то же отношение, и открыв в этой груде отдельных фактов ясное присутствие одного общего закона, не извлекает однако из своего труда никакого удовлетворительного и прочного результата, во-первых потому, что сознавая бытие известного закона, он не соединяет с этим нисколько сознания причин и цели его бытия, а во-вторых и потому, что весьма нередко влияние различных посторонних и внешних причин совершенно видоизменяет значение и характер тех или других фактов и вводит в невольное заблуждение их наблюдателя, который весьма естественно должен принять за нормальный и необходимый закон то, что собственно говоря есть не более, как случайное явление, обусловленное действием посторонней причины. То же самое случалось весьма часто и в сфере экономических исследований, так что экономисты весьма нередко выводили

посредством своей методы такие законы, которых они не умели объяснить и оправдать, не зная их причин и оснований, или которым они неправильно приписывали постоянную и необходимую силу, общую для всех времен и мест, между тем как в них заключалось только выражение преходящего и временного правила, бывшего неизбежным результатом влияния разных случайных и местных причин или действия известных общественных учреждений, свойственных только некоторым эпохам и некоторым странам. То же самое случилось и с Мальтусом при исследовании отношений, существующих между народонаселением и производительностью. Чуждый первого недостатка экономистов, состоящего, как мы заметили выше, в несправедливом пренебрежении к экономическим фактам времен прошедших, он не остался однако чуждым второго недостатка всех последователей этой школы, и подобно всем прочим писателям одинакового с ним направления, не сумевши указать с ясностью участие причин разного рода в произведении фактов, бывших предметом его исследований, смешал условные и частные явления с общими и необходимыми законами и случайное отношение между народонаселением и народным богатством, зависящее единственно от влияния и действия некоторых учреждений, *существующих в современных обществах*, принял за отношение нормальное, естественное, основанное на законах природы и следовательно общее всем временам, действующее одинаково на всех ступенях общественного развития и при всяком устройстве общественных отношений.

Но каким путем достиг Мальтус до этого ложного и одностороннего мнения, составляющего самую ошибочную и слабую сторону его учения? Если принять в руководство те сведения, которые можно извлечь из истории составления его знаменитого «Опыта» и из порядка его изложения, то можно предположить с полной достоверностью, что путь, которому следовал Мальтус при построении своей теории, состоял главным образом в следующем. Противопоставив надеждам Годвина и других философов, допускавших возможность бесконечного усовершенствования человеческих обществ, свою гипотезу неограниченного и быстрого распространения народонаселения и более медленного размножения средств пропитания, Мальтус почувствовал по всей вероятности сам всю слабость априористических доводов, на которых он основал *эту* гипотезу, и решился поэтому исследовать подробнее и точнее экономические и общественные события различных времен и стран для надлежащего подтверждения своей мысли. Из сравнения и анализа собранных им фактов он имел без сомнения полное право заключить,

что в большей части случаев, как в прошедшие времена, так и в настоящую эпоху, народонаселение размножалось постоянно быстрее, нежели средства пропитания, так что действие порока и нищеты оказывалось всегда неизбежным и единственным средством для восстановления равновесия между этими двумя величинами... Но Мальтус не имел конечно никакого права из фактов, которых он не подвергал критической оценке и которые проявлялись всегда только при известных условиях, не заключающих в себе ничего существенного и безусловно необходимого, вывести то заключение, что несоразмерность между числом народонаселения и богатством общественным принадлежит к числу отношений, основанных на естественной необходимости и существующих непрерывно и вечно. Очевидно, что такое заключение было сделано слишком преждевременно и поспешно. Для того, чтобы оправдать этот новый вывод и доставить ему прочное основание, Мальтус должен был разобрать внимательнее и строже собранные им факты и исследовать прежде всего те обстоятельства и причины, которые способствовали их происхождению и образованию. Он должен был обратить внимание на ту среду, в которой проявлялись неутешительные явления, приведенные им в известность и, ознакомившись короче с основными началами и свойствами экономической организации различных обществ, определить меру влияния и действия несовершенства и недостатков этой организации на нарушение того равновесия, которое бы должно было существовать между успехами народонаселения и успехами народного богатства. Этого Мальтус не сделал и не мог сделать, потому что увлеченный своей постоянной и задушевной мыслью о неприменимости всех мер, предложенных в его время для исцеления различных язв общественного организма, он заранее сделал себя неспособным к беспристрастной и глубокой оценке настоящих причин, нарушавших соразмерность между народонаселением и народным богатством, объявив с самого начала с полной откровенностью, что он считает в высшей степени нелепым приписывать человеческим учреждениям пороки и бедствия, терзающие общество и что по его мнению несчастья, причиняемые несовершенством общественного устройства, покажутся легкими и ничтожными в сравнении с теми, которые имеют свой источник в законах природы и в страстях людей¹. Весьма понятно, что при таком направлении Мальтус не мог никак оценить достаточным образом влияние общественных учреждений на происхождение порока, нищеты и всякого

¹ *Malthus*, p. 329.

рода бедствий, необходимых для сохранения равновесия между числом членов и числом продуктов каждого общества, и должен был неминуемо возложить на законы самой природы ответственность за те несчастья, которые бы явились, при более беспристрастном и внимательном рассмотрении, естественным и неизбежным последствием недостатков общественного устройства... От этого и произошло, что Мальтус и все слепые последователи его теории, не сумевшие понять порядка ее образования и отличить ее ложные стороны от истинных, преувеличили в противность самым очевидным и несомнительным фактам значение найденного закона в прошедшем и настоящем, и вместе с тем приписали, не имея на то ни малейшего основания, существование этого закона требованиям самой природы, распространив таким образом его действие и силу на все будущие времена. В самом деле при самом поверхностном наблюдении над влиянием общественных учреждений на нарушение той соразмерности, которая при нормальном порядке вещей должна бы была существовать между народонаселением и производительностью, легко убедиться в том, что отсутствие этой соразмерности ни в каком случае не может быть отнесено к числу тех неизменных законов природы, которые действуют с одинаковой силой во все времена и при всех возможных условиях. С другой стороны избегая того ложного, одностороннего направления, которому следовали Мальтус и все экономисты, имевшие обыкновение смотреть на каждый факт, как на результат одной только причины, и пренебрегать всеми другими обстоятельствами, которые могли способствовать происхождению и образованию этого факта, весьма легко убедиться и в том, что даже в настоящее время производительность развивается во многих случаях несравненно быстрее народонаселения, так что нищета и все другие бедствия, с нею сопряженные, являются по большей части не следствием избытка народонаселения и недостатка производительности, а произведением множества других причин, источник и корень которых кроется не в законах природы, но в несовершенствах и злоупотреблениях общественной организации. Но для того, чтобы достигнуть как того, так и другого результата, необходимо во-первых исследовать те нормальные и естественные отношения народонаселения и народного богатства, которые основываются на самом существе как воспроизводительных, так и промышленных способностей человека. Во-вторых, в дополнение к этому следует определить меру влияния различных общественных и экономических учреждений на нарушение этих нормальных отношений и на происхождение

и развитие нищеты, несправедливо приписанной Мальтусом и его учениками—несоразмерности народонаселения с средствами пропитания, как главной и даже единственной причине. И то и другое постараемся мы выполнить здесь во столько, во сколько доставляют нам на то возможности пределы и условия журнальной статьи.

В чем заключаются нормальные и естественные отношения между развитием народонаселения и народного богатства, или другими словами, каковы могут и должны быть эти отношения при самых благоприятных условиях и во всех тех случаях, когда они осуществляются в настоящем их виде, не терпявая никакого изменения от вредного влияния различных несовершенств общественного организма? Сделайте этот вопрос любому человеку, одаренному простым здравым смыслом, неповрежденным софизмами политической экономии, и вы получите от него по всей вероятности следующий ответ. «Производительность, скажет он вам, должна развиваться необходимо в той же самой прогрессии, в какой развивается и народонаселение, потому что с увеличением числа людей должно увеличиваться вместе и число работников, число производителей. Оба эти прогресса, прогресс народонаселения и прогресс народного богатства находятся между собой в самой тесной и необходимой связи, потому что зависят друг от друга и один без другого быть не может. Увеличить богатство, не увеличив в то же время народонаселения, значит совершенно то же, что уменьшить число потребителей, увеличив в то же время число производителей и число рабочих рук, что совершенно нелепо и противно здравому смыслу, потому что каждый человек есть вместе и производитель и потребитель». Вот что ответит нам наверное всякий, в ком личные интересы и экономические предрассудки не успели еще затемнить силы рассудка и сознания, если же вас не удовлетворит этот ответ, внушенный простым здравым смыслом, то обратитесь к опыту истории, к произведениям законодателей древних и новых обществ, к сочинениям публицистов и философов всех возможных времен и всех возможных народов. От всех вы услышите одну и ту же *profession de foi*, одну и ту же основную идею о необходимой связи, существующей между успехами народонаселения и успехами народного богатства. Кроме весьма немногих случаев, когда вследствие обстоятельств особенно неблагоприятных, например вследствие существования невольничества в древнем мире, размножение людей могло только сопровождаться умножением потребностей без всякой пользы для производительности,—кроме этих случаев, почти всегда и

езде законодатели и лица, стоявшие во главе правительств, следуя советам и указаниям публицистов и философов, употребляли все возможные меры для содействия распространению народонаселения, надеясь этим самым содействовать в то же время и успехам народного богатства... Этого мало. Взгляд этот не был последствием, как думают обыкновенно, одних только предрассудков и невежества, а оправдывался совершенно основным началом политической экономии, основным началом всех знаменитых экономистов, провозглашавших единогласно вслед за учителем своим Смитом, что труд есть единственный источник богатства и что следовательно увеличение числа людей трудящихся и производящих есть необходимое и главное условие для увеличения суммы продуктов и для развития народной промышленности... Таким образом сама политическая экономия вела к тому заключению, что производительность и народонаселение по самому существу своему должны необходимо развиваться с одинаковой быстротой и силой. Это заключение вполне подтверждалось философией, которая должна была необходимо провозгласить ту же самую истину *a priori*, потому что, допустив раз гипотезу единства и разумности законов природы, она должна была признать в то же время, что природа, вложив в организм человека известные потребности и нужды, без удовлетворения которых невозможно его существование, должна была вместе с тем дать ему и средства, достаточные для надлежащего обеспечения этих необходимых нужд относительно их удовлетворения... *A posteriori*¹, ежедневный опыт подтверждал эту истину, потому что в общественной жизни не встречалось ни одного человека, который бы не был в состоянии посредством своей производительной силы и способности труда, ему присущей, не только обеспечить для себя пропитание и содержание, но и произвести излишние продукты, не нужные для него самого и назначенные для удовлетворения чужим нуждам и потребностям. Одним словом здравый смысл, опыт, история, политическая экономия и философия приводят в этом случае все к одному и тому же результату, доказывая нам, что если один человек одарен известной производительной силой, равной например определенной величине *A*, достаточной для удовлетворения всем его нуждам, то десять человек должны необходимо иметь в совокупности производительную силу, достигающую в своем размере величины, равной десяти *A*, так что во всяком случае увеличение числа производителей должно необходимо

¹ На основании опыта. — *Ред.*

сопровождаться равным увеличением в степени производительной силы, развивающейся следовательно всегда совершенно одинаково и одновременно с развитием народонаселения.

Но этого мало. Если мы теперь от существа производительной силы, присущей каждому отдельному человеку, обратимся к исследованию тех обстоятельств, которые могут содействовать увеличению или развитию этой силы, то мы достигнем необходимо другого, совершенно неожиданного результата. Мы убедимся, что при известных благоприятных обстоятельствах производительность может весьма легко не только поспевать за народонаселением, но и развиваться несравненно быстрее и с гораздо большей энергией. Для того, чтобы оправдать этот результат, предположим себе прежде всего человека, живущего вне общества и стоящего на самой низшей степени образования. Производительная сила этого человека, другими словами принадлежащая ему от природы способность к труду и к созданию ценностей, вполне достаточная для того, чтобы обеспечить ему удовлетворение его первых потребностей, безусловно необходимых для существования, будет однако чрезвычайно слаба и ничтожна, если противопоставить ее той, которую может легко приобрести тот же человек, вступив в общество и воспользовавшись всеми его выгодами. Общественная жизнь содействует во многих отношениях как увеличению и развитию промышленных способностей каждого отдельного человека, так и превращению этих способностей, которые в некоторых случаях могут весьма легко остаться бесплодными и мертвыми силами, не переходящими в действие и жизнь,— в деятельное и сильное орудие для беспрестанного производства новых ценностей, для образования и скопления капиталов, для бесконечного размножения тех внешних, материальных благ, в которых нуждается человек для постоянного удовлетворения своим разнообразным нуждам, потребностям и желаниям. Во-первых только в обществе, только при беспрестанном взаимодействии одного человека на другого, только при постоянном сообщении понятий, идей, чувств и желаний, пробуждаются и развиваются в человеке его врожденные способности, всегда присущие его природе, но остающиеся в дремотном и апатическом состоянии до тех пор, пока какой-нибудь внешний толчок не сообщит им движения и не приведет их в действие; только в обществе могут развиваться в полном объеме и с надлежащей энергией разнообразные потребности и нужды, свойственные нашей природе, а известно между тем, что только напор этих потребностей и нужд может извлечь человека из его первобытного состояния лени и апатии, пробудить в нем жажду

труда и деятельности и открыть его промышленным способностям обширное поле для их развития и осуществления. Во-вторых только в обществе и только под защитой тех охранительных учреждений, которые происходят и образуются в нем вследствие безусловного подчинения всех частных усилий и стремлений одной общей норме, одному закону, одинакому для всех, преодолеваются и исчезают те препятствия, которые противуполагаются развитию деятельности человека окружающей его природой и враждебными отношениями ему подобных; только под защитой общественной организации, обеспечивающей каждому из людей безопасность его лица и его имущества как от нападений других существ, так и от враждебных действий бессознательных сил природы, производительная способность человека, освободившись от всех преград, уничтожающих или замедляющих ее действие, может обнаружиться во всей своей энергии и силе, осуществиться в массе разнообразных и приспособленных к нуждам человека продуктов и, покорив себе внешнюю природу и физические силы, употребить их в самое сильное орудие для успехов цивилизации и для бесконечного умножения материальных наслаждений. В-третьих, только в обществе и только при существовании самой тесной связи, самой живой солидарности между индивидуальными интересами и стремлениями, труд человека может получить свое настоящее значение и занять принадлежащее ему место в ряду прочих проявлений могущества и величия человека; между тем как в диком состоянии человек в обязанности трудиться видит несносное и тягостное иго, от которого он старается всеми мерами уклониться и избавиться, в обществе и по мере успехов общественной жизни труд представляется человеку как самая настоятельная необходимость, как самая первая его обязанность, самое очевидное доказательство величия его природы и благородства его назначения. В-четвертых... но нужно ли перечислять здесь в подробности те бесчисленные известные всем и каждому способы, которыми совершается благотворное влияние общественной жизни на развитие промышленности и производительной силы человека? Не лучше ли, оставляя без доказательства и без дальнейшего развития эту вполне доказанную и всеми единогласно признанную истину, обратиться к исследованию тех менее известных и мало оцененных видоизменений, которые производятся в производительной силе человека различными экономическими усовершенствованиями и учреждениями, возможными только при известной степени общественного развития и под условием постоянного, значительного увеличения в числе народонаселения.

Первое место между этими многочисленными орудиями экономического прогресса в образованных обществах занимает, по словам Адама Смита, *разделение труда*, и мы, следуя в этом случае порядку, указанному знаменитым вождем и учителем всех экономистов, постараемся определить, придерживаясь по возможности его собственных слов, меру влияния этой формы экономического устройства на производительность человеческого труда и на умножение народного богатства.

«Самыми значительными усовершенствованиями в производительной силе труда, говорит Адам Смит, и самой значительной долей искусства, ловкости и умения, встречающихся иногда в исправлении и приложении этой силы, обязаны мы, как кажется, *«разделению труда»*¹. Так начинает Адам Смит первую главу своего сочинения, посвященную исследованию и оценке различных орудий и условий промышленного прогресса. Далее, для объяснения того огромного влияния, которое может иметь разделение работ на усовершенствование промышленных способностей человека, Смит приводит пример булавочных фабрик и доказывает ясно, что самый прилежный и успешный работник не успеет, несмотря на все свои усилия, сделать в день более одной булавки, если только все частные операции, из которых слагается эта работа, возложены будут во всей их совокупности на него одного. Напротив при раздроблении этого труда между множеством различных работников, из которых каждый будет употреблен только для одной совершенно отдельной операции, десять работников произведут без больших усилий, как это известно из опыта, около сорока восьми тысяч булавок в один день, так что относительно каждого из них можно сказать по справедливости, что он произвел одну десятую часть этой суммы, т. е., 4 860 булавок. «Но если бы они все, прибавляет к этому Смит, работали отдельно и независимо друг от друга, и если бы они не приобрели навыка к своей специальной работе, то каждый из них без сомнения не в состоянии был бы сделать в день более 20-ти булавок, даже более одной, или что то же, не мог бы произвести $\frac{1}{240}$ или даже $\frac{1}{4800}$ доли той суммы продуктов, которую они могут производить теперь вследствие надлежащего разделения и со-

¹ Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, par Adam Smith. Edition Guillaumin. T. I, p. 6. (Исследования о природе и причинах богатства народов, Соч. Адама Смита. Издание Гильомена. Т. I, стр. 6. — *Ред.*).

средоточения их различных операций»¹. Прилагая этот частный пример ко всем без исключения отраслям промышленности, Смит провозглашает, как основной закон политической экономии, что *«во всех случаях и в каждом ремесле успехи разделения работ должны necessarily служить источником пропорционального этим успехам умножения производительной силы труда»*²... «Это огромное увеличение в количестве труда, доставляемом одним и тем же числом рабочих рук, говорит он далее, являясь необходимым последствием разделения работ, должно быть приписано трем различным обстоятельствам: во-первых, умножению искусства в каждом работнике, взятом отдельно, во-вторых сбережению того времени, которое обыкновенно теряется при переходе от одного рода занятий к другому и наконец в-третьих, изобретению большего числа машин, которые облегчают и сокращают труд и позволяют одному человеку исполнить разом работу нескольких»³. Рассмотрев в подробности действие каждой из этих причин в отдельности, Смит заключает свое исследование о выгодах разделения труда следующими словами: «во всяком хорошо управляемом обществе огромное умножение продуктов в различных отраслях промышленности, происходящее от разделения труда, служит причиной того общего благосостояния, которое разливается на все классы народа, даже на самые низшие. Каждый работник, употребив известную часть своего труда на удовлетворение своих собственных нужд, может кроме того располагать совершенно свободно другой, более значительной его частью, и как другие работники находятся в том же положении, то он очевидно получает возможность обменять значительную часть произведенных им товаров на столь же значительную часть их произведений, или что то же на цену их произведений. Он может этим работникам доставить в обилии то, в чем они нуждаются, и от них может получать то, что ему самому нужно, так что этим путем всеобщее обилие становится мало-помалу уделом самых различных классов общества»⁴.

Таково мнение Адама Смита о влиянии разделения труда на производительную силу человека и на развитие народного богатства. Нельзя не заметить, что это мнение повторяют и развивают на все возможные тоны и в еще сильнейших выражениях все без исключения экономисты, все последователи

¹ Adam Smith, Т. I, p. 8.

² Ibid.

³ Ibid., p. 11.

⁴ Ibid., p. 14, 15.

Мальтуса, нисколько не сознавая, что признанием этого экономического закона они делают самую важную уступку своим противникам и наносят самый сильный удар своей собственной теории. Пользуясь в этом случае этим совершенным непониманием настоящей связи, существующей между учением о разделении труда и вопросом об отношениях производительности к народонаселению и основываясь в наших выводах на началах, указаниях и возгласах самих же экономистов, мы извлечем из сочинений Адама Смита и его последователей следующий несомненный и всеми единогласно признаваемый результат. Разделение труда увеличивает невероятным образом производительную силу каждого отдельного человека и успехи народного богатства становятся тем сильнее и значительнее, чем более разделяется труд и чем более размножается число производителей, так как при более значительном числе работников становится возможным и более полное раздробление одной отрасли производства на множество различных и отдельных работ. Прямое заключение, которое мы можем и должны вывести из этого несомненного экономического закона, состоит в том, что если десять производителей, работая отдельно и независимо друг от друга, могут произвести ценность, равную A , то те же самые десять производителей, пользуясь выгодами и последствиями разделения труда, могут произвести весьма легко, работая вместе, ценность вдвое, втрое, вчетверо большую. Но если так, то очевидно, что разделением труда к сумме производительных сил всех отдельных членов общества присоединяется известный значительный излишек, который должен увеличиваться постоянно вместе с развитием самого народонаселения. Этот результат для большей ясности мы можем выразить в следующей формуле, где развитию народонаселения противопоставлено развитие производительности под влиянием тех благодетельных последствий, которые производит разделение труда, увеличивающееся постоянно вместе с увеличением числа производителей.

Народонаселение 1, 2, 4, 8 и т. д.
 Производительность 1, $2+A$, $4+2A$, $8+4A$ и т. д.¹

Выражая ту же самую формулу в другом, более простом виде, мы можем сказать, что если народонаселение будет раз-

¹ Под A мы понимаем здесь тот прирост производительности, который является необходимым последствием разделения труда.

множаться в геометрической прогрессии, знаменателем которой будет число *два*—

1 2 4 8 16 32 64,

то производительность, увеличиваясь непрерывно от постоянного разделения труда, будет развиваться в быстрой геометрической прогрессии, знаменателем которой может быть, например, число четыре.

1 4 16 64 256 1024 и т. д.

Но очевидно, что к тому же самому результату, к той же самой формуле должно привести нас неизбежно исследование и всех других условий промышленного прогресса, и всех других экономических учреждений, образующихся в обществе и содействующих успехам народного богатства. Посмотрим например на машины, на их значение и роль в экономической организации современных обществ. Всякий раз, как изобретается новая машина, труд человеческий приобретает новую производительную силу, в сравнении с которой прежняя кажется нам в высшей степени слабой и ничтожной. Всякий рычаг, всякий винт, всякое колесо, облегчая значительным образом труд работника, доставляет ему возможность в меньший период времени произвести несравненно большую сумму ценностей. Кроме того посредством изобретения машин и приложения их к промышленности различные элементы и силы физической природы, по большей части неприязненные и враждебные для человека, подчиняются его воле и желаниям, исполняют беспрекословно его веления и, избавляя его от тягостных и вредных здоровью его работ, дают ему способность и силу к производству таких продуктов, которых он сам собственными средствами никогда бы не был в состоянии произвести. Но если каждая машина увеличивает значительным образом производительную силу человека, то очевидно также, что чем значительнее число производителей и работников, тем большая является возможность для приложения машин к различным отраслям промышленности и для извлечения из них наибольшей суммы выгоды и пользы. Машина, приводимая в действие десятком работниками, легко может быть усовершенствована и усилена в своем действии, если вместо десяти первоначальных работников явится их сто или двести. И так как с другой стороны ум человека не может найти; никакого предела для постоянного развития промышленных изобретений, то из этого необходимо заключить, что и в этом отношении

производительная сила труда сама в себе не имеет границ и может следовательно весьма легко, при беспрестанных успехах и постоянном усовершенствовании механики, достигнуть почти непостижимой для нас и невероятно высокой степени развития.

Это высокое мнение о необыкновенном влиянии машин на увеличение и развитие производительной силы человека не принадлежит вовсе к числу тех утопий и химер, против которых так сильно восстают так называемые *практические* люди. Напротив—это одна из тех несомненных истин, открытием и подтверждением которых мы обязаны самим же экономистам, не отвергающим нисколько силы самого закона, нами указанного, но восстающим только против применения этого закона к частному вопросу о народонаселении. Послушаем, что говорит о последствиях изобретения машин в отношении к успехам народного богатства один из главных оракулов политической экономии, самый верный и безусловный последователь теорий Адама Смита, известный Жан-Баптист Сей:

«Первый и непосредственный результат введения машин состоит очевидно в том, что оно дает возможность получить то же самое количество полезностей за меньшую сумму труда, или что то же, получить большее число ценностей, употребив на то гораздо менее работы. Инструменты и машины распространяют власть человека, они подчиняют его разуму тела и силы физические и их употреблению обязана промышленность самыми значительными своими усовершенствованиями. Но всякое даже самое драгоценное нововведение сопровождается неизбежно вначале некоторыми неудобствами; поэтому и ближайшее последствие введения новых машин бывает иногда сопряжено с разными невыгодами... Что же касается до дальнейших последствий, то они в высшей степени выгодны для машин. В самом деле выигрыш *уже* совершенно очевиден, как скоро посредством машин человек распространяет свое владычество над природой и принуждает естественные силы, различные свойства естественных агентов, работать в свою пользу. В таком случае мы находим всегда умножение продуктов или уменьшение издержек производства. Если продажная цена произведения не понизилась, то введение машины приносит пользу производителю, ничего не стоя потребителю. Если цена напротив понижается, производитель ничего не теряет, а потребитель выигрывает все то, чем понизилась цена. Обыкновенно увеличение числа продуктов имеет последствием уменьшение их цены; дешевизна произведений увеличивает в свою очередь их потребление и производство этого продукта, делаясь несравненно

быстрее прежнего, занимает однако гораздо большее число работников. Нет никакого сомнения, что хлопчатобумажная промышленность в Англии, Франции и Германии занимает теперь несравненно большее число рабочих рук, нежели прежде, т. е. до введения машин, значительно однако сокративших и усовершенствовавших труд. Дешевизна продуктов не есть впрочем единственная выгода, доставленная потребителям введением машин; другая несомненная выгода состоит в большем совершенстве этих продуктов. Живописцы могут нарисовать при помощи одной кисти рисунки, украшающие наши материи и обои, и разного рода инструменты, которые употребляются для облегчения их труда, дают этим рисункам такую правильность, а цветам такую единообразность, которой не мог бы достигнуть никогда самый искусный артист. Рассматривая действие различных орудий на все отрасли промышленности, легко убедиться, что в большей части случаев машины не только упрощают или заменяют собой труд человека, но создают в полном смысле слова новые продукты или придают прежним такое совершенство, которого они прежде не имели. Некоторые машины производят такие продукты, которых никакое искусство, никакие усилия самого талантливого работника не в состоянии были бы произвести. Наконец машины приносят еще другую выгоду; они умножают число даже таких продуктов, с которыми повидимому не имеют ничего общего. Трудно поверить, если не подумать об этом внимательнее, что плуг и другие подобные ему машины, происхождение которых теряется во мраке времен, содействовали значительным образом к тому, чтобы доставить человеку наибольшую часть не только продуктов, необходимых для жизни, но и тех предметов роскоши, которыми он наслаждается в настоящую минуту и о которых по всей вероятности без пособия этих инструментов он не мог бы иметь ни малейшего понятия»¹ и проч. и проч.

Но что значит все эти возгласы Сея и прочих экономистов о влиянии машин на развитие производительных способностей человека в сравнении с их громкими и восторженными фразами о благодетельных последствиях неограниченной конкуренции и о плодотворной силе этого нового экономического начала. Выписок в этом случае делать невозможно, потому что пришлось бы выписывать не страницы и не главы, а целые сочинения самых плодовитых писателей по этой части. Известно всякому, кто хотя сколько-нибудь знаком с историческим разви-

¹ *Traite d'economie politique, par Jean Baptiste Say.* Edition Guillaumm, р. 85—90. (Трактат о политической экономии, Соч. Жана Баптиста Сэ, изд. Гильомена, стр. 85—90. — *Ред.*)

тием экономической науки, что мысль о благотворном влиянии конкуренции капитала и труда на усовершенствование и процветание народной промышленности составляет любимую и главную тему всех без исключения экономистов так называемого либерального направления, и что все знаменитейшие деятели политической экономии, начиная от Адама Смита и до современных его последователей, только и делают, что развивают и объясняют эту мысль при всяком случае и по всякому поводу на все возможные тоны и со всех возможных сторон. Конкуренция и свобода промышленности вот альфа и омега всей политической экономии, основная идея всех экономических рассуждений и силлогизмов, единственное начало, на которое опираются устарелые экономисты для опровержения новых теорий своих современных противников. Но после этого не странно ли, что те же самые экономисты, которые так сильно и резко настаивают на необходимости постоянного соревнования между производителями для полного осуществления производительных способностей человека, так мало понимают и оценивают влияние этого экономического закона на изменение нормальных отношений, существующих при обыкновенном порядке вещей между народонаселением и производительностью. А между тем нигде благоприятное влияние экономических учреждений на усиление той быстроты, с которой может развиваться народное богатство, обгоняя собой развитие народонаселения, не обнаруживается с такой очевидностью и ясностью, как в тех экономических явлениях, которые имеют свой источник в распространении соревнования как между капиталистами, так и между работниками. В самом деле кто не знает, что конкуренция, освобождая работника от оков и притеснений монополии, производит огромное, неизмеримое увеличение в сумме народного богатства? Кто не знает, что вследствие конкуренции продукты труда постоянно понижаются в цене, между тем как в то же время число их также постоянно увеличивается с каждым днем. А так как и в этом случае, точно так же, как и при разделении труда, при изобретении машин, распространение конкуренции не имеет для себя никаких пределов и может увеличиваться постоянно по мере увеличения числа производителей, то очевидно, что и тут благотворное влияние конкуренции на развитие народной промышленности не может иметь для себя никаких границ, не может быть ни взвешено, ни определено. Всего замечательнее в этом то, что вследствие конкуренции производство богатств решительно принимает в своем развитии такие размеры, которых никогда не может достигнуть размножение людей, так что отношение, указанное Мальту-

сом между успехом производительности и успехами народонаселения, является софизмом самым антиэкономический, самым несообразным с истинными началами науки, признаваемыми самим же Мальтусом и всеми его последователями. Вследствие конкуренции на каждого производителя налагается обязанность производить с каждым днем дешевле и дешевле, другими словами, производить постоянно большее число продуктов, нежели какого требуют потребители и доставлять следовательно ежедневно обществу обеспечение за будущее его продовольствие. Спрашивается теперь: каким образом при подобной системе может производительность отстать хоть на шаг от развития народонаселения? Чем сильнее конкуренция, тем быстрее развивается производительность, но чем значительнее число производителей, тем значительнее и самое соревнование, между ними существующее и те выгоды, которые от него происходят, так что числом народонаселения определяется степень деятельности соревнования, точно так же, как им же определяется и степень разделения труда и степень влияния машин. Таким образом с какой бы стороны мы ни стали смотреть на этот предмет, мы приходим постоянно к одному и тому же результату, убеждаясь более и более в том, что производительность, под влиянием и вследствие конкуренции, может развиваться и развиваться действительно гораздо быстрее, нежели народонаселение.

Нужно ли продолжать далее этот перечень промахов Мальтуса и его последователей, это перечисление различных экономических учреждений, увеличивающих до бесконечности производительную силу человека, которая приверженцам теории народонаселения кажется обыкновенно столь ограниченной и слабой. Кому не известно, что обмены, свобода торговли, собственность, пути сообщения, монета, банк, кредит, образование, полиция и т. п. учреждения, существующие в каждом обществе и способные к бесконечному усовершенствованию и развитию, упрочивают собой столь же бесконечное усовершенствование и развитие народной промышленности и сопровождаются относительно ее точно такими же результатами, какими сопровождается, как мы уже видели, и разделение труда, и изобретение машин, и неограниченная конкуренция? Чтобы убедиться и этом, стоит только заглянуть в сочинение Адама Смита или любого из экономистов его школы; все эти сочинения посвящены главным образом исследованию тех огромных и неограниченных выгод, которые могут быть извлечены человеком из различных общественных и экономических учреждений для увеличения производительной силы труда и для размножения

числа продуктов в самой невероятной и полуфантастической прогрессии. Остановимся поэтому на том, что мы уже высказали, и опираясь на самые несомненные законы экономической науки, на самые бесспорные истины, провозглашенные и доказанные самими же экономистами,—изложим окончательно результаты наших исследований о нормальных отношениях народонаселения и производительности.

Каждый человек, сказали мы в самом начале, одарен от самой природы известной производительной силой, достаточной для обеспечения и удовлетворения всех его необходимых нужд. Таким образом, если бы общественные учреждения не имели никакого влияния и действия на изменение взаимных отношений, существующих между числом людей и числом продуктов, то производительность развивалась бы необходимо в совершенно одинаковой пропорции с развитием народонаселения. Но общественная жизнь и различные экономические усовершенствования, действие которых известно нам из наук и из опыта, нарушают это нормальное равновесие между производительностью и народонаселением, увеличивая до невероятно высокой степени промышленные способности каждого отдельного человека. Этот излишек в производительной силе—следствие благотворного влияния общественных и экономических учреждений, увеличивается в свою очередь постоянно вместе с увеличением народонаселения. Другими словами, если предположить, что два человека, живущие отдельно и независимо друг от друга, не имеющие ни орудий, ни машин и незнакомые с выгодами и благодеяниями соревнования, кредита, торговли, образования и т. п., производят в совокупности ценность, равную числу 2, то несомненно, что те же два человека, изменивши свои взаимные отношения, направив свои усилия к одной цели и увеличив свои производительные силы разумным разделением работ, изобретением инструментов и машин и взаимным соревнованием, произведут уже ценность, равную не 2, а по крайней мере 4, потому что каждый из них в последнем случае производит не только для себя, но и для своего товарища. Если число работников удвоится, то вместе с тем и вследствие этого разделение работ делается значительнее прежнего, машины будут действовать сильнее, соревнование станет производиться деятельнее; все прочие условия экономического прогресса получают большее значение и силу, так что если два работника могут произвести в соединении ценность, равную например 4, то четыре работника произведут ценность равную 16; 16—64 и т. д. Это усиление производительности, происходящее от разделения труда, машин, конкуренции и т. д., доказанное вполне убедительным образом

самими же экономистами, доказывает в свою очередь, что закон народонаселения, выведенный Мальтусом, если и может осуществляться, то только в таких обществах, которые не имеют правильной организации, в которых нет ни общественной власти и силы, ни промышленности в ее надлежащем виде, ни разделения труда, ни машин, ни конкуренции, ни обменов и пр. и пр. Напротив осуществление этого закона является решительно невозможным и противным самым основным началам политической экономии, как скоро речь идет об обществах, правильно устроенных, в которых существуют и разделение труда и обмены, в которых каждый отдельный человек, производя для миллиона потребителей, пользуется в свою очередь услугами миллиона производителей. Если же в подобных обществах и встречается иногда нарушение нормальных отношений, существующих между народонаселением и производительностью, если сумма народного богатства оказывается в них иногда не вполне соответствующей нуждам и числу потребителей, то подобное отступление от общих и несомненных законов общественного развития должно быть приписано не провидению и не природе, не избытку воспроизводительной силы и не недостатку промышленных способностей человека, а каким-либо внешним, посторонним причинам, которые кроются в несовершенствах общественной организации и не принадлежат ни в каком случае к числу нормальных, разумных и необходимых явлений.

Этот взгляд на взаимные отношения народонаселения и производительности находится очевидно в самом открытом противоречии с основными началами теории, построенной Мальтусом. Нам остается поэтому рассмотреть теперь те возражения, которые могут быть сделаны последователями этой теории, и оценить вместе с этим силу и справедливость важнейших доводов, на которые они опираются для оправдания своих мнений. Собственно говоря приверженцы Мальтуса могут представить в свою защиту и для опровержения мысли, нами сейчас высказанной и признанной уже многими из новейших экономистов, только два серьезных аргумента, действительно заслуживающих внимания и спора. Первый из этих аргументов они могут основать на мнимом противоречии, существующем между выведенным нами здесь общим законом развития производительности и действительным ее развитием как в прежние времена, так и в современных обществах. «Ваша теория», могут они сказать нам, «есть не что иное, как произвольная гипотеза, не имеющая для себя никакого практического основания. Вы говорите, что производительность может развиваться

и действительно развивается гораздо быстрее, чем народонаселение; но в подтверждение вашей мысли вы не можете привести ни одного факта, потому что все без исключения факты, как прошедшие, так и настоящие, опровергают ваши выводы и состоят с ними в явном противоречии. Все древние общества, точно так же как и все общества современные, страдали и страдают от нищеты; но нищета есть не что иное, как выражение той несоразмерности, которая существует между числом людей и средствами для их содержания, другими словами она есть самый вредный критерий избытка народонаселения и недостатка производительности. Если производительность развивается, как вы говорите, быстрее народонаселения, то откуда же являются пауперизм и все страшные бедствия, которыми обыкновенно он сопровождается. Постоянное существование и развитие пауперизма даже в наших обществах, даже при нынешних громадных успехах промышленности, есть факт несомненный и очевидный, факт, доказывающий ясно, что промышленная сила человека никогда не может уравниваться с его воспроизводительной способностью и что ваша гипотеза необходимого перевеса первой силы над второй есть не более, как мечта, произвольная утопия, которая не осуществлялась в прошедшем, не осуществляется в настоящем и никогда не может осуществиться в будущем».

К этому аргументу, основанному на противопоставлении начал науки явлениям действительности, последователи Мальтуса могут присоединить еще другой, основанный на учении экономистов о значении и участии капитала в образовании ценностей. «Производительная сила человеческого труда, скажут они нам, действительно не имеет для себя никаких границ, и нет никакого сомнения, что различными общественными и экономическими учреждениями она может быть увеличена до самых крайних пределов. Но при этом не надо никогда забывать, что труд человека есть только главный, а вовсе не единственный источник богатства и что сам по себе, без участия *капитала*, он не имеет ни значения, ни силы. Всякая ценность есть результат совокупного действия двух сил: труда и капитала; а потому для успехов и процветания народного богатства необходимо развитие как того, так и другого из этих двух деятелей производства. Всякий человек имеет конечно производительную силу более чем достаточную для доставления ему насущного хлеба и для удовлетворения его необходимых нужд; но эта производительная сила обнаруживается в действительности и переходит в жизнь только тогда, когда она встречается с капиталом, оживляется им и приводится им в

действие. В противном случае, т. е. в случае отсутствия или недостатка капиталов, производительная сила, присущая человеку, остается бесплодной и мертвой способностью, существующей только в возможности, а не в действительности, *in potentia, non in actu...* Всякий, кто знаком с основными началами политической экономии, знает, что недостаток капиталов составлял всегда и составляет доньше главную причину, полагающую естественный предел постоянным успехам и неограниченному развитию промышленности. Поэтому—обуславливая увеличение народного богатства одним только усовершенствованием производительных способностей человека, и позабывая в то же время о необходимости капитала для приведения в действие этих способностей, мы должны необходимо притти насчет взаимных отношений производительности и народонаселения к результатам самым односторонним, неполным и следовательно ложным».

Представив таким образом два главных возражения, которые могут быть сделаны учениками Мальтуса в опровержение наших мнений и изложив существо этих возражений с полной добросовестностью и нисколько не уменьшая их силы и важности, мы скажем теперь несколько слов о значении и справедливости каждого из этих аргументов. Что касается до первого из них, то очевидно, что даже в случае его совершенной справедливости и удовлетворительности, он нисколько не может доставить надлежащего оправдания идеям и выводам Мальтуса. Допустим вместе с последователями теории народонаселения, что нищета может служить постоянным и верным критериевом несоответственности между числом людей и числом продуктов; признаем вместе с ним, что как прежде, так и теперь производительность развивалась и развивается гораздо медленнее народонаселения. Спрашивается: что можно извлечь из этого факта в пользу или против нашего взгляда на нормальные отношения производительности и народонаселения и есть ли какая-нибудь возможность, не исследовав настоящих причин, обуславливающих это явление, признать его за действительное выражение тех необходимых и естественных законов, которыми определяется взаимная связь между размножением людей и развитием промышленности? В самом деле, если не увлекаться односторонней И ложной методой Мальтуса и всех экономистов, если не смешивать частных и временных фактов с общими и вечными законами, то нет ничего легче, как убедиться в том, что перевес воспроизводительной силы человека над его промышленными способностями (если только он действительно существует в настоящее время), должен быть необходимо признан уклоне-

нием от нормальных и естественных отношений, существующих между этими двумя силами и притом таким уклонением, которое может быть вполне объяснено вредным влиянием различных недостатков общественной организации. Нищета, говорят Мальтус и его последователи, есть необходимое последствие недостатка производительности и избытка народонаселения, но не служит ли в свою очередь и нищета причиной и источником тех же самых явлений? Не она ли, ставя человека на одну степень с животным и отнимая у него сознание его человеческого достоинства, осуждает его тем самым и отсутствие всякой предусмотрительности и благоразумия в деле заключения браков и размножения своей породы? Не она ли, убивая свои бесчисленные жертвы в физическом, умственном и нравственном отношениях, уничтожает или уменьшает вместе с тем и ту производительную силу, которую они получают от самой природы, но которую теряют мало-помалу от беспрестанных лишений, от тягостных работ, от недостатка средств содержания, наконец от невозможности развить и усовершенствовать путем образования свои естественные способности и таланты? Мы уже видели, в какой невероятной, громадной пропорции должна бы была увеличиваться, по сознанию самих экономистов, производительная сила человека от разделения труда, введения машин, неограниченной конкуренции и т. п. учреждений. Но все эти экономические усовершенствования в наших обществах и при нынешнем устройстве хозяйственных отношений производят вместе и добро и зло, сопровождаются в одно и то же время и благотворными и вредными последствиями, увеличивают производительную силу работника и вместе с тем подавляют ее, уменьшают или, что всего чаще, осуждают на невольное бездействие, отказывают ей в возможности исхода и осуществления. При глубокой разрозненности капитала и труда, при совершенном отсутствии всякой истинной и прочной солидарности между различными категориями производителей, разделение работ, которое, по началам науки, должно было бы довести производительные способности работника до *pes plus ultra*¹ совершенства и развития, сопровождается совершенно противоположным последствием и ограничивая всю деятельность человека непрерывным и бессмысленным повторением одной и той же простой и не требующей никакого особого напряжения умственных способностей операции, делает его совершенно неспособным ко всякому другому труду, не только умственному, но и физическому, и служит обыкновенно самой

¹ до высшей степени. — *Ред.*

деятельной, самой энергической причиной упадка и загробления умственных, а вместе с тем и промышленных способностей человека. Ту же самую участь испытывает производительная сила человека от изобретения и усовершенствования машин, которые, представляясь по своему истинному назначению и свойству самым могущественным и деятельным орудием прогресса и благосостояния, являются нынче, при всеобщей разрозненности и борьбе интересов, самым обильным и прямым источником постоянного и постепенного оскудения физических и умственных сил в каждом отдельном работнике, который, употребляя всю свою жизнь на приведение в действие какого-либо колеса или рычага машины, теряет мало-помалу характер и свойства свободного и самостоятельного производителя и превращается в свою очередь в машину, в бессмысленное и лишенное произвола орудие, не имеющее в себе ни признаков, ни следов человеческого свободно разумного характера. Соревнование между производителями, не встречая для себя в настоящую минуту никакого разумного противодействия со стороны общественной власти и порождая, как свое естественное последствие, совершенно необходимое при нынешнем порядке вещей, господство анархии, произвола и притеснений, действует в свою очередь самым неблагоприятным образом на производительную силу своих жертв, не допуская ее до ее нормального, естественного развития, или напротив подавляя ее преждевременно при первой попытке ее—не оставаться в виде одной возможности, а обнаружиться на самом деле, перейти в жизнь и найти себе сферу для действия. Известно, что вследствие принципа неограниченной свободы промышленности, лежащего в основании экономической организации почти всех современных обществ, все участие работника в пользовании продуктами народной промышленности ограничивается незначительным вознаграждением за труд, являющимся обыкновенно в виде заработной платы; известно также, что количество этой заработной платы, от которого зависит вся участь работника, его материальное благосостояние и степень развития его умственных и нравственных сил, определяется обыкновенно отношением, существующим в каждой отрасли промышленности между предложением и требованием труда. Но вследствие неограниченной конкуренции, существующей как между капиталистами, так и между работниками, предложение труда почти всегда превосходит его требование, так что количество заработной платы или другими словами цена человеческого труда постоянно понижается более и более, с чем вместе увеличивается нищета рабочих классов общества; а всякое увеличение нищеты, как

мы уже заметили выше, нарушает по необходимости настоящее равновесие между народонаселением и народным богатством, способствуя в одно и то же время увеличению первого ;и уменьшению второго. Кроме того при перевесе предложения труда над его запросом множество работников остаются не-обходимо без работы, так что совершенные силы, в них сосредоточенные, остаются также совершенно бесплодными и расточаются обыкновенно без всякой пользы для общества. Даже в тех случаях, когда требование труда превышает его предложение, когда число рабочих рук оказывается недостаточным для приведения в действие всех капиталов, пущенных в обращение, неограниченная конкуренция восстанавливает весьма скоро обыкновенную соразмерность между числом работников и количеством капиталов и еще более нарушает равновесие между производительностью и народонаселением тем, что внушает работникам в этот краткий промежуток времени ложные ожидания насчет постоянного возвышения заработной платы, ожидания, уничтожающие совершенно последнюю предуд-смотрительность с их стороны в отношении к заключению браков и рождению детей. Одним словом пересматривая внимательно все общественные и экономические учреждения, существующие в обществах, мы можем весьма легко убедиться в том, что все они сопровождаются обыкновенно последствиями совершенно друг другу противоречащими и что нет ни одного из них, которое бы вместе с пользой не приносило и вреда. Таким образом во всех тех случаях, когда мы можем заметить в обществах действительный избыток народонаселения над про-изводительностью, мы должны признавать этот горестный факт не за выражение общего и необходимого закона, как делают Мальтус и его последователи, а совершенно напротив за ясный признак насильственного низвращения естественных отношений, существующих при обыкновенном порядке вещей между производительностью и народонаселением, низвращения, источника которого должно искать конечно не в разумных законах природы, а в несовершенстве общественного устройства.

Таким образом первое возражение последователей Мальтуса решительно ничего не доказывает в пользу их теории даже в том случае, когда мы допустим справедливость этого возражения и сообразность его с действительными фактами. Но допустить это последнее условие решительно невозможно, потому что это бы значило итти наперекор самым несомненным началам науки и самым очевидным явлениям действительности. На чем основываются последователи Мальтуса, когда они доказывают, что в большей части случаев и на всех

ступенях общественного развития, народное богатства развивается гораздо медленнее, нежели народонаселение? На постоянном и повсеместном существовании пауперизма необходимого следствия, по их мнению, избытка в числе людей и, недостатка в количестве продуктов. Но совершенная несправедливость этой последней гипотезы известна всякому, кому удалось прочесть хотя одно из тех многочисленных сочинений, которые были изданы в последнее время для пояснения и решения самого современного из вопросов политической экономии, вопроса о бедности и о причинах ее происхождения. Кто не знает, что та страшная нищета, от которой в настоящую минуту страдают почти одинаково все общества Западной Европы, имеет свой источник не столько в недостатке производительности, сколько в несправедливости и нерациональности тех законов, по которым распределяются нынче богатства между отдельными классами производителей и нужно ли доказывать, что при неограниченной свободе промышленности, при отсутствии связи и солидарности между капиталом и трудом, *все* экономические учреждения, о которых упоминали мы выше, разделение труда, машины, конкуренция, монета, кредит и проч. должны необходимо вместе с увеличением целой массы продуктов, составляющих народное богатство, содействовать постоянному уменьшению той степени благосостояния, которая составляет удел низших классов общества, живущих своим трудом и не имеющих ни капитала, ни земли. Очевидно, что и в этом случае, точно так же как и во всех других Мальтус и все экономисты, следующие его учению, впали невольно, или же может быть и умышленно в свою обычную ошибку, приписали существование одного из важнейших общественных фактов действию одной только причины, между тем как причины этого факта до невероятности многочисленны и разнообразны. Впрочем в этом случае не входя в слишком подробное и неуместное здесь опровержение ложных мнений Мальтуса и его последователей о причинах и источнике нищеты, мы ограничимся только тем, что приведем несколько фактов, доказывающих справедливость нашей мысли красноречивее и убедительнее всех возможных доводов, основанных на началах науки или на авторитете знаменитейших из числа современных экономистов. Во-первых по указаниям и вычислениям самых добросовестных и достоверных статистиков оказывается, что в последние 50 или 40 лет во всех европейских государствах народное богатство увеличилось в несравненно быстреей прогрессии, нежели народонаселение. Во Франции например, богатство в течение последних пятидесяти лет *упятирилось* между тем как народонасе-

ние увеличилось только *в полтора раза*, и достоверность этого статистического результата доказывается всего убедительнее тем, что он признается одинаково экономистами самых противоположных мнений и школ: на него ссылаются например и Евгений Бюрет, автор одной из самых блистательных и энергических протестаций против учения экономистов о пауперизме и распределении богатств, и Теодор Фикс, написавший целое сочинение в опровержение Бюрета и в защиту экономистов. Но если так, то очевидно, что пример Франции решает в настоящем случае все дело и решает его конечно не в пользу последователей Мальтуса. В продолжении пятидесяти лет народонаселение во Франции развивалось вдесятеро медленнее, нежели производительность, между тем как пауперизм не только продолжал существовать в этой стране, но и развивался в ней с каждым годом более и более. После этого сохранение и увеличение нищеты никак уже не может быть приписано малому развитию производительности или, что то же, избытку народонаселения; из приведенного нами примера видно ясно, что источник постоянного развития пауперизма в современных обществах заключается главным образом в существующей нынче системе распределения продуктов промышленности между производителями, системе, уничтожающей ту необходимую связь, которая повидимому должна бы была существовать между развитием народного богатства и увеличением материального благосостояния во всех без исключения слоях общества. Чтобы убедиться еще более в совершенной справедливости этого результата, стоит только припомнить другой статистический факт, также вполне достоверный и не подвергаемый никем сомнению или спору. Известно, что в настоящее время во всех обществах Западной Европы число преступников, незаконнорожденных, развратных женщин и лиц, устранимых от военной службы по причине физических недостатков, увеличивается с каждым годом в чрезвычайно быстрой прогрессии, и так притом, что это увеличение совершается быстрее, нежели размножение самого народонаселения. Но известно в то же время, что все эти цифры, выражающие собой постоянный упадок рабочих классов в физическом, умственном и нравственном отношении, служат самым верным и очевидным доказательством увеличения нищеты, настоящей причины и почти единственного источника этого упадка. Таким образом и этим путем мы приходим к тому же результату: и в этом случае статистика доказывает нам, что развитие нищеты совершается гораздо быстрее, нежели развитие народонаселения. Но как же после этого принимать нищету за верный критерий отсутствия соразмерности между

размножением продуктов и размножением людей? Очевидно, что даже при совершенном перевесе развития производительности над развитием народонаселения нищета может распространяться более и более и увеличиваться постоянным и безостановочным образом, как скоро экономические отношения устроены столь Нерационально, что успехи народного богатства и увеличение массы продуктов приносят пользу только небольшому числу людей, оставаясь без малейшего влияния на участь большинства или даже содействуя в значительной степени постоянному упадку и обеднению самого многочисленного и самого полезного класса производителей. При нынешних отношениях, существующих между капиталом и трудом, промышленный прогресс совершается нередко в пользу одних капиталистов и в ущерб работников, так что почти везде народное богатство и нищета представляются между собой тесно связанными, развиваются в одно и то же время и в совершенно одинаковой прогрессии. Статистика и тут приходит к нам на помощь, доказывая ясно, что между различными европейскими государствами развитием пауперизма отличаются особенно те, в которых народная промышленность достигла самой высокой степени совершенства и развития. В Англии например считают одного бедного на каждые пять человек; в Бельгии—одного на шесть; во Франции одного на девять; в Испании и Италии одного на тридцать; в Турции одного на сорок. Нужно ли прибавлять что-нибудь к этому факту и не доказывает ли он ясно, что нищета несправедливо приписывается последователями Мальтуса излишнему размножению народонаселения и недостатку производительности? Если в современных обществах число бедных, несмотря на успехи промышленности, не только не уменьшается, но напротив увеличивается и притом увеличивается по мере этих успехов, то очевидно, что первый аргумент последователей Мальтуса, основанный, как мы видели, на признании пауперизма верным признаком и доказательством слабого развития производительности, не имеет в себе никакого ученого достоинства и находится в открытом противоречии с самыми достоверными и несомненными фактами.

Второй аргумент, на который опираются приверженцы теории народонаселения, основан, как мы уже видели, на том известном начале политической экономии, по которому всякое произведение рассматривается как результат совокупного действия труда и капитала и по которому существование капитала признается необходимым условием для приведения в действие производительных способностей человека. Нисколько не отрицая

справедливости и действительности этого закона, мы полагаем однако, что на нем нельзя ни в каком случае основать какое-либо серьезное возражение против высказанного нами мнения о быстроте той прогрессии, в которой может развиваться производительность при благоприятных обстоятельствах и под влиянием рациональной организации общественных отношений. Во-первых, если в настоящую минуту работник поставлен в такое положение, что по неимению орудий и сырых материалов, необходимых для производства, он не может привести в действие своих производительных способностей, не прибегнув к помощи капиталиста, имеющего полное право пустить свой капитал в обращение или оставить его в бездействии, то очевидно, что такое положение дел не заключает в себе ничего существенного и необходимого, и есть не более как случайный и условный факт, зависящий единственно от способа распределения капиталов и от свойства тех отношений, которые существуют ныне между капиталистами и работниками. Во-вторых мнение последователей Мальтуса о существующей ныне несоразмерности между числом рабочих рук и количеством капиталов могло бы быть признано справедливым только тогда, когда бы было доказано, что в настоящую минуту число капиталов, существующих действительно, но не получающих полезного назначения, совершенно незначительно и ничтожно; но этого доказать нельзя, потому что утверждая подобную мысль, мы бы противоречили самым очевидным и несомненным фактам. Притом это мнение последователей Мальтуса о мнимом недостатке капиталов в настоящее время совершенно неспровергается теми результатами статистических исследований, на которые указали мы выше. Если действительно в последние пятьдесят лет во многих европейских государствах народное богатство развивалось быстрее народонаселения, то очевидно, что и размножение капиталов совершалось гораздо скорее, нежели размножение рабочих рук. Из этого видно, что признав даже действительно существование той несоразмерности, которая по мнению некоторых экономистов существует ныне между количеством капиталов и числом производителей, мы должны будем однако сознаться, что эта несоразмерность может быть со временем уничтожена и уничтожается на самом деле в некоторых из современных обществ вследствие успехов народной промышленности и усовершенствования способов производства. Наконец в-третьих ни в каком случае мы не имеем права заключать, что недостаток капиталов и несоразмерность их количества с числом рабочих рук принадлежат к числу явлений, основанных на самой природе вещей и на экономических зако-

нах, действующих во всех местах и во все времена; напротив мы имеем полное право надеяться и предполагать, что с устранением тех неблагоприятных причин, которые в настоящее время полагают преграду развитию народного богатства, капиталы, как произведение человеческого труда, сделаются необходимо способными к столь же быстрому и значительному, размножению, к какому вполне способна, как мы уже видели, та производительная сила, которая заключается в труде и деятельности человека.

Но, скажут нам экономисты, если капитал, как произведение человека, и можно признать способным к безостановочному и бесконечному размножению, то этого начала ни в каком случае нельзя применить к земле, которая ограничена самой природой как относительно своей производительной силы, так и относительно своего пространства; земля между тем, подобно капиталу и труду, принадлежит к числу тех необходимых деятелей производства, без участия которых не может быть создана никакая ценность. Это возражение, к которому последователи Мальтуса прибегают всего чаще и всего охотнее, столь же несправедливо и неосновательно, как и тот аргумент, который основывается на недостатке капиталов, необходимых для приведения в действие промышленных способностей человека. В самом деле если дело идет о *производительной силе* земли, то существо этой силы и пределы её развития нам совершенно неизвестны и мы не только не можем согласиться с мнением Мальтуса насчет необходимых границ, полагаемых этой силе самой природой, но должны напротив, руководствуясь ежедневным опытом и нашими сведениями об историческом развитии и постепенных успехах земледельческой промышленности, признать, что производительная сила земли, подобно производительной силе труда и капитала, может быть увеличиваема и развиваема до бесконечности вследствие постоянного увеличения в числе производителей и в количестве капиталов, вследствие постоянного усовершенствования орудий и способов производства, вследствие наконец уничтожения тех причин, которые замедляют нынче успехи и развитие сельского хозяйства. Если же, напротив, приверженцы теории народонаселения имеют в виду при своем возражении не производительную силу почвы, а те необходимые причины, которые полагает развитию производительности ограниченность земли относительно ее *пространства*, то очевидно, что приводимые ими доводы не имеют никакого действительного значения ни в приложении к отдельным странам, ни в приложении к целому земному шару. Если идет дело об отдельных обществах, то мы не будем иметь никакого

права приписывать недостаток земель медленное развитие производительности до тех пор, пока распределение поземельной собственности останется на таких же основаниях, на каких оно существует ныне. Притом мы уже доказали выше, что в отношении к отдельным обществам должно рассматривать как необходимый предел, полагаемый природой вещей развитию народонаселения, не состояние одной только земледельческой промышленности, но состояние всех вообще отраслей производительности, взятых в их целой совокупности. Если же тот же самый довод прилагать уже не к отдельным обществам, а к целой поверхности земного шара, то совершенная ничтожность его раскрывается перед нами еще яснее и очевиднее; смешна и странно жаловаться на недостаток земель и на ограниченность производства, данного нам природой для развития наших промышленных способностей, когда самая значительная часть этого пространства остается еще ненаселенной и неразработанной и когда из числа земель населенных и обрабатываемых весьма мало еще можно начесть таких, которые бы обрабатывались совершенно успешным и удовлетворительным образом.

Но тут еще нас ожидает последнее возражение, которое нам могут сделать последователи Мальтуса, последний аргумент, К которому они всегда прибегают в крайних случаях, когда для защиты своей теории против неумолимых нападков ее противников они истощили уже мало-помалу весь запас софизмов и парадоксов, составляющих в их руках главное орудие для оправдания своей произвольной гипотезы. Какое нам дело до того, говорят они обыкновенно, что в каждой отдельной стране и на целой поверхности земного шара есть еще множество земель ненаселенных и неразработанных. Предположим даже, что все эти земли могут сделаться мало-помалу собственностью человека и что вся поверхность земли покроется растениями, посаженными *его рукой* и *возвращенными его* усилиями. Этим мы можем только отдалить время действительного осуществления того закона, который высказал Мальтус; но не можем никогда устранить совершенно ту опасность, которую нам угрожает стремление народонаселения к безграничному и чрезмерному размножению. Рано или поздно, наступит необходимо та минута, когда число народонаселения окажется несоответствующим не только средствам пропитания, но и самой поверхности пространства, занимаемого родом человеческим. Предположим даже, что производительность может развиваться быстрее народонаселения. Даже и в этом случае постоянное размножение народонаселения может сделаться источником самых

страшных и неслыханных бедствий, как скоро вследствие такого размножения люди принуждены *будут* оспаривать друг у друга место, точно так же как они оспаривают теперь друг у друга кусок хлеба «К чему толкуют нам беспрестанно, говорит Росси¹, о недостатках наших учреждений, о чрезмерном неравенстве наших состояний, о неистощимой плодovitости почвы, об огромном количестве пустого и невозделанного пространства на поверхности земного шара, пространства, которое могло бы быть населено посредством эмиграции. Очевидно, что все это несколько не относится к существу вопроса; если бы даже мы согласились во всем этом с нашими противниками, что вышло бы из того? Мы бы получили только право сказать, что во многих странах к преступной беспечности отцов семейств присоединяются еще другие причины нищеты и страдания и что против чрезмерного народонаселения можно находить часто временные пособия в улучшении политического устройства, в более справедливой общественной организации, в более деятельной и *более* свободной торговле, в большем распространении системы эмиграции. Но разве не должны мы будем сознаться и после этого, что если наша потребность к воспроизведению не будет умерена благоразумием и высоким развитием нравственности, то все эти средства рано или поздно истощатся и зло сделается тем чувствительнее, что не будет уже более временных пособий для его облегчения, ни надежных средств для его уменьшения».

Эти слова Росси ясно доказывают, что экономисты, признающие справедливость Мальтусовой теории народонаселения, сознают сами слабость своих доводов и силлогизмов и прибегают для спасения своего учения к самым недобросовестным и ничтожным уловкам. В самом деле, если, как сознается сам Росси, кроме чрезмерного размножения народонаселения существуют в каждом обществе и другие причины нищеты и страдания, если зло может быть до известной степени устранено или облегчено исправлением недостатков нынешней общественной организации, то первая и главная забота наша должна состоять без сомнения в том, чтобы исправить эти недостатки и восстановить в обществе то равновесие, нарушение которого должно быть приписано не законам природы, а причинам, зависящим совершенно от воли человека. Как скоро нам представляется возможность содействовать уменьшению страданий,

¹ В своем «Предисловии» к последнему изданию Мальтуса, edition Guillaumin Introduction, p. XXXIV (Издание Гильомена. Введение, стр. XXXIV. — *Ред.*).

тяготеющих над современными обществами, мы конечно не должны и не можем пренебрегать этой возможностью только потому, что не надеемся устранить навсегда те препятствия, которые мешают человеку утвердить свое благоденствие на прочных и верных основаниях. В высшей степени бы было нелепо и странно не сделать того добра, которое мы можем сделать, единственно по той причине, что при справедливости нашей гипотезы чрезмерного размножения народонаселения, гипотезы еще вовсе не доказанной и весьма сомнительной, наши усилия могут привести только к временному облегчению страданий человечества и могут оказаться безуспешными для постоянного предупреждения зла на все будущие времена. Сделаем все то, что мы в состоянии сделать и доверимся насчет остального самой природе, которая не могла не предвидеть возможности зла и не могла следовательно не принять заранее надлежащих мер для его предупреждения. Притом будущее нам совершенно неизвестно и мы не можем ни в каком случае сказать утвердительно, что те условия, от которых зависит нынче развитие народного богатства и народонаселения, останутся постоянно и неизменно одни и те же. Во всяком случае безрассудно и жестоко пренебрегать злом настоящим и действительным из опасения зла будущего и только возможного, и мы можем привести тут против экономистов слова самого Мальтуса, объявившего в своем «Опыте», что если бы опасность, проистекающая от чрезмерного размножения народонаселения, могла осуществиться только в случае распространения человеческого владычества на всю поверхность земного шара, то перспектива этого отдаленного от нас зла не должна бы была удерживать нас нисколько от приведения в действие тех реформ, от которых можно ожидать хотя временного облегчения для бедствий человечества. «Мы могли бы смело в таком случае», говорит Мальтус, «предоставить самому провидению заботу об исцелении зол, находящихся от нас в таком значительном отдалении»¹. Отчего не следуют теперь экономисты этому совету Мальтуса, теперь, когда уже наука доказала, что производительность может развиваться быстрее народонаселения и что будущая опасность, которой может страшиться человечество, заключается не в недостатке средств пропитания, а в несоответственности поверхности земного шара числу его возможных обитателей?..

Но спрашивается теперь: эта новая опасность, которой нам угрожают нынче последователи Мальтуса, может ли когданибудь

1 *Malthus*, p. 317.

осуществиться на самом деле или принадлежит теперь к числу тех пустых призраков, которые существуют только в праздном воображении отчаянных экономистов? Этот вопрос может быть решен утвердительно или отрицательно, но во всяком случае он далеко уже уклоняется от существа того вопроса, который был поставлен первоначально Мальтусом и его последователями. Экономисты, приводя в защиту своего учения этот последний и решительный аргумент, сознаются тем самым, что перевес производительных сил человека над его воспроизводительной способностью не подлежит уже никакому сомнению и что следовательно единственная задача, которую предстоит ещё выполнить науке относительно вопроса о народонаселении, состоит только в том, чтобы объяснить настоящие отношения не между народонаселением и производительностью, а между народонаселением и поверхностью земного шара; другими словами обязанность науки в настоящее время состоит только в том, чтобы доказать те естественные и необходимые средства, к которым может прибегнуть в будущем природа для восстановления должного равновесия между неограниченной способностью народонаселения и производительности к размножению и ограниченности того пространства, которое суждено занимать человеческому роду?

Решению этого последнего вопроса посвящены все различные теории народонаселения, которые появились в последнее время и были высказаны преимущественно современными нам писателями. Кратким очерком существа этих различных теорий, объясняющих свойства и пределы воспроизводительной способности человека, заключим мы наше исследование об историческом развитии и современном состоянии вопроса о народонаселении.

IV

ОБЗОР НОВЕЙШИХ ТЕОРИЙ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Новейшие писатели о народонаселении в своих ученых исследованиях опираются почти все на том несомненном начале, что производительность, при благоприятных общественных условиях, при рациональной организации труда и при более справедливом распределении благ, может всегда развиваться несравненно быстрее, нежели народонаселение. Вместе с тем они сознают однако, что безграничное и постоянное размножение человечества, несмотря на столь же безграничное и постоянное размножение продуктов, может сделаться весьма легко источником новых бедствий, которые уже *будут* происходить не от недостатка средств пропитания или народного богатства, а от

недостатка места или несоразмерности пространства с числом его возможных обитателей. Рассматривая *a priori* этот вновь возникший вопрос об отношениях народонаселения к поверхности земного шара, они основывают необходимо все свои догадки и гипотезы на том предположении, что природа устроила все свои законы разумно и предусмотрительно. Приняв раз это начало, они приходят естественно к тому заключению, что для предотвращения различных зол, могущих произойти от чрезмерного, несоответствующего пространству земли размножения ее обитателей, необходимо должно существовать особое средство, особое противодействующее начало, полагающее предел неограниченному действию воспроизводительной силы человека. Средство это притом по самому существу своего назначения и цели не может ни в каком случае принадлежать к числу внешних, принудительных или предупредительных мер, подобных нравственному или физическому принуждению, не может также заключать в себе ничего условного, случайного и произвольного; оно должно напротив основываться необходимо на законах самой природы и быть естественным последствием существа общественной организации и свободного действия наших природных сил и способностей. Само собой разумеется, что открыть и привести в известность это средство не иначе возможно, как обратившись к исследованию существа воспроизводительной силы человека, поверив гипотезу ее неограниченности, принятую Мальтусом и его последователями, но не утвержденную ни на каких прочных доказательствах и исследовав те физиологические и психологические явления, которые сами собой и независимо от воли человека могут положить предел его воспроизводительной силе в том случае, когда подобное противодействие окажется полезным или необходимым.

«Воспроизводительная сила человека»,—сказал Мальтус в самом начале своего сочинения,—«не имеет сама в себе никаких границ и народонаселение при благоприятных обстоятельствах может весьма легко удвоиться в каждый двадцатилетний период и размножаться постоянно в прогрессии геометрической». В подтверждение этой основной мысли, составляющей краеугольный камень всей теории народонаселения, Мальтус не привел, как известно, никаких доказательств, кроме примера Северо-Американских Соединенных Штатов, примера совершенно частного, исключительного, обусловленного различными особенностями этой страны, резко отличающимися ее от всех обществ и стран древнего света. Этот недостаток доказательств бросился прежде всего в глаза противникам теории народонаселения, которые и обратили поэтому все свои усилия на раскрытие совершенной

произвольности мальтусовой гипотезы и ее очевидной несообразности с самыми несомненными результатами исследований исторических и статистических. На этом поприще с особенным успехом действовал Годвин, далеко превосходивший всех прочих противников Мальтуса как в отношении к критическому таланту, так и в отношении к фактической учености. Его сочинение о народонаселении¹, наделавшее в свое время много шума, произвело огромное и неблагоприятное для Мальтуса впечатление на всех беспристрастных свидетелей этого ученого спора, не при- выкших подводить свои научные убеждения под мерку своих личных интересов и видов. Но заслуга Годвина в отношении к вопросу о народонаселении была более отрицательная, нежели положительная, потому что все выводы и аргументы этого энергического и даровитого памфлетиста, поколебав в значительной степени силу мальтусовой гипотезы, не могли привести однако к научному изъяснению существа и пределов воспроизводительной силы человека. В этом отношении сделал гораздо более для науки знаменитый Сисмонди, обративший в первый раз всеобщее внимание на один из самых важных и несомненных фактов общественной жизни, совершенно ниспровергавший все мнения Мальтуса и послуживший поводом к образованию новой, более разумной, хотя и не совершенно удовлетворительной теории народонаселения. Мы уже несколько раз имели случай заметить, что действие воспроизводительной силы человека бывает всегда весьма различно на различных ступенях общественной жизни и развивается обыкновенно в обратной пропорции к развитию материального благосостояния. Другими словами мы уже указывали несколько раз на тот замечательный закон, подтвержденный всеми новейшими исследованиями по части истории и статистики, по которому высшие классы общества всегда угасают и вырождаются после известного числа поколений, между тем как низшие классы отличаются совершенно напротив чрезмерной и постоянной плодовитостию. Это важное явление, доказывающее ясно огромное влияние общественных учреждений на медленность или быстроту размножения людей, послужило основанием особой теории, высказанной Сисмонди и принятой многими из современных экономистов. По мнению Сисмонди чрезмерное размножение народонаселения есть необходимое последствие нищеты и излишнего неравенства состояний, а

¹ Recherches sur la population et sur la faculte d'accroissement de l'espece humaine par *William Godwin*. Traduit de l'anglais par F. S. Constancio Paris. 1821. (Исследования о народонаселении и о возможности увеличения человеческого рода, Соч. *Уильяма Годвина* Перевод с английского Ф. С. *Констанцио*. Париж. 1821 г. — *Ред.*)

вовсе не постоянный закон природы, одинаковый для всех классов общества и действующий во всех слоях общественной жизни. В каждом человеке борются постоянно две различные силы, одинаково присущие его природе, склонность к фамелизму, т. е. стремление к заключению брака и к рождению детей, и требования благоразумия, т. е. голос рассудка, внушающий человеку беспрестанные опасения насчет возможности доставить себе и своему семейству приличное и достаточное содержание. Отношение между этими двумя силами зависит обыкновенно от той степени материального благосостояния, которую занимает человек и с которой он не может сойти, не осудив себя вместе с тем на тягостные и несносные для себя лишения. Влияние требований рассудка и благоразумия на страсти человека бывает обыкновенно тем сильнее, чем выше та ступень, которую он занимает в общественной жизни; поэтому чрезмерного размножения людей всего менее можно ожидать от высших классов общества, живущих в роскоши и довольстве и всего более от бедных классов, незнакомых с той благоразумной предусмотрительностью, которая свойственна людям богатым и развитым как в умственном, так и в нравственном отношениях. Из этого должно необходимо заключать, что чрезмерное размножение народонаселения имеет свой источник в неравенстве состояний и в недостатках общественной организации; и что следовательно для предупреждения зол, происходящих от этого размножения, необходимо заботиться всеми возможными мерами об уменьшении бедности, единственной причины, мешающей началу благоразумного воздержания обнаруживаться с должной силой и с надлежащим успехом.

Эта теория Сисмонди, будучи основана на факте, не подлежащем никакому сомнению и приводя к результатам по большей части сообразным с коренными верованиями и убеждениями нашей эпохи, гораздо удовлетворительнее во всех отношениях, нежели теория Мальтуса и представляет в себе без сомнения гораздо большее число признаков правдоподобия, прочности и многосторонности. Но несмотря на эти несомненные достоинства, теория Сисмонди не может никак *быть* признана последним и окончательным словом науки относительно вопроса о народонаселении. Ее основное начало заключает в себе три очевидных и важных недостатка. Во-первых это начало собственно говоря есть не что иное, как начало нравственного принуждения, провозглашенное Мальтусом, и потому все упреки, приведенные нами выше на эту теорию Мальтуса, падают в одинаковой мере и на теорию Сисмонди. Во-вторых подчинение естественных страстей требованиям холодного рассудка есть факт, дей-

ствительно обнаруживающийся весьма часто в наших обществах, но факт, несколько не свойственный нормальному положению человека и совершенно обусловленный тем неравенством состояний, которое существует в настоящее время, но которое будет изглаживаться и исчезать постепенно вместе с усовершенствованием и развитием общественного устройства. В-третьих наконец объясняя постоянный упадок и вырождение аристократических родов действием эгоистических побуждений, основанных на требованиях рассудка и благоразумия, причиной следовательно чисто психологической, Сисмонди впал очевидно в направление слишком одностороннее и пренебрег совершенно неправильно явлениями физиологическими, в которых бы весьма легко было найти гораздо более средств для удовлетворительного и верного объяснения исторических фактов, принятых Сисмонди в основание его теории.

Таким образом труды Годвина и Сисмонди, содействовав в значительной степени успехам науки и общественного сознания, не привели однакоже к удовлетворительному пояснению того сомнительного пункта, который остается еще разъяснить политической экономии для окончательного решения вопроса о народонаселении.

В чем заключаются естественные и необходимые границы, противопоставляемые самой природой чрезмерному размножению народонаселения и производительности? Вот последний вопрос, которого не удалось до сих пор разрешить окончательно науке, несмотря на все усилия и старания ее многочисленных деятелей. В последнее время однакоже предложено было несколько догадок более или менее удачных для объяснения тех средств, которыми может быть приостановлено в будущем присущее человеку стремление к постоянному и безостановочному размножению. Между этими многочисленными предположениями, высказанными в новейшее время различными писателями, *особенно* замечательны три гипотезы, которые принадлежат Фурье, Дубледэ и Прудону и на которые мы постараемся здесь в заключение нашей статьи обратить внимание наших читателей.

Из числа новейших теорий народонаселения всего слабее и недостаточнее та, которую высказал мимоходом Фурье в одном из своих многочисленных сочинений. По мнению Фурье чрезмерное размножение народонаселения будет совершенно невозможно при той общественной организации, которую он считает самой справедливой и разумной, и которая по его словам должна будет осуществиться рано или поздно в действительной жизни. Это мнение он основывает главным образом на том

предположении, что во всяком обществе, устроенном по началам им придуманным и развитым, *будут* необходимо существовать четыре различные причины для противодействия развитию народонаселения и для удержания воспроизводительной силы человека в должных пределах. Во-первых по его словам усовершенствование общественных отношений должно иметь необходимое влияние на изменение и улучшение физического организма человека и это влияние обнаружится между прочим в увеличении телесной силы и крепости женщин, что в свою очередь по законам природы должно иметь неизбежным последствием уменьшение их плодovitости. Во-вторых интегральное, т. е. равномерное и гармоническое развитие всех способностей человека должно также ввести необходимо воспроизводительную силу в ее настоящие, естественные пределы и отстранить все поводы к ее излишнему, противному природе напряжению и развитию. В-третьих уничтожение всех тех ограничений и стеснений, которые в настоящую минуту затрудняют половые сношения, препятствуя разнообразию и обилию чувственных наслаждений, будут также сопровождаться необходимо значительным уменьшением плодovitости женщин. Наконец в-четвертых уменьшению плодovitости как мужчин, так и женщин не могут не содействовать необыкновенное обилие и высокое качество той пищи, которой будут пользоваться в фаланстере все без исключения члены этого счастливого и примерного общества.

Все эти доводы Фурье, которыми он думал доказать и объяснить невозможность чрезмерного размножения народонаселения в будущих обществах, не обратили и не могли обратить на себя внимания науки, не могли также подвинуть вперед вопроса о народонаселении, во-первых потому, что действие исчисленных нами причин на уменьшение плодovitости человека только было указано у Фурье вкратце и мимоходом, а вовсе не доказано и не развито; а во-вторых и потому, что самое существование этих причин тесно связано с осуществлением того общественного устройства, которое придумал Фурье для блага человечества, но которым человечество вопреки надеждам фурьеристов, может весьма легко и не воспользоваться... Впрочем четвертое обстоятельство, указанное у Фурье в числе средств, которые могут содействовать ограничению воспроизводительной силы человека, именно возможность уменьшения плодovitости от увеличения материального благосостояния и в особенности от увеличения количества и улучшения качества пищи, основывалось не на произвольных и эксцентрических предположениях, но на действительном физиологическом

факте, который уже давно был известен науке, но ни разу еще не был применен ею к разрешению вопроса о народонаселении. Этот-то физиологический факт и послужил основанием одной из новейших теорий народонаселения, именно теории современного английского писателя Дубледэ (Doubleday), издавшего весьма недавно об этом предмете целую книгу под названием: «Истинный закон народонаселения, раскрытый из его отношений к пище народа»¹.

Опираясь на множество физиологических и социальных фактов, собранных с необыкновенной добросовестностью и расположенных в стройном порядке, Дубледэ опровергает в своей книге главное основание теории Мальтуса, принявшего без всяких доказательств, что воспроизводительная сила человека действует совершенно одинаково во всех возможных случаях и при самых различных обстоятельствах. В свою очередь он старается доказать, что размножение и упадок поколений совершаются всегда в обратной пропорции к количеству и качеству пищи, и что плодovitость человека увеличивается постоянно от обилия средств пропитания и уменьшается от их недостатка. Настоящий закон равновесия, по мнению Дубледэ, легко может быть найден в тех отношениях, которые существуют между воспроизводительной силой человека с одной стороны, количеством и качеством его пищи с другой. Эти отношения по его словам заключаются в следующем: во первых во всех тех случаях, когда недостаток пищи и его необходимое последствие—слабость физического организма грозят смертью существам растительного или животного царства, природа напрягает все свои усилия, увеличивает воспроизводительную силу этих существ и сообщает ей сильное развитие, останавливающееся только тогда, когда восстанавливается равновесие ее с средствами пропитания. Во-вторых в том случае, когда эти существа пользуются пищей излишней и роскошной, они делаются мало-помалу бесплодными, и постоянное воспроизведение их заменяется необходимо постепенным уменьшением их числа. В-третьих если пища, употребляемая этими существами, остается умеренной как в отношении к количеству, так и в отношении к качеству, то воспроизводительная сила, действует также умеренно в каждом неделимом, так что целый род сохраняется непрерывно, но не размножается. Наконец в-четвертых верным средством для восстановления равновесия может служить сочетание в равном количестве существ, употребляющих худую

¹ The true Law of Population, shown to be connected with the food of the people, by Th. Doubleday.

пищу с существами, пользующимися пищей обильной и здоровой. Размножение одних послужит при этом заменой уменьшения других, так что число их во всяком случае останется постоянно одно и то же.

В этих общих формулах заключаются основные начала теории Дубледэ. Аргументы, которые он приводит в подтверждение своей системы, разделяются на два рода. Во-первых Дубледэ старается доказать, что его теория народонаселения не только не приводит к тем нелепым и возмутительным результатам, которые являются неизбежным последствием теории Мальтуса, но даже совершенно напротив ведет к самым утешительным для человечества заключениям и заключает в себе самое сильнейшее подтверждение наших заветных верований в благость провидения и в разумность природы. Так например эта теория народонаселения по словам его доказывает вполне высокую мудрость законов, управляющих человечеством, во-первых потому что во всех тех случаях, когда неурожай и голод производят в числе людей огромное уменьшение, воспроизводительная сила человека приобретает особую энергию и наполняет весьма скоро все промежутки; во-вторых, потому что этим законом предупреждается или устраняется переход от предков к потомкам различных болезней, порождаемых обыкновенно роскошью. Таким образом стремление человека к размножению осуществляется только тогда, когда этого требует самая необходимость, исчезает с той самой минуты, как перестает уже быть полезным и уступает место противоположному влечению, как скоро последняя в свою очередь оказывается благодетельной для человечества. Наконец самый возмутительный и жестокий из результатов теории Мальтуса—уничтожение благотворительности как общественной, так и частной не может иметь места в теории народонаселения, принимаемой Дубледэ, который поэтому в противоположность Мальтусу не только не восстает против филантропии, но напротив выставляет красноречиво ее пользу и высокое назначение, возвращая науку таким образом к торжественному признанию законности и разумности одной из самых постоянных и вместе самых благородных потребностей человеческого сердца.

Другой ряд доказательств, приводимых у Дубледэ в подтверждение его теории народонаселения, заимствован им из бесчисленного множества различных явлений царства животного и растительного и в особенности из существа законов человеческой природы. Так например, он опирается прежде всего на один замечательный закон, известный всем ботаникам, как теоретикам, так и практикам. Когда дерево или растение по-

сажено в почву слишком богатую, оно непременно увядает и погибает. То же растение, посаженное в почву менее роскошную, но еще слишком богатую, если принять в соображение свойство растения, будет без сомнения цвести, но не будет давать ни семени, ни плодов. С переменной почвы переменяются вместе и результаты насаждения. Дерево, посаженное в слишком бедную почву, принесет непременно плод, если только будет расти; если оно посажено в землю, по существу своему совершенно для него неблагоприятную, то природа сделает последнее усилие и дерево принесет обильный плод, хотя и засохнет немедленно после этого. Поэтому-то когда садовники сажают растение для того, чтобы иметь его семена, они стараются обыкновенно остановить его преждевременное развитие и для этой цели или выставляют его на холод, или обрезают заранее его корни. Все эти факты доказываются ежедневными опытами и известны всякому, кто занимался сам насаждением деревьев, кустов или растений.

Другой довод Дубледэ заимствован им из царства животного, именно из примера животных травоядных. Эти животные должны повидимому быть жирнее обыкновенного весной, когда они пользуются пищей наиболее обильной. Но это время года составляет для них также и главную эпоху их сокопления. Естественное развитие похоти в этот период времени приводит в расстройство все породы животных, которые отыскивают себе самку и оспаривают их друг у друга. Самки в свою очередь блуждают в беспокойстве в продолжение нескольких дней, не имея ни пищи, ни отдыха. От этого происходит, что все стадо худеет, и худеет до такой степени, что воспроизводительная сила этих животных развивается с особенной энергией. Обеспечив таким образом непрерывное существование своей породы, эти животные начинают уже заботиться и о себе, отыскивают наилучшую пищу, толстеют и покрываются мало-помалу жиром, утраченным ими в эпоху действия их воспроизводительной силы.

От царства животного переходя к природе человека, Дубледэ доказывает подробно постоянное существование того закона, на котором, как мы уже видели, основал Сисмонди свою теорию народонаселения. Между тем как в низших слоях общества воспроизводительная способность действует с особенной силой и с неуклонным постоянством, в высших классах она не может никогда обеспечить собой сохранение родов и оказывается почти везде совершенно недостаточной и ничтожной. Этот странный закон Сисмонди и его последователи стараются объяснить фактом психологическим, постоянной заботой бога-

того о сохранении занимаемого им общественного положения за собой и за своим потомством. Дубледэ напротив видит в этом законе одно простое выражение чисто физиологического факта, влияния количества и качества пищи на степень плодovitости или бесплодия человека. По мнению Дубледэ, если во все времена и во всех возможных обществах аристократические роды постоянно угасают, уменьшаются мало-помалу и исчезают, то этот результат должен быть приписан единственно роскоши и довольству, которые составляют удел этих состояний, или точнее, излишеству и изысканности той пищи, которую они обыкновенно употребляют; если же напротив бедные классы общества отличаются постоянно сильным развитием плодovitости, никогда в них не оскудевающей, то на эту плодovitость надо непременно смотреть, как на самое естественное последствие той скудости и недостаточности средств пропитания, от которых страдают почти всегда низшие состояния каждого народа.

Огромное число статистических и исторических данных приведено у Дубледэ в подтверждение той мысли, что действие воспроизводительной силы человека уменьшается постоянно и постепенно вместе с увеличением степени его благосостояния и усовершенствованием способов его продовольствия. Эту мысль он выражает в одном месте своего сочинения следующим смелым и ярким сравнением: «та самая болезнь, говорит он, которая под экватором и в тропических странах называлась чумой или холерой, изменяется в горячку в климате менее жарком, принимает далее менее опасный характер тифуса по мере понижения температуры и наконец совершенно исчезает в арктическом и антарктическом поясах. Закон уменьшения и упадка пород следует совершенно такому же порядку. Человек спускается одной ступенью ниже на лестнице богатства и роскоши и действие этого закона становится медленнее; он опускается еще ниже и влияние закона останавливается и превращается мало-помалу в противоположное начало возрастания и размножения, как скоро семья человечества достигает последнего предела лишений и голода. Тогда начинается необходимо ряд явлений совершенно противоположных». Несмотря однако на всю простоту и ясность этой теории, несмотря на необыкновенное богатство фактических данных, послуживших ей основанием, мы не можем считать ее совершенно доказанной и поставленной вне сомнения, не можем видеть в ней окончательного и вполне удовлетворительного решения вопроса. Нет никакого сомнения, что эта новая гипотеза представляет собой весьма удачную попытку для разъяснения темных сторон вопроса

о народонаселении и внушает к себе с первого взгляда невольное доверие характером вытекающих из нее результатов, совершенно согласных с коренными основаниями общественной науки и не заключающих в себе ничего возмутительного, ничего противного природе или назначению человека. То средство, которое по мнению Дубледэ может одно положить необходимый и естественный предел излишнему размножению народонаселения, несравненно удовлетворительнее средства, указанного Сисмонди, во-первых потому, что оно зависит не от произвола человека и не от случайных явлений, а от неизбежных законов самой природы, а во-вторых и потому, что оно носит на себе характер всеобщности и постоянства и может действовать с одинаковой силой во все времена и на всех ступенях общественной жизни. Но с другой стороны нельзя также не сознаться, что действительность существования того закона, на котором построена теория Дубледэ, ни мало не доказывается приведенными им доводами. Что действительно плодovitость человека находится всегда в обратной пропорции к степени его благосостояния,—это факт, как мы уже видели, несомненный и доказанный, но следует ли приписать это странное явление той физиологической причине, на которую указывает Дубледэ, или должно напротив видеть в этом факте необходимый результат других, может быть весьма многочисленных причин, нельзя никак сказать утвердительно даже после тех аргументов, которые представляет Дубледэ в пользу первого мнения. Одним словом автор этой новой теории народонаселения недостаточно доказал необходимость и действительность той связи, которая существует по его словам между собранными им фактами и тем законом, в котором он видит их единственную причину и источник;— и в этом собственно заключается слабая и недостаточная сторона построенного им учения. Во всяком случае нельзя не приветствовать с сочувствием появления этой гипотезы, показывающей ясно, что на вопрос о народонаселении начинают наконец смотреть с настоящей точки зрения и что наука пытается уже оставить тот ложный и бесплодный путь, которому она следовала до настоящей минуты. Очевидно также, что эта новая теория народонаселения, основываясь на факте совершенно физиологическом, может быть со временем доказана совершенно научным и удовлетворительным образом. Само собой разумеется, что она должна ожидать своего окончательного оправдания от успехов не политической экономии, а физиологии...

Гораздо многосложнее гипотезы Дубледэ теория народонасе-

ления, развитая Прудон¹. Существенные основания этой новой теории, появившейся только в конце прошлого года, состоят главным образом в следующем:

При нормальном устройстве общественных отношений, говорит Прудон, производительность может развиваться несравненно быстрее народонаселения, так что если народонаселение может удвоиться в известный период времени, то народное богатство может весьма легко учетвериться в тот же период. Взаимное отношение между успехами человечества в той и другой сфере его деятельности может быть представлено в виде двух следующих геометрических прогрессий:

Народонаселение	1	2	4.	8.	16.	32.	64
Производительность	1.	4	16.	64.	256.	1024	4 096

Но очевидно, что размножение числа людей и соответствующее ему размножение числа продуктов не может продолжаться в бесконечность с одинаковой силой, потому что при таких быстрых успехах достаточно бы было двух или трех столетий для того, чтобы покрыть людьми и продуктами всю поверхность земного шара. Спрашивается теперь; в чем же заключается естественная граница развитию человечества, как в отношении к народонаселению, так и в отношении к богатству?

Прежде всего надо заметить, говорит Прудон, что тот период времени, в течение которого народонаселение удваивается, а богатство учетверяется, бывает обыкновенно чрезвычайно различен и в разные эпохи, под влиянием разных обстоятельств обнимает собой поочередно пространство времени в 14, 18, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 и даже более лет. Но очевидно, что в этом разнообразии уже заключается настоящее решение вопроса, потому что если этот период времени может увеличиваться до бесконечности, то непременно наступит минута, когда народонаселение и производительность, развиваясь постоянно, будут однако оставаться на одной и той же ступени. Вся обязанность современной науки состоит следовательно только в том, чтобы привести в известность причину, производящую увеличение того периода, в который народонаселение удваивается, а богатство учетверяется; но очевидно, что эта последняя цель науки была бы вполне достигнута, если бы мы могли доказать, что сумма человеческого труда, вместо того, *чтобы* уменьшаться, постоянно уве-

¹ Systeme des contradictions economiques ou philosophie de la misere, par Proudhon. 1846. Tome II, ch. XII. (Система экономических противоречий или философия нищеты, Соч. Прудона 1846. Том II, гл. XIII —Ред..).

личивается не только по мере увеличения в числе работников, но также по мере успехов промышленности, науки и искусства, так что умножение благосостояния в отношении к человеку выражает только собственно говоря увеличение его деятельности и труда. В самом деле это увеличение труда должно во-первых иметь то последствие, что период умножения продуктов будет становиться все длиннее и длиннее и что наконец придет минута, когда человечество, постоянно трудясь и работая, не будет более в состоянии скоплять богатства и обращать их в капиталы. Производительность человека достигнет после этого своего крайнего предела и тогда останется только показать, каким образом народонаселение, следуя тому же пути, остановится на этом же самом пределе, так как между этими двумя видами прогресса, прогрессом народонаселения и прогрессом производства, существуют необходимо тесная связь и солидарность.

Во всяком организованном обществе сумма труда хотя повидимому и уменьшается постоянно вследствие разделения работ, машин и т. п., но в существе дела не только не уменьшается, но напротив увеличивается беспрестанно как для каждого отдельного лица, так и для целой совокупности работников, увеличивается притом вследствие экономического прогресса и сообразно с этим прогрессом. Таким образом чем более совершенствуется промышленность вследствие успехов науки, искусства и экономической организации, тем более увеличивается работа всех и каждого как в отношении к ее продолжительности (количеству), так и в отношении к ее силе напряжения (качеству), и тем более следовательно уменьшается *относительно* сумма продуктов. Из этого необходимо вывести то заключение, что в обществе умножение продуктов бывает всегда неизбежным синонимом умножения труда.

Для того, чтобы оправдать это заключение, предположим себе, что четыре земли разного свойства, А, В, С и D производят на одинаковом пространстве и при равных издержках первая—120, вторая 100, третья—80, четвертая—60. Если мы сравним друг с другом владельцев этих четырех поместий, то очевидно, что первого из них должно будет признать богатым, второго достаточным, третьего менее достаточным, четвертого бедным. Но спрашивается: какое значение имеет это неравенство имуществ в отношении к целому обществу? Очевидно во-первых, что общество делалось само беднее и беднее по мере того, как необходимость принуждала его от обрабатывания лучших земель переходить мало-помалу к обрабатыванию худших. Во-вторых для сохранения того благосостояния, которое доста-

шилось ему возделкой первого рода земель, общество должно было придумать такие способы действия, которые дали бы ему возможность увеличить сумму продуктов для одинакового пространства земли, независимо впрочем от самого качества почвы. В действительности общество не только предупредило недостаток продуктов, который повидимому должен был быть следствием неравного достоинства земель, но и кроме того увеличило еще свой капитал и свое первоначальное благосостояние и притом увеличило это благосостояние не только в пользу первых работников, приступивших к разработке земель, но и в пользу всех возможных будущих работников. Но для того, чтобы объяснить этот результат, надо необходимо предположить, что человек в своей собственной силе нашел противодействие дурному качеству почвы и употребил на обработку земли большее против прежнего количество своего труда. Таким образом нельзя не признать, что если благосостояние общества умножилось несмотря на постоянное уменьшение плодотворной силы почвы и несмотря на столь же постоянное увеличение числа потребителей, то и сумма труда должна была необходимо увеличиться в значительной степени как для целого общества, так и для каждого из отдельных его членов.

Этот результат будет необходимо отвергнут теми экономистами, которые будут иметь в виду благоприятное влияние машин на облегчение человеческого труда. Но стоит только внимательнее всмотреться в этот предмет, чтобы убедиться, что машины, которые повидимому уменьшают нашу работу, в существе дела способствуют напротив значительным образом ее увеличению. В самом деле, что такое машина? Не что иное как усовершенствованный способ производства, придуманный для облегчения человеческого труда. Но из этого необходимо следует, что всякий раз, как изобретается новая машина, изобретение ее должно быть приписано увеличению потребностей, нужд и нищеты. Труд человека был недостаточен для удовлетворения его нужд; изобретенная вновь машина восстановила равновесие и часто даже доставила человеку несколько минут отдыха. Этим уже доказывается, что введение машины служит во всяком случае признаком необходимости в увеличении человеческого труда. Но этого мало. Машина не иначе может быть приведена в действие, как трудом человека и без труда она останавливается немедленно и теряет свою силу. В этом случае к машине можно приложить то же, что сказано было выше о земле. Для преуспевания промышленных предприятий, необходимо употреблять на них с каждым днем большее и большее количество капиталов; другими словами, если мы не хотим, чтобы

наше богатство исчезло и наше благосостояние уменьшилось, мы должны постоянно работать больше и больше. Думать же, что помощью машин мы можем в одно и то же время и богатеть и уменьшать сумму нашего труда совершенно безрассудно и нелепо. Всего лучше это можно объяснить впрочем следующим примером: предположим, что ежегодная производительность Франции может быть оценена в 10 миллиардов франков. Если мы примем франк за метрическую единицу для сравнения ценностей, то сумма поголовного труда может быть выражена цифрой: 394. Но так как во Франции в последние 50 лет производительность более чем удвоилась, а народонаселение увеличилось менее, чем в полтора раза, то очевидно, что Франция, сделавшись вчетверо богаче, работает вчетверо больше, нежели 50 лет тому назад. Машин, изобретенные в течение этого времени, способствовали только к освобождению человека от некоторых ручных операций и потому они не уменьшили работы, а только переместили ее; то, что мы требовали прежде от наших мускулов, требуется теперь от нашего мозга. Труд сам по себе не подвергся чрез это никакому изменению; изменился только способ его действия, который сосредоточивается теперь вместо физической сферы в сфере интеллектуальной. Одним словом доказывая, что человек беспрестанно торжествует помощью присущей ему силы и над возрастающим постоянно бесплодием земли и над умножением своих нужд, мы доказали в то же время, что сумма его труда должна увеличиваться в свою очередь и увеличивается беспрестанно на самом деле.

Это постоянное умножение труда может быть доказано бесчисленным множеством фактов. В промышленных центрах, как-то Париж, Лион, Лилль, Руан, средняя величина труда относительно только его продолжительности бывает обыкновенно от 13 до 14 часов. В этой работе простых поденщиков принимают также участие хозяева, приказчики, слуги. Особенно в торговой промышленности весьма нередко дневная работа продолжается не менее 18 часов. В последнее время законодатели разных европейских государств обратили внимание на те страшные злоупотребления, к которым подает повод эта чрезмерная продолжительность труда и в особенности на ту горестную участь, которой подвергаются женщины и дети на фабриках и заводах. Впрочем ни законодатели, ни экономисты не могли понять, что это неутешительное явление есть не что иное как выражение роковой необходимости, тяготеющей над современным человеком. Но если один из законов общественной жизни состоит в том, что труд вследствие своего беспрестанного разделения и вследствие введения машин, вместо того,

чтобы уменьшиться, увеличивается постоянно для человека; если притом жизнь каждого из нас бывает ограничена известным числом лет, то очевидно, что мы постоянно должны употреблять более времени для производства одной и той же суммы ценностей, что далее период времени, необходимый для того, чтобы народонаселение удвоилось, а богатство учетверилось, делается с каждым днем длиннее и длиннее, что наконец рано или поздно наступит минута, когда общество, стремясь ежеминутно вперед и вперед, будет однако оставаться постоянно на одной и той же ступени.

Но спрашивается теперь: каким же образом замедление производительности, необходимое следствие постоянного увеличения труда, будет иметь влияние и на замедление самого народонаселения? Это последний пункт, который остается объяснить современной науке. Для объяснения его следует обратить внимание на один важный факт, глубоко вкорененный в сознание народа и принадлежащий к числу тех наглядных истин, которые не доказываются рассудком, а принимаются сердцем: одна и та же сила, одно и то же жизненное начало является источником и производства ценностей и воспроизведения людей. Необходимое следствие этого несомненного закона заключается в естественном и постоянном антагонизме между, трудом и любовью. Жизнь человека истощается поочередно то тем, то другим способом; как скоро теряет свою силу один, другой заменяет его место. Основываясь на началах физиологии и на законах нравственной природы человека, мы можем сказать утвердительно, что всегда и везде промышленная сила человека развивается в ущерб его воспроизводительной способности, и что труд принадлежит необходимо к числу самых верных и сильных противоядий против действия страстей человека, внушаемых ему потребностью любви.

«Целомудрие», говорит Прудон, «является всегда неразлучным спутником труда; сладострастие напротив есть необходимое последствие лени и покоя. Все энергические деятели, все глубокие мыслители, все великие работники человечества оказывались всегда совершенно несостоятельными в деле любви. Паскаль, Ньютон, Лейбниц, Кант и множество других, среди своих глубоких и возвышенных размышлений, весьма часто позабывали, что они люди. И нельзя не заметить, что сами женщины угадывают эту слабость таких людей и потому гениальные натуры редко пользуются любовью и расположением женского пола. Брось женщин, говорила Жан-Жаку Руссо встреченная им в Венеции красавица, и занимайся математикой. Точно так же как древний гладиатор приготавлился к игре цирка

посредством упражнения и поста, точно так же и человек, посвящающий себя труду, избегает наслаждений, *abstinuit Venere et Baccho*¹. Мирабо погиб несмотря на силу своего телосложения единственно потому, что к торжествам своим на трибуне он хотел присоединить триумфы будуара и спальни». Таким образом, продолжает Прудон, если в деле труда мы должны обгонять более и более наших предков, то очевидно также, что в деле любви мы должны делаться постоянно более и более несостоятельными. В этом антагонизме между трудом и любовью человека и заключается тот естественный, необходимый предел, который противопоставит рано или поздно природа неограниченному и чрезмерному размножению народонаселения.

Таковы основные начала, составляющие существо новой теории народонаселения, придуманной Прудоном. Мы не излагаем здесь дальнейших рассуждений его о значении и свойствах человеческой любви, потому что они представляют собой посторонний и добавочный пункт в его теории, имеющий мало связи с главным её предметом и назначенный единственно для оправдания того средства, которое, по мнению Прудона, при будущем усовершенствовании человечества, должно удерживать народонаселение в его настоящих и законных пределах. При самом поверхностном взгляде на это средство, нельзя не заметить в нем большой аналогии с теми внешними принудительными мерами, которые, как уже мы видели, придуманы были некоторыми последователями Мальтуса для восстановления равновесия между народонаселением и средствами пропитания. Предвидя заранее возможность подобного упрека, Прудон старается очистить от него свою систему и развивает для этой цели особую теорию любви, представляющую собой странную и пеструю смесь глубоких истин и тонких наблюдений с самыми неосновательными и натянутыми парадоксами. Пределы журнальной статьи не позволяют нам войти в подробное рассмотрение мнений Прудона об этом предмете, тем более, что и вся его теория народонаселения, несмотря на остроумный и блестящий способ ее развития, не может быть покуда предметом опровержений и спора, так как она заключает в себе не больше, как изложение одних начал, нисколько не подтвержденных прочными доказательствами и нисколько не оправданных фактическими данными. Сам автор, приступая к изложению своей системы, объявляет с полной откровенностью,

¹ воздерживается от разврата и пьянства; дословно—от Венеры и Вакха. — *Ред.*

что он не имел еще ни времени, ни возможности подумать о средствах научного оправдания своей гипотезы и что он ограничивается покуда одним только ее обнародованием, налагая на своих будущих последователей обязанность собрать надлежащие факты и придумать достаточные аргументы для подтверждения этих идей. Что касается до нас, то не имея также никакой возможности произнести в настоящую минуту решительное суждение о справедливости или несправедливости этой новой гипотезы, мы последуем примеру самого автора и ограничимся также только изложением основных начал его теории, отлагая критический разбор их до того времени, когда нам дана будет возможность познакомиться ближе с теми учеными доводами и практическими данными, на которых опирается новая доктрина.

Изложив таким образом историческое развитие и современное состояние вопроса о народонаселении, указав на объясненные и неразгаданные еще пункты этой важной и запутанной части политической экономии, мы прибавим в заключение нашей статьи, что дальнейшего хода науки в отношении к исследованию существа и свойств воспроизводительной силы человека должно неизбежно ожидать от успехов не политической экономии, а физиологии и естественных наук. Сознания основных начал и действительных законов общественной жизни можно достигнуть не иначе, как посредством прилежного и успешного изучения природы и свойств человека, но к этому последнему результату не приведут нас никогда ни психология, ни метафизика; только науки точные, основанные на наблюдениях и опыте, а не на произвольных и субъективных абстракциях, могут привести нас к открытию тех законов, по которым совершается или должно совершиться современное развитие человека и общества. Эта истина в настоящее время с каждым днем проникает более и более в общественное сознание и можно уже теперь предвидеть скорое наступление той эпохи, когда окончательно падут и исчезнут все схоластические предрассудки, все нелепые предубеждения против слияния естественных наук с наукой о человеке, против уничтожения тех неестественных преград между частями одного целого, которые были воздвигнуты в прежние времена невеждами и софистами. Пора сбросить с себя иго вековых заблуждений, слишком долго тяготевших над умом человека и полагавших столь сильную преграду его успехам и развитию. Пора отказаться навсегда от того отвлекающего дуализма, который так сильно отражается еще до сих пор и в состоянии науки и в положении общества. Человек един и неразделен; едина и нераздельна должна быть

и та наука, которая имеет своим предметом исследование его существа, способностей, качеств, свойств и сил. Когда эта про-
стая, но необъятно важная истина укрепитя окончательно в
сознании общественном и изгладит навсегда следы прежнего
разделения и разрыва между основными началами науки, тогда
для человечества наступит новая, высшая фаза развития,—ум
человеческий пойдет вперед путем медленным, но прочным и
надежным, бесплодная метафизика уступит место истинной *науке*
и отвлеченный, лишенный практического смысла взгляд на внеш-
ний и внутренний наш мир заменится глубоким, живым и свет-
лым пониманием действительных законов бытия и настоящих
отношений человека к природе.



ПРОЛЕТАРИИ И ПАУПЕРИЗМ В АНГЛИИ И ВО ФРАНЦИИ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ¹

Число бедных и значение бедности в Англии и во Франции — Бедность в промышленности мануфактурной и главные причины ее — Нынешние отношения капитала и труда — Теория задельной платы. — Влияние свободы промышленности, неограниченной конкуренции и усовершенствованных способов производства на задельную плату. — Постепенное уменьшение и недостаточность задельной платы в Англии и во Франции. — Промышленные кризисы, их причины и последствия — Изобретение машин и разделение труда — Влияние того и другого на материальное, умственное и нравственное состояние работников — Влияние нынешних способов производства на судьбу детей — Законы о работе детей на фабриках в различных европейских государствах

Современное направление общественной деятельности — по преимуществу положительное, индустриальное. Сбросив с себя феодальные путы, промышленность сделалась теперь одним из важнейших явлений народной жизни, и интересы материальные заняли одно из первых мест в ряду интересов общественных. Напрасно некоторые упорные поклонники прошедшего встают против этого положительного направления, обвиняя нашу эпоху в грубом материализме; напрасно в успехах промышлен-

¹ Ряд статей, предлагаемых здесь читателям, составлен по следующим источникам,

1) *De la bienfaisance publique* par M. le Baron de Gerando. 1839. 4 vol. Paris (Об общественной благотворительности, Соч. барона де Жерандо. 1839, 4 тома, Париж. — *Ред.*);

2) *De la misere des classes laboneuses en Angleterre et en France*, par Eug. Buret. 1842. Bruxelles (О нищете трудящихся классов в Англии и во Франции, Соч. Эж. Бюре, 1842. Брюссель. — *Ред.*)

3) *Economie Politique Chretzenne, ou recherches sur la nature et les causes du pauperisrae en France et en Europe et sur les moyens de le soulager et de le prevenir*, par le Vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont.

ности видят они очевидный признак унижения человека перед материей. Нынче никто уже не поверит этим обвинениям. Общественное мнение не смутится от этих возгласов; оно знает, что труд не только не унижает человека пред внешней природой,

Paris. 1834 (Христианская политическая экономия, или исследования о природе и причинах пауперизма во Франции и в Европе и о средствах к его облегчению и предупреждению, Соч. виконта *Альбана де Вильнев-Баржмона*, Париж. 1834. — *Ред.*),

4) *Tableau de l'etat physique et moral des ouvriers*, par le docteur *Villermé*, membre de l'Institut. 2. vol. Paris. 1840. (Очерк физического и морального состояния работников, Соч. доктора *Виллерме*, члена Института, 2 тома. Париж, 1840. — *Ред.*);

5) *Etude eur l'Angleterre*, par *Leon Faucher*. Paris. 2 vol. 1845 (Этюды об Англии, Соч. *Леона Фоше*, Париж. 2 тома. 1845 г. — *Ред.*);

6) *Des classes dangeareuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre mealleures*, par *H. A. Fregier* Paris. 1840 (Об опасных классах в больших городах и о средствах сделать их лучшими, Соч. *Фреже*. Париж. 1840 — *Ред.*),

7) *De la prostitution dans la ville de Paris*, par *Parent-Duchdtelet* 2-me edition Paris. 1837 (О проституции в городе Париже, Соч. *Паран-Дюшатель*, 2-е изд Париж. — *Ред.*);

8) *De l'Irlande sociale, politique et religieuse*, par *Gustave de Beaumont* 2 vol. (Ирландия в социальном, политическом и религиозном отношениях, Соч. *Гюстава де Бомон*, 2 тома. — *Ред.*);

9) *De la repartition des richesses ou de la justice distributive en economie sociale. Ouvrage contenant l'examen critique des theories exposees soit par les economistes, soit par les socialistes*, par *F. Vidal* Paris. 1846 (О распределении богатств, или о распределительной справедливости в общественной экономии. Труд, содержащий в себе критическое рассмотрение теорий экономистов и социалистов—Соч. *Ф. Видаль*. Париж. 1846. — *Ред.*);

10) *Etudes sur l'Economie politique*, par *Simon de Sismondi* 2 vol. Paris (Политико-экономические этюды, Соч. *Сим де Сисмонди*, 2 тома. Париж. — *Ред.*);

11) *Recherches sur les causes de l'indigence*, par *A. Clement* Paris. 1846 (Исследования о причинах бедности, Соч. *А. Клемана*, Париж. 1846. — *Ред.*),

12) *Des relations du travail avec le capital*, par *Dupont-White*. Paris. 1846 (Об отношениях между трудом и капиталом, Соч. *Дюпон-Уайт*. Париж. 1846 — *Ред.*);

13) *Philosophie des Manufactures* par *Ure*, traduct. francaise. 2 vol. (Философия мануфактур, Соч. *Юра*, француз. перевод, 2 тома.—*Ред.*).

Сверх того пособием при составлении статьи служили все известные курсы политической экономии, особенно новейшие; именно

Cours d'Economie politique, par *M Rossi* Bruxelles. 1842. (Курс политической экономии, Соч. *Росси*. Брюссель 1842. — *Ред.*).

Nouveaux Principes d'Economie politique, par *S. de Sismondi* 1827. (Новые начала политической экономии, Соч. *Сим де Сисмонди*. 1827).

Cours d'Economie politique, par *Michel Chevalier* Paris. 1844. 2 vol. (Курс политической экономии, Соч. *Мишеля Шевалье* Париж. 1844, 2 тома).

но, напротив, показывает, что человек освобождается от ее влияния и подчиняет ее своим разумным целям. Оно знает, что успехи промышленности тесно связаны с успехами образованности, и что улучшение внешнего быта—необходимое условие и для нравственного развития человечества.

Современное положение главных европейских государств служит самым очевидным доказательством высокого назначения и плодотворности труда. Своим цветущим состоянием, могуществом и богатством, государства Западной Европы обязаны преимущественно тем быстрым, почти невероятным успехам, которые сделала промышленность с начала нынешнего столетия. В течение каких-нибудь пятидесяти лет, благодаря труду и деятельности, общественное благосостояние стало на такую высокую степень, какая для предков наших казалась недостижимой. Посредством развития промышленности, посредством изобретения машин, человек с каждым днем приобретает более и более прав на название царя творения и властителя вселенной. Он покоряет себе те элементы природы, пред которыми прежде благоговел и падал ниц; он заставляет их работать вместо себя, и научается посредством их достигать легко и спокойно тех же самых результатов, которых достигал прежде не иначе, как напрягая свои физические силы и трудясь в поте лица своего.

При виде этих благодетельных результатов, сопровождающих успехи промышленности, нельзя не сознаться, что ею вполне заслужены те похвалы, которыми ее превозносят, и то влияние, которое приобрела она в наших обществах. Но при этих благодетельных результатах не должно забывать, что богатство, благосостояние и блеск государств Западной Европы составляют одну только светлую и блестящую сторону современного быта, за которою кроется другая сторона—горестная, мрачная и безотрадная. Конечно, успешное развитие промышленности в Германии, Франции и особенно в Англии имело прямым и естественным следствием своим быстрое усиление производительности и не менее быстрое умножение народного богатства: обогатив и усилив высшие сословия, развитие это, без сомнения, улучшило в весьма значительной степени судьбу самого большинства и познакомило его с теми удобствами и наслаждениями, которые прежде доступны были только немногим избранным. Но с другой стороны не должно упускать из вида, что не все классы общества воспользовались в одинаковой степени плодами этих успехов. Не должно думать, что промышленность в настоящую минуту достигла своей окончательной цели, чтобы она совершенно уничтожила нищету и заменила ее всюду достатком и довольством. Этот желанный результат далеко еще не достиг-

нут; страдания низших классов, без сомнения, значительно уменьшились вследствие развития народного богатства; но из этого не надо заключать, чтоб они в настоящую минуту уже совершенно уничтожились; такое заключение противоречило бы самой действительности, которая, к сожалению, ясно показывает, что бедность существует доселе, и что она далеко пустила свои корни в европейскую почву. Если мы не будем останавливаться на одной поверхности, а проникнем в самую глубину современной жизни, то увидим, что под внешним блеском и богатством государств Западной Европы кроется язва нищеты и страданий, язва страшная и глубокая. Мы увидим, что эта нищета и эти страдания постоянно тяготеют над рабочими классами; что никакая предусмотрительность, никакая деятельность, никакие добродетели не могут спасти их от этого рокового и неотвратимого жребия. Мы увидим, что в странах, славящихся своим богатством и благосостоянием, тысячи, миллионы людей рождаются только для того, чтоб претерпевать все возможные страдания...

В настоящее время есть много людей, в которых эта мрачная сторона действительности производит недоумение, страх и даже отчаяние. Твердо веруя в высокое назначение промышленности и в необходимость прогресса, они не знают, как примирить свои верования с таким порядком вещей; как оправдать такую цивилизацию, среди которой встречаются факты, столь горестные. Для того, чтоб избавиться от этого неразрешимого для них противоречия, одни малодушно останавливаются только при светлой стороне жизни, закрывая глаза при виде бедствий, страданий и язв человечества; другие, в противность истине и действительности, упорно отрицают самое существование зла, или по крайней мере стараются уменьшить его значение, стараются скрыть его страшные последствия. Но наука, в своем постоянном стремлении к истине, не может допускать ни такого равнодушия, ни такого оптимизма. С одной стороны, следя за успехами и за развитием человечества, она не может не сочувствовать его страданиям и несчастьям, потому что это сочувствие составляет священную ее обязанность. С другой стороны, для нее истина должна быть и святою и неприкосновенною, и как бы истина эта ни была мрачна, наука не должна прятаться от ее света, потому что иначе она отказалась бы от своего назначения. Для оправдания промышленности и прогресса не должно употреблять таких недостойных средств,—не должно ни добровольно осуждать себя на невежество, ни прибегать к лжи и к обману... К тому же, европейская цивилизация и не нуждается в такой защите; она

заклучает в себе так много прекрасного, благородного и высокого, что ей нет никакой надобности скрывать своих темных сторон. Если в ней наряду с добром является и зло, то зло это—остаток прошедшего, которое с каждым днем исчезает и изглаживается вместе с развитием и усовершенствованием общественной жизни. Рано или поздно,—и мы должны твердо верить этому, если не хотим отказаться от требований разума и от уроков истории,—рано или поздно, зло это, которое носит в самом себе зародыш будущего уничтожения, будет менее нарушать своим существованием гармонию мира и законы правды

Но если в настоящее время есть люди, которые готовы жертвовать истиной из любви к прогрессу и цивилизации, то с другой стороны есть также люди, которые по ненависти к тому же прогрессу, или по какой-нибудь другой, неизвестной нам причине, доходят до самого несправедливого воззрения на этот предмет. Бедственное состояние рабочих классов подает им повод к самым неосновательным нападкам на Запад; в его настоящей организации они видят только неустройство, разлад как мнений, так и интересов; из *этого* они глубокомысленно заключают, что Запад устарел, что он уже растратил все жизненные свои силы, что он гниет, что государствам его остается только рухнуть, и уступить свое поприще новым племенам. Но такие взгляды, из какого бы источника ни происходили они, не заслуживают даже и опровержения. Близоруким судьям Запада можно сказать, что они смотрят и не видят, слушают и не слышат. Они не понимают, что эта борьба интересов есть признак не распада, а жизни, что она показывает не гнилость общества, а напротив, его зрелость, его свежесть, его силу. Они не видят, что над этим противоречием мнений и убеждений возвышается стремление к добру. И можно ли назвать устарелым то общество, которое сознает в себе несправедливость и силится победить ее? Можно ли находить признаки упадка там, где все дышит свежестью юности, где все взоры и все умы с надеждой обращены на будущее, где все движется, все живет, все развивается?

Нет не гниют те общества, которые рожают из себя беспрестанно и последовательно новые элементы жизни,—не гниют, а усиливаются и созревают, переходя чрез различные моменты и фазы к совершенству. Гнил только тот, кто вовсе не примечает своей гнилости. Тот только малодушен, кто, отгадывая у себя зло и неправду, предпочитает спокойно лежать в грязи, вместо того, чтоб трудом и жертвованиями стремиться к благородной цели.

Вопрос о пауперизме обращает на себя ныне внимание всей образованной Европы. Это один из тех практических, жизненных вопросов, появление которых возбуждает обыкновенно сильные споры и подает повод к образованию множества различных, даже противоположных мнений и систем. Но, несмотря на все труды экономистов германских, английских и французских, вопрос этот до сих пор еще не получил надлежащего и удовлетворительного решения. Решения этого должно ожидать только от будущего развития науки; в настоящее же время, мы должны ограничиться изложением лишь тех неполных результатов, до которых уже дошла политическая экономия. Мы постараемся здесь доказать существование нищеты в Англии и во Франции, объяснить истинное значение и важность этого зла и, указав на его причины, признаки и последствия, поставить читателя на ту точку зрения, с которой смотрит на этот предмет современная наука в лице главных ее представителей.

Оптимисты говорят, что в Англии и во Франции число людей, страдающих от бедности, в настоящую минуту весьма незначительно. К сожалению, такое мнение совершенно несправедливо. Если под бедностью понимать такое состояние, при котором человек не имеет средств для удовлетворения самым необходимым потребностям своей природы, то нельзя не сознаться, что в государствах Западной Европы и в настоящее время, люди, находящиеся в таком положении, не составляя собой большинства, составляют, однакож, довольно значительную часть всего народонаселения. Для того, чтоб оправдать это заключение, необходимо было бы показать, сколько именно людей страдают от бедности в Англии и во Франции. Но к несчастью, мы не имеем потребных данных для разрешения этого важного вопроса. Число бедных в той или другой стране никогда не может быть определено с надлежащей точностью, как потому что бедность есть понятие относительное, не имеющее для себя общего и постоянного мерила, так и потому что она выражается не в одних внешних и видимых знаках, но проявляется по большей части в формах совершенно для нас недоступных. С достоверностью можем мы узнать только число бедных, получающих содержание от общества. В каждом образованном государстве существует, если можно только так выразиться, официальная нищета, которая получает вспомоществование от общественной благотворительности. Эта официальная нищета может подлежать без сомнения точному и безошибочному определению. Мы легко можем узнать как число людей, обращающихся к общественной благотворительности с просьбой о пособии, так и число тех, которые действительно получают это пособие.

Само собой разумеется, что эти цифры не будут вполне выражать всей нищеты, существующей в государстве, потому что не все бедные просят помощи у государства, и не всем им государство оказывает требуемую помощь. Но цифры эти могут дать по крайней мере приблизительное понятие о числе людей, страдающих от бедности; они могут служить как бы термометром для измерения степени развития пауперизма в той или другой стране.

В Англии устройство общественного призрения подверглось в 1834 году коренному и существенному преобразованию. Главная цель этой реформы состояла в том, чтоб сократить издержки на пособие бедным, издержки, которые, постепенно усиливаясь, сделались и в то время чрезвычайно обременительными для народа. В этих видах предписаны были новые, более строгие правила для действий общественной благотворительности; определены были условия, при которых бедный мог требовать себе пособия, и приняты все меры для уменьшения числа людей, живущих на счет общества. Закон этот действительно достиг своей цели: нынче благотворительность имеет весьма тесный круг действия, и стоит обществу гораздо менее прежнего. Теперь число людей, состоящих на содержании общества, весьма незначительно и большинство бедных не входит в рамки официальной нищеты. При прежнем устройстве не было, напротив, почти никакого различия между нищетой официальной и нищетой действительной; тогда все страдавшие от невозможности удовлетворять своим потребностям, получали пособия от своих приходов. Из этого видно, что документы прежней эпохи гораздо важнее для нас документов современных, ибо они дают более точное и более верное понятие о степени развития пауперизма. Из этих официальных, вполне достоверных документов видно, что в 1833 году, за год до реформы, такса в пользу бедных в Англии простиралась свыше 8 000 000 фунтов стерлингов; Шотландия и Ирландия не входили в этот бюджет нищеты. Вся эта огромная сумма была истрачена в продолжение 1833 года на вспомоществование бедным; около 1 876 620 человек получили пособие от своих приходов. Если сравнить это число с количеством всего народонаселения, то выходит, что в это время в Англии приходился один бедный на восемь человек, или точнее на $7^{13}/_{20}$. При этом надо заметить, что бюджет официальной нищеты до 1833 года возрастал постоянно и что число бедных увеличивалось гораздо быстрее, нежели народонаселение. В 1821 году Англия имела 11 997 000 жителей; бедных, получавших пособие от приходов, было 880 000; следовательно, один бедный приходился на тринадцать жителей.

В 1833 году, как мы уже видели, приходился один бедный на восемь человек. В настоящее время, количество таксы, собираемой в пользу бедных, значительно уменьшилось, и теперь число официальных бедных к количеству народонаселения относится средним числом, как 1 к 18, или как 1 к 20. Но это изменение нисколько не доказывает действительного уменьшения нищеты; оно должно быть исключительно приписано влиянию реформы 1833 года, положившей преграду неумеренной и слишком щедрой раздаче пособий.

Во Франции почти такое же отношение между числом бедных и количеством всего народонаселения. Из отчета, представленного королю министром внутренних дел в 1837 году, оказывается, что в больницы и богадельни Франции принимается каждый год средним числом около 425 000 человек; сверх того, людей, которым даются пособия на дом, насчитывается ежегодно, круглым числом, около 700 000. Таким образом, число официальных бедных, не простирается свыше 1 125 000 человек и относится к народонаселению, как 1 к 129,021. Само собой разумеется, что эти цифры не выражают собой всей нищеты, существующей во Франции. Лица, принимаемые в больницы и богадельни, и получающие домашние пособия, составляют не более, как третью часть всего числа людей, действительно бедных и нуждающихся в помощи. За исключением подкидышей и сирот, все бедные, получающие пособие, имеют семейство, следовательно, разделяют всегда с тремя или четырьмя другими лицами, женами, детьми или старыми родственниками—лишения, страдания и все горестные последствия нищеты. Если принять это обстоятельство в соображение и предположить, что каждый официальный бедный представляет собою по крайней мере трех действительных бедных, то получится другое более правдоподобное отношение: мы увидим, что во Франции народонаселение, страдающее от нищеты, должно относиться к целому народонаселению, как 1 к 9,673.

Из этих цифр видно, что в настоящее время в Англии по самой меньшей мере страдает от бедности восьмая часть народонаселения; во Франции—девятая. После этого, конечно, нельзя поверить тем, которые говорят, что в этих государствах бедность—явление частное, исключительное, незаслуживающее особого внимания. Если б даже это было справедливо, если б число бедных в настоящую минуту было весьма незначительно, то и тогда страдания этих немногих должны были бы возбуждать всеобщую симпатию и обращать на себя всеобщее внимание. Если действительно в обществе существует страдание, то науке нет дела до того, много или мало страдальцев: наука

во всяком случае не должна пренебрегать злом, как бы ни было оно ничтожно; она обязана, напротив, изучить это зло, объяснить его причины и указать средства к его уничтожению. Если б даже в Англии и во Франции подвержена была бедности сотая часть народонаселения, то и тогда нельзя было бы равнодушно смотреть на бедствия этих несчастных. Но равнодушие это еще более невозможно при действительном положении вещей, когда из восьми человек один не имеет достаточных средств для того, чтоб поддержать свое физическое существование.

Впрочем, о значении и силе пауперизма нельзя судить только по числу бедных. Одни сухие и мертвые цифры не могут дать истинного понятия о действительной глубине этой общественной раны. Мерило бедности дается не одним только числом жертв, но и самым качеством, существом зла, теми страданиями, которые оно производит, теми последствиями, которыми оно сопровождается. В этом отношении, государства богатые и образованные имеют незавидный перевес над государствами бедными и невежественными. Можно принять за общее правило, что чем образованнее и богаче общество, тем разительнее и ужаснее нищета его отдельных членов. В обществах менее развитых есть бедность, но нет нищеты. Бедность существует всегда и везде, потому что всегда и везде человек не находит вокруг себя достаточных средств для удовлетворения своих многочисленных потребностей. Но нищета, как бедность сознательная, сопровождаемая страданиями физическими и нравственными, есть следствие цивилизации, удел обществ развитых. Человек, в котором не развились еще многообразные нужды, в котором не пробудилось еще самосознание, не примечает своей недостаточности, довольствуется малым и не чувствует лишений. Напротив, эти лишения являются тягостными для людей, в которых образованность развила уже и сознание собственного достоинства и множество самых разнообразных потребностей для них бедность—источник страдания; и страдания эти будут тем сильнее, чем образованнее эти люди, и чем образованнее, чем богаче то общество, к которому принадлежат они. Весьма понятно, что если бедный повсюду видит вокруг себя достаток, изобилие и даже роскошь, то сравнение своей судьбы с судьбою других людей должно естественно еще более усиливать его мучения и к страданиям физическим прибавлять страдания нравственные. Поэтому самому, нищета, как источник страданий, и развивается вместе с развитием самого общества. У народов варварских, собственно говоря, нет нищеты, потому что их самосознание и потребности еще не пробудились. В об-

ществах мало развитых, бедность не мучительна: там богатство—исключение; там все бедны, и, следовательно, нет оскорбительных противоположностей, нет сравнения, нет зависти. Бедность превращается в нищету и производит страдания только там, где развилось богатство, где существует роскошь. В этом отношении, богатство можно сравнить со светом, который не производит предметов, а только обнаруживает их. Чем ярче этот свет, чем виднее предметы, тем гуще тень, ими бросаемая. Отсутствие света производит глубокий, всеобщий мрак, в котором нет контрастов, нет теней. Точно так же и богатство не производит нищеты, а только выказывает и раскрывает ее. Где нет богатства, там всеобщая бедность, там нет противоположностей, нет и нравственных страданий.

Понятно после этого, что в обществах, достигших высшей степени богатства и образованности, каковы Франция и Англия, бедность для низших классов должна быть гораздо мучительнее, нежели в обществах менее развитых, где не так поразительна противоположность между классами богатыми и бедными. Бедный в Англии должен страдать гораздо более, нежели бедный в Турции, хотя, может быть, положение первого само по себе и лучше, нежели положение второго. Бедность французского работника не может быть сравниваема с бедностью неаполитанского лазарони: один страдает ежеминутно от невозможности удовлетворять своим многочисленным нуждам и горько жалуется на несправедливость судьбы и людей; другой лежит целый день на солнце, не простирая своих желаний далее блюда макарон, и вполне доволен своей участью, если имеет его перед собой. Для нищеты не существует общего и постоянного мерила, которое годилось бы для всех мест и для всех времен. Это мерило для всякой страны должно быть различно. Оно зависит от большего или меньшего количества потребностей, развитых в народе богатством и образованностью. Понятие о нищете—понятие совершенно относительное, и мы не должны забывать этого важного обстоятельства, если хотим вполне оценить значение современного пауперизма в Англии и во Франции.

Впрочем, пауперизм этот не принадлежит к числу явлений, исключительно свойственных нашей эпохе и нашим обществам. Пауперизм существовал всегда и везде; проявления его и степень действия могли быть различны по различию места и времени, но тем не менее язва эта свирепствовала с большей или меньшей силой во всех местах и во все времена. В Западной Европе, как и везде, бедность всегда составляла удел Низших классов; она не вдруг явилась в наше время, но

развивалась постепенно, исторически; и самого источника, корня этого зла должно искать не в одних только современных законах и учреждениях, не в одном только современном общественном устройстве, но и во всей прошедшей жизни европейских народов, во всех исторических обстоятельствах, под влиянием которых росте и развивались государства, ныне существующие. Настоящее всегда бывает результатом прошедшего; общества вполне подчиняются закону исторической необходимости, являются тем, чем сделала их история; а потому современные факты общественной жизни и не объясняются сами собой; для объяснения их, необходимо прибегнуть к изучению постепенного их развития и образования. При виде бедственного положения рабочих классов в Западной Европе, невольно возникает вопрос о том, какими путями и вследствие каких событий дошли они до такого положения, откуда явился этот многочисленный класс голодных пролетариев, этот живой упрек современной цивилизации, предмету нашей гордости и нашего удивления? Для того, чтоб на вопрос этот дать надлежащий ответ, нужно было бы изложить всю историю европейских обществ, не опуская ни одного факта, ни одной подробности, потому что развитию бедности способствовали более или менее каждый момент, каждый фаз европейской истории. Мы не примем здесь на себя разрешения этой важной, но трудной задачи. Каково бы ни было происхождение пауперизма, дело в том, что он существует ныне в самых образованных обществах, несмотря на их образованность и на их благосостояние. Успехи цивилизации не уничтожили этой язвы; напротив, они, кажется, только усилили и увеличили ее. По крайней мере, от противоположности с богатством, бедность сделалась еще разительнее и еще ужаснее. И это несчастье не должно быть исключительно приписываемо прошедшему. Как бы ни было значительно участие истории в бедствиях современных поколений, тем не менее нельзя не сознаться, что и в настоящем общественном устройстве есть множество коренных недостатков, усложняющих собой и существование и успехи пауперизма. Прошедшего нельзя воротить; но зло существующее может быть облегчено; а потому современные недостатки заслуживают преимущественно внимательного и строгого изучения, как прямой источник тех страшных противоречий, которые встречаются в нынешней европейской цивилизации.

И прежде всего, одна из самых главных и самых деятельных причин нищеты заключается в экономическом устройстве европейских обществ. Бедственное положение рабочих классов во Франции и Англии обуславливается, между прочим, характером

и направлением тех законов, по которым производятся и распределяются богатства в современных государствах Западной Европы.

Полная, неограниченная свобода промышленности есть то верховное начало, под влиянием которого совершается экономическое развитие современных государств. Начало это перешло в жизнь из науки. Провозглашенное в первый раз физиократами, принятое и развитое школой Адама Смита, оно сделалось вскоре основным принципом политической экономии, ее девизом и опорой. Но учение это не осталось в книгах — оно проникло наконец и в практическую деятельность. За исключением весьма немногих государств, упорно сохраняющих доселе старинную систему корпораций и привилегий, правительства почти всех европейских обществ не остались чуждыми движению науки: они подчинились его влиянию и положили новый принцип в основание своих законов. Прежние корпорации, цехи и монополии уничтожены; оковы, тяготевшие над народною промышленностью, разбиты, и производительная деятельность в большей части случаев предоставлена собственным своим силам¹. В настоящее время, знаменитое *laissez faire, laissez passer*², альфа и омега нынешней политической экономии, если и не господствует безусловно в сфере экономических явлений, то по крайней мере является принципом преобладающим и руководит движением европейских народов к развитию их материального благосостояния

Неограниченная свобода промышленности порождает, как естественное и необходимое свое последствие, неограниченную конкуренцию между производителями. Конкуренция эта, по отношению к *производству* богатств, имеет, конечно, самое благотворное и полезное влияние. В этом убеждает самым разительным образом история европейской производительности. Необыкновенные успехи европейских народов на поприще материального развития начались именно со времени уничтожения монополий и корпораций, так что нельзя не приписать сво-

¹ Говоря здесь о свободе промышленности, мы не имеем в виду торговли, которая, как известно, доселе еще не освободилась от ограничений и тарифов. Внутренние таможи уже почти везде уничтожены; но внешняя торговля до сих пор еще производится под влиянием отчасти запретительной, отчасти покровительственной системы. Первый и важный шаг к водворению свободной торговли сделан был в нынешнем году Англией — вследствие реформы финансовых законов, произведенной парламентом по предложению Роберта Пиля.

² Формулировка французским экономистом Гурне принципа невмешательства правительства в экономическую жизнь. — *Ред.*

бодe промышленности и ее последствию—неограниченной конкуренции, тех блистательных результатов, до которых достигла теперь производительность. Мы, обязаны конкуренции бесчисленным множеством открытий и изобретений, благоприятствующих быстрому умножению народного богатства и постепенному освобождению человека от влияния физической природы. Соревнование между производителями способствует беспрестанному приложению к промышленности открытий и начал науки, которые без того остались бы, может быть, навсегда совершенно бесплодными и нимало не содействовали бы улучшению человеческого благосостояния. Соревнование заставляет производителей деятельно заботиться о возвышении достоинства их произведений, и ему одолжены мы тем совершенством, до которого доведена ныне большая часть мануфактурных изделий. С другой стороны, под влиянием беспрестанного и упорного соперничества фабрикантов, вместе с возвышением достоинства их продуктов, постоянно понижается их цена, так что число их потребителей возрастает с каждым днем более и более. Одним словом, вследствие неограниченной конкуренции, промышленность безостановочно и быстро развивается, совершенствуется, и очевидный результат ее успехов состоит в том, что наслаждения, бывшие доселе доступными только немногим избранным, составляют ныне удел большинства людей,—большинства, увеличивающегося со дня на день приметным и значительным образом.

Но неограниченная конкуренция вместе с добром производит и зло. Выгоды, ею доставляемые, не должны ослеплять нас на счет ее невыгодных и даже вредных последствий. Многие экономисты доводят свое уважение к принципу свободной промышленности до исключительности, до крайности; они видят только благодетельные его результаты и не хотят признать тех действий, которые при нынешнем порядке вещей неразлучно сопряжены с его господством. Нельзя, однакож, не сознаться, что конкуренция, увеличивая народное богатство, служит в то же время одной из самых деятельных причин нищеты и страданий, тяготеющих над рабочими классами. Выгодами ее пользуются в настоящее время одни высшие классы, одни владельцы капиталов: их она обогащает; для них она полезна; но для многочисленного класса работников она бывает по большей части губительна и вредна. Свобода промышленности поставляет труд в самое невыгодное отношение к капиталу; она имеет самое вредное влияние на *распределение* производимых богатств между этими двумя главными производительными силами. Она постоянно увеличивает долю капиталистов

и постоянно уменьшает долю работников. Первым она доставляет роскошь, наслаждение и могущество; вторых наделяет бедностью, страданиями и унижением

Основываясь на постоянном свидетельстве опыта и действительности, можно принять за общее и несомненное правило, что от большей или меньшей связи между капиталом и трудом зависит и большее или меньшее благосостояние низших классов. Чем ближе работники к капиталистам, чем теснее связь между ними, тем менее могут они опасаться бедности, тем прочнее их благосостояние, тем завиднее судьба их. Напротив, чем отдаленнее капитал от труда, чем менее между ними общих интересов, тем бедственнее положение рабочих классов, тем быстрее развивается между ними нищета. Если б между трудом и капиталом существовало единство интересов, то благосостояние одного класса производителей совершенно условливалось бы благосостоянием другого класса. Каждый из них для своей же собственной выгоды должен бы был заботиться о выгодах другого, и всякий успех промышленности был бы для всех равно благодетелем, приносил бы всем одинаковую пользу. Но в настоящее время мы видим совершенно противное. Ныне капитал и труд совершенно отделены друг от друга и ничем между собой не связаны. Интересы капиталистов не только не тождественны с интересами работников, но даже противоположны им; между ними, в настоящую минуту, нет ничего общего, но есть множество разъединяющего. Работник ныне не соучастник, не товарищ капиталиста, а его наемник и служитель. Ныне то, что выгодно для капиталиста, невыгодно для работника, и наоборот. Интерес капиталиста состоит в том, чтоб уменьшать плату за труд, между тем как увеличение этой платы составляет необходимое условие для улучшения судьбы работника. От этой противоположности интересов происходит недоверчивость и вражда между двумя классами производителей. Весьма понятно, что при такой недоверчивости, при такой вражде, самые плодотворные принципы должны сопровождаться горестными результатами; понятно, что при таком положении дел нельзя ожидать ничего доброго от свободы промышленности, нельзя надеяться, чтоб она могла принести пользу рабочим классам. И действительно, она приносит им не пользу, а вред; она не улучшает их участи, а, напротив, увеличивает их страдания. При господстве полной и неограниченной свободы промышленности; не существует никакой власти для определения взаимных отношений производителей, для покровительства слабым и защищения их от сильных. Производители предоставлены совершенно самим себе; общественная

власть не вмешивается в дела их, не принимает участия в их распри; она позволяет им действовать совершенно произвольно и не хочет ни в чем стеснять их свободу; другими словами, она оставляет слабых без всякой защиты и сама предает их в жертву сильнейшим. Но между капиталом и трудом перевес и сила явно на стороне первого. Как ни сильно развилась производительность в Европе, как ни велико количество капиталов, но количество их все еще весьма незначительно в сравнении с числом рук, требующих себе работы. Работников в настоящую минуту гораздо более, нежели сколько их нужно для капиталов, их употребляющих. Предложение труда всегда превышает требование, за исключением разве некоторых отдельных случаев, которые не могут изменить собою общее правило. От этого труд всегда более нуждается в капитале, нежели капитал в труде, и, следовательно, труд не может предписывать своих условий капиталу, а сам находится от него в полной зависимости. Притом же, необходимость рабочих рук для владельцев капиталов не так безусловна и не так настоятельна, как необходимость капитала для работников. Если фабрикант не найдет себе потребного числа людей, если они не захотят пойти к нему на предлагаемых им условиях, то он может даже обойтись и без них. Правда, действие его фабрики или завода остановится, и он рискует лишиться предполагаемых барышей и выгод; но этим только и ограничится его потеря. Собственно говоря, он может даже отказаться от этих выгод, не составляющих для него безусловной и решительной необходимости. Пожертвование это будет для него тяжело, но возможно, между тем, как для работника решительно невозможно отказаться от работы, доставляющей ему насущный хлеб. Для капиталиста в таких случаях дело идет только о большем или меньшем выигрыше, о большей или меньшей потере, между тем, как для работника это—вопрос о жизни и смерти. Упорство работника никак не может быть продолжительно: рано или поздно он придет к своему хозяину с повинной головой, и, чтоб не умереть с голоду, согласится работать за самую ничтожную плату. Напротив, капиталист легко может упорствовать в принятом им намерении; ему не угрожает голодная смерть, И он знает, что работники недолго в состоянии будут ему сопротивляться. Все это показывает, что капитал несравненно нынче сильнее и могущественнее труда. Между ними мы видим огромное неравенство; а при таком неравенстве производительных сил предоставить им неограниченную свободу, отказать слабейшим в покровительстве и защите,—значит предать работников в жертву капиталистам и

поставить одних в совершенную зависимость от других. Такая свобода прямо ведет к угнетению; и действительно, пользуясь такой свободой, ему предоставленной, капитал в настоящее время давит труд, доводит его до последней крайности, обращается с ним совершенно так же, как обращались некогда феодальные бароны с своими беззащитными вассалами.

Таким образом, соревнование между производителями, которое, при другом устройстве хозяйственных отношений, могло бы содействовать улучшению судьбы рабочих классов, ныне является, напротив, одною из главных причин их бедности и страданий. Конкуренция между капиталистами, по самому существу своему, должна быть выгодна для работников; усиливая требование на труд, она должна возвышать его цену и увеличивать количество задельной платы. В некоторых случаях она может даже противодействовать всем другим недостаткам современного экономического устройства; в некоторых отраслях промышленности постоянное усиление соревнования между фабрикантами спасает работников от нищеты и обеспечивает их благосостояние. Но враждебное соотношение капитала и труда и в этом случае обнаруживает свое вредное влияние, уменьшая те благотворительные последствия, которыми могла бы сопровождаться борьба капиталов между собою. От разъединения капитала и труда происходит то странное явление, что один и тот же принцип делается вместе причиной и возвышения и понижения задельной платы. Не надо удивляться этому противоречию: подобные несообразности встречаются на каждом шагу при нынешних экономических учреждениях, разрывающих всякую связь между капиталом и трудом и уничтожающих то равновесие, которое должно существовать между производительными силами...

Прежде каждая отрасль производства находилась в руках немногих лиц и составляла их исключительную монополию. Тогда фабрикант не боялся соперничества, не слишком заботился об улучшении достоинства своих произведений и старался только о возвышении их цены, зная, что для них всегда найдется достаточное число покупателей. От такого устройства страдали потребители, потому что находились в совершенной зависимости от производителей; страдали и владельцы капиталов, потому что не могли извлекать никакой пользы из тех средств, которые имели в руках своих. Но зато монополии были чрезвычайно выгодны для тех, которым они принадлежали; выгоды и барыши фабрикантов были верны и обеспечены; им не угрожали никакие опасности, и они пользовались своим правом спокойно, невозмутимо. Ныне положение фабриканта изменилось. Его жизнь—

беспрестанная борьба с соперниками, борьба, в которой он должен употреблять все возможные усилия, чтоб сохранить за собой первенство, удержаться на своем месте и избегнуть разорения. Счастливы те, которые, благодаря своей заботливости, искусству и благоприятным обстоятельствам, умеют одержать победу и воспользоваться ее плодами. Но горе отстающим в этом соперничестве: им угрожает верная гибель и неминуемое разорение. Из этой борьбы капиталист тогда только может выйти цел и невредим, когда постоянно будет находить достаточный и выгодный сбыт своим произведениям, поэтому он должен ревностно и неуклонно заботиться, чтоб достоинство его произведений возвышалось, а производство *стоило как ложно менее издержек*. Для этой цели он делает все, что только может,—вводит лучшее распределение работ, старается о *приискании новых более выгодных средств производства*, заботится об усовершенствовании прежних машин, содействует изобретению новых, и наконец, так как задельная плата составляет одно из важнейших условий, определяющих стоимость произведений, то он постоянно старается уменьшить *эту* плату и довести ее до самого низшего, крайнего предела. В этом состоит интерес каждого капиталиста, и тут-то интересы фабрикантов и работников являются чисто противоположными друг другу. Конкуренция между работниками дает капиталистам возможность достигать своей цели, и таким образом борьба капиталов, вместо того, чтобы возвышать задельную плату, весьма часто содействует ее понижению.

Это стремление фабрикантов к понижению задельной платы составляет необходимое и существенное последствие конкуренции, а потому оно является не в виде отдельных, частных случаев, но в виде общего закона, всегда и везде действующего. Иногда для этой цели мануфактуристы составляют между собой тайные соглашения и сделки. Но такие заговоры случаются довольно редко. Эти коалиции даже бесполезны, потому что их цель достигается сама собой вследствие естественного хода дел. В этом отношении, как уже заметил сам Адам Смит¹, между капиталистами существует как будто безмолвное обязательство не возвышать ни в каком случае задельной платы, а напротив, понижать ее при первой представляющейся возможности. И несмотря на то, что обязательство это не изложено на бумаге и не имеет юридической силы, оно исполняется свято и ненарушимо, потому что исполнение его необходимо

¹ Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Т. I. Trad. Garnier, p. 134 (Исследования о природе и причинах богатства народов Т. I, перев. Гарнье, стр. 134 — *Ред.*)

для всякого фабриканта и основано на личных его интересах...

Против такой общей и постоянной тактики капиталистов работники не могут ничего сделать. Они в этом отношении совершенно беззащитны. Часто с своей стороны они прибегают к заговору, к коалициям, надеясь чрез это заставить фабрикантов повысить задельную плату,—предъявляют им свои требования, по большей части справедливые, и в случае отказа все вместе оставляют те фабрики, на которых работали. К сожалению, средство это весьма недостаточно. Такие коалиции между работниками почти никогда не достигают своей цели; чаще же всего они наносят вред самим заговорщикам, и имеют последствием не повышение, а напротив понижение заработной платы. Иначе: и быть не может, потому что в настоящее время, как мы уже видели, капитал несравненно сильнее и могущественнее труда, следовательно, в борьбе между ними победа должна всегда оставаться на стороне первого. С другой стороны, такие коалиции работников сопровождаются обыкновенно насилием, грабежом, разбоем, распутством и вообще последствиями в высшей степени вредными и для общественной безопасности и для общественного благосостояния. Таким образом, средство это оказывается вместе и неуспешным и вредным. И в том и в другом убеждает самым разительным образом пример Англии, где подобные коалиции позволены самим законом и вошли в число народных обычаев. В других частях Европы они имеют по большей части характер явлений местных и случайных,—порождаются обстоятельствами и прекращаются весьма скоро, не оставляя по себе никаких следов. В Англии, напротив, они образуют установления не временные, а постоянные, имеющие даже довольно правильную организацию. В каждой отдельной отрасли промышленности между работниками существует всегда более или менее тесный союз (trades union), простирающий свое действие на целое королевство. В Англии таких союзов весьма много; есть, например, союз ткачей, союз прядильщиков, союз суконщиков, союз столбров, союз шляпочников, союз портных и т. д. Эти ассоциации имеют по большей части однообразное устройство; в каждом городе и в каждом дистрикте находится особая ложа, которой подчиняются местные работники. Между этими ложами существуют непрерывные сношения: они назначают депутатов на центральные конгрессы. Конгрессы эти собираются в известные времена для рассуждения об общих интересах работников, взимают определенные подати со всех членов союза и постановляют решения, имеющие для всех их обязательную силу.

Союз бумагопрядильщиков (Spinners union) сильнее и много-

численное всех других ассоциаций. В хлопчатобумажной промышленности бумагопрядильщики имеют весьма важное значение. Они составляют не более десятой части всего числа работников, употребляемого на этих фабриках, но тем не менее содействие их так необходимо, что в случае, если они отказываются от работы, действие фабрики немедленно прекращается. В заведении, состоящем из 400 работников, прядильщиков бывает обыкновенно около сорока; но эти сорок человек, оставляя свои занятия, лишают работы и всех остальных. Получая за свой труд более, нежели другие работники, превосходя всех их силой и искусством, они, вследствие того, имеют значительное влияние на своих товарищей и всегда увлекают их своим примером и советами. Притом же, в этой отрасли промышленности и самые фабриканты находятся в весьма невыгодном положении. Обыкновенно, если работники отказываются от работы, хозяин может закрыть свою фабрику и терпеливо выжидать лучших обстоятельств; он в этом случае лишается только надежды на барыш; настоящие же его потери так незначительны, что не *могут* испугать его или привести в затруднительное положение. Но содержатель бумагопрядильной фабрики должен всегда предварительно употребить огромный капитал на строения, на машины, на покупку материалов; и, вследствие того, он может приостановить действие своего заведения, не иначе, как подвергаясь значительным убыткам. Если предположить, например, что им положен капитал в два миллиона рублей, что в Англии вовсе не составляет редкости, то в случае, если действие фабрики приостановится, и капитал не будет приносить процентов, фабрикант будет терять каждую неделю, круглым числом, около четырех тысяч рублей.

Английские бумагопрядильщики употребили все возможные усилия воспользоваться выгодами своего положения. В случае столкновения работников с хозяином, победа всегда остается на стороне того из двух, который может долее упорствовать в принятом намерении и терпеливее сносить жертвования и лишения: работники поняли это и приняли самые искусные меры для того, чтоб в случае войны упрочить за собой победу. Существовая уже в продолжение сорока лет союз бумагопрядильщиков обнимает собою Англию, Шотландию и Ирландию; он имеет весьма правильное и твердое устройство и располагает огромными суммами. Работники слепо повинуются своим начальникам, свято исполняют их приказания, действуя с удивительным единодушием и с необычайной твердостью. Они уже несколько раз вступали в борьбу и оставляли своих хозяев; работа часто прерывалась месяцев на шесть; капита-

листы подвергались значительным потерям, и, несмотря на эти потери, несмотря на силу и упорство работников, перевес в подобных борьбах постоянно оставался на стороне фабрикантов.

Восстания работников против хозяев совершаются в известные времена и в известном порядке. Работники приготавливаются к ним мало-помалу, вычитая определенную часть из получаемой ими платы и составляя таким образом общий капитал. Когда комитет, управляющий делами союза, находит обстоятельства благоприятствующими, он предъявляет фабрикантам требование об увеличении задельной платы; если на требование это не соглашаются немедленно, он предписывает всем участвующим в союзе отказаться от работы и оставить своих хозяев.

Первое значительное восстание работников для возвышения задельной платы было в 1810 году; в этом восстании приняли участие все бумагопрядильщики Манчестера и его окрестностей; все они, по приказанию своих начальников, покинули в; одно и то же время те фабрики, к которым принадлежали. Более тридцати тысяч работников оставались без дела в продолжение четырех месяцев; и если б прошло еще несколько дней в бездействии, то шотландские бумагопрядильщики непременно последовали бы примеру манчестерских. Общее прекращение работ (strike¹) предписано было конгрессом, который собрался в Манчестере, и на котором присутствовали депутаты от других промышленных городов. Надзор за работниками и управление их действиями вверены были одному из них, человеку весьма искусному, который пользовался большим уважением между своими товарищами и имел над ними почти неограниченную власть. Работники, оставившие фабрики, получали пособие как из общей кассы, так и от тех своих товарищей, которые продолжали работать у хозяев, согласившихся на их требование. Еженедельно раздавалось этих пособий более, чем на 1 500 фунтов стерлингов, и каждый работник на свою долю получал около 12 шиллингов.

Требования работников, послужившие причиной и поводом этому разрыву, состояли в том, чтоб на фабриках, находившихся в окрестностях Манчестера, задельная плата была та же самая, как и в самом Манчестере. В манчестерских фабриках платили тогда по сорока пяти сантимов за выпрядку фунта бумаги, а вне города за то же самое—только сорок сантимов. Тут было собственно мнимое, а не действительное

¹ стачка. — *Ред.*

неравенство, потому что в деревнях и квартира и средства пропитания обходились гораздо дешевле, чем в городе. Работники были на этот раз не совсем справедливы в своих притязаниях, и после долговременной борьбы принуждены были уступить. Капиталы их мало-помалу истощились; вся движимость их была продана, все пожитки заложены; не оставалось более никаких средств для существования и кончилось тем, что они снова вступили на фабрики, и многие должны были согласиться на такую плату, которая была вдвое ниже прежней.

В 1824 году, гайдские (Hyde) бумагопрядильщики, по внушению своего начальства, потребовали возвышения задельной платы и, получив отказ, оставили фабрики. В продолжение нескольких недель они оставались без занятия; на их содержание союз истратил более 15 000 фунтов стерлингов, и наконец они с радостью согласились возвратиться к своим хозяевам на прежних условиях. В 1829 году сделался снова разрыв; десять тысяч работников и двадцать фабрик в продолжение целых шести месяцев оставались без действия, В 1830 году, такой же участи подверглись 30 000 работников и 55 фабрик в городах Аштоне и Сталейбридже. В 1835 году, в Престоне 8 500 работников обоего пола и всякого возраста оставались без дела в продолжение четырех месяцев. Эта последняя борьба известнее всех прочих, и подробности ее весьма любопытны и поучительны¹.

В октябре 1836 года престонские бумагопрядильщики вырабывали себе средним числом около 22 шиллингов в неделю (четыре рубля с полтиной в день). Но в другом, соседнем городе, в Болтоне, работники получали в неделю более двадцати шести шиллингов. Престонские прядильщики, возбужденные агентами союза, потребовали от фабрикантов точно такой же платы. Фабриканты не захотели исполнить этого требования, и все престонские фабрики, числом до сорока двух, остановились в одно и то же время.

В первые дни после этого разрыва народ был спокоен и не чувствовал, повидимому, ни сожаления, ни раскаяния. Но это равнодушие продолжалось весьма недолго. По прошествии месяца, улицы стали уже наполняться нищими; работники толпами начали приходить к попечителю бедных, и население нищенских приютов стало быстро увеличиваться. В это время, прядильщики получали еженедельно от союза в виде пособия по пяти шиллингов на человека; но ткачи и остальные работ-

¹ Эти известия о коалициях заимствованы нами из сочинений г. Леона Фоше: *Etudes sur l'Angleterre*, par Leon Faucher. 1845. Tome II, p. 245—268.

ники, не принимавшие участия в коалиции, жили единственно милостыней фабрикантов, которые ежедневно давали им по куску хлеба. В половине декабря деньги, собранные союзом, были уже все истрачены. Городской муниципальный совет сожалел над судьбой работников и согласился оказать им вспомоществование; но назначенное им пособие (100 фунтов стерлингов) было совершенно недостаточно. Очевидно было, что борьба приближалась к концу. Фабриканты решились открыть свои заведения, и принимать работников на прежних условиях; они требовали только от каждого вновь вступающего, чтоб он совершенно отказался от участия в ассоциации. В первую неделю после этого объявления на предложение фабрикантов отозвалось не более сорока прядильщиков; во вторую неделю к переметчикам присоединилось более ста человек; в то же время несколько работников пришли в Престон из соседних городов. Мало-помалу, все пришло в прежний порядок и только главные предводители коалиции, числом около двухсот, замененные другими работниками, принуждены были оставить город.

В продолжение этого разрыва было арестовано более семидесяти человек за пьянство и за разные беспорядки; двенадцать человек приговорены были к тюремному заключению за насилие и угрозы; двадцать молодых девушек перешли в число публичных женщин; два человека осуждены в ссылку; трое умерли с голода. Убытки работников, если считать только потерянную ими плату, простирались до полутора миллиона франков; хозяева потеряли около миллиона. Из этого ясно, что наиболее потерь претерпели сами работники, что они пострадали от коалиции более, чем хозяева, и что, следовательно, для улучшения своей участи они не могут возлагать никакой надежды на коалиции. Все коалиции между работниками в Англии привели к тому же результату. Везде они имели своим последствием изобретение или введение какой-нибудь машины, уменьшавшей необходимость в человеческом труде, или переселение из других городов новых работников, что, естественно, вело к усилению конкуренции и к понижению заработной платы.

Сверх того, эти коалиции, оказавшись совершенно бесполезными и безуспешными, оказались в то же время и чрезвычайно вредными для общественного порядка и безопасности. Везде разрывы эти сопровождались самыми преступными крайностями работники, не принимавшие участия в волнении, подвергались оскорблениям и побоям; часто даже самая жизнь их была в опасности. Фабриканты, сопротивлявшиеся требо-

ваниям работников, навлекали на себя народную ненависть; для отмщения им прибегали к насилию: зажигали и грабили их дома и заведения. Если случалось, что восстание работников сопровождалось кратковременным успехом, если перевес оставался на их стороне, то они пользовались этим для совершения поступков в высшей степени безумных и преступных. Примером такого безумия и невежества могут служить действия союза суконщиков в Графстве Йоркском с 1831 по 1835 год.

Союз этот, решившийся действовать против фабрикантов, обратил сперва свои силы на одного из них (г. Готта), которому принадлежала лучшая из суконных фабрик, находившихся в Лидсе. Владелец этой фабрики построил великолепное и огромное здание, наполнил его множеством машин и предназначил для производства тонких сукон. Все было готово, и уже хотели приступить к делу, как вдруг ткачи, числом около двухсот, не захотели работать, требуя себе прибавки платы. Г. Готт сопротивлялся в продолжение нескольких недель; но наконец, видя, что остальные фабриканты Лидса его не поддерживают, решился уступить. Работники, однакож, ничего от этого не выиграли, потому что только старая фабрика приведена была в действие; новая осталась без движения. Фабрикант, в этом случае, отмстил работникам за возвышение задельной платы уменьшением количества работы.

Ободренный этим сомнительным успехом, союз составил тариф, где определил количество платы за пряжу и за тканье, напечатал тариф этот в журналах и послал печатные его экземпляры к фабрикантам, требуя, чтоб они подчинились его предписаниям. Посредством этого тарифа, работники хотели не только возвысить, но и уравнивать таксу задельных плат, хотели доставить ремесленникам посредственным и неискусным те же выгоды, какими пользовались ремесленники опытные и смышленные. Такое намерение вело к ниспровержению естественного порядка вещей и основывалось на самом грубом и несправедливом насилии. Согласиться на это значило уничтожить всякое соревнование и остановить успехи производительности. Фабриканты, желая избавиться от невыгодных предписаний тарифа, значительную часть своей шерсти стали отдавать для пряжи работникам, рассеянным по деревням. Тогда между хозяевами и рабочими началась борьба, состоявшая во взаимных хитростях и обманах. Союз предписал фабрикантам прясть и ткать свою шерсть не иначе, как в Лидсе. Тогда фабриканты уменьшили количество работы почти втрое. Несколько времени спустя, работники составили новый тариф, где коли-

честно заработной платы определялось уже не по количеству труда, а по числу дней, так что всякий работник, как деятельный, так и ленивый, должен был получать в неделю 20 шиллингов. Один фабрикант, заметив по своим счетам, что вследствие такого устройства работники стали производить гораздо менее прежнего, донес об этом их начальству, которое, в ответ на это, запретило ему вести всякие счета

Во Франции коалиции между работниками запрещены законом, и потому они не так часты и не так обыкновенны, как в Англии. В июне 1845 года, всеобщее внимание возбуждено было коалицией между парижскими плотниками (*ouvriers-charpentiers*), которые потребовали от своих хозяев возвышения задельной платы. Хозяева не захотели исполнить этого требования,—и работы вдруг прекратились как в Париже, так и во всем Сенском Департаменте. Борьба продолжалась более пяти месяцев и кончилась точно так же, как кончаются обыкновенно подобные борьбы в Англии. Плотники принуждены были отказаться от своих требований, и, сверх того, главные зачинщики коалиции, за нарушение закона и за разные насильственные поступки приговорены были к тюремному заключению.

Приведенные примеры, кажется, ясно показывают, что коалиции бесполезны, и что во всяком случае средство это, предлагаемое некоторыми экономистами, оказывается совершенно недостаточным для противодействия конкуренции, существующей между капиталистами и побуждающей их к постепенному понижению задельной платы.

Но рабочие классы страдают всего более от конкуренции труда, которая принадлежит также к числу необходимых последствий свободной промышленности. Работники находятся между собой в постоянной борьбе точно так же, как и капиталисты, с тем только различием, что одни спорят между собой об увеличении числа своих миллионов, а другие заботятся единственно о том, чтобы добыть себе кусок хлеба и спастись от голодной смерти. В этой борьбе все страдают более или менее: одни погибают совершенно, другие оставляют за собой поле сражения, но ни один не выходит из борьбы цел и невредим, и участь победителей немногим завиднее участи побежденных. Множество рабочих рук остается без употребления, потому что их в настоящую минуту слишком много в сравнении с количеством капиталов. Как ни быстро развивается производительность, но народонаселение развивается еще быстрее; в развитии своем оно всегда стремится к чрезмерному размножению, и только одна смерть может приводить его в соразмерность с средствами пропитания. При этом неравен-

стве между предложением и требованием труда работник, чтобы спастись от беды, чтобы не уступить соперникам поля битвы, готов работать за самую малую цену, готов всегда согласиться на предлагаемые ему условия, как бы они ни были для него тягостны и невыгодны. Из многих соперников на фабрику принимается тот, кто требует меньшего вознаграждения за свой труд; а так как искателей весьма много, то естественно, что заработная плата должна понижаться все более и более, так что она должна наконец дойти и действительно доходит до того предела, за которым уже остается умирать с голода.

Свобода труда, принцип благодетельный и плодотворный, является при этом в высшей степени губительною и вредною. Каждому предоставлено право выбирать по произволу предмет и место своих занятий. Но для того, чтобы сделать надлежащий и выгодный выбор, надо иметь много опытности, много предусмотрительности, много познаний. По большей части, работникам недостает этой предусмотрительности и этой догадливости. Одни часто бросаются в такие отрасли промышленности, в которых и без того уже есть излишнее число рук. Другие поселяются в таких местах, где предложение и без того уже превышает требование. Третьи, наконец, выбирают себе такие занятия, к которым они не способны, для которых им недостает надлежащих условий. Они бросаются на авось туда и сюда; и многие, разумеется, или вовсе остаются без дела, или, если и находят себе работу, то за такую ничтожную плату, что жизнь их превращается в ряд непрерывных страданий и лишений. В этом отношении всего более вреда приносит значительное скопление работников на одном пункте: оно поставляет их в совершенную зависимость от фабрикантов и дает последним полную возможность понижать до нельзя задельную плату. К несчастью, эти скопища работников, столь невыгодные для их благосостояния, сделались нынче явлением постоянным, существенно связанным с самыми способами производства. Нынче мануфактурная промышленность сосредоточивается на немногих пунктах, преимущественно в некоторых больших городах. Как будто привлекаемые какой-то волшебной, неотразимой силой, работники отовсюду стекаются в эти центры производительности, в надежде найти там для себя работу и вместе с нею достаток и довольство. Само собой разумеется, что они ошибаются в своих предположениях, и что, вместо ожидаемого довольства, им по большей части достаются в удел нищета и страдания.

Усилению конкуренции между работниками способствуют зна-

чительным образом те усовершенствованные способы производства, которые введены нынче во многие отрасли промышленности. Разделение труда и изобретение машин—эти важные и необходимые условия для развития производительности, при нынешнем порядке вещей имеют весьма вредное влияние на судьбу рабочих классов. В тех отраслях промышленности, куда не проникли еще эти усовершенствования, работники искусные, опытные и сильные не боятся соперников, с успехом выдерживают борьбу, и никогда не нуждаются в работе. Хозяева дорожат ими, предпочитают их всем другим, принимают к себе на весьма выгодных условиях и почти всегда дают им за труд значительное вознаграждение. Работники бессильные и неискусные не смеют вступать с ними в соперничество, зная, что перевес всегда останется на стороне искусства и способностей. Совершенно противное видим мы на тех фабриках, где введены и разделение труда и усовершенствованные способы производства. Но фабрики этого рода в настоящее время многочисленнее всех других, и занимают наибольшее число работников. Они состоят преимущественно из людей неспособных, неискусных, слабых, всего чаще из женщин и детей; работники же знающие и смелые мало ценятся фабрикантами и редко находят для себя занятие. Это происходит от того, что при нынешних способах производства от работников по большей части не спрашивается ни искусство, ни умение, а требуется единственно терпение, навык и, в известных только случаях, физическая сила. Успехи механики значительным образом упростили труд; то, что делалось прежде человеком, делается теперь машиной; человеку остается только приводить эту машину в действие, а для исполнения этой обязанности вовсе не нужно, чтобы работник имел какие-либо способности или таланты. Чрезмерное разделение работ также облегчает труд, уменьшает необходимость в умении, в опытности и даже в силе, и уподобляет человека простой машине, которая постоянно и безостановочно совершает известные движения. На тех фабриках, где принцип разделения труда является вполне осуществленным, работник участвует в производстве только физическими своими силами; вся его обязанность состоит в том, чтобы производить мускулами в известное время известное число движений. Само собой разумеется, что чем легче и материальнее становится труд, чем менее он требует приготовления и искусства, тем менее он и ценится, тем менее доставляет вознаграждения. Понятно, что разделение работ и изобретение машин, уменьшая значение труда, должны необходимо вести к понижению заработной платы; но они приводят к тому же результату и другим путем: они усиливают и

питают между работниками пагубную конкуренцию, предмет которой составляют занятия нетрудные, не требующие никакого предварительного приготовления. Для того, чтобы быть работником, не требуется почти никаких условий; а потому каждый может вступить на это поприще, каждый может надеяться на успех. Даже самые слабые существа, женщины и дети, признаются способными к работе на фабриках; они также присоединяются к людям, отыскивающим занятия, и часто даже предпочитают им, потому что довольствуются меньшей платой. Между многими искателями фабрикант отдает предпочтение не искуснейшему и не способнейшему, а тому, чьи потребности ограниченнее, чьи требования скромнее. Притом же, распространение машин всегда уменьшает самое число работников, нужных для действия фабрики, так что к голодной толпе искателей присоединяются еще все те, которые, благодаря успехам науки, лишились своего занятия и средств к существованию. Одним словом, чем более совершенствуются способы производства, тем сильнее увеличивается предложение труда, и тем значительно понижается задельная плата. Всего разительнее подтверждается это примером хлопчатобумажных фабрик, на которых способы производства доведены до высшей степени совершенства. История постепенного развития этой промышленности есть вместе с тем и история постепенного развития нищеты между принадлежащими к ней работниками. После каждого нового усовершенствования в способах пряжи или тканья хлопчатой бумаги, рабочие классы спускались ниже и ниже. Исчисления одного английского экономиста¹ показали, что с 1814 по 1832 год количество заработной платы на английских хлопчатобумажных фабриках уменьшилось почти в двенадцать раз, несмотря на то, что требование на труд постоянно возрастало в этой отрасли промышленности.

Таким образом, постепенное уменьшение в количестве задельной платы, при нынешнем порядке вещей, неразлучно сопряжено с усовершенствованием и развитием производительности. Не надо думать, однако, чтобы развитие производительности само в себе было вредно для рабочих классов; не надо восставать против успехов мануфактурной промышленности, против усовершенствования способов производства, как делают это некоторые критики современного экономического устройства, не умеющие отличить видимых и случайных причин нищеты от причин действительных и существенных. Из того, что два

¹ *John Marshall. Revue Britannique. Juin 1833. (Джон Маршалл, Британское обозрение. Июнь 1833. — Ред.)*

явления сопутствуют друг другу, нельзя еще заключать, чтобы между этими явлениями существовала естественная и неразрывная связь, чтобы они находились между собой в таком же отношении, какое существует между причиной и ее необходимым, безусловным следствием. Знаменитый софизм: *cum hoc, ergo propter hoc*¹ нередко вводил экономистов в заблуждение. В приложении к благотворительности, к успехам промышленности, к машинам, к способам производства, это ложное начало породило множество важных ошибок и несправедливых воззрений. Для рабочих классов не могут быть вредными ни развитие промышленности, ни все те явления, которые составляют необходимое условие для ее успехов. Для них вредны только те законы и учреждения, посредством которых народное богатство, вместо того, чтобы распространяться в одинаковой мере на все классы общества, сосредоточивается в руках немногих избранных, в руках людей, владеющих капиталами. При том неравенстве, которое существует ныне между производительными силами, немудрено, что успехи промышленности приносят мало пользы рабочим классам; немудрено, что те установления, которыми обуславливаются эти успехи, действуют на судьбу работников неблагоприятным образом. Но если в настоящее время установления эти и содействуют увеличению нищеты, то не надо забывать, что такое содействие не необходимо и не существенно, но случайно и условно. И если бы то условие, от которого зависит это содействие, было уничтожено, если бы между капиталом и трудом не было разрыва, если бы между ними существовало полное единство интересов, то в нынешнем экономическом устройстве мы не находили бы тех противоречий, которые теперь встречаются на каждом шагу. Но успехам промышленности ни в каком случае не должно приписывать бедственного положения рабочих классов. Остановить эти успехи было бы и невозможно и безрассудно. Положить преграды постоянному усилению производительности, значило бы только увеличить число бедных, которое было бы менее разительно, потому что недостаточность сделалась бы тогда уделом большинства. Современная наука понимает, что богатство, будучи отрицанием бедности, не может быть ее причиной; она понимает, что для уничтожения бедности постоянное, деятельное и безостановочное развитие промышленности столь же необходимо, сколь необходимо преобразование в устройстве хозяйственных отношений. Политическая экономия в настоящее время не опасается чрезмерного усиления

¹ с этим, следовательно, и поэтому. — *Ред.*

производительности: она не боится, чтобы производство могло превысить требования, она знает, что как ни сильно развилась промышленность в течение нынешнего столетия, однакож она далеко еще не достигла того предела, которого должна достигнуть рано или поздно. Нет никакого сомнения, что Англия и Франция принадлежат к числу самых богатых государств, а между тем, их богатства, даже при более справедливом их распределении, не могли бы уничтожить бедности; если бы богатства эти разделены были поровну между всеми гражданами, то на долю каждого пришлось бы в Англии не более 800, во Франции не более 230 франков годового дохода. Из этого расчета ясно видно, что, для уничтожения бедности, одного улучшения в распределении богатств недостаточно, что необходимо также стараться об усилении производительности, и что только совокупным действием обоих этих условий экономического прогресса могут быть исцелены язвы общественного организма.

Несправедливы, конечно, те, которые причину бедности находят в развитии промышленности, и, однакож, нельзя не сознаться, что при нынешнем экономическом устройстве европейских обществ, чем более умножается богатство, чем деятельнее является производительность, тем незначительнее и ничтожнее становится участие рабочих классов в распределении производимых богатств. Вследствие неограниченной конкуренции между производителями и вследствие усовершенствования способов производства, предложение труда все более и более усиливается, и усиливается гораздо быстрее, нежели требование на труд. Но труд в настоящее время—не что иное, как товар, цена которого определяется отношением, существующим между предложением и требованием; а потому весьма понятно, что вместе с увеличением предложения, цена человеческой деятельности, как и всякого другого товара, должна упасть, и задельная плата должна спускаться ниже и ниже. Политическая экономия, доказывая, что задельная плата находится в прямой пропорции с требованием на труд и в обратной с его предложением, выражает действительно тот закон, по которому совершаются ныне экономические явления. Но политическая экономия принимает ложное и даже вредное направление, когда силится оправдать этот закон, доказать его разумность и необходимость. Труд и деятельность человека не могут быть поставлены наряду с товаром. При повышении или понижении цены товара идет дело только о барыше или убытке для купца; Но вопрос о задельной плате есть вопрос о спасении или гибели рабочих классов,—вопрос, с разрешением которого тесно

связаны и жизнь и здоровье и нравственность нескольких миллионов людей. Позабывать об этом, уподобить труд товару,— значит смотреть на человека, как на машину, как на вещь бесчувственную, не имеющую никаких прав. Экономисты для оправдания своей теории говорят, что количество заработной платы определяется по договору между фабрикантом и работником, по договору законному, свободному и потому самому не дающему права ни одной из сторон жаловаться на его последствия. Но и это совершенно несправедливо. Необходимое условие для всякого договора—свободная воля лиц, вступающих в обязательство; а свободно заключенным можно назвать договор только тогда, когда каждая из сторон может совершенно произвольно и ничем не стесняясь согласиться на условия контракта или отвергнуть их, вступить в обязательство, или отказаться от него. Между рабочими и капиталистами не существует такого полного равенства. Труд человека, повторяем опять, не товар, продажа и покупка которого совершенно зависят от воли продавца и покупателя. Если покупатель труда не хочет взять этого мнимого товара по причине дороговизны, он рискует только тем, что капитал его в продолжение нескольких дней будет оставаться без движения, не будет приносить ему процентов; тем не менее, однакож, капитал этот останется цел и невредим в его руках. Работник находится в совершенно другом положении: в большей части случаев, если труд не продается за какую бы то ни было цену, работнику предстоит сначала нищета, а потом и голодная смерть. Можно ли сказать после этого, что от самого работника зависит вступать или не вступать в контракт с капиталистом? Ясно, что сама необходимость заставляет его соглашаться на предлагаемые условия, как бы ни были они для него невыгодны и обременительны.

Как будто для того, чтоб несколько смягчить строгость и бесчеловечность своей формулы, экономисты придумали новую теорий. Последователи английской, так называемой положительной школы, различают естественную цену труда от его цены действительной (рыночной, *prix du marche*, *prix courant*). Цена естественная постоянна, она определяется потребностями самих работников; цена действительная изменяется беспрестанно, и зависит от того отношения, которое существует между спросом труда и его предложением. Действительная цена, говорят английские экономисты, может различествовать от естественной, может быть ниже или выше ее, но тем не менее она постоянно силится приблизиться к Пей, и на самом деле сливается с нею в большей части случаев. Прежде полагали даже, что цена за труд определяется постоянно потребностями работников. Но

все это несправедливо и ежедневно опровергается действительностью. Гораздо вернее было бы принять противоположное начало. Не только задельная плата не соразмеряется с потребностями; но напротив, потребности изменяются и уменьшаются вместе с изменением и уменьшением платы. Понижение платы заставляет человека ограничивать свои нужды, изменять свой образ жизни и отказываться даже от того, что обыкновенно признается необходимым. Ирландцы лучше всего показывают, до какой степени человек может ограничивать сумму своих потребностей: у них теперь нет другой пищи, кроме лумпера, самого дурного и самого нездорового сорта картофеля; нет другой одежды, кроме рубищ и лохмотьев, другого жилища, кроме погребов, чердаков и самых отвратительных мазанок. Можно ли думать, что этим действительно ограничиваются их нужды, что они не имеют никаких других потребностей? Можно ли смотреть на этот образ жизни, как на состояние нормальное, естественное, вполне сообразное с требованиями и достоинством человеческой природы?

Если мы бросим беглый взгляд на количество задельной платы, получаемой ныне на различных фабриках, то увидим, что плата эта во многих городах и во многих отраслях промышленности дошла до самого крайнего предела, так что перестала доставлять работникам средства, достаточные для существования. В этом легко убедиться из статистических исследований, произведенных в Англии и во Франции. В Англии беспрестанно назначаются парламентом комиссии для приведения в известность состояния мануфактурной промышленности и положения рабочих классов. Во Франции подобные исследования произведены были в 1832 и 1834 годах. Как результаты этих следствий, так и сведения, собранные частными людьми, представляют весьма обильные материалы для разрешения важного вопроса о задельной плате. Множество любопытных и в высшей степени многозначительных фактов найдем мы у двух писателей, ревностно изучавших проявления пауперизма во Франции—у доктора Виллерме и виконта Вильнев-Баржмона. Особенно важны труды Виллерме, который, по поручению Парижской Академии Нравственных и Политических Наук, занялся тщательным изучением состояния работников в трех главных отраслях промышленности, в хлопчатобумажной, шерстяной и шелковой. В сочинении своем он старался доказать, что судьба рабочих классов улучшается с каждым днем, и что положение их вовсе не так ужасно, как полагают обыкновенно. Между тем, несмотря на свой оптимизм, он беспрестанно приводит такие факты, которые прямо противоречат его цели и на-

правлению. Это обстоятельство придает еще более важности его сочинению: когда писатель приводит свидетельства, опровергающие его собственные воззрения, то в достоверности этих свидетельств не может уже настоять никакого сомнения.

Можно было бы доказать бесчисленным множеством примеров, что в большей части случаев задельная плата не может доставить работнику средств для удовлетворения самым необходимым его потребностям. Приведем здесь несколько фактов для того, чтоб не надоест читателю утомительными и однообразными подробностями.

По исчислению Вильнев-Баржмона в Лилле, содержание работника и его семейства не может обойтись дешевле 1 050 франков в год; между тем, если предположить, что не только сам глава семейства, но и жена его и дети работают на фабриках, то и в этом случае они не могут выработать более 2 франков и 88 сантимов в день, т. е. более 864 франков в год¹. Вычисления Виллерме не совсем сходны с вычислениями Вильнев-Баржмона. По мнению Виллерме, семейство, состоящее из отца, матери и ребенка 8—12 лет, и имеющее постоянные занятия, непрерываемые ни болезнями, ни прекращением работ, может выработать себе в год следующую сумму:

Отец	450 франков
Мать	300 »
Ребенок	165 »
<hr/>	
Всего	915 франков

Если теперь семейство это живет в одной маленькой комнатке, или на чердаке, или в погребке, то квартира обходится ему в год в 40—80 франков; следовательно, средним числом в 60 франков. Для прокормления нужно:

Отцу по 14 су в день	255 франков
Матери по 12	219 »
Ребенку по 9	154 »
<hr/>	
Всего	638 франков

Но так как по большей части в каждом семействе есть еще несколько малолетних и неработающих детей, то на прокормление их к этой сумме надо прибавить еще по крайней мере

¹ Economie Politique Chretiene, par M. le vicomte de Villeneuve-Bargemont Premier volume, chapitre IX. (Христианская политическая экономия, Соч. виконта Вильнев-Баржмона. Первый том, глава IX. — *Ред.*)

сто франков. Следовательно, квартира и пища стоят 798 франков; а на белье, на платье, на отопление, на освещение, на мебель и на орудия остается всего 117 фр.;—сумма, очевидно, весьма недостаточная для покрытия всех этих расходов¹. Таким образом, недостаточность является постоянным уделом даже тех семейств, которые заняты постоянно. Точно в таком же положении находятся работники и во всех других больших городах Франции, Руане, Лионе, Мюльгаузене. Из этого правила могут быть исключены только те ремесла, которые требуют долговременного приговорительного изучения, известной степени силы, значительного навыка, или особенного искусства, как, например, обрабатывание металлов, ремесло стекольщиков, ремесло плотников и т. д.

Плотники вообще принадлежат к числу тех рабочих, которые получают наибольшее вознаграждение за свой труд. Между тем, прошлогодняя их коалиция показала, что и их участь не так завидна, как кажется с первого взгляда. Повидимому, требования парижских плотников были весьма неосновательны; они получали в день по четыре франка, и, не довольствуясь этой, кажется, довольно значительной платой, требовали от своих хозяев прибавки еще одного франка. В других местах Франции плотники получают действительно около пяти франков, а иногда и более. Но если познакомиться ближе с их положением, то нельзя не сознаться, что цифры эти не могут служить доказательством их благосостояния. Вот бюджет этого класса работников в Париже в 1845 году:

Годовые издержки:

Квартира по 6 франков в месяц	72	фр.
Три пары башмаков по 8 франков	24	»
Трое панталон по 10 франков	30	»
Шесть рубашек по 5 франков	30	»
Куртка и жилет	40	»
Две пары помочей по 4 франка	8	»
Четыре галстука по 2 франка	8	»
12 пар онуч по 1 франку	12	»
Фуражка или шляпа	12	»
Четыре носовые платка по 1 франку	4	»
Мытье белья и освещение комнаты	36	»
Разные издержки	48	»

Всего 324 фр.

¹ Tableau de letat physique et moral des ouvners, par le docteur Villermé. Tome I, p. 100. (Очерк физического и морального состояния работников. Соч. доктора Виллерме. Том I, стр 100 — *Ред.*)

Ежедневные издержки на пропитание:

Утром, до начала работ, хлеба на 5 сантимов и вина на 10; вместе	15	сант.
За завтрак, состоящий обыкновенно из супа и куска говядины, на	35	»
из хлеба на	15	»
и из вина на	20	»
В 2 часа, хлеба на	10	»
сыра или плодов на	20	»
вина на	10	»
Вечером, супа на	20	»
говядины на	30	»
хлеба на	10	»
вина на	10	»

Всего 1 фр. 95 сант.
В год 701 фр. 75 сант.

Следовательно, расход на прокормление простирается в год до 701 фр. 75 сант.
Расход на квартиру, платье и проч. . . 324

Всего 1 025 фр. 75 сант.

Что касается до доходов, то хороший плотник бывает занят обыкновенно в продолжение девяти месяцев или 270 дней; за каждый день он получает 4 франка; следовательно, всего в год 1 080 франков; к концу года он может сберечь 54 фр. 25 сант. Но из числа этих 270 рабочих дней надо вычесть те дни, когда работы прерываются или вследствие дурной погоды, или по причине нездоровья плотника. Надо еще заметить, что из девяти месяцев только в продолжение семи работник получает в день по четыре франка; в остальное же время он не вырабатывает более трех франков и двадцати сантимов. Притом же, рассчитывая его расходы, мы предполагали, что у него нет ни жены, ни детей. Если же примем в соображение эти обстоятельства, то увидим, что в бюджете его всегда должен оказаться дефицит более или менее значительный, и что, следовательно, притязания его на возвышение платы вовсе не так несправедливы, как казалось с первого взгляда. Но тем не менее должно сознаться, что положение плотников несравненно завиднее положения остальных рабочих. Плотники по крайней мере пользуются известным достатком; они позволяют себе даже неуместную и излишнюю, по словам некоторых, роскошь: пьют вино, которое им необходимо для подкрепления

сил; не ходят в лохмотьях, а одеваются прилично; не питаются одним картофелем, а употребляют даже говядину. Другие работники вовсе незнакомы с такими прихотями: они живут по большей части в погребках, на чердаках и вообще в квартирах темных, грязных и в высшей степени вредных для здоровья. Они носят лохмотья, ходят босые, пьют одну воду, питаются по большей части хлебом и картофелем, часто даже одним картофелем, как, напр., ткачи, которые едят мясо и пьют вино только два раза в месяц. Статистические исследования обнаружили, что потребление мяса значительно уменьшается как в Париже, так и во всей Франции. Это факт весьма замечательный; он показывает, что положение рабочих классов, по крайней мере по отношению к их пище, вовсе не улучшается. В 1830 году, Франция потребляла около 394 миллионов килограммов мяса, что составляло около 12 килограммов на человека. В 1840 году, потребление не простиралось выше 370 миллионов килограммов; другими словами, на каждого человека приходилось, если обратить внимание на умножение народонаселения, не более 11 килогр. Таким образом, в продолжение десяти лет годовое потребление целой страны уменьшилось 24 миллионами килограммов, а поголовное понизилось 11 процентами на 100.

Но вычисления, сделанные по этому предмету в Париже, обнаруживают еще более замечательный результат. В 1789 году, до революции, парижское население, состоявшее тогда из 600000 человек, потребляло около 52 миллионов килограммов мяса; в 1839 году, население Парижа состояло уже из 900 000 человек, а потребляло не более 59 миллионов. Из этого видно, что в 1789 году каждый житель Парижа потреблял в год средним числом около 74 килогр. мясной пищи; в 1839 году уже не более 48. Этому значительному уменьшению в количестве мяса соответствует не менее значительное возвышение цены его. Полукилограмм говядины низшего сорта стоил лет двадцать назад от 35 до 40 сантимов; нынче он не обходится дешевле 50 сантимов. Нынче цена ежедневного количества говядины, нужного для одного семейства, равняется ежедневному количеству задельной платы, получаемой в Париже хорошей работницей. Таким образом, если семейство состоит из мужа, жены и нескольких детей, то жена, для того, чтобы достать небольшое количество бульона и небольшой кусок говядины, должна употребить на это все, что она успевает выработать в день. Важное значение этого неутешительного явления не может подлежать никакому сомнению. Физические силы народа

зависят от количества употребляемого им мяса. Особенную важность имеет это обстоятельство по отношению к промышленности. Многочисленные наблюдения показали, что работник может производить более или менее, смотря по тому количеству мяса, которое он употребляет. Превосходство английских работников над французскими основывается преимущественно на том, что первые едят более мяса, нежели вторые. Опыты, сделанные во Франции, вполне подтверждают этот замечательный результат. В риомском смирительном доме, где заключенные занимаются полированием зеркал, введено несколько лет назад употребление говядины; заключенные вследствие этого стали работать гораздо более прежнего. Другой пример еще убедительнее. Лет за двадцать английские фабриканты основали в Шарантоне железоплавильный завод, на котором были как английские, так и французские работники. Первые производили постоянно гораздо более, нежели вторые, и хвастались своим превосходством. Фабриканты приписали это различию пищи и приняли меры для того, чтобы как англичане, так и французы питались ~~одинаковым~~ количеством мяса. Через несколько времени после этой перемены, французские работники, по отношению к производительной деятельности, стояли уже совершенно наряду с английскими. Таким образом, уменьшение в потреблении мяса, показывая упадок рабочих классов, имеет вместе с тем весьма вредное влияние и на производительную силу страны¹.

Руанские работники, по свидетельству всех фабрикантов, принадлежат к числу наиболее достаточных; по крайней мере, в Руане положение фабричных несравненно лучше, нежели в Лилле. Следующие цифры, заимствованные из сочинения Виллерме², могут дать понятие о том достатке, которым пользуются эти работники. Цифры эти выведены из показаний самих фабрикантов, и поэтому самому не могут быть подвержены никакому сомнению. В обыкновенные годы, не отличающиеся особой дороговизной жизненных припасов, руанский работник должен истрачивать на свое содержание следующие суммы:

¹ Cours d'Economie Politique par Michel Chevalier. T. I, p. 113. et «Journal des Debat» du 24 Fevrier 1846. (Discours de M. de Lamar-tine.) (Курс политической экономии, Соч. Мишеля Шевалье Т. I, стр. 113 и «Журналь де Деба», 24 февраля 1846 г. Речь г. Ламар-тина. — *Ред.*)

² Villerme, T. I, chap. V. (*Виллерме Т. I, гл. V. — Ред.*)

На пропитание, в день:

2 фунта хлеба	38	сантимов
сыр или масло	7	»
суп или бульон или (редко) говядина	30	»
«питье.	20	»

95 сент.

В год 346 франков 75 сент.

За мытье белья в неделю:

1 пара чулок5	сантимов
1 рубашка15	»
1 платок5	»
1 бумажный колпак5	»
галстук или жилет.5	»

35 сент.

В год 18 франков 20 сент.

За одежду в год.

1 пара чулок	1	франк	50	сантимов
1 платок1	»		
1 бумажный колпак1	»		
1 галстух75	»
2 рубашки8	»		
1 фуражка2	»	50	»
2 пары башмаков3	»		
куртка и панталоны.15	»		
починка платья.1	»	50	»
гребень			50	»
1 пара сапогов3	»	75	»
1 жилет2	»	50	»

41 франк

Всего 405 франков 25 сантимов

Если положить на квартиру, отопление, освещение и на прочие необходимые расходы 200 франков, что, конечно, немного, если принять в соображение чрезмерную дороговизну квартир, то выходит, что minimum расходов работника слишком 600 франков. Между тем, число работников, получающих 600 франков годовой заработной платы, весьма незначительно; большинство получает гораздо менее этой суммы. Так, например, красильщики получают только 525 франков; ткачи 420; другие поденщики—450. К этому надо прибавить, что болезнь или внезапное прекращение работ вследствие какого-либо кризиса весьма часто оставляют работника без занятия и без всякого средства к существованию.

Что касается до женщин, то им пропитание стоит в день	59	сан-		
тимов, в год	215	франков	35	сантимов
мытье белья в неделю			45	»
в год	23	»	40	»
одежда	49	»	70	»

Всего 238 франков 45 сантимов,
и если прибавить на разные рас-
ходы 100 франков, то выйдет всего
388 франков 45 сантимов

Ни одна почти работница не имеет такого дохода, необходимого ей для самого существования. Одни только прачки получают в год 450 франков; для остальных максимум— 330 франков в год при постоянном занятии. Швей выработывают себе не более 270 франков; а ткачихи всего только 180 франков, так что женщины, работающие на фабриках, почти не в состоянии прокармливать себя получаемой ими платой.

Ребенок от 12 до 15 лет может прокормить себя (питаясь одним только хлебом и картофелем, и изредка бульоном) 50 сантимами в день, или 182 франками и 50 сантимами в год. Белье и платье обходятся ему в год не менее, как в 29 франков и 18 сантимов. Следовательно, его необходимые расходы доходят в год до 210 франков. Между тем, только весьма немногие дети получают 210 франков; по большей части они получают не более 180 франков в год; а многие из них не могут выработать себе и этой незначительной суммы, несмотря на то, что работают постоянно от 14 до 16 часов в день.

Один руанский фабрикант показал, что в 1831 году на его фабрике из ста работников около шестидесяти (то есть, шесть десятых) не могли покрыть самых необходимых своих издержек посредством задельной платы. Остальные работники не получали ни одной лишней копейки, так что увеличения в цене хлеба не более, как на десять сантимов, уже достаточно было для *того, чтобы* повергнуть их в нищету¹.

Не должно думать, чтоб руанские работники составляли исключение из общего правила. Другие города Франции не уступают Руану в этом отношении, так что Виллерме, несмотря на свой оптимизм, принужден был сознаться, что во всех трех изученных им отраслях промышленности задельная плата далеко не достигает предела, определяемого суммою потребностей, решительно необходимых для человека. Виллерме так определяет среднее количество задельной платы во Франции:

¹ Villerme T. I, p. 153. (Виллерме Т. I, стр. 153. — *Ред.*)

«Исключая ткачей и простых поденщиков, получающих по большей части весьма малое вознаграждение¹, за среднее количество заработной платы на фабриках хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых можно принять два франка для мужчины, один для женщины, 45 сантимов для ребенка от 8 до 12 лет и 75 сантимов для детей от 13 до 16 лет. Вообще мужчина зарабатывает себе столько, что может даже откладывать известную часть своих доходов в сберегательные кассы; но женщины редко получают вознаграждение, достаточное для их содержания, а дети едва могут прокормить себя получаемой ими платой»².

В Англии задельная плата вообще выше, чем во Франции; но из этого еще не следует, чтоб, по отношению к участи работников, Англии надлежало отдать преимущество перед Францией. В английских работниках сумма потребностей гораздо значительнее, чем во французских; последние в пище своей довольствуются обыкновенно хлебом, картофелем и овощами; первые привыкли к говядине, пиву, сахару, чаю. Притом же, в Англии цена жизненных припасов гораздо выше, чем во Франции, и подвергается беспрестанным и значительным изменениям. Наконец, не надо забывать и того важного обстоятельства, что кризисы промышленности чаще постигают Англию, нежели Францию, и потому для английского работника плата, им получаемая, менее обеспечена и менее постоянна, чем для французского. В Англии работники никогда не могут знать сегодня, что будет с ними завтра; они никогда не могут надеяться на постоянные занятия, а потому необходимо должны получать за свой труд такую плату, которая не только могла бы доставлять им средства пропитания на настоящее время, но и обеспечивала бы их на случай возможного будущего бездействия. Однакож, независимо от этих обстоятельств, мы находим очень часто и в Англии весьма низкую задельную плату. Из первого ежегодного отчета комиссии, заведывающей делами о бедных, узнаем, что в Манчестере работники обоего пола моложе 16 лет получают в неделю средним числом не более четырех шиллингов, женщины не более пяти. Из взрослых работников мужского пола самые достаточные получают от 20 до 40 шиллингов в неделю; но число их весьма незначительно. Большинство фабричных не вырабатывает более 8 шиллингов в неделю, и число работников, получающих хорошее

¹ Ткачи и поденщики составляют половину, а вместе с женщинами по крайней мере две трети всего городского рабочего населения Франции.

² *Villermé* T. I, p. 252. (*Виллерме* T. I, стр. 252. — *Ред.*)

вознаграждение, уменьшается со дня на день вследствие распространения машин и усовершенствования способов производства¹.

В 1838 году, по приказанию парламента, произведено было исследование о положении ручных ткачей в Англии и Шотландии (Handloom Weavers Inquiry). Все комиссары показали единогласно, что ручное тканье, несоединенное ни с каким другим ремеслом, не может доставить работнику необходимых средств для существования. Ткачи, работающие постоянно в продолжение семидесяти четырех часов в неделю, с трудом могут избежать голода и добыть себе недостаточную пищу. Семейство, состоящее из шести или семи человек, не может выработать себе более семи шиллингов,—суммы, достаточной только для прокормления двух человек; и даже эта незначительная плата им не обеспечена. Кризисы, лишаящие работников занятий, нигде не бывают так часты, как в этой отрасли промышленности. Весной 1838 года в Пайсле (Paisley), в Шотландии, насчитано было около семисот пятидесяти станков, находившихся в бездействии по отсутствию заказов².

В адресе, представленном парламенту в 1820 году ноттингемскими чулочниками, встречаются между прочим следующие слова, показывающие ту степень бедности, до которой дошел ныне в Англии этот класс работников. «Работая ежедневно в продолжение шестнадцати часов, мы получаем от четырех до семи шиллингов в неделю, на эти деньги мы должны содержать как себя, так и свои семейства. Мы заменили хлебом и водой, или картофелем и солью, то более питательное кушанье, которое прежде всегда бывало на столе у каждого англичанина; и несмотря на то, мы очень часто принуждены бываем после утомительной работы в продолжение целого дня, укладывать детей своих без ужина для того, чтобы избавиться от их голодных криков. Объявляем здесь самым торжественным образом, что мы вместе с детьми своими в последние восемнадцать месяцев не переставали ни на одну минуту страдать от голода»³.

Несмотря на эти очевидные примеры недостаточности заработной платы, многие экономисты доказывают, что она возвышается постоянно вместе с усилением производительности и

¹ De la Misere des classes laborieuses en Angleterre et en France par Eug. Buret, p. 604, edition de 1842. (О нищете рабочих классов в Англии и во Франции, Соч. Эж. Бюре, стр. 604, изд. 1842 г. — *Ред.*)

² Buret, p. 558 (*Бюре*, стр. 558 — *Ред.*)

³ Nouveaux Principes d'Economie Politique par Sismondi. T. I, p. 450—451. (Новые начала политической экономии, Соч. Сисмонди, Т. I, стр. 450—451. — *Ред.*)

вследствие этого усиления. Действительно, задельная плата возвышалась в некоторых местностях и в некоторых отраслях промышленности, именно в тех, где требование на труд возрастало постоянно, и возрастало в такой мере, что могло противодействовать вредному влиянию конкуренции и машин. Но на эти случаи надо смотреть как на редкие, хотя и утешительные исключения из общего правила. Вообще говоря, предложение труда не только не отстает от требования, но, напротив, превышает его всегда значительным образом. Народонаселение умножается быстрее, нежели производительность; и мы видим в настоящее время, что во всех почти отраслях промышленности не только нет недостатка в числе рабочих рук, но, напротив, есть излишек, и излишек весьма значительный. Поэтому случаи понижения заработной платы гораздо чаще, многочисленнее и постояннее, нежели случаи ее повышения. Один английский экономист, как уже замечено было выше, доказал, основываясь на самых неоспоримых фактах, что в 1832 году на английских хлопчатобумажных фабриках за труд работника платилось в двенадцать раз менее, нежели в 1814 году. Произведенное по предписанию парламента исследование о положении ткачей в Англии и Шотландии обнаружило также весьма значительное понижение в количестве задельной платы. Комиссары показали, что с 1816 года для всех родов ручного тканья плата уменьшилась, средним числом, по крайней мере втрое. Так, например, работник, получавший в 1816 году за тканье кисейных материй от 19 до 20 шиллингов в неделю, ныне получает за то же самое не более 7 шиллингов; и притом, теперь наем станка и освещение производятся на счет работника, а не на счет хозяина, как делалось прежде. Надо заметить, что комиссары упоминают о подобном, хотя и не столь значительном понижении заработной платы во многих других отраслях труда. Угольщики, например, в 1811 году вырабатывали себе еженедельно около 24 шиллингов; нынче они получают не более семнадцати. К подобным же результатам привело исследование, произведенное французским правительством в 1834 году. Из показаний фабрикантов видно, что задельная плата понижалась постоянно на большей части фабрик. Один руанский фабрикант объявил, что за тканье котоннады шириной в восемнадцать дюймов он платил в 1817 году по одному франку за аршин¹; работник мог изготовить в день около пяти аршин. В 1834 году он уже платил не более 45 сантимов за аршин материи, шириной

¹ Французский аршин (aune) равняется трем английским футам и восьми дюймам.

в сорок шесть дюймов. Другой фабрикант показал, что в Труа количество заработной платы с 1816 по 1831 год уменьшилось 25 процентами. «Причина этого уменьшения» говорит он: «заключается в облегчении труда и в усилении конкуренции между работниками». Если сравним цены бумажных материй во Франции за несколько лет, то увидим в них значительное понижение. Материи, которые в 1818 году продавались по три франка с половиной за аршин, в 1834 году стоили не более 75 сантимов; нынче они сделались еще дешевле. Это огромное уменьшение не может быть исключительно приписываемо усовершенствованию способов производства; оно было бы решительно невозможно без значительного понижения задельной платы, которое является таким образом необходимым условием для развития и успехов бумажных фабрик. Известно, что в хлопчатобумажной промышленности работники доведены до самого крайнего предела недостаточности и нищеты. Известно, что ткачи, работая около шестнадцати часов в день, редко вырабатывают себе более одного франка, и что число работников, получающих менее франка, несравненно значительнее числа тех, которые достигают этой суммы. В Мюльгаузене, в Труа,— ткач часто выработывает в день не более 60 сантимов.

Но участь работников вовсе не завидна даже и в тех отраслях промышленности, где требование на труд беспрерывно усиливается, где задельная плата постоянно возвышается. Требование на труд может увеличиться в значительной мере; но в увеличении своем оно подвержено беспрестанным колебаниям, замедлениям, остановкам, очень часто нарушающим равновесие между запросом и предложением труда. Не проходит почти ни одного года без какого-нибудь кризиса в промышленности. Эти кризисы, при нынешнем экономическом устройстве, сделались явлением периодическим, неизбежным и необходимым; и нельзя не сознаться, что они принадлежат к числу тех причин нищеты, которые действуют с наибольшей силой и с наиболее вредными последствиями. Замедляя производительность и уменьшая, следовательно, число занятых рук, они ввергают в нищету самых достаточных работников и обрекают всякий раз на голодную смерть немалое число людей. В беспрестанном ожидании какого-нибудь кризиса, работник всегда опасается лишиться того занятия, которое доставляет ему возможность кое-как поддерживать свое существование. Он никогда не может быть уверен в будущем; сегодня он не может сказать наверное, что будет с ним завтра. Положение

¹ Buret, p. 604—605. (*Бюре*, стр. 604—605. — *Ред.*)

его ничем не обеспечено; без всякой вины с его стороны он может потерять свое место и перейти вдруг из состояния довольства в состояние самой ужасной нищеты. В этой возможности быстрых и неизбежных переходов от достатка к бедности заключается самый обильный источник бедствий и страданий для рабочих классов.

Внезапное уменьшение в требовании на труд может происходить от различных причин. Здесь не место исчислять эти причины и рассматривать в подробности; нельзя однакож не упомянуть о двух важнейших: во-первых, о чрезвычайном усилении производительности, и во-вторых, о введении новых машин и новых способов производства. Производительность, вообще говоря, никогда не может быть излишнею, чрезмерною, никогда не может превышать требования, потому что потребности человека неограничены. Но при ныне существующем распределении богатств может случиться и действительно случается, что в том или другом частном случае производительность превышает если не потребности, то по крайней мере способы потребителей. Нынче очень часто забывают, что успехи промышленности состоят в улучшении судьбы большинства людей, что не человек существует продуктом, а продукты нужны для человека, и потому, стараясь усилить производства, не обращают внимания на улучшение судьбы потребителей, не заботятся о их потребностях и о их способах. От этого мы, при нынешнем положении вещей, очень часто видим, что в той или другой отрасли промышленности производство вдруг оказывается излишним, несоответствующим средствам потребителей. Это относительно чрезмерное усиление производства служит постоянной и деятельною причиной всех тех кризисов и катастроф, которые ежедневно приводят промышленность в расстройство. Рынки очень часто наполняются множеством продуктов, которые нигде не находят для себя покупателей и остаются в руках производителей, принужденных часто сбывать их за полцены. Такое загромождение рынков производит обыкновенно самые гибельные последствия. Рождается необходимость в уменьшении производства, фабриканты разоряются, капиталы их остаются без движения, фабрика без действия; требование на труд уменьшается вдруг значительным образом, множество работников остается без куска хлеба и без всяких средств для существования. Улицы наполняются нищими, для пособия им отовсюду собираются подписки; учреждаются благотворительные общества; разврат, смертность и преступления усиливаются в огромной пропорции; голодные работники прибегают к насилию и к грабежу; общественная тишина

нарушается; общественное благосостояние страдает и колеблется.

Производство становится чрезмерным, когда перестает находить достаточный сбыт для своих произведений. Это может случиться двояким образом. Иногда производители не имеют надлежащего понятия об истинных потребностях и о средствах тех, для кого они производят; от этого незнания рынки часто загромождаются продуктами, ни для кого не нужными. С другой стороны, производительность, возбужденная приходящими отовсюду требованиями, усиливается и развивается в огромных размерах до тех пор, пока какие-либо политические, финансовые или экономические обстоятельства не расстроят внезапно ее успехов, уменьшив вдруг число потребителей. К этим неблагоприятным обстоятельствам принадлежат войны, банкротства, изменения в тарифах и тому подобные случаи, которых нельзя ни предусмотреть, ни предотвратить. В этом отношении государства, производящие преимущественно для иностранного потребления, как, например, Англия, подвергаются кризисам гораздо чаще, нежели те, которые, подобно Франции, заботятся преимущественно о наполнении своих внутренних рынков. Французские фабриканты также посылают свои продукты на заграничные рынки, но главным образом производят для своих соотечественников; а потому в деятельности своей они почти всегда могут сообразоваться с требованием, могут знать как нужды, так и средства своих потребителей. Поприще их деятельности имеет определенные, известные им границы; ничто не побуждает их обгонять неумеренным производством естественное развитие богатства и народонаселения; а потому им остается только противодействовать тем неблагоприятным обстоятельствам, которые могут быть легко предусмотрены и предотвращены. Не надо, впрочем, думать, чтоб такие государства вовсе уже не подвергались кризисам промышленности. Франция подвергается им реже, нежели Англия; но и она не может совершенно спастись от бедственного влияния этих всеобщих катастроф. Ее таможи и тарифы недостаточны для того, чтобы оградить ее от этого неизбежного зла, неразлучно связанного с экономическим устройством европейских обществ. Но, несмотря на то, она далеко не подвергается тем опасностям, которым подвергается Англия. Между производительностью французской и производительностью английской существует такое же различие, как между плаванием на Средиземном море и плаванием на океане. Промышленность, ищущая для себя потребителей на рынках целого мира, стоит постоянно на краю страшной пропасти. Она утверждается на основаниях чрезвы-

чайно изменчивых и подвижных; она подвергается столь частым кризисам, что может спастись от них не иначе, как возобновляя и усиливая беспрерывно свои комбинации. Она должна бороться в одно и то же время и с внутренней и с внешней конкуренцией; она должна знать обычаи и средства всех государств и всех народов, должна опасаться как отечественных, так и иноземных тарифов. Постоянно заботясь о предупреждении торговых и промышленных катастроф, она обязана всегда иметь в запасе средства для противодействия непредвидимым обстоятельствам. Малейшее изменение в тарифе той или другой страны может отнять у нее несколько миллионов потребителей. Чем обширнее круг ее действий, тем более должна она опасаться ударов, отовсюду ей наносимых. Таково именно положение Англии, имеющей притязание на наполнение своими продуктами всемирных рынков. Она действительно достигла этой цели, этого желанного величия; но величие это весьма шатко и непрочное; и великолепное здание, воздвигнутое английской производительностью, беспрестанно колеблется на своих основаниях, беспрестанно угрожает страшным падением.

В Англии почти все мануфактуры работают для заграничных потребителей, для снабжения своими продуктами чужеземных рынков. Это общий характер всех почти отраслей промышленности, но преимущественно составляет отличительную черту производительности хлопчатобумажной, и в особенности той, которая сосредоточивается в Манчестере и в графстве Ланкастерском. Бумажных товаров вывозится ежегодно из Англии круглым числом на 24 миллиона фунтов стерлингов, между тем, как цена всех ежегодно вывозимых продуктов не простирается свыше 49 миллионов. Только одна седьмая часть английских хлопчатобумажных произведений назначается для туземного потребления; шесть седьмых идут за границу; а потому бумажные фабриканты находятся в совершенной зависимости от иностранных потребителей; и нигде кризисы не бывают так часты и так ужасны, как в этой отрасли промышленности, которая в течение каких-нибудь 25 лет успела подвергнуться три раза весьма значительным катастрофам. Первая из этих катастроф была в 1819 году, вторая в 1829, третья в 1841. Бедствия рабочих классов при таком положении дел лучше всего могут быть объяснены примером последнего кризиса, который продолжался еще в начале 1844 года.

Зародыш этого кризиса уже приметен был среди почти баснословных успехов хлопчатобумажной промышленности в 1836 году. В 1835 и 1836 годах хлеб родился хорошо во всей Англии, и квартал ржи стоил не более 44 шиллингов. Коли-

чество задельной платы по большей части возвысилось, между тем, как цена жизненных припасов понизилась. Эти два обстоятельства были весьма выгодны для фабричных работников; положение их сделалось весьма завидным, особенно в сравнении с положением сельских жителей. Последние начали поэтому переселяться из южных земледельческих графств в северные мануфактурные дистрикты и, немедленно по прибытии, находили себе работу. Работники являлись отовсюду и не оставались без дела, потому что требование на английские продукты в Соединенных Штатах увеличивалось с каждым днем, а вследствие этого увеличивалось и требование на рабочие руки в Англии. С 1 января 1835 года до 1 июля 1838 года в одних графствах Ланкастерском и Честерском построено было заводов, фабрик и машин более, чем на 200 миллионов франков, и, для приведения их в действие, к прежнему рабочему населению присоединилось более 87 000 человек.

Уже одной этой чрезмерной конкуренции достаточно было бы для того, чтоб привести в расстройство производительность; но неожиданные внешние обстоятельства ускорили и усилили неминуемый кризис. В конце 1836 года всеобщее банкротство постигло в Соединенных Штатах и банки и торговые дома. Требование на английские продукты уменьшилось как вследствие этой несостоятельности, так и вследствие изменений, сделанных в тарифе Соединенных Штатов. Для покровительства фабрикам, возникавшим в Майне, в Массачузете, в Пенсильвании, привозные пошлины, составлявшие прежде не более 20 процентов на сто с цены товара, возвышены были до 30 процентов. Многие европейские государства последовали тому же примеру, и между прочим манчестерским бумажным тканям закрыт был доступ во владения германского таможенного союза. В то же время конкуренция иностранных мануфактур сделалась значительнее и опаснее. На рынках Южной Америки продукты ловельских (Lowel) фабрик получили перевес над продуктами Англии. Саксонские чулочные изделия (*bonneterie*) с успехом выдерживали соперничество изделий лейстерских и ноттингемских не только на американских, но даже и на английских рынках. Сверх того вследствие нескольких сряду бывших неурожайных годов, за квартал хлеба, стоивший прежде не более 44 шиллингов, в продолжение 1838, 1839, 1840 и 1841 годов платили постоянно более 66 шиллингов. Таким образом, цена самого необходимого из жизненных припасов увеличилась на 50 процентов; и в то время, как увеличение это обрекало работника на самые тяжкие лишения, задельная плата почти везде уменьшалась на 20 про-

центов со ста. К совершению несчастья, английский банк принужден был платить золотом за хлеб, купленный в иностранных портах; это совершенно истощило его денежные запасы; и директоры, увлекаясь общим паническим страхом, вдруг прекратили платежи, поразив таким образом вместе и торговлю и промышленность. Тогда все промышленные заведения, опиравшиеся не на довольно прочных основаниях, упали, и началась та страшная, продолжительная катастрофа, следы которой заметны отчасти и поныне.

«В июне 1843 г.,—говорит один французский путешественник¹,—я посетил графство Ланкастерское; в это время промышленность медленно поправлялась от нанесенных ей ран. В некоторых городах, пострадавших более других, деятельность не успела еще возобновиться. В особенности Больтон и Штокпорт представляли самое мрачное и печальное зрелище. Фабрики и заводы не дымились, как прежде; дома были пусты; улицы—безмолвны; не слышно было ни разговоров, ни шума; я подумал, что нахожусь в каком-нибудь очарованном городе, в котором все жители превращены в камни чародеем». Чародеем здесь была нищета; официальные документы доставляют нам о бедствиях рабочих классов такие сведения, которым с трудом можно поверить. В Больтоне, имеющем около 50 000 жителей, находится 50 фабрик, употребляющих обыкновенно более 8 000 работников. В 1842 году из числа этих 50 фабрик тридцать или вовсе были закрыты, или действовали не более трех дней в неделю, более 5 000 работников лишены были всяких средств для пропитания. Вообще, если к уменьшению количества задельной платы присоединить возвышение цены жизненных припасов, то выходит, что потери рабочего класса простирались до 320 560 фунтов стерлингов в год, или, что то же, до 1 000 фунт. стерлингов (25 000 франков) в день. Само собой разумеется, что общественная благотворительность не в состоянии была пособить такому страшному бедствию. В декабре 1841 года общество, образовавшееся в Больтоне для пособия бедным, осмотрело тысячу семейств, которые заключали в себе 5 305 человек. Средним числом каждый из них получал за свой труд в неделю полтора франка. У них было только 1 555 постелей, так что одна постель приходилась на три человека с половиной; на постелях этих по большей части не было тюфяков; они были покрыты тряпьем и соломой; 53 семейства вовсе их не имели, а 425 человек спали по ночам на полу. Эти бедные люди отдали в заклад свое платье,

¹ Etudes sur l'Angleterre, par Leon Faucher. 1845. Т. I, p. 458—468. (Этюды об Англии, Соч. Леона Фоше. 1845. Т. I, стр. 458—468 — *Ред.*)

свою подвижность и все свои вещи, так что средним числом в каждом семействе оставалось имущества ценою на пять и, самое большое, на шесть франков. Работники по большей части переносили эти страдания терпеливо и мужественно; они не предавались отчаянию, не просили милостыни, и принимали пособия от приходского начальства не иначе, как в случае последней крайности.

Malesuada fames, говорили древние,—голод плохой советчик, и действительно, вместе с увеличением нищеты всегда увеличивается и число преступлений. В Большие число заключенных, преданных суду присяжных в 1840 году было 116; в 1841—190; в 1842—318. В Престоне в 1836 году было только 27 человек, обвиненных в преступлениях (felonies); в 1842 году число преступников дошло уже до 183. Точно такую же прогрессию находим мы и в целом Сальфордском дистрикте. В течение десяти лет число преступников в этом дистрикте умножилось на сто процентов. В 1833 году их было 935; в 1842—2 021. К этому надо прибавить, что со времени возобновления промышленной деятельности число преступлений уменьшилось значительным образом. В 1843 году в сальфордской тюрьме находилось не более 1 438 обвиненных, а в 1844 году их уже было только 1 326 человек.

В январе 1842 года комиссия, заведывающая делами о бедных, послала двух членов своих в Штокпорт для того, чтобы произвести исследование о состоянии тамошнего народонаселения. Эти комиссары донесли, что с 1836 года обанкротилось около двадцати фабрикантов; столько же фабрик оставалось без действия, и 5 000 работников не имели никакого занятия. Из 7 000 квартир, незанятых было 1 639; а в остальных найдено около 3 000 жильцов, переставших платить местную подать (poor-rate), и поступивших на содержание прихода. Такса в пользу бедных в течение трех лет увеличилась 300 процентами на сто. Все благотворительные заведения были наполнены бедными; в больницах и богадельнях не оставалась ни одного пустого места. Многие семейства не в состоянии были платить за квартиру, и так как домовладельцы выгнали их из своих домов, отобрав у них все вещи, то они принуждены были искать себе убежища в погребках. В каждом погребе жило от двух до трех семейств вместе. Одни работники просили милостыни у прохожих; другие требовали пособия для переселения из своего отечества в чужие земли¹; третьи, наконец, в буквальном смысле слова умирали от голода.

¹ В 1842 году 128 344 человека оставили Англию, переселившись преимущественно в Соединенные Штаты или в Канаду.

Манчестер пострадал от кризиса менее, нежели соседние города; но и тут положение рабочих классов было весьма плачевно. В марте 1842 г. фабрик и заводов, на которых прекратились работы, насчитано было 116; закрывшихся магазинов, лавок и контор—680; опустелых жилищ—5 500. Цена строений и заводов понизилась по крайней мере на 50 процентов; пять бумагопрядильных фабрик, оцененных в 211 000 фунтов стерлингов, куплены были за 66 000. Мясники, хлебники и другие мелочные торговцы объявили, что торговля их уменьшилась на сорок процентов. Благотворительное общество, образовавшееся для раздачи бедным платья и белья, посетило в продолжение 1840 года 10 130 семейств, состоявших из 45 590 человек; по недостатку денежных средств 2000 семейств не получили никакой помощи. Приюты этих несчастных были совершенно голы; исчислено было, что цена вещей, ими заложенных, простиралась до 28 000 фунтов стерлингов. Кирпичи и деревянные доски служили им вместо стульев и столов; постели заменены были кучами щепок или соломенными подстилками, покрытыми грязью и всякого рода нечистотами. Часто несколько семейств занимали вместе одну и ту же комнату; мужчины, женщины и дети спали рядом; часто даже в одной и той же постели спали несколько человек, без различия возраста и пола. Одна бедная вдова просила постели у посетившего ее члена благотворительного общества. Между ними завязался следующий разговор:—Разве у вас нет постели?—Только одна и есть.—Она для вас недостаточна?—Нет, потому что у меня есть сын.—Сколько ему лет?—Девятнадцать.—Где же он спал до сих пор?—Вместе со мной; иначе бы ему пришлось спать на полу.

Другое следствие, произведенное городским мэром, показало, что более 2000 семейств, состоящих из 8 866 человек, не имели других средств к существованию, кроме одного франка с половиной на человека в неделю. Эти семейства отдали под залог все свои вещи, числом до 23 000, и получили за них 2 780 фунтов стерлингов, что составляло едва третью часть настоящей их цены.

В 1841 и 1842 годах положение рабочих классов сделалось еще ужаснее. Надо было увеличить таксу в пользу бедных, и, сравнительно с 1839 годом, пособия, розданные общественною благотворительностью, умножились на $63\frac{1}{2}\%$. Ежедневно в шесть часов утра раздавалось 3 000 порций супа, и голод так мучил работников, что они обыкновенно уже за несколько часов до времени раздачи бродили толпами около дверей заведения. В английских городах духовенство различ-

ных исповеданий распределяет между собой кварталы и посылает своих представителей для посещения жилищ, в которых скрываются бедные. Эти миссионеры в Манчестере исследовали положение 35 000 семейств. Краткое извлечение из их отчетов может дать понятие о тех страшных испытаниях, которым подвергались в то время жители графства Ланкастерского.

Рассказы миссионеров по большей части однообразны; во всех кварталах Манчестера они находили, что треть или даже половина работников не имела никаких занятий; другая треть работала только раз или два в неделю; некоторые имели постоянную работу, но получали за нее самую ничтожную плату. Нищета распространялась на все классы работников без исключения. Так как потребление уменьшилось, то все товары потеряли по крайней мере половину цены; взамен того, цена тряпок и лохмотьев значительно возвысилась. Работники часто оставались без куска хлеба в продолжение двух дней и более; многие из них были так изнурены этими лишениями, что, найдя себе работу, оказались бы к ней совершенно неспособными. Некоторые пришли в совершенное отчаяние, потеряли всякую надежду и лежали неподвижно на соломе, ожидая смерти. Другие курили беспрестанно, желая заглушить голод; иные, употребив без успеха все возможные усилия для того, чтоб добыть себе кусок хлеба, и слыша беспрерывно голодные крики жены и детей, сходили, наконец, с ума или подвергались припадкам бешенства. Многие семейства питались одной картофельной кожей; другие, более счастливые, получали в неделю от трех до четырех шиллингов, если между ними был ребенок, находивший себе занятие на фабрике. «Мы не живем,—говорили эти несчастные,—мы существуем». Движимость, платье, белье, все было продано или заложено для того, чтобы продлить это печальное существование. Родители обвертывали детей своих грязными лохмотьями, чтоб защитить их от холода; сами же, не имея одежды, не могли показаться на улицу и не выходили из своих холодных комнат или сырых погребов, служивших им убежищем. При таком всеобщем несчастье, одни безропотно покорялись необходимости и печально говорили, что злу нечем пособить, что Англии суждено погибнуть. Другие, зная, что им нечего было терять, желали какой-нибудь перемены, какой бы то ни было, и готовы были на все. Четыре работника вошли в книжную лавку с угрожающим видом.—Что вам нужно?—спросил книгопродавец.—Мы умираем с голода.—Для чего же просите вы милостыню толпами, а не по одиночке?—Для того, чтоб силою получить то, чего не хотят нам дать добровольно.—Вы бы соединились

и объявили начальству о своем несчастном положении.—Мы готовы соединиться; примите над нами начальство, и мы последуем за вами, куда вы нас поведете; мы готовы жечь и грабить все, что нам попадется.

Впрочем, сначала, в продолжение долгого времени, жители Манчестера были спокойны и, казалось, смирением хотели заслужить себе лучшую долю. Но наконец неслыханные страдания довели их до отчаяния. Десять тысяч человек, вооруженных палками, вошли в Манчестер, соединились с тамошними рабочими, остановили действие машин и предписали повсюдное прекращение работ до тех пор, пока требования их не будут исполнены. В продолжение нескольких дней бунтовщики самовластно распоряжались в городе, и для умирения их правительство принуждено было вызвать войска из Ирландии.

С такими же бедствиями сопряжены кризисы, происходящие от введения машин и усовершенствования способов производства. Всякое изобретение новой машины или усовершенствование старой необходимо влечет за собой *более или* менее значительное уменьшение в числе работников. Дело, прежде исполнявшееся человеком,— вследствие какого-нибудь нового открытия начинает производиться машиной, и таким образом люди становятся ненужными, теряют свои места и остаются вдруг совершенно неожиданно без работы и без всякого средства к существованию. Каждое новое изобретение, относящееся к промышленности, сопровождается непременно таким кризисом и обыкновенно ввергает несколько тысяч человек в самую ужасную нищету. Если и занятые работники бывают по большей части бедны и несчастны, то каково же будет положение тех, которые совершенно безвинно лишаются работы, доставлявшей им пропитание? Обыкновенно говорят, что это зло непродолжительное, скоропреходящее, и что трудолюбивый человек всегда найдет себе занятие и место в обществе. Но зло, хотя и скоропреходящее, тем не менее зло, и часто, несмотря на свою непродолжительность, успевает произвести самые ужасные бедствия и страдания. Все экономисты согласны, что введение машин влечет за собой всякий раз тягостную минуту для работника; но (и тут-то начинается между ними разногласие) одни полагают, что машины только увеличивают число занятых рабочих рук, между тем, как других пугает будущность, ожидающая рабочие классы, если силы физической природы совершенно заменят труд человека. Первые приводят в доказательство своего мнения несколько примеров, повидимому, весьма убедительных; между прочим, изобретение книгопечатания, которое уничтожив ремесло переписчиков, доста-

вило работу гораздо большему числу людей. В доказательства того же мнения приводят значительное и быстрое умножение народонаселения в промышленных графствах Англии, происходящее от беспрестанного увеличения в требовании на труд, несмотря на то, что нигде машины так не распространены, как в этих графствах, и что сила этих машин равняется силе нескольких миллионов человек. Вообще говорят, что работники, лишившиеся дела вследствие изобретения машины, всегда могут найти для себя работу в других отраслях промышленности. Но такое мнение совершенно несправедливо; приведенные примеры составляют не более, как редкое исключение из общего правила; и можно было бы, напротив, привести бесчисленное множество фактов, доказывающих, что все отрасли производительности уже переполнены работниками, и что для новых пришельцев нигде нет вакантных мест. В Англии мы находим весьма много таких примеров. В 1835 году начальству, управляющему в Англии делами о бедных, пришла мысль, что лучшее средство пособить нищете английских крестьян состоит в том, чтобы переселить избыток земледельческого населения в промышленные графства, где вместе с усилением производительности усиливалось и требование на труд. На следующий год, убедились, что промышленные графства не только не могут доставить работы этим эмигрантам, но едва даже могут занимать своих всегдашних жителей. Кончилось тем, что эти несчастные переселенцы возвращены были на прежние места и предоставлены были прежней нищете. Другой пример еще разительнее. Изобретение множества новых машин и усовершенствования в способах тканья повергли в самую ужасную бедность ручных ткачей как в Англии, так и в Шотландии. Эти работники сделались ненужными, потому что новоизобретенные машины заменили собою прежний ручной труд. Положение их было так плачевно, что обратило на себя внимание парламента, который велел произвести подробное следствие относительно их участи. Исследователи, описав их состояние самыми мрачными красками, прибавили, что нет никаких средств пособить им, потому что они, несмотря на свои страдания, несмотря на всю крайность своего положения, не хотят перейти в другие отрасли промышленности. Но в чем же заключается причина этого странного явления, этого непонятного упорства? Почему в Англии до сих пор еще есть более ста тысяч ручных ткачей, несмотря на то, что занятие это не доставляет более достаточных средств к существованию? Один из комиссаров совершенно удовлетворительно разрешает этот вопрос; в его отчете мы находим, между прочим, следую-

щие глубоко знаменательные слова: «тачки потому не хотят покинуть своего ремесла, что *для земледелия они бесполезны, а другие отрасли промышленности также в них не нуждаются*».

Указывая на это вредное влияние машин, мы вовсе не думаем восставать на их изобретение и приложение к промышленности. Введение машин принадлежит несомненно к числу явлений полезных, необходимых и благотворных для человечества. Уменьшая труд человека и сокращая издержки производства, оно значительным образом способствует успехам мануфактурной промышленности. Машинам обязаны мы тем совершенством, до которого достигли в наше время некоторые отрасли производительности, и той дешевизной продуктов, которая в числе современных экономических успехов занимает, конечно, одно из первых мест. Притом же, изобретение машин имеет и в другом отношении благотворное влияние на судьбу человека. Для производства богатств необходимо нужны физические силы, нужны деятели, которые бы противились усталости, которые бы покорно исполняли самые тягостные и затруднительные работы. Эти тяжелые материальные труды прежде были уделом человека. Нынче, вследствие успехов науки, руки человека заменяются механическими орудиями, и вместо того, чтобы для этих низких и тягостных занятий употреблять людей, мы употребляем силы физической природы, которые подчиняются и служат нам. Всякое изобретение, всякое приложение новой силы к производству составляет для человека драгоценную победу над природой и подает ему надежду на будущее от нее освобождение. То, что мы видим теперь, доказывает уже, что придет время, когда сама природа будет исполнять все тягостные работы, которые для человека изнурительны и вредны, которые ослабляют и портят его тело и не соответствуют внутреннему его достоинству. Всякий рычаг, всякое новое колесо, избавляющее человека от излишнего напряжения мускулов, являются истинным благодеянием для человечества, и изобретатели их, каковы бы ни были последствия их изобретения, заслуживают полной признательности и со стороны современников и со стороны потомства. Поэтому, люди, восстающие против изобретения машин, столь же несправедливы, как и те, которые нападают на чрезмерное усиление производительности. Нельзя положить преграду открытиям и развитию науки точно так же, как нельзя остановить успехов промышленности; оба эти явления—полезны, необходимы и разумны; оба они должны возбуждать к себе не ненависть, а сочувствие,—должны быть предметом не стеснения, а покровительства. И если мы, указывая на благотворное и вред-

ное влияние машин, встречаемся и на этом пути с противоречием между последствиями одного и того же начала, то и тут не должно забывать, что это противоречие только мнимое, а не действительное, только условное и случайное, а не абсолютное и необходимое. Причины этого противоречия и тут,—точно так же, как и при других экономических вопросах,—должно искать не в самом изобретении машин, а в том, что эти машины принадлежат одному только классу производителей, в том, что другой, более многочисленный класс не пользуется ими, в том, наконец, что эти усовершенствованные орудия производства, сосредоточиваясь в руках немногих капиталистов, дают им средство угнетать население рабочее, живущее физическим трудом своим. Причины противоречия, одним словом, должно искать в том же самом недостатке современной экономической организации, на который мы уже указывали несколько раз,—в тех отношениях, которые существуют между производительными силами,—в отсутствии всякой связи, всякой общности интересов между капиталом и трудом. До тех пор, пока не изменится это отношение, различные необходимые условия и элементы прогресса *будут* постоянно находиться между собою в несогласии и в разрыве. До тех пор, пока работник будет совершенно чужд капиталисту, пока он не будет участвовать в его выгодах и барышах, пока он будет только наемником его, а не товарищем, до тех пор между производителями всегда будет борьба, и всегда борьба эта будет оканчиваться для сильнейшего—победой и торжеством, для слабейшего—поражением и нищетой. Пока отношение между работником и капиталистом не будет основываться на началах взаимной доверенности, тесной связи и справедливости, до тех пор успехи промышленности и народного богатства будут покупаться дорогою ценою бедности и нищеты многочисленного класса работников.

И не надо *думать*, чтобы те печальные последствия, которые производят, при нынешнем экономическом устройстве, машины и усовершенствованные способы производства, ограничивались одним только уменьшением в требовании на труд, одним только понижением задельной платы. Размножение машин имело и во многих других отношениях вредное влияние на судьбу рабочих классов. Уничтожив прежнюю мелкую промышленность и прежний домашний, семейный труд, оно заменило их новой системой производства, действующей в огромных размерах и большими капиталами, и сосредоточивающей в обширных зданиях по несколько сот работников обоего пола и всякого возраста. Этот важный промышленный переворот, из которого извлекли для

себя много пользы и производительность и народное богатство, при нынешнем положении вещей, естественно, не мог принести никакой пользы рабочим классам и напротив во многих отношениях оказался для них чрезвычайно вредным. В таких отраслях промышленности, в которых введены были новые способы производства, совершенно уничтожился класс мелких фабрикантов, которые не могли уже выдерживать соперничества с обширными мануфактурами, производившими дешевле и средствами более сильными, более совершенными и менее стоящими. С другой стороны, вместе с заменой домашнего труда трудом на фабрике, исчез класс мастеровых или ремесленников, участь которых была несравненно завиднее участи простых фабричных работников. Там, где этого рода работники сохранились доселе, они пользуются известной степенью достатка, редко подвергаются нищете и не страдают от конкуренции, потому что их занятия требуют долговременного приговорительного изучения, известного навыка и смысленности, и могут производиться только людьми взрослыми. Притом же, в этих ремеслах и мастерствах существуют известные степени, известная иерархия; смотря по своему искусству или прилежанию, работник занимает высшее или низшее место; сильный, смысленный и бережливый ученик может надеяться со временем сделаться подмастерьем, потом мастером и приобрести себе независимое состояние. В фабричной производительности работник не может иметь такой надежды на повышение, он вечно должен оставаться в одном и том же положении, ему не представляется никакой возможности улучшить свою участь и поступить когда-либо в класс фабрикантов. Фабрикантом в настоящее время может быть только тот, кто имеет в руках своих значительный капитал, такой капитал, которого никогда не может накопить себе работник, получающий плату, едва достаточную для прокормления. Поэтому то и нельзя не жалеть об уничтожении полезного класса мелких фабрикантов и ремесленников, которые в промышленном мире составляли как бы tiers-etat¹, занимая середину между богатыми капиталистами и бедными поденщиками и связывая между собой эти два класса производителей. Ныне в индустриальной армии мы не находим уже этой посредствующей ступени; ныне остались два сословия, отделенные друг от друга пропастью: с одной стороны несколько богачей, с другой множество пролетариев, которые находятся в полной зависимости от капиталистов и никогда не могут проникнуть в эту неприступную для них касту.

¹ третье сословие. — *Ред.*

Замена домашнего и уединенного труда трудом на фабриках имела также опасное влияние на физические и нравственные силы работников. Собственно говоря, соединение людей для труда не заключает в себе ничего дурного и вредного, и нет никакой причины предпочитать этому способу производства семейную и уединенную работу. Человек создан для общества; уединение не может ему нравиться и не может быть для него полезно. Притом же, нынче работа домашняя решительно стала невозможной; возвратиться к прежнему порядку вещей значило бы остановить успехи производительности, которые тесно связаны с новым способом производства. Этот промышленный переворот был действительно необходим, и он, без сомнения, не произвел бы никаких вредных результатов, если бы подумали во-время о последствиях этого нового явления, если бы заранее выговорили в пользу работников условия, необходимые для сохранения их здоровья и нравственности. Но, к несчастью, мало обращают внимания на это важное нововведение, и, благоговей пред принципом свободной промышленности, оставляют фабрикантов без всякого надзора, работников—без всякого попечения. Когда, по случаю различных открывшихся злоупотреблений, правительства решились наконец вмешаться в это дело, зло успело уже вкорениться. Фабриканты воспользовались предоставленным им произволом и, видя, что прямые их интересы не соответствуют интересам рабочих, отдали, разумеется, предпочтение своим личным выгодам. Они не имели ни времени, ни желания наблюдать за нравственностью и благосостоянием своих наемников; и это равнодушие произвело множество беспорядков и злоупотреблений. На фабриках, как известно, соединяется обыкновенно несколько сот людей разного пола и разного возраста; мужчины, женщины и дети работают вместе друг подле друга в продолжение целого дня. Сближение их между собою бывает так тесно, что невозможно принять самых необходимых мер для сохранения приличий. Часто на фабриках и мужчины, и женщины, и дети должны удовлетворять своим необходимым нуждам в одном и том же месте. Часто жар бывает так силен, что работники обоего пола принуждены снимать с себя платье и раздеваться почти до-нага. Понятно, как при таком образе жизни, при соединении женщин и детей с людьми порочными и развратными, должна страдать и малопомалу теряться стыдливость женского пола, как рано и как, глубоко должна повреждаться нравственность детей. От этого во всех больших промышленных городах распутство существует в огромных размерах. Сверх того труд на фабриках способствует расторганию семейных связей. Члены одного и того же семей-

ства, занимаясь неодинаковым делом, в разных комнатах, часто даже на разных фабриках, соединяются только на одну минуту во вечерам, и так как дневная усталость не оставляет в них никакого другого чувства, кроме потребности отдыха, то они спешат заснуть для того, чтоб на другое утро по пробуждении снова расстаться на целый день. Между ними всякий обмен чувств и мыслей становится невозможен, и семейные узы малопомалу слабеют и уничтожаются.

Наконец, не надо забывать и того, что этот новый способ производства необходимо влечет за собою физический упадок рабочих классов. Работая постоянно в продолжение 15, 16 часов в душной атмосфере, наполненной зловредными испарениями, работник рано или поздно должен необходимо утратить свои силы и здоровье. Кроме весьма немногих исключений, фабриканты и в этом отношении остаются весьма равнодушными к участи людей, ими употребляемых в дело, и по большей части не принимают никаких мер для охранения их здоровья от вредных последствий, сопровождающих обыкновенно работу на фабриках. Весьма немногие из фабрикантов заботятся о постоянном возобновлении воздуха в своих заведениях; весьма немногие обращают внимание на вред, проистекающий для работника от чрезмерной продолжительности его занятий. И в этом равнодушии нет ничего странного, ничего удивительного! Может ли существовать сочувствие там, где нет никаких общих интересов, никакой связи, никакой солидарности? В глазах людей, имеющих в виду только свой капитал, могут ли иметь какое-нибудь значение здоровье, жизнь и благосостояние работников, осужденных на страдания и нищету?

К этому надо прибавить, что в некоторых отраслях промышленности, вследствие чрезмерного разделения труда, работник, для того, чтоб сделаться искусным, должен непременно изуродовать себя и испортить некоторые из своих членов. В других случаях, он за самую ничтожную плату должен предпринимать такие работы, которые ежеминутно подвергают жизнь его опасности. Сверх того, в каждой почти отрасли мануфактурной промышленности есть такие занятия, которые прямо и непосредственно действуют на работников, расстраивают их здоровье и ослабляют организм их. Чесальщики хлопчатой бумаги, постоянно занимающиеся этим ремеслом, никогда не избегают чахотки или грудной болезни. То же самое можно сказать о каменотесах, о прачках, о красильщиках и о людях, занимающихся обработыванием металлов. Некоторые занятия производят на человека точно такое же действие, как медленный яд, так что можно почти заранее предсказать, как долго про-

живет работник, избравший себе такое ремесло. Всего опаснее в этом отношении занятие точильщика (grinder). Пыль, отделяющаяся от металла и от точильного бруска, смешивается с дыханием работника, проникает в его легкие и смертельно их повреждает, так что точильщик никогда не достигает тридцатипятилетнего возраста. Между работником и смертью как будто заключается контракт, который никогда не нарушается ни той, ни другой стороной. Тот, кто соглашается точить вилки (известно, что английские вилки делаются из стали), тот знает заранее, что он ускоряет минуту своей смерти; и влияние этой ужасной работы так действительно, что между такими работниками пьяницы долговечнее всех. Это происходит от того, что они отлучаются от точильного бруска чаще трезвых, и для груди их жгучий алкоголь менее губелен, нежели сухая пыль, смешанная с тем воздухом, которым они дышат. Но вот еще замечательный факт, который также не говорит в пользу экономического устройства многих фабрик. В последнее время, для отвращения указанного нами зла, изобрели инструмент в роде мехов. Это—пневматическая труба (dustflue), которая прогоняет и уносит пыль по мере того, как пыль отделяется от металла. Но те несчастные, которых пыль эта отравляет и убивает,—вместо того, чтоб радоваться спасительному изобретению, отвергают его и осыпают проклятиями. И этому не должно удивляться. Труд, потому самому, что он был опасен, приносил работнику несколько лишних пенсов. Как скоро опасность уничтожается, конкуренция увеличивается, задельная плата понижается. И не лучше ли, не выгоднее ли жить несколькими годами меньше и за то позволить себе несколько лишних наслаждений? Так рассуждают рабочие, и везде, где фабрики заводят спасительный снаряд, работники восстают для его уничтожения и пляшут потом на его обломках.

На умственные силы работников нынешние способы производства действуют также весьма неблагоприятным образом. Вследствие чрезмерной продолжительности занятий, рабочие не имеют почти ни одной минуты свободного времени и не могут ни учиться, ни читать; вследствие недостаточности получаемой ими платы, они не имеют никакой возможности доставить себе даже первоначальное образование. Но, кроме того, и в самом образе и свойстве занятий заключается сильная, деятельная причина умственного упадка рабочих классов. «Я видел в Манчестере, говорит Бюре, бумагопрядильную фабрику, где в одной зале находилось около 400 механических станков, под надзором молодых девушек; несмотря на их молодость, в их движениях и чертах лица выражались следы скуки и утомления. Невозможно.

дать даже приблизительного понятия о том страшном шуме, среди которого они жили; шум этот, с которым нельзя сравнить ни грома, ни пушечных выстрелов, способен потрясти весь человеческий организм и подавить всякую умственную деятельность. Мне заметили, что эти несчастные уже привыкли к такому образу жизни; но подобная привычка, если она и существует, приобретается не иначе, как ценою уничтожения умственных и нравственных сил человека. Смело могу сказать, что нельзя вообразить себе пытки ужаснее той, которой подвергаются эти молодые работницы, принужденные жить ежедневно в продолжение 14 или 16 часов среди такого одуряющего треска, среди такого шума и стука» От чрезмерного разделения труда умственные силы рабочих также притупляются и слабеют. Когда на фабрике распределение работ доведено до совершенства, то труд получает характер занятия чисто механического, все дело для работника ограничивается одним напряжением физических сил, более достойным животного, нежели человека. Работник приводит в действие не ум, не воображение, а одни только мускулы; он не творит ничего, а повторяет только постоянно и беспрерывно одни и те же движения. «В Бирмингеме, говорит Бюре, я видел хрустальный завод, на котором разделение труда доведено было до высшей степени совершенства. Изделия переходили там беспрестанно из рук в руки, для одной части работников все дело состояло в том, чтоб тереть куски хрусталя об деревянные или стальные жернова,—и в продолжение целого года они ничем другим не занимались. Можно себе представить, что должно сделаться с чувствами и с разумом людей, которые ежедневно в продолжение 16 часов занимаются только тем, что трут об жернов маленькие кусочки стекла?»

Остроумный французский литератор Лемонте, не принадлежащий к числу экономистов, первый обратил внимание науки на это вредное последствие чрезмерного разделения труда, на это последствие, которого экономисты не могли отрицать, но предпочитали обходить молчанием. «Чем совершеннее будет разделение труда, говорил Лемонте, чем обширнее будет приложение машин, тем более будет слабеть и притупляться ум работника. Одна минута, одна секунда будет поглощать Все его знание, и в следующую минуту, в следующую секунду он уже будет повторять то же самое. Одному суждено в продолжение целой жизни заменять собой рычаг; другому—колесо; третьему—какой-нибудь винт. Человек превращается в инструмент, от которого не требуется никаких свойств человеческой природы, и механик заменит работника простым орудием,

лишь только искусство его усовершенствуется... Дикий, находящийся в постоянной борьбе с элементами природы, живущий только тем, что доставляют ему охота и ловля, отличается силой и хитростью, воображением и здравостью смысла. Земледелец, которого беспрестанные изменения в погоде, в ценах, в почвах, в способах обрабатывания принуждают к беспрестанным расчетам и комбинациям, остается среди своих занятий существом мыслящим.. Но если многосложный труд развивает ум человека, то ясно, что труд раздробленный должен производить совершенно противное действие на работника. Один, сосредоточивая в руках своих целое ремесло, чувствует свою силу и независимость; другой становится подобен тем машинам, среди которых живет. Он не может не сознаться, что он не более, как вещь прибавочная, и что как скоро он отделен от машины, у него уже нет ни способности, ни средств существования. Мне было бы грустно и совестно признаться самому себе, что вся жизнь моя прошла над тем только, чтоб поднимать и опускать клапан, и что во всю жизнь я не произвел ни разу ничего более восемнадцатой доли булавки».

Все эти упреки, без сомнения, совершенно справедливы и основательны; но в то же время нельзя не признать, что от чрезмерного разделения работ зависит дешевизна и совершенство продуктов, что чем более делится труд, тем успешнее развивается производительность. Тут мы опять встречаем противоречие между прогрессом экономическим и прогрессом общественным, состоящим в улучшении судьбы большинства. Для примирения этих двух противоречащих, но равно необходимых условий прогресса, некоторые писатели предлагают сохранить разделение работ, но противодействовать вредным его последствиям беспрестанным изменением занятий, и в особенности соединением труда земледельческого с трудом мануфактурным. Но, к сожалению, средство это не легко применимо; его нельзя осуществить без важных перемен в отношениях между капиталом и трудом. Только посредством этого изменения можно спасти производителей от той нищеты и от того упадка, которым они теперь подвергаются несмотря на успехи промышленности и несмотря на развитие материального благосостояния.

Но из всех вредных последствий нынешней системы производства машинами, всего вреднее, без сомнения, то, что размножение машин и чрезмерное разделение работ, облегчив труд человека, дали фабрикантам возможность заменять взрослых мужчин женщинами и детьми. Для фабрикантов вообще употреблять на своих фабриках детей гораздо выгоднее, нежели взрослых, потому что первые производят столько же, сколько

и последние, но довольствуются гораздо меньшей задельной платой. Это же самое обстоятельство дает преимущество и женщине над мужчиной, а потому число женщин и детей, работающих на фабриках, увеличиваясь с каждым днем, теперь сделалось весьма значительным. Эти несовершеннолетние работники вытесняют мало-помалу других и составляют ныне почти половину всех агентов мануфактурной промышленности. На многих фабриках даже вовсе не употребляются взрослые мужчины; в Бирмингеме приходится по большей части один мужчина на десять женщин и детей. Число женщин, работавших в 1841 году на английских фабриках, составляло в хлопчатобумажной промышленности 48 процентов на сто; в шелковой—51; в льняной—41; в шерстяной—29; число детей моложе двадцати лет составляет в хлопчатобумажной промышленности 35 процентов на сто; в шелковой—30; в льняной—29; в шерстяной—26. Эти цифры представляют явление в высшей степени неутешительное, если только обратить внимание на бедственную участь этих женщин и детей. Употребление таких несовершеннолетних работников в мануфактурной промышленности было сопряжено и сопрягается доныне с величайшими злоупотреблениями. Детей обыкновенно принимали на фабрики слишком рано, прежде чем они делались способны к такого рода занятиям; и в Англии, и во Франции, и во многих других европейских государствах на фабриках работали очень часто дети шести, пяти, четырех лет. В Англии даже в одной мастерской найден был двухлетний ребенок, работавший подле своей матери. Детей заставляли работать столько же, сколько и взрослых; женщин столько же, сколько и мужчин; и тех и других обременяли занятиями тяжелыми, изнурительными, не соответствовавшими степени развития их сил, несообразными с их полом или возрастом. С детьми обращались по большей части дурно, даже жестоко; их угнетали и притесняли, обременяли побоями, наносили им раны, доходили даже до убийства. Но, независимо от страданий, которым подвергались эти несчастные, обременительный и чрезмерный труд на фабриках, на заводах, в рудниках имел самое губительное влияние на физическое и нравственное их состояние. Он разрушал их здоровье, ослаблял их организм, останавливал его развитие и таким образом убивал физические силы новой генерации в самом их зародыше. Он лишал детей возможности получить образование и развить свои умственные способности, уничтожал в них всякое нравственное достоинство, с самых ранних лет приучал к разврату и пороку, и приготавливал обществу граждан больных, слабых, невежественных, развратных, убитых физически и морально. Такие страшные последствия не могли

не обратить на себя внимание; страдания этих несчастных не могли не найти себе отголоска в общественном мнении; и действительно, эти злоупотребления были так ужасны, что правительства всех почти государств принуждены были принять деятельные меры для охранения здоровья и нравственности детей от корыстолюбия родителей и тиранства фабрикантов. В Англии особенно обращено было сильное внимание на этот вопрос, и издано было множество законов для противодействия злу, которое действительно в этой стране проявилось сильнее и ужаснее, нежели в других государствах Европы. В этом отношении особенно любопытна история английского законодательства, тем более, что по этому предмету нельзя нигде найти таких обильных материалов, как в Англии, где многочисленные следствия, произведенные по предписанию парламента, раскрыли такие неслыханные тайны, которым мудрено было бы поверить, если бы известия о них не проистекали из источников вполне достоверных.

В конце прошлого столетия фабрикантам, жаловавшимся на возвышение пошлин, знаменитый Питт указал на работу детей, как на средство, которое должно было значительным образом облегчить тяжесть их положения. Это указание первого министра не пропало даром: фабриканты последовали его совету, и уже тогда положено было начало набору детей и женщин на фабрики,—набору, который, усиливаясь мало-помалу, распространился ныне на все классы рабочего народонаселения. Прежде всего подверглись этой участи те дети бедных, которые содержались на счет приходов. Вот как описывал их страдания лет тридцать назад один из богатейших тогдашних фабрикантов, отец сэра Роберта Пиля: «Фабрики заведены были сначала в местах малонаселенных; для того, чтоб приводить машины в действие, нужно было занять у больших городов избыток их народонаселения, и вследствие того несколько тысяч детей, отданных приходами в учение, присланы были на эти фабрики из Лондона, Бирмингама и других дистриктов. Компания, в которой я участвовал, одна вызвала для себя тысячу таких учеников. В свободное время я иногда посещал и осматривал наши фабрики, и при этих осмотрах меня всякий раз поражал болезненный вид детей и малый рост их. Продолжительность их занятий определялась личным интересом управителя фабрики. Чем больше производил работник, тем больше получал он жалованья, а потому он для собственной своей выгоды принуждал детей к чрезмерно продолжительным занятиям, а чтобы они не жаловались, он давал им незначительные награждения. Скоро я убедился, что эти злоупотребления.

существуют не на одних наших фабриках; я узнал, что и в других заведениях изнуряют детей слишком продолжительной работой и вовсе не заботятся о чистоте рабочих комнат и возобновлении в них воздуха. Тогда я предложил парламенту билль об искоренении этих злоупотреблений и постановлении известных правил для работы детей на фабриках».

Этот закон, принятый парламентом по предложению Пиля, повелевал, чтоб дети бедных, отданные приходами в учение, не работали на фабриках более двенадцати часов в *день*. Но предписания этого закона, относясь только к сиротам бессемейным, призренным от общества, не распространялись на тех детей, которые жили вместе с родителями и находились в их распоряжении. Очень понятно, что фабриканты, стесненные в употреблении на работу сирот, обратились к детям работников. Вследствие изобретения паровых машин, фабрики и заводы переведены были в города, и промышленность стала набирать для себя работников из всех семейств, принадлежавших к городскому рабочему населению. С этих самых пор начался быстрый упадок молодых поколений как в физическом, так и в нравственном отношении. Дети должны были работать на фабриках ежедневно в продолжение тринадцати и четырнадцати часов, и для того, чтобы они безропотно исполняли тяжкие обязанности, на них возложенные, родители предоставляли им в полное распоряжение часть тех денег, которые они зарабатывали. Таким образом, дети приобретали самостоятельность весьма рано; и это преждевременное освобождение их из-под отеческой власти было, разумеется, в высшей степени вредно для их нравственности. Отец сэра Роберта Пиля снова обратил на это внимание парламента. «Если парламент не вступится в это дело», говорил он в 1816 году, «то цель изданного им закона вовсе не будет достигнута. Перестанут употреблять на фабриках учеников, принадлежащих приходам, но вместо их призовут других детей, которые не будут связаны с своими хозяевами постоянными контрактами и не будут иметь для себя никакого обеспечения. Употребление работы детей на фабриках будет иметь для новых поколений столь вредные, столь горестные последствия, что я не могу подумать об этом без ужаса, и усовершенствование машин и способов производства, вместо ожидаемых благодетелей, принесет нашему отечеству самые горькие плоды».

Предсказание старого Пиля в настоящую минуту действительно сбылось. Англия теперь убедилась, что нелегко искоренить зло, которое уже успело тесно слиться с народною жизнью. Уже более тридцати лет прошло с тех пор, как обратили

в первый раз внимание на несчастную участь детей, работающих на фабриках; во все продолжение этого времени и правительство, и парламент, и частные люди не переставали ни на минуту работать об улучшении этой участи; и несмотря на все усилия, зло не только не уничтожилось, но напротив усиливается с каждым днем более и более. Первый протест в пользу детей подан был человеком, который посвятил всю жизнь свою на служение человечеству и который заслугами своими приобрел полное право на уважение современников и потомства: мы говорим о Роберте Овене (Owen). Быв довольно долго управителем бумагопрядильной фабрики в Манчестере, Роберт Овен купил себе впоследствии известное нью-ленеркское (New-Lanark) заведение в Шотландии, в котором 500 детей от пяти до восьми лет употреблялись для приведения машин в действие. Эти маленькие работники, хорошо накормленные, хорошо одетые, с первого взгляда казались свежими и здоровыми; но Овен скоро убедился, что у многих из них ноги и руки были изуродованы, что они вообще не росли, и что от постоянной усталости умственные способности их так ослабели, что они не могли даже выучиться читать по складам. Немедленно приняты были меры для того, чтобы пресечь зло в самом его источнике; предписано было, чтоб дети работали не более десяти с половиною часов в день и запрещено было принимать на фабрику детей моложе десяти лет. Таким образом, Роберт Овен подал первый пример улучшения судьбы детей; но он не ограничился этим: он хотел, чтоб и другие фабриканты последовали его примеру и стал деятельно трудиться для достижения этой общественной цели. Но труды его в этом отношении не увенчались успехом; фабриканты не хотели пожертвовать своими личными выгодами требованиям человеколюбия, и потому Овен решился предложить это дело на рассмотрение законодательных собраний Овен требовал, чтоб закон ограничил произвол фабрикантов и предписал им известные правила для употребления работы детей на фабриках. Он предлагал, чтоб запрещено было занимать детей работой более десяти с половиною часов в день и принимать на фабрики моложе десяти лет. Он требовал также, чтоб дети моложе двенадцати лет не работали более пяти с четвертью часов в день. Сэр Роберт Пиль, отец нынешнего знаменитого министра и один из наиболее уважаемых членов нижней палаты, согласился внести этот билль в парламент и поддерживать его всем своим влиянием. Но проект его в нижнем парламенте встретил сильную оппозицию со стороны фабрикантов, которые настояли на том, чтоб произведено было следствие по этому предмету. Следствие продолжалось почти

три года, и после долгих рассуждений в палате, билль, предложенный Пилем, был принят, но с такими изменениями, которые совершенно уничтожали его силу. Запрещено было фабрикантам принимать детей моложе девяти лет и занимать их работой более двенадцати часов в день.

Закон 1819 года не принес детям почти никакой пользы; но он был весьма важен в том отношении, что открыл собою путь к дальнейшим усовершенствованиям. Этим законом признавалось право вмешательства общественной власти в это дело; на государство и на будущее время налагалась обязанность оказывать свое покровительство тем, которые не могут сами произвольно располагать своею участью. В 1825 году, вследствие новых усилий со стороны английских филантропов, акт 1819 года был подтвержден, причем предписаны были новые правила для сохранения здоровья детей, употребляемых на фабричную работу. В 1831 году, для противодействия вновь открытым злоупотреблениям, парламент запретил употреблять детей для ночных работ; но многие фабриканты, пользуясь корыстолюбием родителей, уклонились от предписаний 1825 и 1831 годов, и таким образом, несмотря на благонамеренные усилия парламента, положение детей нисколько не улучшилось.

В это время, работники в первый раз обратили сами внимание на это дело, близко до них касавшееся, и решились принять участие в судьбе детей. В значительнейших городах Англии, в Манчестере, в Глазгове, в Лидсе составились для этой цели комитеты (*short times commitees*), которые посредством митингов и адресов старались склонить общественное мнение на свою сторону. Но работники не ограничивались частным вопросом о работе детей; они простирали свои виды гораздо дальше, и хотели, чтоб парламент определил законом число рабочих часов не для одних детей, но и для людей взрослых. Требования их были предложены на рассмотрение нижней палаты, которая предписала произвести по этому предмету подробное исследование. Комиссия, на которую возложена была эта обязанность, занималась в продолжение нескольких месяцев. Члены ее не могли согласиться между собой и представили палате одни только собранные ими сведения, не высказав при этом своего мнения. Обнародование этих отчетов произвело сильное впечатление и в Англии и во всей Европе. В этих документах положение рабочих классов представлено было в столь ужасном виде, что показалось многим совершенно незаслуживающим вероятия. Действительно, эти сведения основывались почти исключительно на показаниях самих работников, и фабриканты громко жаловались на пристрастие членов комиссии. Тогда правитель-

ство, по желанию парламента, решилось произвести повое исследование. Во все большие города посланы были комиссары, которые должны были, выслушав все различные мнения и рассмотрев собственными глазами положение дел, представить верный и беспристрастный отчет. Комиссары разделили между собой те дистрикты, в которых им поручено было произвести исследование, и деятельно принялись за исполнение возложенной на них обязанности. Следствие производилось в продолжение трех месяцев, и документы, представленные палате в июле 1833 года, составили четыре большие тома in folio¹. Эти сведения, собранные новыми комиссарами, были весьма неблагоприятны для фабрикантов; они по большей части подтвердили те показания, на которых основаны были отчеты, представленные комиссией 1832 года.

Комиссары объявляли, что дети, употребляемые на фабриках, работали столько же, сколько и взрослые люди, и что эта чрезмерная продолжительность занятий сопровождалась для них следующими последствиями: во-первых, потерей здоровья, во-вторых—болезнями, часто неизлечимыми, и, в-третьих, совершенную невозможностию получить надлежащее воспитание. Они прибавляли к этому, что дети действовали не по собственной своей воле, что их продавали фабрикантам родители, которые присваивали себе все зарабатываемые ими деньги. Комиссары приходили к тому заключению, что вмешательство законодательной власти было решительно необходимо для того, чтоб положить конец этим злоупотреблениям, и требовали, чтоб работа детей была ограничена восемью или девятью часами в день.

Эти заключения подали повод к продолжительным и жарким прениям в нижней палате. Лорд Ашлей, только что выступивший тогда на то филантропическое поприще, на котором он успел оказать отечеству столько важных заслуг, представил палате билль, в котором число рабочих часов определялось как для малолетних, так и для взрослых работников. Но тогдашний канцлер лорд Альтгорп потребовал, чтоб палата оказала покровительство только тем, которые сами не могут о себе заботиться, не стесняя при этом ни в чем свободы людей взрослых. Это изменение принято было большинством 238 голосов против 93; и закон 29 августа 1833 года, принятый после долгих и жарких споров, постановил правила для одних только малолетних работников. Закон этот послужил образцом и примером для всех постановлений, изданных по этому предмету в других европейских государствах; но, несмотря на то, в нем заключается много весьма важных и существенных недостатков, вследствие

¹ в целый лист. — *Ред.*

которых он не достиг своей настоящей цели и оказался впоследствии времени совершенно бесплодным и бесполезным.

Самый важный недостаток заключается в том, что фабрикантам предоставлено было право в известных случаях выходить из пределов, назначенных парламентом для числа рабочих часов. Это дозволялось им тогда, когда от какого-нибудь неожиданного случая прекращалась внезапно работа и терялось даром много времени. Но это дозволение подало сильный повод к обманам и злоупотреблениям, и представило фабрикантам верное и безопасное средство уклоняться от предписаний закона. Когда фабрикант хотел, чтоб его работники занимались в день более узаконенного числа рабочих часов, то он всегда мог достигнуть своей цели и привести свое намерение в исполнение под тем предлогом, что ему нужно было вознаградить себя за время, будто бы им потерянное. Сверх того, закон 1833 года относился только к бумажным, шерстяным, льняным и шелковым фабрикам. Все другие отрасли промышленности, и даже в этих четырех отраслях все домашние мастерские освобождены были от предписания закона. От этого происходило неравенство между различными отраслями труда,—неравенство, которое было и вредно и несправедливо. В атом, без сомнения, заключалось одно из самых важных несовершенств законодательной меры; и к сожалению, последующими распоряжениями несовершенство это несколько не исправлено, а, напротив, оставлено почти во всей своей силе.

Постановления закона, относящиеся в особенности к детям, также не заслуживают большой похвалы. Запрещено было фабрикантам употреблять на фабриках детей моложе девяти лет. От девяти до тринадцати лет дети должны были работать не более восьми часов в день, от тринадцати до восемнадцати—не более двенадцати часов. До восемнадцатилетнего возраста никто не мог быть принят на фабрику, если не имел аттестата о своем возрасте и здоровье. Аттестат этот должен был быть подписан доктором и засвидетельствован местным начальством. Но парламент, назначая для работы детей восемь часов в день, поступил в этом отношении весьма необдуманно. Когда дети работают менее, нежели взрослые, то им необходимо сменять друг друга; необходимо, чтоб взрослый работник имел при себе двух помощников, из которых один бы работал утром, другой—вечером. Но так как средним числом работа на фабриках продолжается обыкновенно от двенадцати до тринадцати часов в день, то выходит, что дети собственно не могли работать в день более шести часов с половиной, несмотря на то, что закон позволял им работать в продолжение восьми часов.

Уменьшая для детей число рабочих часов, законодатели не только хотели оградить их здоровье и физические силы, но имели в виду также сберечь для них время, нужное для их воспитания. Однакож, по весьма странной непредусмотрительности, парламент, объявив, что дети, употребляемые на фабриках, обязаны посещать школы, не позаботился об учреждении для них этих школ. Закон, следовательно, предписывал невозможное и, само собой разумеется, не был исполнен.

Самая большая польза, принесенная законом 1833 года, заключается в том, что для исполнения предписанных правил принята была мера, во всех отношениях весьма благотворительная. На основании этой меры, правительство получило от парламента право назначать четырех инспекторов для постоянного надзора за фабриками и мануфактурами. Эти инспекторы имеют право посещать малолетних работников во время их занятий, во всякий час дня и ночи, предписывать фабрикантам правила для обращения с ними; наблюдать за ведением счетных книг, ревизовать школы и призывать к суду фабрикантов и родителей, виновных в нарушении закона. Это новое учреждение не могло понравиться народу: оно было противно нравам Англии, где каждый гражданин смотрит на свой дом или на свое заведение как на крепость, в которую не может проникнуть власть общественная. Поэтому, нововведение сначала возбудило против себя сильное негодование; однакож, в руках людей честных и благо-разумных оно принесло самые полезные плоды. Если доселе не прекращается движение, возбужденное в 1833 году; если закон не остался совершенно бесплодным, если собрано теперь множество самых верных указаний для дальнейших преобразований, то, без всякого сомнения, Англия всеми этими результатами обязана единственно учреждению инспекторов для надзора за фабриками и мануфактурами.

По примеру Англии, и другие государства старались улучшить положение детей, работающих на фабриках; но меры, ими принятые, были также по большей части совершенно безуспешны. В Соединенных Штатах только в одном Массачусетте обращено было внимание на этот вопрос; постановлено было, что дети моложе пятнадцати лет не могут работать на фабриках, если они предварительно не получили первоначального образования в низших училищах. Но эта мера принята была не столько для организации труда, сколько для того, чтобы распространить в народе просвещение. В Швейцарии, Цюрихский Кантон запрещает принимать на бумагопрядильные фабрики детей моложе десяти лет, но позволяет им работать в продолжение двенадцати часов. В Ааргау дети не могут работать прежде

четырнадцать лет, и притом фабриканты непременно обязаны заботиться о их воспитании. Ни в одном европейском государстве не издано было такого строгого постановления; только в Ааргау требованиями человеколюбия принесены были в жертву все другие интересы. В Пруссии, по закону 1839 года, никто не может быть принят на фабрику, на завод или рудник ранее девяти лет, и до шестнадцати лет никто не может работать более десяти часов в день. Во всяком случае ребенок не может поступить на фабрику, если он не посещал школы в продолжение трех лет, и если он не умеет читать и писать. В великом герцогстве Баденском время принятия на фабрики назначено в одиннадцать лет, а продолжительность работ в двенадцать часов. В Баварии законом 1840 года запрещено принимать на фабрики, заводы и рудники детей моложе девяти лет; а детям от девяти до двенадцати лет положено работать не более десяти часов в день, включая сюда и два часа, назначенные для посещения школы. Вообще, от немецких законов можно было бы требовать большего совершенства, потому что в Германии гораздо легче было искоренить зло, нежели в Англии, где оно уже слишком твердо укоренилось, и где с его сохранением тесно связаны интересы богатого и могущественного сословия. Законы германских государств имеют над английскими то преимущество, что они не ограничиваются одними фабриками, а распространяют также свое действие на заводы и на рудники. Но с другой стороны, в Германии правительство оказывает свое покровительство только детям, между тем, как в Англии оно простирает свою заботливость на всех несовершеннолетних работников.

Во Франции в 1841 году издан был также закон о работе детей, закон весьма несовершенно и недостаточный. Он имеет более обширный круг действия, нежели закон английский, потому что относится не к одним фабрикам, но также к рудникам и заводам, но не распространяется на небольшие мастерские, где преимущественно дети обременяются работой и чаще, чем в других заведениях, подвергаются дурному и жестокому обращению. Закон 1841 года определяет, что дети не могут быть принимаемы на фабрики, заводы и рудники моложе восьми лет; что от девятого до тринадцатого года они должны работать не более восьми часов в день, а от двенадцати до шестнадцатого года не более двенадцати часов. Детям моложе тринадцати лет запрещено работать ночью. Но все эти предписания также заключают в себе весьма много существенных недостатков и вовсе не приводят к тем результатам, к каким должны были бы привести. Таким образом, как в Англии, так и в других госу-

дарствах, усилия и действия законодателей не достигли своей истинной цели и не облегчили участи несчастных детей. Англия имеет, однакож, над всеми другими странами то важное преимущество, что в ней последствия ее постановлений приведены во всеобщую известность, что дает возможность убедиться в несовершенстве ее законов и найти средство к их исправлению и дополнению.

В 1837 году, через четыре года после обнародования закона, напечатаны были донесения некоторых инспекторов фабрик о последствиях новых мер, принятых парламентом. Из донесений этих видно, что вообще цель закона не была достигнута, и что положение детей весьма мало улучшилось. Многие фабриканты, для того, чтоб не подчиниться стеснительным предписаниям нового закона, исключили из своих заведений всех детей моложе двенадцати лет. Другие употребляли разные хитрости, чтобы уклониться от исполнения невыгодных для них правил, и всего чаще посредством фальшивых аттестатов относили к категории молодых людей—детей, имевших не более одиннадцати или двенадцати лет; а так как местные суды состояли преимущественно из фабрикантов, то естественно, что судьи для своих личных выгод часто оставляли без наказания эти нарушения закона. В Манчестере и его окрестностях система смены одних детей другими не нравилась фабрикантам и редко ими была употребляема. Даже там, где она приведена была в исполнение, она не приносила никакой пользы, потому что дети, работавшие утром на одной фабрике, вечером работали на другой; и родители их столько же неприязненно смотрели на закон, как и самые фабриканты.

Та статья закона, на основании которой дети, работавшие на фабриках, обязаны были непременно получать первоначальное образование, осталась мертвой буквой. За исключением нескольких фабрик, где заведены были школы самими фабрикантами, в средствах образования оказался совершенный недостаток; притом же заведенные школы по большей части оставались пустыми вследствие нерадения родителей и лености детей. Из двух тысяч детей тринадцати или четырнадцати лет, испытанных в Манчестере в 1836 году, тысяча шестьдесят семь не умели читать. Между тем, дети эти вырабатывали себе по большей части от пяти до семи шиллингов в неделю, а отцы их от двадцати пяти до тридцати.

Донесения инспекторов с 1837 по 1841 год показывают, что и в это время закон оставался безуспешным. Один инспектор объявил, что в графстве Ланкастерском запрещение занимать детей больше восьми часов в день редко исполнялось.

По большей части самые малолетние дети снабжены были такими аттестатами, которые показывали, что они достигли тринадцатилетнего возраста. Такого рода обманы весьма обыкновенны. С 8 сентября по 14 ноября 1842 года, ланкастерским инспектором поверено было сто девять аттестатов на сорока девяти фабриках. Эта поверка показала, что из ста девяти детей только двадцать шесть имели действительно тот возраст, который был указан в их свидетельстве. Все донесения единогласно подтверждают, что фабриканты для избавления себя от стеснительных постановлений закона перестали принимать к себе на фабрики детей моложе тринадцати лет, так что число детей, употребляемых в четырех главных отраслях промышленности, значительно уменьшилось. Так, например, в Йоркшире в 1838 году фабриканты употребляли 95 000 работников; а в 1843 году—106 500; к прежним работникам прибавилось, следовательно, 11 500 человек. Но эта прибавка касается только людей взрослых и молодых; число же детей моложе двенадцати лет уменьшилось двумя тысячами. На фабриках теперь всего охотнее употребляют тех молодых людей, которые старше тринадцати лет. Но и по отношению к ним постановления закона не соблюдаются. На некоторых фабриках заставляют их чистить машины в часы, назначенные для обеда или для отдыха. На других, где взрослые работают более двенадцати часов в день, молодые люди моложе восемнадцати лет оставляют заведение вместе со всеми другими, кроме тех случаев, когда ожидают посещения инспектора. Многие родители с согласия фабрикантов и с помощью фальшивых аттестатов переводят несовершеннолетних в категорию взрослых. На одной бумагопрядильной фабрике в Манчестере молодые девушки работают от шести часов утра до девяти вечера и не покидают заведения даже во время обеда, потому что машина ни на минуту не останавливается.

Что касается до детей моложе тринадцати лет, то не надо думать, чтоб их положение улучшилось оттого, что фабриканты теперь неохотно употребляют их на своих фабриках. Предписания закона, как мы уже видели, распространяются не на все отрасли промышленности, а потому весьма понятно, что дети, изгнанные из одной отрасли, находят себе убежище в другой, и там подвергаются таким же страданиям, каким подвергались и прежде. Таким образом, закон не уничтожил зла, а только переменял его. Нынче, с одной стороны, фабриканты употребляют детей не иначе, как в случае крайней необходимости; с другой стороны, родители для детей своих предпочитают ограниченному труду на фабрике—неограниченный и, следовательно, более выгодный труд на рудниках и в неболь-

ших мастерских. Потому-то в настоящее время из 500 000 работников, употребляемых на больших фабриках, детей не более 25 000, между тем, как до 1835 года они во многих заведениях были единственными работниками.

Но что же случилось с детьми, покинувшими фабрики? улучшилась ли их участь от этого изгнания? Парламент обратил внимание на этот вопрос, и 4 августа 1840 года, по предложению лорда Ашлея, нижняя палата обратилась к королеве с просьбой, чтоб правительство произвело исследование о состоянии детей и несовершеннолетних молодых людей, употребляемых в рудниках и в тех мастерских, на которые не распространялось действие закона, изданного в 1833 году. Следствие это производилось людьми известными и опытными и продолжалось целые два года. Отчеты этой комиссии показали, что законодатели оставили без внимания тех, которые всего более нуждались в их покровительстве, и что работа детей на фабриках может даже показаться здоровою и легкою. В сравнении с работой их на заводах и в рудниках. Эти отчеты привели в известность такие ужасные факты, которые, казалось, не могли бы и встречаться в наш образованный век и в наших образованных обществах; эти факты лучше всего показывают, до каких страшных злоупотреблений доводит экономическое устройство, не допускающее никакой связи и никакой солидарности между фабрикантами и работниками.

В каменноугольных копях дети часто начинали работать с четырехлетнего возраста. Их употребляли там в качестве трапперов (trapper). Они помещались в подземелие в маленькой и узкой нише, находившейся возле двери; обязанность их была весьма немногосложна. Они должны были отворять дверь, за которой стояли, чтобы пропускать вагоны с каменным углем, и потом тотчас же затворять ее снова. Если б траппер на одну минуту позабылся и не исполнил своей обязанности, то газы, отделяющиеся от угля, могли бы разгорячиться и взорвать все заведение на воздух. Таким образом, это маленькое существо, в котором уединение убивало по большей части все умственные способности, отвечало и за целость руды и за жизнь всех работников. Нельзя вообразить себе ничего печальнее существования этого ребенка. В три часа утра он уже покидал свою жесткую постель и спускался в колодезь, в котором должен был оставаться до пяти или шести часов вечера. Он только по воскресеньям видел дневной свет и дышал тем чистым воздухом, который оживляет детей так же, как растения. Во все остальные дни недели он постоянно оставался в своем сыром и темном подземелье, куда не проникал ни один солнеч-

ный луч. Его постоянно окружала темнота, и он в продолжение пятнадцати часов сряду должен был оставаться в узкой нише, подле двери, которую должен был беспрестанно отворять и затворять. Время от времени, он примечал издали лампу, освещавшую вагонам путь, и это составляло его единственное развлечение.. Это было—ни более, ни менее, как уединенное заключение, заключение в мрачной и сырой тюрьме,—заключение, которому подвергались дети в самом нежном возрасте и без всякой вины с их стороны.

Когда ребенку наступало восемь или девять лет, он из траппера делался *драйвером* (driver). Его заставляли возить на себе вагоны из того места, откуда работники доставали каменный уголь, в те галлерей, которые служили местом складки этого угля. Так как крыша копи по большей части бывает весьма низка, то дети принуждены были ползти на руках, и, обвязав около тела веревку, тащить за собой вагон. В Шотландии дети должны ползти по лестницам почти отвесным,—с ношей каменного угля на спине. На' это занятие употреблялись безразлично мальчики и девочки. Эта трудная работа, требующая значительного напряжения мускулов, продолжалась непрерывно двенадцать, тринадцать и даже четырнадцать часов. В случае особой нужды, их заставляли работать в продолжение целой ночи.

Комиссары заметили, что когда дети начинали работать в рудниках не раньше десяти лет, то эта трудная работа, хотя и останавливала их рост, но зато развивала в них физические силы; рудокопы по большей части малорослы, но плечисты и сильные. Впрочем, эта несколько не естественная сила скоро исчезает; в 30 лет рудокоп уже утрачивает ее; а в 50 лет уже делается совершенным стариком. Но когда ребенок начинал работать раньше десяти лет, то он скоро терял свою свежесть и крепость, делался болезненным и худым, и умирал весьма рано. Надо прибавить, что с этими несчастными детьми обращались очень дурно, и что это дурное обращение доходило часто до изувечения и даже до смертоубийства.

Что сказать о нравственном состоянии этих несчастных? Само собою разумеется, что невозможно было дать надлежащее образование детям, которые ежедневно проводили около тринадцати часов в мрачном подземелье, а в остальную часть дня подкрепляли свои силы сном, по большей части весьма недостаточным. Молодые рудокопы редко посещали церкви и воскресные школы, потому что не имели почти никогда чистой одежды; родители обыкновенно отнимали у них выработанные ими деньги для того, чтобы пропить их в кабаках; а потому дети и не имели возможности приобрести себе приличное платье.

По большей части они не умели ни читать, ни писать; многие из них не знали, что в них есть душа; многие не имели понятия о существовании бога. Взамен того, среди их занятий, для них всегда открыта была школа соблазна, разврата и богохульства,—школа, в которой они скоро научались всем таинствам порока. Мужчины и женщины, мальчики и девочки работали в копи почти голые, друг подле друга, в одинаковые часы и за одинаковым делом. От этого происходило, что двенадцатилетний мальчик уже пьянствовал, курил, богохульствовал и предавался другим порокам. В этом классе работников не— законные рождения были так обыкновенны, что их никто и не замечал. Воровства, драки и бунты беспрестанно нарушали общественную тишину и приводили в волнение целые дистрикты.

В медных, свинцовых и цинковых рудниках работники были менее безнравственны, но зато гораздо скорее теряли свои силы; их органы дыхания подвергались болезням, которые отчасти сокращали самую жизнь, отчасти сопровождалась совершенною неспособностью к работе. К причинам, производившим это преждевременное обессиление, должно отнести излишнюю ревность детей к работе. В этих рудниках обыкновенно несовершеннолетние составляли со взрослыми товарищество и были их соучастниками; желание увеличить свою часть побуждало их к таким усилиям, которые превышали их возраст и силы. Несмотря на то, что эти молодые люди работают охотно, несмотря на то, что эти утомительные занятия в первое время, повидимому, не имеют на них никакого влияния, опыт доказывает, говорят комиссары, что они весьма скоро лишаются здоровья и силы. Таким образом, ассоциация детей со взрослыми всегда обращается во вред первым; в одних случаях она подвергает их угнетению, в других побуждает к чрезмерным и, следовательно, вредным занятиям.

Фабрики, заводы и мастерские, на которых не распространилось действие закона, изданного в 1833 году, находятся ныне в таком же точно положении, в каком находились прежде мануфактуры, подчиненные действию закона. Злоупотребление не только не уничтожилось, но даже и не уменьшилось, а только переменяло свое место. В мастерские принимаются иногда дети от трех до четырех и весьма часто от пяти до шести лет; но обыкновенно они начинают работать на седьмом или восьмом году. На некоторых фабриках детей от 7 до 13 лет находится гораздо более, нежели молодых людей от 13 до 18 лет. Между детьми девочки употребляются в работу чаще, нежели мальчики; а некоторые мастерские состоят исключительно из женщин и молодых девушек. В большей части

случаев дети не имеют прямых сношений с самими хозяевами, которые, вероятно, обращались бы с ними человеколюбивее, но зависят во всем от какого-нибудь жестокого и жадного работника, который их дурно кормит, дурно одевает и сваливает на них всю свою работу. Эта зависимость, весьма похожая на невольничество, продолжается обыкновенно для детей от семи лет до 21 года. Иногда родители занимают у хозяина или у мастера деньги и, вместо уплаты, отдают ему детей своих в работу; такая сделка есть ни более, ни менее, как продажа в полном значении слова; отец продает родного своего сына, точно так, как это делается у негров—за несколько бутылок водки или за несколько фунтов табаку.

Небольшие мастерские особенно вредны для здоровья, как по свойству работ, так и по нерадению фабрикантов, которые не принимают самых необходимых предосторожностей для сохранения в рабочих комнатах чистоты и приличия. Везде дети работают столько же, сколько и взрослые; средним числом в продолжение 12, редко 10, а в большей части случаев 15 и 16 часов. Когда дети находятся в прямой и непосредственной зависимости от работников, то случается, что последние, по собственной прихоти, оставляют их без занятий в начале недели; а в последние дни, чтоб вознаградить за потерянное время, налагают на них чрезмерное количество работы.

В Вилленгале, где большинство жителей состоит из слесарей, мастера берут к себе в ученики сирот, воспитываемых благотворительными заведениями. В этом городке, имеющем не более 9 000 жителей, находится более тысячи таких учеников. Слесаря, имеющие мастерские, не употребляют никогда взрослых работников. В замене совершеннолетних мужчин детьми они находят двойную выгоду: с одной стороны, работник не получает за свой труд никакой платы, и, не смея жаловаться на своего хозяина, ведет самую несчастную жизнь; с другой стороны, он приносит своему патрону из благотворительного заведения денежную премию от 2 до 5 фунтов стерлингов, и кроме того его наделяют обыкновенно бельем и платьем, которое мастер отдает в залог, когда его дела идут дурно, или когда ему перестают давать в долг, пиво. Прежде попечители приходов не очень заботились о нравственности людей, которым они поручали этих детей: они радовались, что могли сбить их с рук, и отдавали их первому встречному. Один комиссар доносил, между прочим, что три ученика отданы были мастеру, который за год перед тем приговорен был за воровство к тюремному заключению. В Вилленгале небогатый слесарь, нанимающий себе место в чужой мастерской, имеет обыкно-

венно при себе двух подмастерьев: один работает вместе с ним, а другой исполняет его поручения или нянчит его детей. Когда у слесаря есть лишние ученики, то он отдает одного или двух в наймы; один из этих несчастных был даже продан за 10 шиллингов.

Нельзя вообразить себе ничего ужаснее существования подмастерьев в Вилленгале. Каков бы ни был их возраст, они должны работать столько же, сколько работают их хозяева; которые в этом отношении неумоимы, занимаются иногда в продолжение 20 часов сряду, не останавливаясь ни на минуту и обедая во время работы. Ночью эти ученики снят на соломе или на полу и носят одно и то же платье как зимой, так и летом. Кормят их очень мало, и часто, в виде наказания, оставляют вовсе без пищи по целым суткам. Впрочем, прежде наказания были не так легки. Несколько лет назад один мастер, рассердившись на своего ученика, схватил раскаленный железный прут, пронзил им его насквозь и пригвоздил к стене; другой был повешен за то, что подвергал семилетнего ребенка самым жестоким пыткам; третий еще весьма недавно надел на шею работнику железное кольцо и приковал его к стене; четвертый, наконец, привязал огромное бревно к ноге своего ученика для того, чтобы тот не убежал. В настоящее время наказания не так странны, как прежде, но не менее ужасны и жестоки. Учеников бьют кнутами, плетью, палками и всеми теми орудиями, которые попадают под руку. Хозяин покрывает их тело контузиями и ранами, а жена его вырывает у них волосы и уши. Чем моложе они, тем безжалостнее с ними обходятся. Правосудие обращает на это внимание только тогда, когда дело доходит до убийства; иначе же оно вовсе не вмешивается в этого рода домашние сцены.

В Бирмингеме дети, употребляемые в мастерских, по большей части бледны, худы и слабы; их дурно кормят и дурно одевают; они ходят босые зимой и летом, В Вольвергамптоне не назначается особых часов для еды; дети проглатывают свою пищу во время самой работы, и от того имеют по большей части болезненный вид. Многие из них, особенно из числа девушек, совершенно изуродованы. Мальчики 15 и 16 лет по своему росту походят на двенадцатилетних детей и далеко не наслаждаются тем здоровьем и той силой, которые составляют обыкновенно удел этих детей. В Седжеме дети, занимающиеся производством гвоздей, работают от четырех часов утра до девяти вечера, начинают вести этот образ жизни на седьмом году и должны производить ежедневно около тысячи гвоздей. Девушки страдают менее, потому что начинают работать двумя

годами позже. В Варрингтоне дети по большей части худы, бледны, отличаются малым ростом, болезненностью и слабостью телосложения. В гончарных заводах Страффордшира молодые работники постоянно находятся на ногах. Обремененные тяжелой ношей, они беспрестанно ходят из одного места в другое, и возвышенная температура, в которой они работают, еще более усиливает утомительность этого однообразного занятия. Им не дается даже нужного времени для пищи; взрослые, отдыхая, заставляют детей с силой бросать об пол куски глины для того, чтобы выжать из них воздух (to wedge the clay). От этого органы пищеварения скоро слабеют и весьма многие из этих детей умирают чахоткой.

На тюлевых и чулочных фабриках от сидячих занятий здоровые молодых работников и женщин скоро расстроивается. Дети начинают работать так рано и работают так много, что сердце надывается, говорят комиссары, при одной мысли об их участи. Они никогда не бывают на чистом воздухе, и свойство их занятий производит в них почти всегда искривление спинной кости. Самые обыкновенные болезни между ними—золотуха, порча желудка, расслабление глаз. Женщины рожают с большим трудом и очень часто выкидывают.

В тех мастерских, где занимаются набивкой материй, работа редко продолжается более 12 часов в день, со включением в это число часа с половиной на обед. Но эта отрасль Промышленности отличается от всех других тем, что в ней работа особенно неправильна и непостоянна. Иногда она прекращается совершенно на несколько месяцев, иногда безостановочно продолжается несколько недель сряду и днем и ночью. В этих случаях иногда взрослый работник должен прибегать к побоям для того, чтобы будить своего малолетнего помощника, который насилу держится на ногах, и часто в изнеможении падает на пол и засыпает. Были примеры, что ребенок начинал работать в шесть часов утра и оканчивал не раньше, как на другой день часов в девять вечера. Для того, чтобы они не засыпали, их заставляют нюхать табак, или время от времени погружать голову в воду. Вообще продолжительность труда доведена до крайности именно в тех мастерских, где употребляются самые малолетние дети. Только одна Ирландия составляет исключение из этого общего правила, потому что там, вследствие низкой цены труда, фабриканты охотнее употребляют взрослых работников.

В лондонских модных магазинах употребляется около 30 000 молодых девушек. Смотря по обстоятельствам, они работают от 15 часов в день,—это самое малое,—до 18 и даже

до 22 часов. Они никогда не спят более шести часов; обыкновенно сон их продолжается четыре часа, а иногда и вдвое менее. В хорошо устроенных магазинах, где заботятся о здоровье работников, занятия их начинаются в четыре часа утра и кончаются в 11 вечера. Если у королевы прием, если дается какой-нибудь великолепный праздник, если назначен придворный траур, то тогда уж, разумеется, не считаются ни дни, ни ночи; работают даже по воскресеньям, и религиозные обычаи уступают место требованиям моды. Иная аристократическая свадьба стоит жизни трем или четырем бедным девушкам, которые отправляются в больницу и оттуда переходят в могилу в то самое время, как богатая невеста подходит к алтарю в великолепном платье, которое вышло из рук этих несчастных жертв нищеты.

Из числа молодых работников, употребляемых в этих различных отраслях промышленности, весьма немногие посещают воскресные и ежедневные школы. В некоторых дистриктах произведены были испытания, которые показали, что две трети детей не умеют читать; те, которые и умеют, не понимают по большей части того, что читают. Нравственность детей, оставляемых в этом диком невежестве, совершенно соответствует их умственному образованию.

Все эти сведения о работе детей в рудниках, на фабриках и на заводах заимствованы из официальных документов, представленных правительством парламенту. Эти отчеты произвели в Англии столь глубокое и сильное впечатление, что палаты, уступая требованиям общественного мнения, принуждены были снова заняться этим важным вопросом и решились уже распространить свое покровительство на женщин и на молодых работников. Сначала, законом 10 августа 1842 года, запрещено было вовсе употреблять женщин и молодых девушек для подземных работ в рудниках, а детей мужского пола позволено было употреблять только по достижении ими десятилетнего возраста. Этот закон далеко не удовлетворил всеобщим ожиданиям. Парламент отступил при этом от принципа, принятого им в 1833 году, определив только время, с которого должна была начинаться работа детей и оставив без определения число рабочих часов. Такое опущение было в высшей степени несправедливо. Не было никакой причины лишить молодых людей, работающих в рудниках, тех обеспечений, которые дарованы были работникам фабричным. С другой стороны, постановление, относившееся к женщинам, было также весьма недостаточно; исключив женщин из работы на рудниках, парламент должен был предписать правила для их употребления в остальных отраслях промышленности, и действительно, недостаток этот

был так ощутителен, что парламент, решившись исправить его, издал в 1844 году новый закон относительно работы женщин и детей.

Этот новый закон также относится только к тем фабрикам, на которые распространилось действие акта 1833 года. Все остальные отрасли труда не подошли под его предписания, и таким образом следствие 1341 года, раскрывшее столь ужасные и вопиющие злоупотребления, осталось в этом отношении совершенно бесплодным. Далее, новый закон ограничивает семью часами в день продолжительность занятий на фабриках для детей от 8 до 13 лет; и, следовательно, он в одно и то же время уменьшает ежедневное количество труда и понижает срок, назначенный для принятия детей на фабрики, которые через это, естественно, должны сделаться доступными для большого числа молодых работников. Билль, принятый парламентом, определяет еще, что дети, работающие утром, не могут уже работать после обеда. Это сделано преимущественно для того, чтобы доставить детям возможность учиться в свободные часы; закон 1844 года требует, чтоб дети, работающие на фабриках, посещали непременно первоначальные школы и учились в них не менее трех часов в день. Фабриканты от каждого несовершеннолетнего работника должны требовать аттестата, подписанного школьным учителем, в удостоверение того, что работником действительно исполняется эта обязанность. Но и это постановление не может принести большой пользы, потому что не везде существуют школы, и даже там, где они существуют, они далеко не удовлетворяют требованиям эпохи и истинным потребностям народа.

Что касается до женщин, то новый закон запретил им работать более 12 часов в день на шерстяных, шелковых, бумажных и нитяных фабриках. Чтоб понять всю важность этой меры, надо принять в соображение, что на этих фабриках женщины и молодые девушки составляют половину всего числа работников. Организовать труд женщин значило, следовательно, организовать вместе и труд мужчин, потому что фабрика не может действовать, когда половина ее работников перестает работать. Но важность этого правила заключается преимущественно в том, что в законодательство введен новый принцип, который доселе не был принят, и который рано или поздно должен получить дальнейшее развитие. Что же касается собственно до предела занятий, назначенного биллем, то это распоряжение не изменяет значительным образом настоящего порядка вещей, потому что ныне на большей части фабрик этого рода работа и не продолжается более 12 часов в день.

Несмотря на все несовершенства законов, изданных в Англии и в других странах относительно работы детей на фабриках, нельзя не сознаться, что законы эти в настоящую минуту представляют явление весьма важное и весьма утешительное. Они показывают, что правительства европейских государств уже отказываются от своего исключительного благоговения пред неограниченной свободой промышленности, что они уже выходят из своего равнодушного бездействия и стараются принять нужные меры к отвращению тех злоупотреблений и беспорядков, которыми так богат современный индустриальный мир. Английское законодательство в своем развитии не ограничилось заботливостью о детях, но простерло уже, как мы видели, свое покровительство на женщин и на всех несовершеннолетних, и вместе с тем косвенным образом коснулось даже взрослых работников мужского пола. Конечно, от этих частных мер едва ли можно ожидать большего успеха; нельзя думать, чтобы они могли не только искоренить самое зло, но и уничтожить злоупотребления. Тем не менее меры эти важны в том отношении, что в них виден первый шаг к лучшему образу действия, более справедливому и более сообразному с требованиями истинной науки. Ныне государства Западной Европы уже понимают, что любимый принцип экономистов *laissez faire, laissez aller*, при настоящем положении вещей совершенно неудовлетворителен, что он приносит рабочим классам более вреда, нежели пользы, и что там нет свободы, где есть насилие, анархия и угнетение. Если это убеждение существует на самом деле, то нет сомнения, что недалеко то время, когда, не довольствуясь одними частными мерами, приступят к полному и существенному преобразованию хозяйственных отношений и заменят ныне существующее неустойчивое более правильною, твердою и разумною организацией труда!

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Бедность в промышленности земледельческой и отличительные её свойства.— Образ распределения поземельной собственности в Англии и во Франции.—Экономический быт сельских классов в этих двух государствах.—Развитие нищеты в Ирландии —Причины бедственного положения этой страны —Второстепенные причины бедности.— Влияние финансовых законов Англии и Франции на судьбу рабочих классов —Случайные причины бедности.—Причины бедности, зависящие от вины людей.

Бедность существует и развивается не в одних только городах, не в одной только промышленности мануфактурной: она встречается и в селениях, в промышленности земледельческой»

Но земледельческий пауперизм имеет свой особенный характер; между им и пауперизмом городским есть резкое и существенное различие, вполне объясняемое тем особенным свойством нищеты, вследствие которого она развивается вместе с развитием богатства и образованности. Если, как мы уже видели прежде, для обнаружения бедности необходимо нужно богатство, если в душе бедного сознание его несчастья пробуждается только посредством сравнения, то очевидно, что нищета должна преимущественно встречаться в городах, и особенно в городах больших, служащих средоточием торговли и промышленности. Только там находим мы значительное накопление богатств, которое, порождая чрезмерную роскошь, великолепие и блеск, подает повод к самым резким, к самым оскорбительным сравнениям и противоположностям. Притом же в местах, отличающихся особым развитием торговли и промышленности, с наибольшей силой действуют те причины, которыми обусловливается образование нищеты. И действительно, как нищета, так и противоположная ей роскошь обитают почти исключительно в больших городах, в центрах обрабатывающей производительности. Под соломенным кровом деревенских хижин находит себе убежище одна только бедность, часто весьма значительная, но почти всегда бессознательная, почти всегда чуждая тем страшным страданиям, которые составляют необходимое последствие пауперизма городского. Между сельскими обывателями нередко встречаются люди, находящиеся в состоянии самой крайней недостаточности, незнакомые ни с одним из удобств образованной жизни. В деревнях мы часто находим крестьян едва одетых, босых, утоляющих свой голод самой грубой пищей и живущих в грязных хижинах, которые не могут предохранить их ни от сырости, ни от холода. По наружности такие люди представляют все внешние, видимые признаки нищеты; но зло это по большей части бывает им совершенно чуждо; они не сознают и не чувствуют тех лишений, которым подвергаются, потому что потребности их так же ограничены и незначительны, как и экономические средства; желудок нечувствителен к голоду, а огрубевшее их тело, привыкшее к суровости климата, редко страдает от недостаточности одежды и жилища. С другой стороны, почти обыкновенно все жители деревень находятся в одинаковом экономическом положении; в селах не бывает почти никогда так, как в городах, резкой противоположности между огромным богатством с одной стороны, и совершенной недостаточностью с другой; в селах поэтому не может иметь места ни сравнение, ни зависть и ни одно из тех моральных мучений, которые по необходимости порождает нищета. Поэтому-то самых

бедных крестьян нельзя назвать несчастными, ни сравнить их участи с участью работников, даже более достаточных; крестьяне редко жалуются на свою бедность и весьма часто почти вовсе ее не замечают: с страданиями нравственными они незнакомы, а к лишениям физическим они уже привыкли и сделались нечувствительными.

Жители деревень более бедны, нежели несчастны, жители городов более несчастны, нежели бедны. Только две страны Англия и Ирландия составляют исключение из этого общего правила: в них бедность сельских жителей так велика, что производит нищету даже при отсутствии условий, необходимых для ее образования. Те физические лишения, которые сносит английский или ирландский крестьянин, так ужасны и мучительны, что к ним невозможно оставаться равнодушным; они одни, независимо от страданий нравственных, способны пробудить в человеке сознание его недостаточности и несчастья. В Англии и особенно в Ирландии земледельческий пауперизм не только не уступает городскому, но во многих отношениях даже превышает его своей силой и своим объемом. Во Франции, напротив, нищета, согласно с высказанным нами правилом, не проникает в деревни, и притом в этом государстве самая бедность сельских жителей далеко не так значительна, как в других странах Европы. Французские крестьяне не могут, конечно, быть названы богатыми; но они живут по большей части безбедно, пользуются известной степенью достатка, и не имеют права жаловаться на свою судьбу, которая во всяком случае несравненно завиднее судьбы городских пролетариев. Это различие между двумя первостепенными государствами Западной Европы обнаруживается самым очевидным образом из действий общественной благотворительности в той и в другой стране. Между тем, как в Англии и Ирландии общественные подаяния распределяются почти в одинаковой мере между сельскими и городскими жителями, во Франции они идут почти исключительно на пособие последним. Больницы, богадельни, рабочие дома и все благотворительные заведения Франции посещаются и наполняются почти исключительно бедными, принадлежащими к городскому населению и употребляемыми в дело мануфактурной промышленности; промышленность земледельческая доставляет самый незначительный и ничтожный вклад в общий итог официальной нищеты, несмотря на то, что сельское население Франции, простираясь свыше 20 миллионов человек, составляет не менее 60 процентов на сто по отношению к количеству всего народонаселения.

Главная причина этого преимущества Франции перед Англией

заключается, без сомнения, в том различии, которое существует между этими двумя государствами по отношению к образу распределения поземельной собственности. В промышленности земледельческой, точно так же как и в промышленности мануфактурной, положение рабочего класса обуславливается существом и характером тех отношений, в которых находятся между собой производительные силы. Большее или меньшее благосостояние земледельцев или работников зависит и тут от большей или меньшей связи между ними и землевладельцами или капиталистами. В промышленности сельской точно так же, как и в городской, участь рабочих классов всего завиднее тогда, когда производительные силы связаны между собой самою тесною и неразрывною связью, когда капитал и труд соединены в одном лице, когда земледелец есть вместе и землевладелец, когда крестьянин обрабатывает не чужую, а свою собственную землю. Благосостояние сельского сословия прочно и обеспечено в той стране, где поземельная собственность не сосредоточивается в руках привилегированного класса, образуя небольшое число огромных поместий, но раздробляется на множество незначительных участков, к приобретению которых способны лица всех состояний и классов. Крестьяне не подвергаются ни нищете, ни бедности там, где они сами по большей части являются помещиками, где человек, своими руками обрабатывающий землю, всегда может надеяться посредством труда и бережливости приобрести себе со временем частичку ее в собственность и передать в наследство своим детям. В таком именно положении находится Франция, где гражданские законы не только не препятствуют, но, напротив, покровительствуют правильному и справедливому распределению богатств, доставляют труду полную возможность соединяться с капиталом, и дают бедному средство выйти из своего положения и достигнуть посредством труда известной степени достатка. Французское гражданское уложение, изданное при Наполеоне, уничтожило также нераздельность и неотчуждаемость имений, установило ровный раздел наследства между всеми детьми, дало всякому право владеть поземельной собственностью и освободило способы ее приобретения от всяких стеснений и ограничений. Все эти меры приняты были с тою целью, чтобы помешать непродвинутому классу удерживать и сохранять в своих руках поземельную собственность; меры эти не могли остаться бесплодными; и действительно, в самое короткое время они уже успели принести самые полезные плоды и произвести в социальном устройстве Франции чрезвычайно благотворительную реформу. Прежде вся земля раз-

делена была на небольшое число огромных поместий, по большей части совершенно необработанных и покрытых бедными селениями. Фермеров или арендаторов не было; между богатыми помещиками и бедными крестьянами не существовало никакой посредствующей степени. Земледелец, лишенный всяких средств к приобретению поземельной собственности, обремененный налогами и притеснениями всякого рода, презираемый как раб, как будто навсегда был приговорен к нищете, к невежеству, к нравственному унижению. В настоящее время, вредные последствия этого устройства, конечно, еще не совсем изгладились; деревни, которыми покрыта Франция, во многих местах еще весьма грязны, бедны и нечисты; крестьяне еще не освободились от невежества, суеверия и предрассудков; но несмотря на эти печальные остатки прошедшего, богатого несправедливостями, унижением и нищетой, не может быть никакого сравнения между экономическим состоянием крестьян в теперешнее время и в прежние времена. Теперь, благодаря новым законам, одни крестьяне уже сделали землевладельцами; другие не замедлят сделаться. Несколько миллионов французов принимают участие в праве поземельной собственности; обширные поместья праздного класса раздробились ныне на сто двадцать пять миллионов небольших участков, и собственность делится так быстро, что это явление внушает невольный страх людям близоруким, которые боятся, чтобы чрезмерное раздробление, доведенное до крайности, не уничтожило и самой собственности и производительной силы почвы. Такое опасение, впрочем, совершенно несправедливо. В разделении поземельной собственности должно отличать два совершенно разнородные явления: с одной стороны, разделение *права* собственности, которое, во всяком случае, чрезвычайно благотельно для народа, и с другой стороны, раздробление самого *предмета* владения, самого орудия труда, которое, конечно, может сопровождаться весьма вредными последствиями. Чрезмерное деление земли может без сомнения остановить развитие и успехи земледельческой промышленности, потому что при таком делении становится невозможным обрабатывание земли в большем размере и употребление усовершенствованных способов сельского хозяйства. Но это зло легко может быть устранено посредством ассоциации мелких помещиков, посредством соединения их между собой для обрабатывания их участков общими силами и общими средствами. Раздробление почвы не есть необходимое последствие разделения права собственности. Посредством ассоциации весьма легко можно сохранить благотельные результаты второго явления и устранить вместе вредные

последствия первого. Право поземельной собственности может быть раздроблено до чрезмерности, между тем, как самый предмет этой собственности, земля, может и должен оставаться нераздельным и единым.

Франция, поверхность которой состоит из 53 миллионов гектаров, за исключением степей, пустошей, дорог, улиц и застроенных мест, имеет от 40 до 42 миллионов гектаров производительной земли. Это количество распределяется между четырьмя миллионами земледельцев, составляющих пятую часть всего земледельческого населения Франции. Но так как каждый собственник пользуется своим правом не один, а вместе с своим семейством, то надо необходимо принять, что в праве поземельной собственности участвуют не четыре миллиона человек, а четыре миллиона семейств, или, если предположить, что каждое семейство состоит средним числом из четырех человек, шестнадцать миллионов человек. Все эти земледельцы могут быть разделены на три класса. К первому должно отнести мелкопоместных владельцев, числом около 3 500 000, которым принадлежит половина всей производительной почвы; каждый из них обрабатывает сам свой участок, и имеет в своем владении средним числом не больше шести гектаров. Ко второму, классу относятся помещики средней руки, числом около 350 000; им принадлежит почти четверть всей производительной земли, и, следовательно, на долю каждого приходится средним числом не более 30 гектаров. Наконец, третий класс составляют богатые помещики, числом около 90 000, разделяющие между собой остальную четверть почвы и имеющие в руках своих средним числом на 120 гектаров. Из этих цифр ясно видно, что раздробление поземельной собственности во Франции весьма значительно, и что наибольшая часть земли принадлежит тем самым, которые ее обрабатывают, так что труд и капитал в большей части случаев соединяются в одном лице.

Но между тем, как во Франции сорок миллионов гектаров производительной земли разделяются между четырьмя миллионами землевладельцев, в Англии на 20 миллионов гектаров приходится только 600 000 помещиков. Во Франции на долю каждого помещика приходится средним числом не более 10 гектаров земли; в Англии более 33. В первой стране, более половины землевладельцев состоит из крестьян, обрабатывающих почву своими руками; во второй—все помещики принадлежат или к высшему аристократическому сословию, или к мелкому дворянству (gentry); все остальное земледельческое население, простирающееся от 5 до 6 миллионов душ, за исключением немногочисленного класса богатых фермеров, которые

берут помещичью землю в арендное содержание, состоит из простых поденщиков, которые нанимаются для обрабатывания чужой земли и не принимают никакого участия в праве поземельной собственности.

Такое невыгодное для низших классов распределение богатств обуславливается характером и направлением английских гражданских законов. Законы эти до сих пор сохранили еще следы своего феодального происхождения; вполне проникнутые аристократическим духом, они составлены с той целью, чтобы сосредоточить в руках привилегированного класса всю поземельную собственность, чтобы удержать навсегда за богатым его богатство, за бедным—его бедность. Земля в Великобритании доставляет своему владельцу, важные потомственные привилегии, не только гражданские, но и политические, и в руках его составляет залог могущества и влияния, залог неотчуждаемый, неподлежащий никаким взысканиям и охраняемый самим законом от расточительности и от неспособности потомков и представителей прежних феодальных баронов. Английский закон, для того, чтобы упрочить навсегда разьединение капитала и труда в земледельческой промышленности, ограничивает право владельца распоряжаться своим недвижимым имуществом, покровительствует нераздельности и неотчуждаемости поместий, освящает принцип неравного раздела и сохраняет до сих пор майораты, субституции, фидеикомиссы, имения мертвой руки (*manus-mortua*) и все тому подобные учреждения, введенные в эпоху феодализма для того, чтобы утвердить на вечные времена за племенем завоевателей социальный и политический перевес над племенем побежденных. В английских законах о наследстве право первородства составляет общее правило; равенство раздела представляется исключением, особой привилегией, предоставленной законом воле завещателя; если нет завещаний, то земля переходит, на основании юридических начал феодализма, к старшему сыну. С другой стороны, для того, чтобы сохранить поземельную собственность в аристократических семействах, закон, дозволяя ее продажу и покупку, подчиняет эти обязательства самым тягостным и невыгодным для покупателя условиям. Пошлины, которые он должен заплатить при покупке имения, так разнообразны и значительны, что превышают часто самую продажную цену, между тем, как при приобретении земли по праву наследства, закон совершенно освобождает приобретателя от всяких пошлин и взносов. Поэтому можно по справедливости сказать, что продажа недвижимых имений позволена в Англии только для вида; *de facto*¹ она

¹ фактически. — *Ред.*

решительно невозможна; и в этом именно состояла цель закона, цель, которая им совершенно и вполне достигнута.

Легко понять, какое влияние должно иметь такое законодательство на состояние низших классов. При таком устройстве труд никогда не может соединяться с капиталом; крестьянин никогда не может сделаться землевладельцем; он обречен на вечную нищету и никогда не может надеяться выйти из своего несчастного положения. Вся поземельная собственность состоит из небольшого числа огромных поместий, сосредоточивающихся в руках туземной аристократии. Эти помещики (landlords) весьма редко живут в своих землях и почти никогда не управляют ими сами, а по большей части отдают их в арендное содержание другим капиталистам, которые, следовательно, участвуют, наравне с землевладельцами, в пользовании поземельной собственностью. В этом отношении, надо сознаться, эти арендные контракты (bails a ferme) весьма благоприятствуют развитию народного богатства; но условия и существо этих контрактов изменяют значительным образом их благодетельные последствия. Арендаторы суть не что иное, как капиталисты, которые вместо того, чтобы употребить свой капитал на заведение фабрики или завода, обращают его на сельскохозяйственную промышленность. Когда в стране, где земля принадлежит небольшому числу владельцев, находятся, кроме их, люди, имеющие возможность употреблять значительные капиталы на сельскохозяйственные предприятия, то земли естественно должны разделиться на большие фермы, и сельскохозяйственное население должно низойти на ступень простых поденщиков. Эта система обработки земли большими фермами благоприятствует, конечно, успехам сельского хозяйства; но зато, с другой стороны, она доводит большинство работников до самого тягостного и жалкого состояния, до состояния толпы людей, беспрерывно спорящих между собой о работах, раздаваемых фермерами и доставляющих самое незначительное вознаграждение. При таком положении дел, между землевладельцами, арендаторами и крестьянами разрываются все связи, как экономические, так и нравственные; образуется три рода интересов противоположных, исключительных, которые неустрашимо стремятся к своим собственным выгодам, жертвуя постоянно выгодами других. Интерес землевладельца состоит в том, чтобы получить от своего поместил наибольший доход; интерес фермера—в том, чтобы производить как можно более и издерживать на производство как можно менее. Для достижения своей цели арендатор старается употреблять для обработки земли наименьшее число рук; он сокращает, сколько может, число рабочих дней и отсылает при первой возможности

тех излишних поденщиков, в которых он нуждается в известные времена года. Само собой разумеется, что при такой хозяйственной системе никто не может заботиться о судьбе земледельческого населения, которое, вследствие непостоянства работы, вследствие привычки к бедности, само погружается в совершенно апатическую беззаботность и размножается со страшной скоростью, так что число несчастных увеличивается по мере того, как нищета заставляет их огрдничивать свои потребности. Таково именно состояние земледельческого класса в Англии: небольшое число богатых землевладельцев, класс арендаторов, настоящих капиталистов, составляющих также часть аристократии и под ними безыменная и бесчисленная толпа, находящаяся в постоянной и бесплодной борьбе с гнетущей ее нищетой: в борьбе, из которой нет другого выхода, кроме нищенской смерти или переселения в отдаленные страны.

При таком разъединении между разными элементами земледельческого класса крестьяне, само собой разумеется, должны находиться в самом бедственном положении. Они не имеют никакого права на землю ни как землевладельцы, ни даже как наемщики; в настоящее время в Англии нет ни одного общественного пастбища, на котором бедный деревенский житель мог бы откормить свою корову, составляющую единственное его богатство. Крестьяне теперь не более, не менее, как поденщики, которые за самую ничтожную цену отдают себя в наем фермерам для того, чтобы достать себе невыгодную работу, не всегда требующую одинакового числа рук и занимающую каждый день различное число работников. Бедные деревенские жители бывают заняты все без исключения только во время жатвы, и даже в эту благоприятную эпоху самая возвышенная плата, ими получаемая, не возвышается над уровнем безусловно необходимых потребностей. Во все остальное время земля доставляет занятие только весьма небольшому числу работников, и в продолжение большей части года большинство сельского населения живет единственно воровством, нищенством и теми мелкими промыслами, которые в Англии называются в насмешку *Job-work* (ремесло Иова).

Все английские экономисты сознаются, что состояние земледельческих работников с каждым днем становится хуже и хуже. Комиссия, заведующая делами о бедных, в эмиграции видит единственное средство для того, чтобы пособить постоянно умножающейся нищете английских крестьян. Комиссия, вследствие того, постоянно предлагает бедным эмиграцию и содействует ей всеми силами. Несколько лет назад она согласилась пожертвовать довольно значительной суммой (по $1\frac{1}{2}$ фунта стерлингов

на человека), чтобы переместить нищету и переселить ее из земледельческих графств, где она дошла до крайних пределов и где ей нечем было помочь,—в графства мануфактурные, где бедные могли надеяться найти себе работу и вместе с ней кусок хлеба. Но мы уже видели прежде, что надежда эта не могла осуществиться, и предприятие комиссии оказалось совершенно неудачным. Несмотря на то, в Англии продолжают деятельно покровительствовать эмиграции; правительство назначает для этого ежегодно весьма значительные суммы; частные люди собирают беспрестанно подписки и составляют для этой цели особые общества. Но средство это едва ли может принести какую-нибудь пользу. Если бы Англия захотела переселить всех своих бедных в другие страны, нет сомнения, она разорилась бы на одни издержки перевоза. С 1 июля 1836 по 1 июля 1837 года она перевезла на свой счет в Америку 1 179 бедных, что стоило ей около 7 450 фунтов стерлингов. В 1835 году переселено было 5 140 человек; каждый из них обошелся в шесть фунтов стерлингов, и так как оказалось, что средство это стоит слишком дорого, то на следующий год оно уже значительно было ограничено в своем действии. Когда правительство благоприятствует переселению своих подданных в отдаленные земли, которые ему принадлежат, или в которых оно хочет завести колонию, то весьма понятно, что оно решает перевезти в эти земли на свой счет полезных животных и людей; но когда такая могущественная нация, как Англия, тратит огромные суммы только для того, чтобы уменьшить число людей, которым она должна доставлять пропитание, то в этом факте нельзя не видеть самого очевидного признака нищеты. Английское правительство, переселяя своих подданных на свой счет, не обязывает их отправляться в страны, ему принадлежащие: ему только нужно, чтобы они ушли куда бы то ни было,—и большая часть эмигрантов отправляется поэтому не в английские колонии, а в Канаду и в Соединенные Штаты.

Официальные документы, изданные комиссией, заведующей делами о бедных, ясно показывают, что положение английских поденщиков в материальном отношении несравненно хуже, нежели положение антильских невольников. Английский крестьянин подвергается тем же страданиям и тому же унижению, как и невольник, но не имеет того куса хлеба, который обеспечен по крайней мере последнему. Тридцать отцов семейства, принадлежащих к одному из приходов графства Боккингэмского, доведенные до самого крайнего предела нищеты, отправили к одному из комиссаров письмо, в котором изложили подробно

доказательства своего бедственного положения. Комиссар сам посетил этот приход и, препроводя это письмо в комиссию, донес, что все показания, которые в нем содержатся, заслуживают полного вероятия. Из этого документа обнаруживается, что все тридцать семейств не в состоянии были содержать себя трудом и получали поэтому содержание от своего прихода. На долю каждого отца семейства приходилось по семи шиллингов в неделю. Во время жатвы, которая продолжается от четырех до пяти недель, они могли выработать по 15 шиллингов в неделю; но за целый год это была единственная плата, им обеспеченная. Поэтому в продолжение почти целого года они жили единственно тем пособием, которое оказывал им приход. Им нужно было издерживать по четыре шиллинга в неделю на хлеб, по одному шиллингу и девяти денариев на говядину и по 15 денариев на мыло, сахар, свечи и чай; затем им уже решительно ничего не оставалось на одежду, на квартиру и на дрова. Из числа их считались особенно счастливыми те, которые во время жатвы выработывали себе столько, что могли заплатить за наем хижины, обходившейся им обыкновенно в 60 шиллингов. Приведем здесь собственные слова этих несчастных, могущие дать понятие об их горестном положении. «Когда мы представлялись сегодня в 2 часа комиссару», говорят они в своем письме, «то многие из нас со вчерашнего дня не имели во рту куска хлеба... Мы желаем только одного: нанять за самую дорогую цену небольшой уголок земли, на которой мы могли бы посадить для себя картофель; но, к несчастью, никто не соглашается дать нам частичку земли в наем, так что мы поневоле должны прибегать к пособию прихода; иначе нам бы пришлось умереть голодною смертью».

Бедственное положение сельского сословия в Англии доказывают самым очевидным образом те возмущения и волнения, которые беспрерывно обнаруживаются в земледельческих дистриктах. Между тем, как в других государствах сельские классы отличаются спокойствием, смирением, любовью к порядку и тишине, в Англии они беспрестанно возмущаются и восстают против законов и общественной власти. Не проходит почти ни одного года, чтобы какой-нибудь дистрикт не приведен был в расстройство волнениями сельских жителей; и само собой разумеется, что только одна чрезмерная нищета побуждает крестьян к этим противозаконным движениям. Недавнее восстание так называемых ребеккаитов в княжестве Валисском и следствие, произведенное по этому, случаю, показали Англии, как ужасно состояние ее земледельческих классов и какими

опасностями грозит это состояние общественной тишине и народному благоденствию.

Но положение крестьян в Англии можно назвать еще сносным в сравнении с положением их в Ирландии. Ирландия, как известно,—по преимуществу страна нищеты; она указывает собою тот последний, крайний предел, до которого могут дойти бедствия и страдания человечества. Эта земля, которая так же плодородна, как и Англия, населена народом, который буквально *умирает с голода*. Народ этот так неприхотлив в своей пище, что довольствуется одним лумпером, самым низким, грубым и нездоровым сортом картофеля; и несмотря на то, он умирает с голода! Уже одного этого достаточно, чтобы характеризовать положение Ирландии; и мы могли бы ограничиться одним этим фактом, не прибавляя к нему никаких комментариев. Но для того, чтобы ближе познакомить читателей с значением, характером и степенью развития ирландской нищеты, приведем здесь несколько слов из превосходного сочинения Гюстава де Бомона, в котором содержится самое полное и верное описание всех бедствий и страданий этой несчастной страны¹.

«Ирландия представляет вечный и постоянный контраст между богатством и бедностью, контраст, о котором чрезвычайно трудно составить себе надлежащее понятие... В этой несчастной земле взорам путешественника представляются или великолепные замки, или отвратительные избы; он не увидит ни одного здания, которое бы занимало средину между дворцом патриция и хижинкой плебея. В Ирландии нет среднего сословия; в ней существуют только два класса—класс богатых и класс бедных. Первые принадлежат к племени завоевателей; вторые к племени побежденных; первые по большей части англичане, вторые—природные ирландцы; первые—протестанты, вторые—католики.

«Доходы богатого в Ирландии бывают иногда так велики, что превышают всякое вероятие. В этой стране нищеты богатый пользуется самую великолепную участию: у него есть и пышные замки, и безграничные поместья, и горы, и луга, и леса, и озера; часто он владеет такими богатствами в двух, в трех местах разом. Между тем, как миллионы несчастных существ не находят средств для удовлетворения самых настоятельных своих потребностей, богатый не знает, как пробу-

¹ L'Irlande sociale, politique et religieuse, par Gustave de Beaumont. T. I, p. 212—220. (Ирландия в социальном, политическом и религиозном отношениях, Соч. Гюстава де Бомон. Т. I, стр. 212—220. — *Ред.*)

дить желание в своем пресыщенном теле и страсть в своей полуугасшей душе. Хочет ли он, в надежде освободиться от неотвязной скуки, переехать с одного места на другое, ему представляются дороги красивые, удобные, ни в чём неуступающие самым великолепным дорогам Англии. Роскошь и богатство разрезают таким образом со всеми своими удобствами и со всем своим великолепием посреди бедствий и страданий страны.

«Такова та Ирландия, которую устроил себе богатый. Но для того, чтобы видеть ее, надо избрать особую точку зрения, надо остановиться на каком-нибудь небольшом и уединенном пространстве и закрыть глаза при виде всех окружающих предметов; бедная же Ирландия, напротив, сама раскрывается со всех сторон пред взорами наблюдателя.

«Нищета голая и голодная, праздная и нищенствующая, обнимает собой всю страну; она выказывается везде, под всеми формами, во всякую минуту дня. Она первая поражает взор путешественника, пристающего к берегам Ирландии, и с этой минуты она не покидает его ни на мгновение; она является перед ним то под видом больного, показывающего свои раны, то под видом бедного, одетого в рубище; она следует за ним повсюду и осаждает его неотступно; он слышит издали ее плач, крики и вопли; и ее голос или возбуждает в нем глубокое сожаление, или надоедает ему и пугает его. Подобно тем заразительным болезням, которые портят атмосферу, она оскверняет все к ней приближающееся; она достигает до самого богача, который среди своих наслаждений не может отделаться от ее стонов и тщетно силится оттолкнуть от себя эти гадины, которых он сам произвел и которые неотступно к нему привязываются.

«Материальный вид страны производит на путешественника не менее тягостное впечатление.

«Между тем, как феодальный замок, после семи веков существования, сделался теперь несравненно богаче и великолепнее прежнего, вы видите, как вокруг него бедные хижины разваливаются отовсюду и разваливаются навсегда. В Ирландии путешественник встречает развалины на каждом шагу. Я говорю здесь не о тех живописных руинах, которые образуются везде с течением времени и которые украшают собой страну: эти руины принадлежат богатой Ирландии, которая свято сохраняет их, как остатки своего прежнего величия и как памятники славной древности. Я говорю о тех преждевременных развалинах, которые образуются несчастьем, о тех бедных жилищах, которые покинуты своими несчастными владельцами и

которые, указывая только на безвестную нищету, по большей части не возбуждают к себе ни внимания, ни участия.

«Не знаю, впрочем, что внушает более сожаления, покинутое ли жилище, или то, в котором живет бедный ирландец.

«Представьте себе четыре стены из засохшей грязи, которая от дождя очень часто возвращается в свой первоначальный вид; вместо крыши вообразите небольшую кучу соломы или несколько кусков дерна, вместо камина—дыру, неискусно сделанную в крыше, или даже самую дверь, которая иногда представляет единственное отверстие для прохода дыма, и вы будете иметь понятие об ирландских хижинах. В одной и той же комнате живут отец, мать, дед, дети; в этих жалких приютах не бывает никогда мебели; постелью служит для целого семейства одна куча сена или соломы. Пять или шесть полунагих детей лежат перед слабым огнем; под золой валяется несколько штук картофеля, составляющих единственную пищу семьи; посреди комнаты грязная свинья, единственное существо, которое не страдает среди этой отвратительной нечистоты. Присутствие свиньи в жилище крестьянина с первого взгляда кажется в Ирландии признаком нищеты; однако же, на самом деле, оно, напротив, указывает известную степень достатка. Бедность особенно сильно бывает именно в тех хижинах, где нет этого животного.

«Невдалеке от хижины вы увидите небольшое, усеянное картофелем поле, имеющее в поверхности не более одной квадратной десятины; вместо забора, найдете ряды камней, которые навалены друг на друга, и между которыми растут дикие растения.

«Эта хижина, конечно, весьма бедна, однакоже это еще не жилище настоящего бедняка: это жилище ирландского фермера или сельского работника.

«Я сказал, что в Ирландии есть только богатые земледельцы и нет мелкопоместных, что есть только богачи, и после них нет уже никого, кроме бедных. Но эта бедность имеет различные степени и оттенки, на которые я бы желал указать, если бы это было возможно.

«Все ирландцы—бедны, а потому все они питаются только одной самой дешевой пищей—картофелем; но эту общую для всех пищу они потребляют не в одинаковом количестве; одни, и это избранные, едят картофель по три раза в день; другие, менее счастливые, по два раза; третьи, совершенно недостаточные, только по одному разу; есть, наконец, и такие, которые еще беднее, и которые не берут ничего в рот в продолжение целого дня, часто даже в продолжение двух дней.

«Эти лишения, без сомнения, тягостны и жестоки, и, однако— же, надо сносить их, для того, чтобы не подвергнуться еще более страшным бедствиям. Тот, кто ест более, нежели сколько может, и постится менее, нежели сколько должен, тот знает заранее, что ему нечем будет одеться; и вдобавок, даже это благоразумие, это самоотвержение, эти страдания остаются часто совершенно бесплодными.

«С каким бы мужеством ни сносил голода бедный земледелец, единственно для того, чтобы иметь возможность удовлетворить другим нуждам, он по большей части ходит босой и почти голый, и покрывается лохмотьями, переходящими в каждом семействе из рода в род.

«Во многих бедных домах одно и то же платье служит вместе для двух, для трех человек, и это обстоятельство почти всегда заставляет приходских священников служить каждое воскресенье по несколько обеден. Один, выслушав первую обедню, возвращается домой, снимает свое платье и отдает его другому, который потом в свою очередь отправляется в церковь.

«Я видел индийца в его лесах и негра в его оковах; размышляя о их жалком положении, я думал, что вижу перед собой последний предел человеческих бедствий. Тогда мне еще неизвестна была участь бедной Ирландии. Подобно индийцу, ирландец беден и наг; но он живет среди общества, которое стремится к роскоши и уважает богатство. Подобно индийцу, он незнаком с тем материальным благосостоянием, которое составляют человеку промышленность и торговля; но он видит, как некоторые из его собратий наслаждаются этим благосостоянием, к которому он даже не может и стремиться. Посреди самой ужасной бедности, индеец сохраняет известную независимость, которая имеет свою прелесть и свое достоинство. Он беден, наг, страждет от голода, но зато среди своих пустынь он сохраняет совершенную свободу, и сознание этой свободы облегчает его страдания. Ирландец подвержен такой же бедности, не имея такой свободы; он стеснен в своей деятельности правилами и ограничениями всякого рода; он умирает с голода и повинуется законам,—печальное существование, соединяющее в себе невыгоды цивилизации с невыгодами дикой жизни. Без сомнения, ирландец, который только что разбил свои цепи и еще надеется на будущность, в существе дела менее достоин сожаления, нежели индеец или черный невольник. Однако, в настоящее время нельзя не сознаться, что он не имеет ни той свободы, которою пользуется дикий, ни того куска хлеба, который обеспечен рабу.

«Не стану описывать всех проявлений, всех фазисов ирландской нищеты,—от состояния бедного фермера, который постыдится для того, чтобы спасти детей своих от голода, до состояния того крестьянина, менее несчастного, но более униженного, который решается просить милостыню; от безропотной недостаточности, безмолвствующей среди страданий и пожертвований, до той бедности, которая возмущается и на пути насилия доходит часто до преступления.

«Ирландию, в отношении бедности, нельзя сравнить ни с какой другой страной; ирландскую бедность невозможно определить с точностью, потому что она имеет свой особый и совершенно исключительный характер. Она составляет особый тип, которому нигде нельзя найти ни образца, ни подражания. При виде ее сознаешь, что бедствиям народов нельзя положить в уме своем никаких пределов.

«Для того, чтобы познакомить с социальным положением такой страны, нужно рассказывать только об ее бедствиях и ее страданиях. История бедных есть история Ирландии.

«Кто хочет понять ирландскую нищету, тот должен отказаться от всех тех начал, которыми руководствуются обыкновенно в других странах для определения бедности. Обыкновенно бедным называют только того, у кого нет работы и кто принужден просить милостыню; в Ирландии беднее всех те, которые не просят милостыни. Между сельскими жителями весьма много есть таких, которые не прибегают к нищенству, но нет ни одного из них, который не нуждался бы в подавании. Поэтому-то и невозможно сравнивать нищету Ирландии с нищетой других стран. Нельзя даже сравнивать независимого ирландского земледельца (*independant labourer*) с английским бедным (*pauper*). Нет никакого сомнения в том, что самый несчастный из английских бедных имеет лучшую пищу и лучшую одежду, нежели самый счастливый из ирландских земледельцев.

«На основании некоторых неутешительных теорий, у всех народов и во всех странах находится почти всегда одинаковая сумма счастья и страдания, благосостояния и нищеты; отсюда выводят то заключение, что безумно заботиться о бедствиях, которых человек не может ни уничтожить, ни даже облегчить. Проповедующие столь неутешительное мнение, не бывали, вероятно, ни в Ирландии, ни в Соединенных Штатах; они не знают ни той страны, где нищета составляет общее правило, ни той, где она является только в виде исключения.

«Нищета в Ирландии достигает до пределов, неизвестных во всех других странах. То положение, которое в этой земле стоит выше бедности, у всякого другого народа названо было бы

самой ужасной нищетой; нельзя, конечно, не оплакивать участи английских или французских пролетариев, а между тем эти пролетарии в Ирландии составили бы, без сомнения, класс привилегированный. И эти бедствия жителей Ирландии не принадлежат к числу явлений редких, временных и случайных; почти все они постоянны; те, которые не имеют всегдашнего действия, прекращаются только на самое короткое время и почти всегда возвращаются периодически.

«Всякий год, почти в одно и то же время в Ирландии объявляют о начале голода и потом Извещают постоянно о его развитии, о его успехах, о его страшных последствиях и наконец о прекращении его.

«В феврале 1838 года французские журналы объявляли об этом ежегодном вопле ирландской нищеты и о числе людей, которые в течение месяца умерли голодной смертью. Многие думают, одни по эгоизму, другие по человеколюбию, что рассказы об ирландской бедности слишком преувеличены; для них слово «голод», которое употребляют обыкновенно для выражения бедствий Ирландии, есть метафорическое выражение, означающее только чрезвычайную нищету, а вовсе не настоящий термин для изображения состояния людей, действительно голодных и умирающих от недостатка пищи.

«Такая недоверчивость совершенно неосновательна, и неосновательность ее легко может быть доказана.

«В 1727 году, более ста лет тому назад, примас Бультер писал из Ирландии, где он был агентом английского правительства, следующее: «Со времени моего приезда в эту страну (1725), голод не прекращается между бедными. В прошлом году хлеб был так дорог, что несколько тысяч семейств принуждены были покинуть свои жилища и „искать себе спасения в других местах. Бедные погибали сотнями... Many hundred perished”¹.

«В 1832 году у епископа Дойля (Doyle) спрашивали о состоянии сельских классов в западной части Ирландии: «То же, что и всегда», отвечал он: «по обыкновению умирают с голода».—People are perishing as usual.

«В 1837 году горячки, порожденные бедностью и голодом, постигли в Ирландии 1 500 000 человек; из числа их погибло 65 000. В 1826 году вычислено было, что дурное качество пищи послужило причиной 20 000 болезней.

«Во время следствия, произведенного в 1835 году английским правительством относительно социального положения

¹ много сотен погибло. — *Ред.*

Ирландии, следующий вопрос сделан был комиссарами тем корреспондентам, которых они имели в каждом приходе; «Не было ли в последние три года какого-нибудь смертного случая, который бы должно приписать недостатку пищи?»

«И в ответ на этот вопрос следствие вымазывает целую толпу людей, погибших единственно от недостатка пищи. В иных случаях голод служил прямою и непосредственною причиною смерти, в других он только ускорял ее и увеличивал мучения умирающего; одни несчастные погибли от долговременного изнурения; другие—вместе и от болезни и от голода.

«Грустно читать эти отчеты, занимающие 10 томов *in folio*, из которых иные имеют более 900 страниц, и в которых каждая страница, каждая строка, каждое слово указывает и подтверждает нищету Ирландии. И однакоже, в этих отчетах показаны далеко не все бедствия этой страны, не все ее страдания,

«Комиссары, которым поручено было произвести это достопамятное следствие, полагают, что в Ирландии есть около трех миллионов людей, которые ежегодно могут весьма легко впасть в состояние решительной бедности; эти три миллиона людей не только бедны,—они все нищие в полном смысле слова. Кроме этого, есть еще несколько миллионов несчастных, которые не сочтены в этом итоге потому только, что они не умирают с голода».

Это описание несколько не преувеличено; оно вполне сообразно с действительностью и дает самое верное понятие о несчастном положении бедной страны. Причина такого несчастья заключается в исторической судьбе Ирландии, в том, что земля эта не сохранила своей независимости, а подпала под владычество Англии и принуждена была подвергнуться всем тем горестным последствиям, которыми всегда сопровождается порабощение одного племени другим. Завоевание положило начало общественной жизни не в одной Ирландии, но и во всех других государствах Западной Европы; но в других странах борьба противоположных начал окончилась примирением; из разъединенных и разнородных элементов образовалась с течением времени единая и твердая национальность; и племя завоевателей мало-помалу совершенно слилось с племенем побежденных. В Ирландии, совершенно напротив, до сих пор еще не произошло этого слияния и сближения: до сих пор еще завоеватели остаются совершенно чуждыми побежденным; до сих пор не образовалось еще одной общей народности, а существуют два племени, между которыми нет никакой симпатии, никакого единодушия, никакого равенства в правах.

Время изменило только форму разъединения, но самое разъединение оставило в прежней силе. В течение семи веков племя завоевателей не сделало ни одного шага к сближению с племенем побежденным, но зато во все течение этого времени оно не переставало тяготеть над ним всею своей силой. Владычество англичан в Ирландии со времени первого вторжения их в эту страну в 1169 г. до самого настоящего времени, было безжалостным угнетением. В первые три столетия они для того, чтоб упрочить и довершить завоевание, с оружием в руках опустошали Ирландию, повсюду оставляя следы своего Василия и своей жестокости. Не успела прекратиться борьба за независимость, как началась уже борьба религиозная. В XVI столетии, Англия приняла протестантскую религию и хотела заставить ирландцев последовать своему примеру; встретив с их стороны упорное сопротивление, она решилась насильем достигнуть своей цели; это намерение подало повод к кровавой и страшной борьбе, к упорным и продолжительным войнам, продолжавшимся более столетия. С прекращением этих религиозных войн, не прекратились притеснения Англии. Видя, что ирландцы, несмотря на преследование и угнетение, твердо стоят за веру отцов своих, Англия решилась стремиться к той же цели другим путем; убедившись в недействительности насильственных мер, она обратилась к преследованию легальному. Это подало повод к новому угнетению, менее варварскому, но не менее жестокому и еще более безнравственному, потому что оно принимало вид справедливости и опиралось на законы. В настоящее время прекратилось как политическое, так и религиозное преследование, но время не успело еще изгладить следов прошедшего, тем более, что и теперь еще не совершенно уничтожились те причины, которые довели Ирландию до такого плачевного состояния. Следы угнетений и завоевания сохраняются в Ирландии и доселе в ее экономическом устройстве, в образе распределения поземельной собственности и во владычестве английской аристократии над той землей, которая принадлежала сперва самим ирландцам, и которая была отнята у них насильственным и несправедливым образом.

Вся поземельная собственность в Ирландии принадлежит английской аристократии; здесь точно так же, как и в Англии, весь земледельческий капитал сосредоточивается в руках немногих избранных и никогда не может перейти из их рук в руки тех, которые обрабатывают землю и для которых она составляет единственное средство пропитания. Но между Англией и Ирландией существует в этом отношении важное различие, весьма неблагоприятное для Ирландии. В Англии между кре-

стями и землевладельцами¹ существует только различие в интересах, но нет различия в родовом происхождении. В Ирландии, напротив, безусловное разделение капитала и труда, разделение не только экономическое, но и моральное, произведенное историей, укоренившееся в течение веков, и поддерживаемое доселе гордостью английской аристократии, предразсудками национальными и духом законов. В Англии землевладелец чужд только крестьянину; в Ирландии он чужд не только крестьянину, но и самой земле. Все продукты этой несчастной страны потребляются вне ее пределов,—людьми, которые не живут в ней и смотрят на ее жителей, как на племя чуждое, низкое и презренное. Поэтому-то нигде нельзя найти такого разделения между двумя классами производителей, как в Ирландии, нигде не обнаруживается с такой очевидностью справедливость основного правила политической экономии, по которому благосостояние рабочих классов соразмеряется постоянно с той связью, которая существует между капиталом и трудом, с тем отношением, в котором находятся между собой производительные силы.

Богатый ирландский помещик почти никогда не живет в Ирландии, и даже часто случается, что он о своих поместьях имеет самое неопределенное и смутное понятие. Он знает только, что в том или другом графстве есть у него от ста до полутора тысяч десятин земли, и из этих огромных владений он хочет извлечь как можно более дохода, без всяких притом издержек с своей стороны. Эти обширные поместья достались ему или его предкам вследствие конфискации, и—кто знает,—может быть, какой-нибудь новый переворот отнимет у него то, что конфискация доставила его семейству. Так рассуждает обыкновенно помещик отсутствующий; почти так же рассуждает он и тогда, когда живет в своих поместьях; если он и приезжает иногда в свою землю, то весьма не надолго; навсегда он в ней не поселится, потому что Ирландия не есть его отечество и не имеет права требовать от него ни заботливости, ни пожертвований. На этом основании ирландский землевладелец² старается обыкновенно извлечь из своей земли наибольшую пользу, не употребляя на это никаких предварительных расходов; он хочет, следовательно, пожать, не посеяв, и для этого он отдает свои поместья в наймы какому-нибудь спекулятору за известную сумму, которая или выдается единовременно или

¹ В «Отечественных записках» ошибочно — земледельцами, исправлено нами. — *Ред.*

² В «Отечественных записках» ошибочно — земледелец, исправлено нами. — *Ред.*

уплачивается ежегодно. Этот спекулятор, по большей части богатый капиталист, живет или в Лондоне или в Дублине; он нанимает землю в Ирландии не для того, чтобы быть в ней фермером, но единственно с той целью, чтобы сделать из нее предмет более или менее выгодной спекуляции,—а потому, немедленно по заключении контракта с помещиком, старается передать кому-нибудь другому право на обработку земли; причем обеспечивает себе заранее значительный барыш. Обыкновенно он разделяет поместье на известное число участков, во сто, в пятьсот, в тысячу десятин каждый, и участки эти отдает в наймы второстепенным спекуляторам, которые называются *middlemen*¹. Если землевладелец, как случается иногда, живет в своем поместье, то он сам делает это разделение земли и сам непосредственно отдает эти участки низшим спекуляторам. Каждый из этих спекуляторов в свою очередь, расчистив только слегка поверхность почвы, подразделяет еще раз свой участок и отдает его в наймы за самую дорогую цену,—частичками в пять, в десять, в двадцать десятин,—отдает его бедным ирландским крестьянам, которые одни берут эту землю не для денежной спекуляции, но для того, чтобы действительно ее обрабатывать.

Но каким же образом все эти бедные земледельцы станут обрабатывать нанятую ими землю? Где они поселятся? Где найдут они удобное для себя помещение? Позаботились ли помещик и арендатор о постройке жилищ на каждом из этих небольших, отданных ими участков? Само собой разумеется, что нет, потому что для такой постройки нужно было бы положить известный капитал, которым никто из них не хотел жертвовать. Таким образом, крестьянам вручается земля совершенно голая. Но где же в таком случае могут они поместиться? Они сами строят себе помещение из досок, дерна и соломы, и называют эти грязные шалаши своими хижинами. Нанимая землю, они не получают даже никаких земледельческих орудий и должны сами добыть их для себя. Таким образом, во всех других странах помещик дает фермеру вместе с землей дом и орудие работы. В Ирландии, бедный, нанимающий землю, должен сам построить себе хижину и принести свои орудия. Но если богатый не даст капитала, то каким образом может достать его себе бедный? По большей части он вовсе и не достает его и приносит только свой физический труд на такое предприятие, для успешности которого необходим бы был капитал. Он обрабатывает землю дурно, потому что не имеет

¹ посредники. — *Ред.*

средств для надлежащего ее обрабатывания. Но теперь каким же образом, обрабатывая ее дурно, может он заплатить тот огромный оброк, который требуют от него спекулятор, арендаторы и помещики? Само собой разумеется, что на бедного земледельца обрушивается вся тяжесть этих многочисленных контрактов, предметом которых была земля. Землевладелец, отдавший свои земли спекулятору, получает с него известную сумму денег, которую тот возвращает себе с барышом с второстепенных откупщиков; а эти последние, передавая землю бедным фермерам, не только возвращают с них сумму, заплаченную ими спекулятору, но и получают также в свою очередь значительный барыш,—так что крестьяне должны необходимо платить такой оброк, который равняется сперва сумме, заплаченной барышником помещику, а потом всем барышам как самого этого барышника, так и всех других посредствующих лиц.

Напрасно бедные ирландские земледельцы стараются удовлетворить все эти интересы; напрасно надеются они извлечь для себя из этой земли небольшой доход, от которого зависит спасение как их жизни, так и жизни их семейств. Ирландская земля, как она ни плодородна, не может дать всего того, что от нее требуется, и потому бедный хлебопашец, несмотря на все свои усилия, на все свои труды, весьма редко может заплатить свой оброк. Тогда помещик или арендатор выгоняет его из своей фермы, забирает его движимость и продает ее для удовлетворения своей претензии. Но что ж тогда делается с бедным земледельцем, все преступление которого состоит в том, что он взялся за невозможное дело? Так как в Ирландии нет никакого другого промысла, кроме земледелия, то он отправляется искать себе фермы в другом месте, и пока не найдет ее, просит по дорогам милостыни у прохожих, вместе с женой и детьми.

Чему же приписать это ужасное положение ирландских крестьян? Кого обвинить в их несчастной участи? Кажется, на счет причины этих бедствий не может быть никакого сомнения. Очень ошибаются те, которые приписывают их единственно всем этим посредникам, спекуляторам и откупщикам, которых в Ирландии называют *middlemen*. В этих *миддльменах* надо видеть не причину, а следствие. Нельзя не сознаться, что они значительно увеличивают зло, и что для крестьян эти постепенные сделки в высшей степени пагубны. Ближайшее их следствие состоит в том, что они предают землю в руки спекуляторов, которые, не имея интересов собственников, принимаются за обрабатывание фермы, как за предприятие времен-

ное, из которого они должны извлечь себе как можно более выгод в настоящем, нисколько не заботясь, разумеется, о будущем. Другое неблагоприятное последствие этих сделок состоит в том, что между владельцем земли и тем, кто ее обрабатывает, является три или четыре промышленника, которые вмешиваются в это чуждое для них дело только для того, чтобы получить себе незаслуженный барыш. Но во всяком случае главным виновником зла должно считать не спекулятора, а того, кто в своем гордом равнодушии к земле и к тем, которые ее возделывают, предает в руки корыстолюбивых чужеземцев как почву, так и ее жителей.

Впрочем для ирландского крестьянина все равно, имеет ли он дело с арендатором или прямо с землевладельцем. Положение его от этого не будет ни лучше, ни хуже. Он не возбуждает к себе симпатии и сочувствия ни в помещике, ни в откупщике; одинаковое безмерное корыстолюбие воодушевляет как того, так и другого; одинаковый узкий эгоизм ожесточает их и *ослепляет*. И тот и другой имеют в виду одну цель — отдать землю в наймы за самую дорогую цену; и тот и другой ни мало не заботятся о физическом и нравственном состоянии своего фермера. Они остаются совершенно нечувствительными, как при виде его успеха, так и неудачи, как при виде его счастья, так и бедствий; человек этот занимается их землю, но они смотрят на него, как на чужеземца, и требуют от него только уплаты договорных денег. Поэтому-то, когда он рассказывает им о своей бедности и о своих несчастьях, они отворачиваются от него и не хотят даже слушать его жалобы: они приходят к нему только для того, чтобы требовать денег... Если случайным образом между владельцем и крестьянином устанавливаются какие-либо сношения, если случится крестьянину работать для землевладельца, или продавать ему какой-нибудь товар, то можно быть заранее уверену, что помещик без всякого угрызения совести воспользуется простодушием бедного земледельца и обманет его самым безжалостным образом. Что за дело до бедствий этих несчастных миддльмену, который приезжает в Ирландию только на время, чтоб составить себе состояние и возвратиться потом в свое отечество? «Чего требуете вы от меня?» говорит землевладелец при виде этих страшных бедствий: «я не могу ничего сделать; я уступил свое право арендаторам, которые пользуются им, как хотят». И всего чаще от землевладельца бедный не услышит даже и этих слов, потому что аристократ-помещик по большей части и не видит тех бедствий, источник которых заключается в нем самом. В своем лондонском дворце

он не слышит тех криков отчаяния, которые выходят из ирландской хижины; живя под чистым и светлым небом Италии, он не знает, что в Ирландии гроза уничтожила жатву несчастных его фермеров, что в холодной Гибернии сделался неурожай, что бедные люди, поселенные на земле его, впали в нищету; да и знать это ему нет никакой надобности. Он очень хорошо знает одно,—именно, что его ирландские фермеры должны заплатить ему 20 000 фунтов стерлингов, что его образ жизни устроен сообразно с этой суммой, что деньги эти должны быть уплачены ему в известный срок и что он не может дать ни одного дня отсрочки, не нарушив своих обыкновенных привычек, не изменив порядка своих наслаждений и своих удовольствий.

Мы уже видели, что в Ирландии земля, сосредоточиваясь в руках немногих владельцев, распределяется потом между бесконечным количеством небогатых крестьян, которые нанимают небольшие участки в пять, в десять, в двадцать десятин. Но тут естественно рождается вопрос о том, каким образом и откуда достают для своей земли помещики такое количество земледельцев? Каким образом предложение труда может всегда удовлетворять требованию? Для того, чтоб понять это, надо заметить, что в Ирландии не существует никакого другого промысла, кроме обрабатывания земли. Все католическое население, как по своей бедности, так и по политическому устройству страны, неспособно ни к службе государственной, ни к приобретению поземельной собственности, ни к промышленности, ни к торговле; а потому, не имея перед собою никакого другого поприща, кроме земледелия, оно естественно кидается на землю, которая одна только для него доступна, и покрывает ее собою, не оставляя на ней ни одной незанятой частички, ни одного пустого уголка...

Но в стране, где земледелие составляет единственное средство существования, какова должна быть судьба тех, которым не удастся достать для себя куска земли в наем? Что станет в такой стране с бедным крестьянином, выгнанным из фермы, если он не может найти себе фермы в другом месте? Какова должна быть участь детей каждого небогатого фермера? Представим себе небольшое владение, плодами которого с трудом может жить один только крестьянин; положим, что у него пять человек детей (число весьма незначительное для ирландской семьи); его единственная мысль, его единственное желание состоит в том, чтобы найти ферму для каждого из них; но ему не удастся исполнить своего намерения, потому что все фермы уже заняты, нет ни одной пустой. Надо заметить, что

этот вопрос—вопрос важный и существенный, потому что обработка земли в Ирландии составляет единственный промысел, единственное средство пропитания, так что бедному надо, во что бы то ни стало, добыть себе кусок этой необходимой для него земли; если он не добудет ее, он не будет иметь никакого средства к существованию и неизбежно должен будет умереть с голода.

Этим совершенно объясняется та необыкновенная конкуренция, которую возбуждает в Ирландии земля. Земля в этой стране походит на крепость, которая вечно осаждается и защищается с равно неутомимой деятельностью; только в стенах этой крепости человек может спасти жизнь свою. Счастлив тот, кто может проникнуть во внутренность этой цитадели: он должен вести в ней жизнь воздержанную, строгую, горестную; но в ней он по крайней мере живет и спасается от смерти, а потому, раз попав в это укрепление, он крепко ухватывается за него обеими руками, и надо изувечить его тело, чтобы оторвать его от этого спасительного оплота. В высшей степени горестно положение того, кому не удастся достигнуть этой цели; если он не умрет с голода, то делается нищим или вором. Из этого следует, что фермер, который хочет доставить пропитание своему семейству, должен необходимо подразделить свою ферму на столько частей, сколько у него детей; между тем, как у отца было двадцать десятин земли, каждому из сыновей достается только участок в пять, в шесть десятин; и тогда на ферме, где прежде стояла одна хижина, воздвигается их несколько. Но сын в свою очередь имеет детей, для которых он сделает то же самое, что сделал Отец его; и таким образом это раздробление земли будет увеличиваться постоянно и дойдет до того, что целое семейство будет иметь в своем владении не более, как половину или даже четверть десятины, так что крестьянину физически сделается невозможным жить на таком ничтожном участке. Вот почему в настоящее время часто случается, что триста или четыреста бедных фермеров живут кое как на земле, которая прежде отдана была в наймы весьма немногим. И однакоже, несмотря на это накопление земледельцев, живущих на самом тесном пространстве друг подле друга, очень часто случается, что, по недостатку места, известное число тех, которые родились на этой земле, должны покинуть ее и искать себе фермы у другого землевладельца.

Они покидают землю, а между тем одна земля может доставить им пропитание. Понятно, что они должны употребить все возможные усилия для доставления себе в другом

месте нового участка. Но число фермеров несравненно значительнее числа ферм; а потому конкуренция должна естественно увеличить до чрезмерности наемную цену последних. В Ирландии, тому, кто не хочет умереть голодною смертию, необходимо иметь по крайней мере десятину или полдесятины земли а потому крестьянин должен достать ее себе во что бы то ни стало, за какую бы то ни было цену, на каких бы то ни было условиях. По-настоящему, за наем такой десятины не должно бы было платить более 4 фунтов стерлингов; но в случае конкурса между фермерами эта нормальная цена возвышается значительно; один предлагает помещику вдвое более против настоящей цены; другой дает 10 фунтов стерлингов третий предлагает 20,—и земля, разумеется, отдается последнему; в срок, назначенный для уплаты, он, конечно, не в состоянии будет заплатить этой суммы, но по крайней мере ему удастся поддержать свое существование в течение целого года.

Таким образом тот, кто платил уже огромный оброк, по милости конкуренции, должен платить еще более, чтобы удержать за собой ферму. Он может, правда, отказаться от увеличения наемной цены; но тогда ему предстоит одно из двух: или он не согласится на требование владельца, и тогда владелец выгонит его из фермы; или он согласится, и тогда почти заранее уверен, что не в состоянии будет выполнить свое обещание и рано или поздно все-таки будет выгнан владельцем по наущению, может быть, какого-нибудь нового искателя. Но в стране, где земля составляет единственное средство пропитания, нельзя оставить этой земли, а потому он остается на своей ферме и соглашается на все, чего от него требуют; ему очень хорошо известно, что из тысячи человек, одному только удастся выполнить такое обещание, и, несмотря на то, он решается попробовать счастья в этой страшной лотерее, хотя заранее знает, что ему нет никакой надежды на выигрыш.

Конкуренция земледельцев относительно земли возвышает наемную ее цену больше, может быть, нежели самая жадность владельца и миддльмена. Не может быть ничего ужаснее состояния этих бедных землепашцев, которые привязываются к земле и только увеличивают свою нищету теми сверхъестественными усилиями, которые употребляют для борьбы с нею. Эта нищета увеличивается в совершенно одинаковой пропорции с увеличением народонаселения; и в настоящее время в Ирландии насчитывается 2 600 000 нищих, т. е. 2 600 000 человек, которые или не имеют земли и просят милостыню, или имеют

слишком малый участок, недоставляющий им средств пропитания.

Это экономическое устройство, пагубное для фермера, невыгодно и для землевладельца. Помещик или его откупщик, обманутый сначала великолепными обещаниями искателей, убеждается наконец в их лживости; ему надоедает получать так мало от земли, которую он отдает в наймы за такую дорогую цену; ему надоедает прибегать беспрестанно к жестокостям, из которых одни только полицейские чиновники извлекают для себя выгоды; он узнает, что нисколько не обогащает себя тем, что разоряет своих фермеров. «Все зло», говорит он иногда сам себе: «проистекает от этого бесчисленного множества земледельцев, которые только пожирают, а не оплодотворяют землю. Это зло могло бы прекратиться, если бы можно было, вместо этого множества маленьких ферм, завести несколько больших; такая система сельского хозяйства употребляется и в Англии и в Шотландии: пора бы ввести ее и в Ирландии; время переворотов уже прошло; воспоминание об них с каждым днем изглаживается более и более из памяти; почва, доселе колебавшаяся под нашими ногами, теперь укрепилась совершенно, и потому я теперь в свою землю уже без опасения могу положить капитал более или менее значительный».

Вследствие такого рассуждения, землевладелец решается заменить множество маленьких ферм незначительным числом больших; но для достижения этой цели он должен прежде всего выгнать всех этих небогатых фермеров, покрывающих его землю; только совершив это изгнание, может он приступить к новому распределению своей собственности. Прежде он пользовался бедными фермерами, потому что, не имея капиталов или не решаясь рисковать ими, нуждался в этих людях; теперь у него в руках капиталы, которые могут доставить ему более выгодный способ обрабатывания; он уже решается употребить их в дело, и так как он перестает иметь надобность в фермерах, то и прогоняет их безжалостно с своей земли. Но что же станется с этими двумя или тремястами земледельцами, которые совершенно неожиданно получают приказание оставить свои хижины? Само собой разумеется, что эта мера губит их, и притом это далеко не то, что обыкновенное изгнание того или другого фермера; обыкновенно, на место уходящего немедленно приходит другой: тут, напротив, уходят сотни земледельцев, остаются только два или три,—так что это внезапное изгнание повергает с одного раза несколько сот человек в самую крайнюю, самую ужасную нищету.

Из этого видно, какие противоположные интересы, какие разнородные страсти возбуждает в Ирландии обладание землею. Фермеру землевладелец приказывает оставить землю, но фермер не исполняет этого приказания, которое для него составляет то же, что смертный приговор; не успел он его выслушать, как уже перед ним восстает голод—страшное привидение, готовящееся привлечь в свои объятия его самого, жену его, детей. Он постигает тогда всю глубину своего несчастья, весь ужас своего положения; он переходит постепенно от сознания к горести, от горести к отчаянию, от отчаяния к унынию. Но вдруг чело его озаряется лучом надежды. «Не пойти ли мне», думает он: «к самому владельцу, не рассказать ли ему о тех страшных бедствиях, которым он меня подвергает. Если он увидит жену мою, исхудалую от лишений, детей моих бледных и голодных, то без сомнения будет тронут и оставит нам нашу бедную хижину по крайней мере еще на несколько дней». Несчастный обманывается; напрасно бросается он к ногам своего господина, напрасно плачет, рыдает, умоляет его: богатый в Ирландии не чувствует сострадания к бедному в этой стране бедный должен сохранять свое достоинство, беречь свою гордость; унижаясь перед богатым, он не извлечет из этого никакой пользы: богатый будет наслаждаться его унижением, и не поможет нищете его. Бедный фермер, выслушав жестокий отказ, безмолвно возвращается к себе домой, и пораженный несчастьем, с которым он не в состоянии бороться и которого не может равнодушно сносить, не имеет силы ни думать, ни действовать и остается неподвижен в своей хижине, не повинясь неоднократно повторенному приказанию уйти из неё с своим семейством. Тогда землевладелец прибегает к правосудию, и правосудие постановляет приговор, на основании которого крестьянин должен оставить землю; за непослушание суд утроивает ту сумму, которую он должен заплатить своему помещику. Этого несчастного выгоняют за то, что он не мог заплатить своего оброка; что сделает он теперь, когда ему приходится заплатить втрое более, чем прежде? Вскоре пред ним являются два констабля, читают ему приговор, на основании которого он должен немедленно оставить это место, и захватывают все вещи, которые находят у него в хижине для того, чтоб заранее обеспечить себе возмездие за свои труды. Все это исполняется посреди раздирающих сердце криков, посреди страшных проклятий, которые, если бы дошли до ушей богача, отравили бы конечно его наслаждения не одним справедливым угрызением совести; но между тем, агенты общественной власти исполняют свою обязанность:

в жилище фермера все схвачено и опечатано, и бедных жителей этой хижины выгоняют наконец из нее. Констабли уходят, унося свою добычу. Но на другой день в хижине снова является фермер с своим семейством; только одна материальная сила могла изгнать их оттуда; как скоро сила эта исчезла, они снова появляются. Их выгнали насильно с этой земли, доставлявшей им кусок хлеба; но так как вне этой земли для них нет спасения, то они поневоле должны на нее возвратиться. Тогда землевладелец прибегает к последнему средству, которое одно может освободить его от этих неотвязных и упрямых тварей: он приказывает разрушить хижину и таким образом, изгоняя уже окончательно ее жителей, навсегда освобождается от них.

Эти жестокости с каждым днем усиливаются; эти суровые меры повторяются беспрестанно, и бедные земледельцы, выгоняемые отовсюду, таскаются вместе с своими семействами из хижины в хижину, и везде находят ту же жадность, ту же бесчеловечность, те же притеснения, везде подвергаются тем же бедствиям, тем же страданиям, той же крайности несчастья и нищеты

Таково положение несчастной Ирландии; таково состояние ее земледельческого класса. И все эти бедствия, все эти страдания должны быть очевидно приписаны одной только главной и существенной причине, одному основному недостатку экономического устройства, недостатку, на который мы уже указывали столько раз, и на который считаем не излишним указывать беспрестанно и поминутно. Настоящий и прямой корень зла заключается в разъединении производительных сил, в их враждебном соотношении и в том огромном неравенстве, которое существует между ними; все остальные несовершенства к язвы экономического устройства обуславливаются без сомнения этим коренным недостатком и вытекают из него, как необходимые его последствия.

Но разъединение между производителями в Англии и в Ирландии не ограничивается одним разрывом экономических интересов и нравственных связей: оно проникает и в политическую сферу. Вся политическая власть сосредоточивается в руках одного класса—в руках аристократии поземельной или промышленной, феодальной или денежной. Законодательные собрания Англии состоят почти исключительно из людей, владеющих капиталами земледельческими и мануфактурными, или из людей, находящихся под их влиянием и действующих соответственно с их видами. Законы издаются, таким образом, одними капиталистами; сверх того, все управление, как центральное,

так и местное, сосредоточивается почти исключительно в их руках; мирными судьями в графствах бывают или лорды или богатые землевладельцы; из землевладельцев также назначаются те местные чиновники, которым поручается распределять подати И располагать ими. Таким образом законы и издаются и исполняются одним только сословием, интересы которого чисто и прямо противоположны интересам большинства. Понятно после этого, почему до сих пор Англия упорно сохраняет свои феодальные законы о разделе поземельной собственности,—законы очевидно вредные и, несообразные ни с духом времени, ни с истинными интересами нации. Но самым очевидным и неблагоприятным образом отражается это господство и влияние аристократии, по отношению к законодательству и управлению, в той финансовой системе, которой следует в настоящее время Англия, и которая направлена прямо и непосредственно к разорению низших классов.

Способ взимания и употребления податей в Англии принадлежит, без сомнения, к числу наиболее деятельных и наиболее энергических причин той страшной нищеты, которая существует в этой стране. Податная система Англии сосредоточивается почти исключительно в налогах на потребление предметов первой необходимости. Многие экономисты выхваляют такого, рода подати, потому что они не прикасаются к капиталу и как будто дают каждому возможность участвовать по мере нужд своих в несении общественных повинностей. Другая выгода,;: проистекающая от налогов на потребление, состоит в том, что они взимаются понемногу, частичками бесконечно малыми и в каждую минуту жизни смешиваются с естественною ценою предметов, и таким образом неприметно, мало-помалу разоряют народ и постепенно доводят его до ирландской нищеты. В настоящее время, между благонамеренными и добросовестными экономистами никто уже не сомневается в вредных последствиях этого рода налогов, которые имеют самое неблагоприятное влияние на состояние низших классов и приносят пользу одному только классу капиталистов. Читателям «Отечественных Записок» уже известно, что английские законы о торговле хлебом принуждают народ платить огромную подать землевладельцам; что хлеб и мясо, употребляемые работником, доставляют помещику барыш, соответствующий тому различию, которое существует между ценою этих предметов в Англии и ценою их в других государствах. Таким образом, народное продовольствие в Англии предоставлено нескольким лицам в монополию; а голодные желудки английских бедных для землевладельцев составляют самый обильный источник дохода. Английский работник может

только есть тот хлеб, который продают ему помещики, разумеется, за такую цену, которая назначается ими самими. Так как народонаселение в Англии весьма многочисленно, а земля, даже и в хорошие годы, с трудом может произвести достаточное количество хлеба, то понятно, что как требование на этот продукт, так и цена его всегда бывают весьма значительны. Этот косвенный налог, уплачиваемый бедным народонаселением богатому, так огромен, что низший класс в настоящее время по большей части не имеет уже возможности приобретать себе хлеб за такую дорогую цену, и питается, подобно ирландскому народу, одним только картофелем.

Налоги на потребление других предметов, необходимых для существования английского работника, как-то: крепких напитков, чая, сахара, соли, табака составляют, вместе с таможенными сборами, почти весь доход Великобритании. Все эти налоги по существу своему совершенно соответствуют поголовной подати; они возлагают на население, живущее трудом своим, все бремя общественных повинностей. Если б предложить экономистам, чтоб они выдумали самое верное и самое действительное средство для того, чтоб нечувствительно отнять у рабочего класса почти все, что он производит, то, вероятно, ни один из них не мог бы выдумать ничего лучше системы английских налогов. Посредством этой системы извлекаются самые значительные доходы даже из тех людей, у которых нищета отнимает возможность удовлетворять самым необходимым потребностям; до самой последней минуты жизни бедный не перестает делить с фиском те незначительные доходы, которые доставляют ему труд и благотворительность общественная. Известно, что нищета, подавляя в человеке его разумно-нравственную природу, внушает ему страсть к пьянству,—страсть непреодолимую, в удовлетворении которой он ищет забвения своих мучений, и пьянство представляет самый обильный источник доходов для английского казначейства. Самый отвратительный кабак, торгующий пивом и крепкими напитками, приносит фиску гораздо более барыша, нежели владелец огромного поместья, или богатый купец лондонской Сити.

Все те колоссальные издержки, которые должна была принять на себя Англия во время войн с Наполеоном, покрыты были преимущественно потребителями пива, табака и соли. Для удовлетворения своим необходимым нуждам, для поддержания системы субсидий, Англия нуждалась в огромном количестве денег; она заняла эти деньги у своих капиталистов за огромные проценты, и капиталисты охотно согласились дать ей займы, зная, что долг их обеспечен был трудом всего рабо-

чего народонаселения как Англии, так и других подвластных ей стран. Но Англия, *заняв у богатых, взяла у бедных*, и то, что получила она от последних, доставило ей возможность исполнить великолепные обещания, сделанные первым. Таким образом, для того, чтоб удовлетворить нуждам общественным, богатые дали капиталы свои займы, а бедные отдали свои деньги просто, не получив никакого вознаграждения за свое пожертвование. Это доказывают самым ясным образом те финансовые меры, которые приняты были во время войны для покрытия издержек: все они состояли в возвышении налогов на предметы потребления, на предметы, решительно необходимые для большинства английских работников. В течение десяти лет с 1800 по 1810 год, в налогах этого рода произошли следующие изменения: такса на солод возвысилась от 10 шиллингов и 6 денариев до 34 шиллингов; на пиво—от 9 шиллингов и 5 денариев до 17 шиллингов и 10 денариев; на чай—от 20 процентов со ста до 96; на соль от 14 шиллингов до 20; табачный акциз удвоился в этот период времени. Таким образом, вся тяжесть войны обрушилась на рабочие классы, мнимым и наружным благоденствием скрылось на время то вредное влияние, которое имели на народонаселение система податей и чрезмерное увеличение налогов. Капиталисты, получая огромные проценты за те суммы, которые даны были ими государству в заем, увеличили значительным образом спрос труда, что дало возможность народу уплатить те повинности, которые были на него наложены; но это мнимое благоденствие продолжалось недолго: немедленно по заключении мира обнаружилось со всею очевидностию, что рабочий класс разорен совершенно и изнурен своими сверхестественными усилиями, что число бедных удвоилось, и что английский народ купил ценою самой страшной нищеты торжество своей аристократии.

Что касается до Франции, то в этом государстве финансовая система гораздо сообразнее с истинными интересами народа, нежели в Англии, где она приносит выгоду одной только аристократии. Но и французская система заключает в себе также весьма много несовершенств. Во Франции также существуют налоги на потребление, которые не так возвышенны, как в Англии, где при незначительности поземельной подати они составляют самый обильный источник дохода, но *которые*, несмотря на то, имеют самое неблагоприятное влияние на судьбу рабочих классов. Эти налоги, точно так же, как и в Англии, падают главным образом на предметы народного потребления и распределяются почти в одинаковой степени, без различия состояния, на всех членов государства; из числа их особенно

тягостны и обременительны для бедных классов питейные сборы, которые принимают несколько различных форм. Кроме этих налогов, называемых непрямыми, несмотря на то, что они очень прямо падают на рабочие классы, в каждом городе Франции собирается особый налог с потребления предметов первой необходимости—крепких напитков, говядины, дров. Эти городские сборы (*octroi*) суть не что иное, как поголовная подать, которая берет ежегодно в Париже по 30 франков с каждого жителя и по 131 франку с каждого семейства, если предположить, что каждое семейство состоит из четырех человек с половиной; в Лионе она берет по 15 франков с человека, по 67 с семейства. Эта поголовная подать тяготеет в одинаковой степени как над бедным, так и над богатым; самое существо продуктов, подлежащих городскому сбору, доказывает, что при этой системе вся выгода на стороне богатого. Между тем, как с достаточного человека она требует не более двадцатой или тридцатой части дохода, у бедного она отнимает по крайней мере шестую часть его задельной платы. Многие экономисты защищают однакоже эту несправедливую систему: «подати, собираемые городами,—говорят они,—назначены преимущественно для пособия бедным, для содержания больниц и благотворительных заведений, а потому самая справедливость требует, чтоб эти сборы падали преимущественно на предметы первой необходимости». По силе этого мнения, в городских сборах надо видеть нечто вроде взаимного страхования в пользу бедных. Подобные идеи, конечно, не заслуживают и опровержения,—их можно приводить только в пример тех странных ошибок, до которых доходят иногда вследствие недобросовестного оптимизма. Пособия, оказываемые во Франции благотворительными заведениями, не превышают средним числом 10 франков на человека; таким образом, в Париже, например, бедному семейству дается милостыни 45 франков, между тем, как, в вознаграждение за это подавание, семейство должно заплатить подать в 130 франков: нельзя не сознаться, что благотворительность в таком случае составляет самую выгодную из *всех* отраслей промышленности

Надо бы написать целое специальное сочинение, чтоб означить влияние различных налогов на экономическое состояние целого народа и отдельных его классов. Не станем распространяться об этом подробнее, потому что это увлекло бы нас слишком далеко и отклонило бы от настоящего предмета наших исследований. Заметим здесь только, что не один способ взимания податей действует неблагоприятно на судьбу рабочих классов: способ употребления их имеет не менее вредное влия-

ние, и в государствах Западной Европы народ немало страдает от огромного перевеса непроизводительных издержек над производительными и от тех финансовых начал, на основании которых правительства поглощаются и уничтожаются бесчисленное множество ценностей единственно для удовлетворения минутным, временным нуждам без всякой пользы для будущего.

Мы исчислили теперь если не все, то по крайней мере важнейшие недостатки современного общественного устройства, обусловливающие собою и существование и развитие пауперизма в Англии и Франции. Но наряду с этими общими причинами нищеты, составляющими необходимое последствие нынешней экономической организации и действующими на судьбу рабочих классов постоянно и безостановочно, можно было бы насчитать множество других причин частных, временных и случайных, зависящих иногда от внешних обстоятельств, иногда от вины самих людей. Этого рода причины не производят, конечно, бедности и не могут быть названы источниками пауперизма, как язвы общественной; но они с другой стороны содействуют в известной степени развитию пауперизма тем, что имеют вредное влияние на судьбу если не целых классов общества, то по крайней мере на судьбу некоторых отдельных его членов. Одни из этих частных и случайных причин бедности индивидуальной не зависят от воли и поступков людей, а происходят единственно от различного рода несчастных обстоятельств, к числу которых должны быть отнесены войны, внутренние смуты, пожары, неурожаи, наводнения и тому подобные враждебные действия природы. С другой стороны, так как в современных обществах огромное число людей не имеет других средств существования, кроме труда, то к этой же категории причин бедности должны быть отнесены все несчастные случаи, делающие работника неспособным к работе и лишаящие его возможности зарабатывать себе пропитание,—болезни, недуги временные и неизлечимые, старость, телесные недостатки и природную неспособность к работе. Из одного простого поименования этих причин уже видно то влияние, которое они могут и должны иметь на судьбу людей, которых постигают такие несчастия; но вообще говоря, такого рода причины, не завися от общественного устройства и имея только действие временное, частное и случайное, не могут обращать на себя внимание науки в той же мере, как причины постоянные, общие и необходимые. С другой стороны, против этих несчастных случаев, независящих от человеческого произвола, не могут быть употреблены никакие средства предотвратительные; эти причины бедности не могут быть

уничтожены в самом их источнике ни частными людьми, ни общественною властью, и самая наука не может указать по отношению к ним никаких предупреждающих способов. Вредное действие их может быть только ослабляемо, уменьшаемо, отчасти даже вовсе изглаживаемо, и в этом состоит назначение благотворительности общественной и частной. Благотворительность должна помогать и действительно помогает в большей части случаев тем бедным, которые сделались жертвами неблагоприятных обстоятельств без всякой вины с их стороны; благотворительность должна стараться облегчить их страдания и вознаградить их за несправедливость судьбы,— несправедливость, которую общество не может предотвратить, но может и должно по крайней мере загладить.

Что касается до причин бедности, зависящих от вины самих людей, то на них до сих пор обращали слишком много внимания и приписывали им слишком много важности, преимущественно потому, что для некоторых людей весьма выгодно и удобно возлагать на самих бедных ответственность за те несчастья, в которых виновно одно только общество. В течение довольно долгого времени наука весьма равнодушно смотрела на постепенное развитие пауперизма и слегка касалась этого важного вопроса; отрицая упорно истинные причины зла и все самые очевидные несовершенства экономической организации, она доказывала, что бедность происходит или от внешних, случайных обстоятельств, или от вины самих людей; что в этом заключается единственный источник зла; что в бедствиях этих общество несколько не виновно; что оно не может никогда уничтожить их совершенно, и что единственная его обязанность состоит в том, чтоб несчастье незаслуженное облегчать посредством благотворительности, а бедности виновной противопоставлять наказание и строгость закона. Такое направление было весьма удобно особенно для тех людей, которых личный интерес тесно был связан с сохранением несправедливого и неразумного порядка вещей, и которые в своем узком эгоизме заботились только о своих выгодах и оставались совершенно равнодушными к страшным бедствиям своих братьев. Такое поверхностное объяснение фактов и явлений, относящихся к пауперизму, освобождало и общество и науку от обязанности проникать глубже в существо зла и в его источники и отыскивать средства к его уничтожению. Но в настоящее время, когда понятие о правде и справедливости распространяет с каждым днем свое господство над сферой общественных явлений, такой своекорыстный и жестокий взгляд на эту важную и мрачную сторону народной жизни сделался уже невозможен.

Теперь в государствах Западной Европы все те, которые не ослеплены предрассудками и преданиями прошлого, ясно понимают, что бедность низших классов проистекает не от них самих, но от других более глубоких, более существенных причин, и что в высшей степени было бы жестоко и несправедливо вменять людям такие несчастья, в которых они вовсе не виноваты. Нет никакого сомнения, что в некоторых частных случаях нищета представляется достойным и заслуженным возмездием за безнравственность, за пороки и преступления. Нет никакого сомнения, что бедный может сам сделаться виновником своей нищеты, что он может увеличить ее своими поступками, и что обыкновенные пороки низших классов—леность, распутство, наложничество, бродяжество и пьянство—могут одни весьма легко довести человека до самого бедственного экономического состояния. Но при этом не должно забывать, что эти нравственные причины нищеты принадлежат к разряду причин второстепенных, что они действуют только косвенным образом на состояние низших классов, что самые пороки бедных бывают не столько причиной, сколько следствием нищеты, которая сама служит самой энергической причиной развращения и упадка рабочих классов. Этих обстоятельств не должно забывать, потому что они предупреждают несправедливые и слишком поспешные приговоры общественного мнения и оправдывают до известной степени в глазах каждого беспристрастного судьи ту деморализацию, которая, к сожалению, составляет в настоящее время почти неизбежный удел низших классов в обществах Западной Европы. Справедливость этого мнения о необходимом влиянии нищеты на физический и нравственный упадок рабочего населения постараемся мы доказать подробнее в следующей статье, посредством одного простого исчисления всех тех последствий, которыми неизбежно сопровождается пауперизм как по отношению к индивидуумам, так и по отношению к обществу.



ОПЫТ О НАРОДНОМ БОГАТСТВЕ ИЛИ О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

СОЧИНЕНИЕ АЛЕКСАНДРА БУТОВСКОГО.
ТРИ ЧАСТИ. Спб. 1847

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Современную критику часто обвиняли в последнее время в дурной замашке навязывать беспрестанно, кстати и некстати, свои идеи читателям, распространяясь с неуместной плодотворностью о предметах, не имеющих связи с ее прямой обязанностью—разбором выходящих книг и добросовестной оценкой их достоинства. Не повторяя здесь тех многочисленных доводов, которые не раз уже высказываемы были в ответ на все подобные упреки, очевидно основанные на неправильном понятии о существе и назначении критической деятельности, мы заметим только, что люди, восстающие против такого направления современной критики, по большей части судят ее так строго только потому, что не могут или не хотят войти в ее настоящее положение. Появление книги г. Бутовского доставляет нам возможность отвечать на все такие обвинения самым убедительным из аргументов, аргументом *ad hominem*¹, и показать примером ее, как иногда сама необходимость заставляет критику уклоняться от ближайшей цели и, оставляя в стороне разбираемое сочинение, говорить о вещах, повидимому посторонних и мало принадлежащих к делу.

Когда мы прочли в газетах объявление о выходе полного курса политической экономии, написанного русским и изданного в России, мы были столько же обрадованы, сколько и озадачены. В наше время, когда политическая экономия успела приобрести такую необъятную важность и поглотить в себе всю общественную науку, когда потребность ознакомиться ближе с основными началами теории материального благосостояния стала пробуждаться заметным образом в читающих классах

¹ Ссылаясь на конкретного человека (в данном случае автора рецензируемой книги). — *Ред.*

русского общества, совершенное отсутствие удовлетворительных руководств такого рода на русском языке сделалось в высшей степени ощутительным. С другой стороны в людях, знакомых с современным состоянием политической экономии, появление нового руководства, обнимающего собой все части этой науки, должно было возбудить целый ряд вопросов, совершенно естественных и неизбежных: какую методу употребил автор руководства для разработки своего предмета? какие начала положил он в основание своего труда? в какой мере удалось ему преодолеть те общие препятствия, которые встречает каждый приступающий к исследованию экономических вопросов,—в запутанности, и неизвестности основных начал науки? до какой степени наконец сумел он выпутаться из тех особенных затруднений, которых нельзя избежать, решась писать о таком предмете на русском языке?.. Вот причины живого любопытства, возбужденного в нас и в большинстве публики появлением книги г. Бутовского. Но, ознакомясь с ней ближе, мы пришли к тому неутешительному заключению, что по своему направлению, содержанию и форме «Опыт» г. Бутовского далеко не удовлетворяет современным требованиям науки. Мы скажем более: «Опыт» так мало представляет в себе ученою достоинство и, значения, что критика была бы вправе ограничить отзыв о Нем несколькими словами. Но не говоря уже ни о высоком интересе предмета книги, ни о любопытстве, возбужденном ею в публике, заметим только, что в настоящем случае обязанность распространиться подробнее о произведении русского экономиста возлагается на нас прежде всего опасением, чтобы книга г. Бутовского, под покровом невнимания или пренебрежения критики, не принята была русской публикой и особенно русским юношеством в руководство для изучения политической экономии и не послужила таким образом орудием к распространению ложных взглядов на науку столь важную...

Но спрашивается теперь: каким образом может критика выполнить свою обязанность? Мы могли бы конечно ограничиться выпиской наудачу двух-трех мест, для того, чтобы доказать самым убедительным и наглядным образом справедливость нашего мнения. Для людей, вполне понимающих дело, такой способ доказательства будет конечно достаточен, потому что им кинется в глаза несообразность понятий автора с современным состоянием политической экономии. Но много ли поймут из таких выписок люди, мало знакомые с исторической судьбой науки и с настоящим ее положением? Само собой разумеется, что для объяснения большинству читателей смысла

сделанных выписок необходимо будет отклониться от настоящего предмета—от книги г. Бутовского, и перейти прямо к догматическому изложению тех идей, без предварительного знания которых решительно невозможно ясное уразумение дела. Нам скажут, может быть, что в таком случае достаточно изложить те причины, которые заставляют нас признать неудовлетворительным труд г. Бутовского. Но изложить причины, не объяснив их, было бы, без сомнения, совершенно бесполезно. А объяснить их опять не иначе возможно, как покинув на время полемический тон и углубившись в самое существо различных экономических вопросов. В самом деле причины нашего невысокого мнения о книге г. Бутовского могут быть изложены в весьма немногих словах. Произведение русского экономиста кажется нам не соответствующим современному состоянию науки потому, что представляет собой не более, как неудачную компиляцию из сочинений трех или четырех писателей, принадлежащих к одной из существующих ныне экономических школ,—к школе Жан-Баптиста Сея. Видя в системе писателей этой школы последнее слово политической экономии, завершающее собою полный круг ее развития, г. Бутовский до того простирает свое презрение ко всем новейшим теориям, что не считает даже нужным знакомить своих читателей с их существом и направлением. Только в конце книги упоминает он о них мимоходом, называет их «жалкими и бесплодными усилиями ума человеческого» и утверждает в то же время, не приводя впрочем никаких доказательств, что все эти системы «начинают с того, что создают себе мысленно каких-то небывалых людей, проводят губку (!) по всему, что нам указывают и физиология и психология, и на этом рыхлом, воображаемом фундаменте строят в своей мечте новые общества, как дети строят домики из карт» (т. III, стр. 397). Эта риторическая выходка нашего автора против самых благородных и возвышенных стремлений новейшей науки ясно определяет характер его направления и степень современности его понятий и взглядов. Что касается до нас, то, признавая совершенно бесплодной, при нынешнем состоянии науки, всякую исключительную приверженность к тому или другому экономическому принципу, мы считаем всего менее разумной исключительную приверженность к такой устарелой и очевидно односторонней системе, какова система Сея и его учеников. Но спрашиваем теперь: есть ли какая-нибудь возможность подкрепить и объяснить это заключение, не изложив предварительно главных оснований системы Сея и не указав читателям на историческое значение этого писателя и школы, им созданной? И далее: есть ли какая-нибудь

возможность сообщить читателям ясное и полное понятие об ученом достоинстве той или другой системы, не познакомивши их вместе с тем с предшествующей и последующей судьбой науки, или, что то же, не указав им предварительно на существо других экономических теорий, во взаимном отношении которых кроется настоящий источник как появления, так и падения теории Сея.—Таким образом совершенно очевидно, что в настоящем случае сама необходимость заставляет нас оставить пока в стороне разбираемое сочинение и изложить, прежде всего в кратком очерке историческое развитие политической экономии. Только этим путем может быть раскрыта неудовлетворительность тех начал, которые полагаются в основание науки как самим учителем Сеем, так и учеником его, г. Бутовским.

Итак, обратимся теперь прямо к изложению главных моментов развития экономической науки.

Политическая экономия есть наука новая, и потому понятия об ее предмете, назначении и объеме до сих пор еще не успели установиться окончательно. Мнения о существе и пределах этой науки так многочисленны и разнообразны, что трудно найти двух писателей, совершенно согласных между собою в этом отношении. Впрочем, приняв в соображение требования здравого смысла и самой необходимости, существующее распределение наук и наконец современный характер политико-экономических исследований, необходимо *признать материальное благосостояние* человека настоящим и единственным предметом политической экономии. В отношении к своему предмету эта наука имеет два различных назначения и вследствие того отличается сама двойственным характером. Во-первых, на ней лежит обязанность посредством тщательного анализа экономических явлений открыть настоящий порядок и существенные условия материального развития человеческих обществ; другими словами, открыть те общие, необходимые, основанные на самой природе вещей законы, по которым происходят в каждой отдельной стране и в целом человечестве производство, распределение, обращение и потребление богатств. Во-вторых, на основании этих законов и сообразно с их существом, политическая экономия должна раскрыть; какое устройство экономических отношений благоприятствует наиболее сильному развитию производительности и справедливому равномерному распределению произведенных богатств по всем слоям общества. Она должна указать те практические средства, помощью которых можно уничтожить язву пауперизма, усовершенствовать нынешнюю экономическую организацию, развить и упрочить материальное

благополучие человека. Таким образом политическая экономия соединяет в себе неразрывно два характера: теоретический и практический. Она описывает то, что есть, и показывает то, что может и должно быть, *открывает законы* экономического мира и вместе с тем *предписывает правила* для деятельности человека в промышленной сфере. Одним словом, политическая экономия представляет в себе разом и физиологию и медицину общественного организма. Эти две части одной и той же науки находятся между собой в самой тесной связи и не могут существовать одна без другой. Если политическая экономия, ограничившись анализом экономических явлений, не будет выводить из него никаких практических результатов, она превратится в науку чисто описательную, потеряет таким образом половину своей важности и откажется от своего главного назначения—руководить стремлением человека к богатству и счастью. Если, напротив, экономическая наука, пренебрегая изучением действительных законов экономического развития, обратится исключительно к практической стороне своего призвания, она потеряет неизбежно и самый характер науки и откроет в себе доступ несбыточным и произвольным гипотезам, несообразным ни с действительной природой человека, ни с необходимыми условиями экономического прогресса. И в том и в другом случае наука должна принять направление ложное, неполное и одностороннее. В этой-то односторонности, в этом неумении возвыситься до синтетического, чуждого всякой исключительности, воззрения на науку, и заключается настоящий источник той совершенной несостоятельности, которая составляет в равной степени удел двух главных школ, враждующих ныне между собой—школы экономистов и школы социалистов.

Но если придавать политической экономии то значение, на которое мы сейчас указали, то нельзя не признать, что следов ее существования нельзя искать ни в древнем мире, ни в средних веках,—что идея такой науки пробудилась не ранее половины XVIII века,—что даже в настоящее время эта наука не успела еще образоваться окончательно и, представляет собой не более, как груду необработанных материалов, из которых только впоследствии может возникнуть стройное, гармоническое здание. Но если так, то очевидно, что историю политической экономии следует начинать не раньше, как с половины XVIII столетия. Бланки и другие писатели, начинавшие ее обыкновенно с Греции и Рима, поступали в этом случае совершенно нерационально и сами создавали себе затруднения, из которых не иначе могли выпутаться, как посредством натяжек и пара-

доксов¹. Если бы дело шло о том, чтобы написать экономическую историю человечества, т. е. историю экономических идей, учреждений и событий, то конечно исследования о хозяйственном быте не только Греции и Рима, но и самого Востока, заняли бы по праву одно из важнейших мест в таком сочинении. Но в истории политической экономии, как науки, нельзя приписывать большого значения ни древнему миру, ни средним векам. Что в экономическом устройстве и развитии Греции и Рима можно найти множество данных любопытных и поучительных, в этом конечно никто не сомневается. Никто также не станет оспаривать существования небольшого числа экономических идей в древнем мире, идей, с которыми мы можем знакомиться частью посредственно—из законов и учреждений, частью непосредственно—из сочинений разных философов и политиков, особенно Ксенофонта, Аристотеля, Платона. Но из этого еще вовсе не следует, чтобы мы имели право предполагать в древнем мире существование политической экономии в том смысле, в каком понимаем мы ее нынче. Идея такой науки не только не существовала в древнем мире, но и не могла в нем развиться по недостатку условий, необходимых для такого развития. Чтобы убедиться в этом, стоит только обратить внимание на существо этих условий, прямо вытекающих из того понятия о политической экономии, которое высказали мы выше.

Для того, чтобы экономические явления могли сделаться предметом особой, самостоятельной науки, необходимы были два условия: во-первых, разнообразие и обилие таких явлений, следствие сильного развития народной промышленности; во-вторых, уверенность в законности наших стремлений к материальному благоденствию и сознание высокого назначения промышленности, как источника богатства, благосостояния и образованности человека. Недостаток первого из этих условий лишил бы аналитическую деятельность науки материала и пищи; при недостатке второго не было бы причин и повода к происхождению такой деятельности. Но в древнем мире ни того, ни другого из этих условий не было и не могло быть. Во-первых, даже в самые цветущие времена Греции и Рима развитие промышленности было чрезвычайно слабо и ничтожно, особенно

¹ Вильгельм-Баржмон в этом отношении пошел еще дальше. Свою «Историю политической экономии» он начинает с длинного повествования о сотворении мира, о грехопадении, о потопе, об экономических учреждениях Евреев, Персов, Финикиян, Египтян, Китайцев и т. д. Его книгу стоит прочесть только для того, чтобы убедиться во всей нелепости подобного направления.

В сравнении с теми громадными размерами, до которых оно достигло в настоящее время. Мануфактурной промышленности в нынешнем смысле слова решительно не существовало: древние не знали ни фабрик, ни машин, ни усовершенствованных способов производства. Все мануфактурные изделия производились рабами, и производились притом не для снабжения ими посторонних потребителей, но для домашнего потребления господина и его семьи. Земледельческая промышленность развилась несколько сильнее, нежели мануфактурная, но имела также свой отличительный, свойственный только древнему миру характер, заключавшийся в необыкновенной простоте ее организации. Все производительные силы, земля, капитал и труд сосредоточивались обыкновенно в руках одного и того же владельца, который обрабатывал свои поместья своими же рабами и посредством своих капиталов. Самый надзор над хозяйственными работами вверялся обыкновенно или рабу, или отпущеннику. Торговые сношения между древними народами были далеко не столь обширны и разнообразны, как нынче; притом же они обходились по большей части без помощи кредита, главного двигателя торговой промышленности в настоящее время. Не имея почти никакого понятия о частном кредите, древние естественно не могли прибегать и к помощи государственного кредита для покрытия общественных издержек; это обстоятельство значительно способствовало к упрощению их финансовой системы, и без того уже довольно простой и немногосложной. Во всех древних обществах, особенно в греческих республиках, добровольные приношения граждан, общественные имущества и дань с покоренных или союзных народов составляли главный источник для удовлетворения государственных потребностей; промыслы и налоги имели значение второстепенное и далеко не столь важное, как в настоящее время. Одним словом, в древнем мире мы не находим ни одного из тех экономических явлений, исследованием которых занимается по преимуществу нынешняя политическая экономия, ни фабричной промышленности и порождаемых ею отношений, ни машин и усовершенствованных способов производства, ни контрактов между хозяевами и работниками, ни задельной платы и взаимных отношений между ценой труда и прибылью капитала, ни разделения производителей на несколько враждебных классов, ни разнообразной и многосложной системы налогов, ни развития частного кредита, ни существования государственных долгов и т. п.... Таким образом самым существом экономического и финансового быта древних народов обуславливалась невозможность образования особой теории народного богатства. Содержание каждой

науки еще дается *a priori*, а вырабатывается самой жизнью. Поэтому чего не было в действительности, того конечно не могло быть и в науке¹.

Что касается до второго обстоятельства, которым обуславливается возможность политико-экономических исследований, то отсутствие его в древнем мире еще очевиднее и разительнее. Правда, в своей практической жизни древние не пренебрегали несколько материальными благами и очень хорошо умели ценить выгоды довольства и роскоши. Это однако не мешало несколько их философии, которую в этом случае, как и во всех других, можно принять смело за верное выражение общего, народного взгляда, проповедывать красноречиво презрение к богатствам, восставать с энергией против корыстолюбия и жадности к деньгам и доказывать необходимость воздержания, умеренности и подчинения низших, физических нужд высшим потребностям духовной природы. С другой стороны нынешнее уважение к труду, первому источнику богатства и главному орудию прогресса, было совершенно неизвестно древнему миру. Древние никогда не понимали настоящего значения промышленности. Предпочитая тяжкому труду более легкое и, по их мнению, более благородное средство обогащения путем добычи и грабежа, они налагали на своих рабов обязанность работать и производить все ценности, которых нельзя было добыть посредством войны, но которые между тем были необходимы для удовлетворения многочисленных и утонченных нужд свободного класса. Но весьма понятно, что свободнорожденный гражданин не мог иметь никакого уважения к тому, к чему считался способным один только раб. Поэтому как скоро понятие о труде слилось нераздельно с понятием о рабстве, мысль о несообразности промышленности с достоинством и назначением человека стала по необходимости в число самых коренных убеждений народов древнего мира. Древние философы не только не считали промышленности предметом заслуживающим изучения, но даже и в тех редких случаях, когда им приходилось говорить об экономических явлениях, ограничивались по большей части энергическими выходками против глубокого уничижения людей, употребляющих свои силы на производство промышленных работ. К земледельческим

¹ Как естественно объяснять этим обстоятельством неразвитость экономических идей древнего мира, видно из того, что древние писатели подвергли самому тонкому анализу все экономические явления, существовавшие в их обществах. В пример можно привести их исследования о монете. Известно, что ни один из современных экономистов не сумел так хорошо определить монету и так верно означить ее свойства, как древние писатели, особенно Аристотель.

занятиям они были еще довольно благосклонны; зато о мануфактурной и торговой промышленности они отзывались всегда с беспощадным и оскорбительным неуважением. Ксенофонт, например, называет ручные работы «презренными и недостойными гражданина». Они, по его мнению, «обезображивают по большей части тело человека, заставляют его сидеть в тени или возле огня и наконец не оставляют ему свободных минут, которые бы он мог посвятить республике или друзьям». Платон выражается на этот счет еще решительнее и резче, по его словам, «природа не создала ни башмачников, ни кузнецов; подобные занятия унижают человека». Ремесленников он называет «подлыми наемниками, людьми низкими и неспособными по самому существу своих занятий к пользованию политическими правами». Что касается до купцов, «свыкшихся с ложью и обманом», то их существование в государстве Платон допускает только потому, что видит в этом неизбежное зло. Он советует притом преследовать гражданина, который унизит свое достоинство мелочной торговлей, и наказывать за этот *проступок* тюремным заключением¹. Гораздо позже, уже в последние времена римской республики, Цицерон отзывался с таким же презрением о значении торговой промышленности. По его мнению, от купцов нельзя ожидать ничего хорошего; маловажный торг есть ремесло низкое, потому что купец в таком случае только посредством обмана может достать себе барыш; торг обширный, снабжающий страну множеством продуктов, может быть только терпим в государстве, но не более².—Очевидно, что при таких понятиях не могло родиться и мысли о необходимости или пользе изучения законов производства и распределения богатств.

Несмотря на влияние христианства, политическая экономия была невозможна в средние века, точно так же, как и в древнем мире,—и по тем же причинам. Промышленность, подавленная феодальным устройством, отсутствием безопасности личной и имущественной, жестокими притеснениями, тяготевшими над производительным классом, не могла развиваться с надлежащей энергией и осуждена была силою вещей на застой и апатию. Идеи и предрассудки эпохи феодализма с своей стороны мало благоприятствовали изучению экономических фактов. Между тем как на словах презрение к богатствам считалось первой обязанностью и добродетелью человека, на деле жадность к обогащению доходила до самых крайних пределов и

¹ *De legibus*, lib. XL (О законах, кн. XI. — *Ред.*)

² *De officiis*, l. I. 42. (Об обязанностях, кн. I. 42. — *Ред.*)

искала себе удовлетворения в грабеже, в обманах, во всех возможных средствах за исключением только труда, который казался в то время унижительным и приличным только для низших классов общества. Попрежнему праздность считалась синонимом благодетства, обязанность труда—печатью рабства или унижения. Представители тогдашней науки, презирая и самое богатство и источник его—промышленность, не могли обратить свои усилия на исследование экономических явлений, тем более, что, пренебрегая вообще изучением природы и человека, не имели никакого исхода для своей умственной деятельности вне бесконечных споров и диалектических утонченностей схоластики.

Со времени крестовых походов начинается целый ряд великих исторических событий, содействовавших постепенному развитию народной промышленности и приготавивших таким образом появление особой науки народного богатства. Крестовые походы положили первое начало эмансипации труда и усилению производительной деятельности европейских народов. То же влияние имели и все последующие перевороты, экономические и политические: происхождение Ганзы, развитие торговой деятельности в итальянских республиках, освобождение общин и образование среднего сословия, учреждение корпораций и цехов, усиление монархической власти, и позже: открытие Америки, реформация, происхождение кредита, законодательство Сюлли и Кольберта и т. п. Под влиянием этих событий в XVI и еще более в XVII веке материальная жизнь европейских народов достигла мало-помалу той степени развития и разнообразия, при которой уже не могло существовать первого и самого важного препятствия к образованию политико-экономических наук, именно—недостатка материалов и фактов для наблюдения и анализа. С другой стороны в XVII столетии значительно изменились и самые взгляды на значение богатства: и промышленности. Правда, в это время труд еще не приобрел себе того уважения и почета, каким он пользуется нынче; производительные классы в большей части европейских государств страдали попрежнему от феодальных учреждений, от притеснений и монополий, от несправедливого устройства системы налогов. Но зато внимание науки и правительств стало обращаться более и более на материальные интересы и на все вообще вопросы, относившиеся к образованию и распределению богатств. Прежнее пренебрежение к этой сфере человеческой деятельности не могло уже иметь места с тех пор, как исторические факты, и в особенности могущество Ганзы, итальянских республик и других государств, одолженных своим развитием торговле и промышленности, ясно доказали как важное

значение промышленного труда, так и: необходимость материального благосостояния народов для благоденствия и силы самих государств. Политические люди поняли наконец, что богатство народа и богатство государства находятся друг от друга в тесной зависимости, и что лучшее средство для усовершенствования финансов состоит в уничтожении причин, препятствующих успехам народной промышленности. Таким образом к концу XVII столетия изучение экономических фактов сделалось не только возможным, но и необходимым. Притом характером тех обстоятельств, которые произвели эту потребность в экономических исследованиях, обуславливалось необходимо и то направление, какое получили с самого начала исследования этого рода. Это первоначальное направление было, как известно, по преимуществу *политическое*, или, выражаясь ещё точнее, *фискальное*. Экономическая наука того времени входила в состав административной политики и главной целью своей имела не столько изучение действительных законов народного богатства, сколько изыскание средств для приведения финансов в цветущее состояние. Так как эта цель не иначе могла быть достигнута, как посредством умножения народного богатства, то писатели XVI, XVII и отчасти XVIII столетия старались преимущественно указывать правительствам те меры, которые могли содействовать самым надежным образом поощрению и усилению народной промышленности. Приняв за основание преувеличенный взгляд на значение и пользу благородных металлов, они построили целую систему государственного хозяйства, известную нынче под названием *меркантильной* и составляющую первое звено в историческом развитии политической экономии.

Главные основания меркантильной системы, неправильно называемой иногда кольтертизмом, заключались в следующем: благородные металлы, т. е. золото и серебро, говорили все меркантилисты, составляют основную стихию как частного, так и общественного богатства. Частного человека мы называем богатым тогда, когда он имеет много денег. Прилагая то же самое начало к целому обществу, следует необходимо признать, что и богатство народа заключается главным образом в изобилии золота и серебра. Поэтому главная цель правительств, желающих обогатить и себя и свой народ, должна состоять в том, чтобы содействовать наибольшему накоплению в стране благородных металлов. Но количество благородных металлов в государствах, не имеющих у себя рудников, не иначе может быть увеличено, как посредством внешней торговли, именно посредством выгодного *торгового баланса*, т. е. перевеса в количестве вывозимых из страны товаров над количеством при-

возимых. Из этого меркантилисты выводили то заключение, что правительство должно покровительствовать внешней торговле предпочтительно перед внутренней, а в отношении к первой содействовать вывозу товаров за-границу и противодействовать их привозу в пределы государства. Для уменьшения привоза они советовали или вовсе не впускать иноземных продуктов, или облагать их значительными пошлинами. Для увеличения вывоза они предлагали разные средства: возвращение при вывозе таможенных пошлин, премии за вывоз, заключение торговых трактатов с другими государствами и учреждение колоний в отдаленных странах. Кроме того, по мнению меркантилистов, для каждой страны было гораздо выгоднее продавать иностранцам свои продукты не в сыром виде, но в обработанном, так как обработка значительно увеличивает ценность произведений. Поэтому на правительстве лежала обязанность противодействовать вывозу продуктов сырых и покровительствовать вывозу обработанных. Вместе с тем правительство должно было естественно оказывать мануфактурной промышленности предпочтение перед земледельческой и принимать все возможные меры для развития и усиления первой. Но частная промышленность, предоставленная самой себе, легко могла бы принять направление несогласное с этими видами правительства. Поэтому общественная власть должна была иметь строгий надзор над народными промыслами и, не предоставляя производительности на произвол частных интересов, руководить ею постоянно и вести к надлежащей цели посредством поощрений, советов, предписаний и запрещений разного рода.

Вся эта так называемая система торгового баланса, т. е. искусственного поощрения производительности, и притом поощрения внешней торговли предпочтительно перед внутренней и мануфактурной промышленности предпочтительно перед земледельческой, выражалась всегда не столько в области идей, сколько в области фактов, не столько в книгах, сколько в самой жизни, в законах и учреждениях различных европейских государств. По крайней мере в жизни эта система существовала и действовала гораздо прежде, нежели выразилась в книгах. Собственно говоря, под именем меркантильной системы следует понимать не ученую теорию в настоящем смысле этого слова, а просто совокупность известных административных начал, которым издавна следовали правительства относительно управления финансами и государственным хозяйством. Неправильно также некоторые ученые приписывают Кольберту первое выражение этих начал в законодательстве. Гораздо прежде Кольберта, и не только в XVI и XVII столетиях, но и в средние века,

даже в древних обществах для поощрения народной промышленности принимались постоянно меры, почти одинакие с теми, какие принимал в начале XVIII века Кольберт и какие советовали принимать все писатели о народном богатстве, предшествовавшие появлению школы физиократов. Когда же в XVII столетии возрастающая постоянно важность промышленности пробудила потребность изучения экономических явлений, то первые ученые, весьма естественно, приступили к; этому делу под влиянием: существовавших предрассудков и целиком извлекли свою теорию из действительности. Таким образом не писатели XVII столетия создали меркантильную систему: они нашли ее уже готовой и созданной, и вся их деятельность ограничивалась только тем, что они старались рационализировать общепринятые начала финансовой и хозяйственной администрации помощью своих неправильных понятий о накоплении благородных металлов, как о главном средстве народного обогащения. В этом случае влияние административной практики на теорию было так очевидно, что трудно даже понять, каким образом могли некоторые экономисты приписать так неправильно Кольберту и писателям XVII века первое выражение меркантильных начал, начал, которые на самом деле развились сами собой из обстоятельств исторических и осуществились в экономических учреждениях гораздо прежде, нежели стали думать о средствах для их научного оправдания.

Все сочинения о финансах и промышленности, появившиеся в течение XVI, XVII и первой половины XVIII столетий, написаны под влиянием одних и тех же преувеличенных понятий об экономическом значении благородных металлов. Впрочем эта основная мысль меркантилистов вовсе не так нелепа, как думают многие. Обыкновенно говорят, что все меркантилисты смешивали понятие о богатстве с понятием о золоте и серебре, мериле и орудии обменов. Такое мнение не совсем справедливо. Многим из так называемых меркантилистов не приходило никогда и в голову проповедывать мысль, столь очевидно нелепую. Правда, в общезнании, на языке народа слово «богатство» и слово «деньги» принимались постоянно и принимаются до сих пор за слова однозначашие. Но из этого еще нельзя вывести того заключения, что народ считает богатством одни только деньги. Даже в случае справедливости такого заключения, мы должны признавать в этом взгляде народа не более, как предрассудок, т. е. взгляд, усвоенный безотчетно и не вследствие размышления о сущности народного богатства, а напротив, вследствие совершенного недостатка в размышлении и в анализе. Но что можно еще допустить относительно народа,

того нельзя никак допустить относительно ученых. Люди, которые *размышляли* о том, что такое богатство и в чем оно состоит, не могли никак разделять в этом отношении предрассудков народа и думать, что богатство заключается исключительно в благородных металлах. И в самом деле, в основании системы большей части меркантилистов лежала совсем другая мысль. Сознывая ясно, что благородные металлы составляют не более, как одну только часть народного богатства, меркантилисты принимали в то же время, что монета имеет несомненное преимущество над всеми прочими продуктами в отношении к обменам и потому в сравнении с ними представляет наиболее удобное средство обогащения, как для частных лиц, так и для правительств. Это начало не только не нелепо, но и вполне сообразно с настоящим существом вещей. Ежедневный опыт показывает, что каждый производитель владение благородными металлами, обращенными в монету, всегда считает для себя гораздо более выгодным, нежели владение продуктами в натуре; и в основании такого мнения лежит не безотчетный предрассудок, а точное сознание назначения и свойств монеты. Между тем как меновая ценность всех прочих товаров, оставаясь до самого совершения обмена совершенно гипотетической, неопределенной и неизвестной, подлежит непрерывным изменениям и колебаниям, которых невозможно ни предвидеть, ни предотвратить, меновая ценность монеты есть во всякое время *ценность* постоянная, определенная, известная заранее,— одним словом, ценность организованная, не зависящая ни от случайных обстоятельств, ни от произвола производителей или потребителей. Конечно и ценность монеты подлежит некоторым изменениям, но эти изменения, по самому свойству благородных металлов, бывают по большей части весьма незначительны и притом, подчиняясь в свою очередь известным, постоянным законам, легко могут быть предусмотрены и даже предотвращены. Притом главное назначение монеты состоит, как известно, в том, чтобы служить орудием обменов, т. е. залогом и представителем всех других товаров. Поэтому тот, кто имеет монету, имеет полную возможность приобрести посредством нее всякий другой продукт и может притом совершить этот обмен монеты на другие товары во всякое время, без затруднения и на определенных, заранее известных ему условиях. Напротив, владея другими ценностями, он никогда не может сказать вперед, удастся ли ему сбыть их с рук и если удастся, то на каких именно условиях. Таким образом монета в руках каждого производителя является во всякое время действительным представителем или знаком известной доли богатства и благосостояния; другие

товары¹, напротив, до тех пор не могут быть признаны действительным богатством, пока не совершился еще их обмен на монету или на другие продукты, служащие к непосредственному удовлетворению нужд человека. В этом-то и заключается настоящая причина того постоянного предпочтения, которое оказывается монете частными лицами и правительствами над всеми прочими произведениями, труда и природы. Меркантилисты, приняв в основание своей системы этот несомненный факт, впали только в ту ошибку, что правило, справедливое в отношении к частным лицам, неправильно признали справедливым и в отношении к целому обществу. Из того, что для частного лица гораздо выгоднее иметь в руках своих монету, нежели Продукты в натуре, они вывели то заключение, что и целое общество находит в том же свою выгоду, и что следовательно к увеличению массы благородных металлов оно должно всегда прилагать несравненно более старания, нежели к увеличению массы прочих продуктов. Такое мнение было конечно совершенно Ошибочно и основывалось на незнании закона пропорциональности ценностей, на незнании той экономической истины, что количество благородных металлов, как и всякого другого продукта, должно необходимо находиться в соразмерности с числом и нуждами народонаселения, и что следовательно чрезмерное их размножение, сопровождаясь неизбежно упадком их ценности, не может ни в каком случае содействовать ожидаемому обогащению народа.

Как бы то ни было, но учение так называемых меркантилистов, если рассматривать его с исторической точки зрения, не может не быть признано естественным и необходимым моментом в развитии науки народного богатства. Для того, чтобы утвердить эту науку на верных началах, нужно было сперва¹ возбудить ее идею, объяснить ее возможность, доказать, что явления экономические могут и должны подлежать анализу точно так же, как и явления других сфер человеческой деятельности. В этом и заключается настоящая услуга, оказанная меркантилистами политической экономии. Они не создали науки, но сделали ее возможной. Самая ошибка их много содействовала дальнейшим успехам науки, и нет никакого сомнения, что

¹ Само собой разумеется, что тут мы имеем в виду не те продукты, которые имеют для нас прямую ценность (*Valeur en usage*), т. е. назначаются для нашего непосредственного потребления, но единственно те, которые имеют для нас ценность только косвенную, меновую (*Valeur en échange*), т. е., не будучи нужны для самих нас, назначаются к обмену на другие произведения, уже непосредственно нам нужные.

аналитическими исследованиями физиократов и впоследствии Адама Смита мы обязаны преимущественно стремлению этих экономистов доказать научным образом несправедливость основного начала их предшественников, слишком наскоро обобщивших частный факт, рассмотренный ими с односторонней точки зрения.

Первые писатели о народном богатстве имели, как уже мы видели, цель преимущественно практическую. Они нисколько не заботились о построении теории ценностей, об изучении действительных законов производства и распределения богатств. Политическая экономия в их руках имела скорее характер *искусства*, нежели науки, и т. н. меркантильную *школу* составляли не столько ученые, сколько администраторы. Совершенно иной характер имеет учение физиократов, представляющее собой второй момент в историческом развитии политической экономии. Доктор Кене (Quesnay), глава секты физиократов, приступил прямо к исследованию тех естественных законов, по которым происходят в каждом обществе образование и распределение богатств. Его предшественники едва подозревали возможность таких законов; Кене доказал философски их необходимость, старался изучить их действительное существо и предложил в своих сочинениях целый ряд гипотез для объяснения значения, свойств и источников народного богатства. Построенная им теория в истории науки имеет большую важность, потому что представляет собой первый опыт рационального воззрения на отношения материальных нужд человека к средствам их удовлетворения. Но сама в себе эта теория не имеет никакого достоинства, потому что основывается на начале одностороннем и совершенно ложном. Объясняя порядок производства и обращения богатств, Кене и его многочисленные последователи основывали свои мнения не столько на опыте и наблюдении, сколько на выводах априористических. В своих исследованиях они более придерживались методы философов, нежели методы натуралистов, или, лучше сказать, не имели никакой постоянной и однообразной методы. Иногда в их сочинениях встречаются ясные следы самого прилежного и тщательного анализа; иногда, напротив, они совершенно пренебрегали анализом и вместо того, чтобы восходить от частного к общему, нисходили от общего к частному. В большей части случаев они не из наблюдения над экономическими фактами выводили общие законы промышленного мира, а напротив старались объяснять частные факты помощью некоторых общих начал, заранее принятых и выведенных *a priori*. От этого и произошло, что физиократы, высказав множество экономических истин, со-

вершенно справедливых и вполне усвоенных позднейшей наукой, открыли в то же время доступ в своей теории множеству произвольных предположений, ни на чем не основанных или основанных на данных, весьма неудовлетворительных и неверных. К числу таких произвольных и неосновательных гипотез принадлежит, между прочим, и то основное начало, из которого они вывели всю свою систему. По всему видно, что это начало, которое, по свойству науки, должно было явиться результатом долговременного и полного анализа конкретных фактов, у физиократов явилось, напротив, прежде всего и принято было ими за точку отправления, за исходный *пункт* всех дальнейших, аналитических исследований. Эта неудовлетворительность, или, говоря вернее, это отсутствие методов было настоящей причиной всех недостатков и самой недолговечности системы физиократов. Приступив с своими синтетическими приемами к такому делу, которое требовало гораздо более страдательной, нежели творческой деятельности, они естественно не могли достигнуть до раскрытия действительных начал науки и успели только произвести одностороннюю систему, не находившую себе оправдания в действительности и рассыпавшуюся в прах при первом соприкосновении своем с опытом и жизнью.

Главные основания системы физиократов состояли в следующем: изобилие золота и серебра не составляет еще богатства, говорил Кене в противоположность писателям меркантильной школы. Благородные металлы представляют собой не более, как меру ценностей и средств их обмена. Но в чем же заключается настоящий источник богатства? Не в торговле, говорили физиократы, потому что торговля ограничивается только перевозкой товаров из одного места на другое, и, следовательно, не создает богатства, а только перемещает его; не в мануфактурной промышленности, потому что этого рода промыслы дают только новую форму произведениям земли, приспособляют их к нуждам человека, но нисколько не увеличивают их количества. Единственный источник богатства есть земля, которая одна может увеличить массу продуктов, служащих к удовлетворению наших потребностей. Во всех других отраслях промышленности ценность произведенного продукта равняется совершенно ценности сырых материалов и произведений земли, потребленных работником во время производства. В земледелии, напротив, ежегодно приобретаемая ценность превосходит всегда в более или менее значительной степени сумму продуктов, потребленных производителями. Этот излишек материала, доставляемый земледельческой промышленностью, составляет так называемый чистый доход (*produit net*) и один только увеличивает массу

народного богатства, потому что один представляет собой ценность вновь произведенную, а не составленную, как другие продукты, из материи прежде существовавшей посредством видоизменения ее формы. Из этого необходимо следует, что только земледельческие работы могут быть названы производительными, все же прочие отрасли промышленности должно признать непроизводительными, или бесплодными (*steriles*). Но излишек материи, доставляемый земледелием, есть результат производительной силы самой земли, и потому должен принадлежать по справедливости владельцам земли, которые передают в свою очередь этот чистый доход другим классам общества. Таким образом все прочие классы не производят сами богатства, а получают его из рук землевладельцев, в виде вознаграждения за свои труды и услуги, в виде задельной платы (*salaire*). От этого землевладельцам Кене придает название *salarians*; прочих производителей он называет *salaries*. От этого также в системе физиократов одни владельцы земли имеют право принимать участие в управлении государством. С другой стороны они одни должны также нести всю тяжесть налога. Все возможные налоги, в какой бы форме они ни взимались, в существе дела падают окончательно на чистый доход земли, как на единственную долю народного богатства, способную к уплате налога. Поэтому физиократы во избежание всяких притеснений и бесполезных издержек советовали правительству уничтожить все прочие подати и повинности и ограничиться единственным налогом, который должен был взиматься с самих землевладельцев и с чистого дохода их земли.

Ошибочность этих главных начал, лежащих в основании всей системы физиократов, не подлежит никакому сомнению. Кене и его последователи очевидно придавали совершенно ложное значение слову: производство. Производить на их языке не значило придавать материи новую ценность, т. е. новую способность удовлетворять нуждам человека, а значило создавать самую материю, в которой воплощается ценность, т. е. увеличивать ее количество. В этом смысле они и говорили, что одна земля производит богатство, потому что одна земля доставляет большее количество продуктов в сравнении с тем, которое было потреблено для их производства; прочие же промыслы не увеличивают количества материи, а только видоизменяют ее, дают ей новый вид, приспособляют ее к нашим потребностям. Но если даже принимать слово «производство» в том смысле, в каком принимали его физиократы, то и тут нельзя согласиться с их мнением, потому что и самой земле нельзя приписать в этом случае значения производительной, т. е. творче-

ской силы. Земледельческий труд производителен не потому, что он увеличивает количество материи, но потому, что он придает материи новую ценность, которой прежде она не имела. Собственно говоря, количество материи на земном шаре не может быть ни увеличено, ни уменьшено. Производительная сила земли, точно так же как и производительная сила труда, заключается только в *видоизменении* существующей материи, в уничтожении ее прежней формы и в сообщении ей нового вида, а вместе с тем и новой, прежде не существовавшей полезности. Очевидно, что в этом случае физиократы слишком материализовали понятие о богатстве, поставив его в исключительную зависимость не от свойств, а от количества материи. Эта основная ошибка породила собой и все другие и послужила источником чрезмерной важности, приписанной физиократами земледелию в ущерб промышленности мануфактурной и торговой.

Впрочем эти особенности системы физиократов и, главное, их преувеличенные понятия о значении земледельческой промышленности вылились прямо из самой жизни и образовались под влиянием экономических обстоятельств того времени. В XVIII веке земледелие во Франции находилось в самом плачевном состоянии. В эпоху феодализма ни один из низших классов обществ не страдал так много от анархии, насилия и притеснений, как класс земледельцев. Впоследствии времени промышленные и торговые сословия успели мало помалу освободиться от гнета феодальных учреждений, от тирании поземельных владельцев. Но все политические и экономические перевороты, содействовавшие эмансипации и постепенному усилению среднего сословия, не имели ни малейшего влияния на изменение горькой участи сельского класса. В XVIII столетии, точно так же как и прежде, нищета, невежество и самое глубокое уничижение составляли общий удел земледельческих сословий, которые находились в самых невыгодных отношениях к дворянству, сосредоточившему в своих руках владение всей поземельной собственностью, и были обременены сверх меры самыми тяжкими повинностями и бесчисленным множеством произвольных и унизительных налогов. Несчастное положение этого класса было увеличено еще более господством меркантильных идей в XVII и XVIII столетиях. Мы уже видели, что одно из главных оснований меркантильной системы заключалось в мысли о необходимости покровительствовать мануфактурной промышленности, как наиболее выгодной для государства, предпочтительно перед земледельческой. Кольберт и все его преемники во Франции следовали постоянно этому правилу и не только не принимали никаких

мер для облегчения участи сельского класса, но напротив содействовали положительно упадку земледельческой промышленности своими законами и учреждениями, имевшими главной целью поощрение мануфактурной производительности. Для достижения этой цели и для предотвращения дороговизны жизненных припасов в пользу городских жителей, Кольберт и его преемники отчасти совершенно запретили, отчасти обложили значительными пошлинами вывоз за пределы государства хлеба и других сырых продуктов, В то же время прежние феодальные законы значительно затрудняли и почти делали невозможным перевозку хлеба из одной провинции в другую. Последствием всех этих насильственных поощрений одних промыслов насчет других был совершенный упадок сельской промышленности и постоянное обеднение земледельческого класса. Кене, сын земледельца, провел большую часть своей молодости в деревне и мог убедиться собственными глазами в страшном влиянии меркантильной системы на судьбу самого многочисленного из народных сословий. Решившись противодействовать господствовавшему направлению своего времени и вредной исключительности приверженцев меркантилизма, Кене впал сам в противоположную крайность и не сумел удержать в настоящих пределах свою реакцию против того нерационального предпочтения, которое оказывалось его современниками мануфактурной промышленности перед земледельческой. Впрочем, несмотря на свою односторонность, теория физиократов приобрела себе многочисленных последователей и имела во Франции огромный успех, всего более потому, что пришла чрезвычайно во-время и кстати, именно тогда, когда всеобщее разочарование умов, произведенное внезапным падением системы Ло, всего более благоприятствовало возрождению прежних понятий о важности земли и сельских промыслов. Физиократы, материализировав понятие о богатстве и приписав это свойство одним лишь продуктам земли, подчинились, сами того не зная, неотразимому влиянию исторической необходимости, вызвавшей потребность сильной реакции против прежнего взгляда на значение и источники народного благосостояния. До того времени почти никому не приходило в голову сомневаться в справедливости меркантильных идей; все были твердо убеждены, что деньги составляют главный источник богатства, а со времени появления Ло все пришли к тому убеждению, что стоит только увеличить количество бумаги, представляющей собой деньги, чтобы увеличить вместе с тем и самое богатство. Но когда быстрое возвышение в цене всех товаров и столь же быстрый упадок в цене кредитных билетов ясно доказали мнимым millionaireм,

что их сокровища не более, как призрак и мечта, то мнения об источниках богатств вдруг переменялись, и прежняя доверчивость к монете и кредиту сменялась совершенно противоположной крайностью неверия и скептицизма. Богатством, в практической жизни, в промышленных сделках, стали признавать одну только землю, как единственную ценность осязательную, неизменную и прочную. Такая реакция была совершенно естественна, и главным органом ее явились физиократы, которые рационализировали полусознательные стремления своих современников и общую, неясную мысль, никем положительно не высказанную, облекли в научную формулу и положили в основание целой экономической системы.

Мы указали на историческое значение физиократов относительно изучения законов производства и распределения богатств. Но это еще не все. Теория народного богатства еще не составляет всей политической экономии, и можно далее сказать, что в отношении к ней она является более средством, нежели целью. Главное назначение политической экономии, как мы уже видели, состоит в открытии средств для облегчения страданий человечества, для уничтожения нищеты и для развития материального благосостояния. Спрашивается теперь: что сделала в этом отношении школа Кене? Обратила ли она надлежащее внимание на эти практические вопросы и какие предложила меры для усиления народной промышленности, для улучшения судьбы низших классов общества?

В этом отношении нельзя не отдать справедливости физиократам. Они никогда не имели того узкого, ограниченного понятия о своей науке, до которого дошли позднейшие экономисты, последователи Адама Смита. Изучая необходимые законы экономического мира, они не забывали в то же время, что главный интерес этого изучения заключается в его практических результатах и что политическая экономия вовсе не принадлежит к числу тех наук, которые изучаются для самой науки, а не для внешних целей. Поэтому как сам Кене, так и все его последователи обрабатывали прилежно практическую часть политической экономии, энергически высказывали недостатки экономических учреждений, существовавших в их время, и предлагали разные меры для уничтожения этих недостатков, для облегчения участи народа, для усиления его производительной деятельности. Политическая экономия, по их определению, должна иметь своим предметом счастье человека и указывать средства, помощью которых род человеческий, подчиняясь неизменным законам физическим и нравственным, установленным самой природой для его сохранения, размножения, усовершенствования.

вания и блаженства, может подчинить себе материю, сделать ее способной к удовлетворению своих нужд и, обеспечив таким образом свое материальное благосостояние, достигнуть самой высшей степени умственного и нравственного развития. На этом основании они рассматривали все общественные науки, как одно неразрывное целое, не отделяли никогда политической экономии от политики и права, и все экономические исследования выводили из известных философских начал, в основание которых Кене положил мысль о единстве идеи права с идеей пользы и о тождестве интереса частного с интересом общественным. Это философское и вместе с тем практическое направление физиократов вполне объясняется духом того времени, общим стремлением к критическому анализу недостатков существовавшей организации и к приисканию средств для ее преобразования и усовершенствования. Понятно, что во Франции XVIII века, накануне революции, не могла никак образоваться школа с направлением чисто теоретическим и отвлеченным. Вся умственная деятельность этой эпохи сосредоточена была на вопросах политических и социальных; и потому физиократы, исключив эти вопросы из круга своей деятельности, стали бы в необходимое противоречие с потребностями своего века и никогда не могли бы иметь того влияния на современников, какое они действительно имели и каким пользовались до тех пор, пока не принуждены были уступить свое место новой торжествующей школе, основанной Адамом Смитом.

Страшная нищета народа и в особенности земледельческих классов постоянно обращала на себя внимание физиократов, прилежно отыскивавших средства для уменьшения суммы страданий, тяготевших над низшими сословиями. Не надо впрочем думать, чтобы школа Кене предлагала для этой цели какие-либо радикальные средства, считала необходимым совершенное преобразование общественной организации и видела источник зла там, где он действительно находился, т. е. в неразумном устройстве экономических отношений. Такой взгляд на причины и существо бедности был совершенно невозможен и преждевременен для физиократов, по крайней мере для того века, в котором они жили. В XVIII столетии усилению производительности и уменьшению нищеты вредили в особенности два главные обстоятельства: во-первых, существование монополий и корпораций; во-вторых, излишнее вмешательство общественной власти в дело народной промышленности. В устранении этих двух причин, полагавших самое сильное препятствие свободному развитию производительной деятельности народа, заключалась самая первая, самая живая потребность той эпохи. Физиократы

и в этом случае подчинялись совершенно влиянию современных обстоятельств и для улучшения судьбы производительных классов общества требовали только тех реформ, которые в то время казались самыми полезными и необходимыми. Все экономические преобразования, которых они требовали и желали, имели характер более отрицательный, нежели положительный; все они состояли главным образом в уничтожении старых учреждений, мешавших экономическому прогрессу общества, а вовсе не в построении идеала новой организации... Современные социалисты, увлекаясь бесплодным и совершенно бесполезным стремлением к оправданию своих идей—доказательством древности их происхождения, показывают обыкновенно сильное сочувствие к физиократам, называют их часто своими предшественниками и приписывают им те же начала, каким следуют они сами. Такой взгляд на физиократов совершенно неоснователен и высказывает только незнание настоящего характера и главных начал физиократического учения. Французские экономисты XVIII века в этом отношении не имеют почти ничего общего с современными социалистами. Напротив, они гораздо ближе подходят по своему направлению к экономистам школы Смита и Сея, потому что, подобно последним, полагают в основание своей системы гипотезу постоянного тождества частного интереса с общественным и мысль о недостаточности общественной власти для творческой и преобразовательной деятельности в сфере экономических отношений. Притом отрицательный характер практического учения физиократов есть прямой, необходимый результат их политических и философских начал. По теории Кене и его последователей, всякое изменение в существовавшей организации общества тогда только могло быть признано законным, когда оно было произведено через посредство общественной власти¹. Но деятельность общественной власти, по их мнению, встречает для себя естественный и необходимый предел в правах каждого индивидуума, в тех неизменных, ненарушимых правах, которые даны ему самой природой. Таких нрав, по их мнению, только два: право личной свободы и право собственности. Во-первых, человек имеет право делать из своих физических и умственных способностей такое употребление, какое ему заблагорассудится, под единственным условием—не нарушать того же права других лиц. Во-вторых, человек имеет право пользоваться постоянно, исключительно и независимо от вмешательства посторонних лиц законно приобретенной им соб-

¹ С политическими и философскими доктринами физиократов можно познакомиться всего ближе из сочинения самого Кене: *Le droit naturel. (Естественное право. — Ред.)*

ственностию. В каждом обществе цель и предмет законодательства состоят в том, чтобы гарантировать гражданину свободное употребление его физических и нравственных сил и пользование законно приобретенными им благами. Поэтому и призвание общественной власти состоит в защите и охране этих двух священных, неприкосновенных прав человека. Но после этого очевидно, что влияние ее на дело производства и распределения богатств, всякое изменение естественных экономических отношений, по учению физиократов, не должно существовать. Таким образом, хотя физиократы и признавали идею права основной идеею политической экономии, но слово «право» они понимали вовсе не в том смысле, в каком понимает его нынешняя социальная школа. Справедливым они считали именно то, что современным западным мыслителям кажется самой вопиющей несправедливостию; последние требуют во имя права совершенного преобразования экономических отношений; школа Кене, напротив, во имя той же идеи права, иначе только понимаемой, требовала неизменного сохранения настоящего порядка вещей и для усовершенствования его допускала только такие меры, которые нисколько не касались и не уничтожали настоящих причин его несовершенства. Наконец, доказывая, что общество не имеет ни малейшего права стеснять произвол индивидуума в отношении к его промышленной деятельности, физиократы предвидели, что на это им могут сделать возражение, основанное на возможности коллизии между частным и общественным интересом и, заранее стараясь очистить свою теорию от такого упрека, прямо высказали то начало, что эти оба интереса всегда и во всяком случае между собой тождественны и что между ними нет и никогда не может быть действительного противоречия. Мы покажем ниже, что экономисты школы Смита понимают точно так же обязанности и права общественной власти в отношении к частным лицам и что между ними и физиократами нет даже никакого различия и в отношении к самому способу философского развития их общей основной идеи.

В то самое время, как французские экономисты проповедали необходимость свободы промышленности и доказывала несправедливость противоположного начала доводами философскими и юридическими,—в Англии в пользу того же начала эманципации труда раздался другой, более сильный и убедительный голос, голос Адама Смита, доказывавшего не философскими, не отвлеченными, а положительными и наглядными доводами вредное влияние монополий и вмешательства правительств на развитие производительной деятельности народа. В 1776 году

появилось знаменитое сочинение Смита: «Исследования о существе и источниках народного богатства». Сочинение это произвело совершенный переворот в экономических идеях и убеждениях и положило начало новой эпохе в историческом развитии политической экономии. Адама Смита называют многие основателем и отцом этой науки. Мы не вполне согласны с этим мнением, потому что видим в политической экономии гораздо больше, нежели видел в ней Смит, и думаем, что для решения многих, важнейших задач этой науки знаменитый экономист не сделал почти ничего или по крайней мере сделал весьма немного. Но если дело идет об одной физиологии народного богатства, о той части политической экономии, которая описывает порядок производства и распределения ценностей в современных обществах, то мы готовы признать бесприкословно Адама Смита настоящим ее основателем и творцом. Заслуги его в этом отношении огромны и неоценимы и отвергать их важность, опровергать их значение, по нашему понятию, могут только люди недобросовестные или вовсе не понимающие дела. Недаром общественное мнение, лучший судья в таком деле, связало навсегда имя Смита с именем науки, достигшей в его руках если не полного совершенства, то по крайней мере значительной степени развития и прочности. Недаром его сочинение составляет до сих пор ручную книгу всех, изучающих политическую экономию, к какой бы партии они ни принадлежали, какому бы направлению они ни следовали. Недаром наконец учение Смита отразилось так могущественно и резко в самой действительности, в экономических событиях и учреждениях. Трудно поверить, что писатель, пред заслугами которого преклонялся с уважением весь образованный мир в продолжение целого полувека, на самом деле не заслуживал этого уважения и не имел ни малейшего права на такой почет. Так грубо не может никогда *ошибаться* общественное мнение. Все сознаются в том, что учение Адама Смита имело самое огромное, самое решительное влияние на науку и жизнь. Но очевидно, что оно не могло бы иметь такого влияния, если бы не удовлетворяло собой действительным потребностям науки и жизни, если бы не имело в себе внутреннего достоинства и значения. К несчастью надо сознаться, что весьма многие из современных писателей упускают из виду очевидность этого силлогизма и в своем ожесточении против упрямства и недобросовестности нынешних учеников Смита заглушают в себе требования исторического беспристрастия при оценке заслуг самого учителя и по большей части не умеют или не хотят отдать ему должной справедливости. В сочинениях социалистов

беспреданно попадают самые резкие и несправедливые выходы против Смита, выходящие Нередко из тех пределов, которые предписываются требованиями истины и благопристойности¹. Но, поступая таким образом, социалисты возбуждают против себя невольное негодование и подвергаются со стороны своих противников вполне справедливому обвинению в узкости и ограниченности понятий. В самом деле, в чем обвиняют Смита современные деятели политической экономии? В том, что он обработал одну только часть науки, не коснувшись другой? Но справедливо ли обвинять исторических людей за то, что, сделавши *многое*, они не сделали *всего*? Справедливо ли при оценке их заслуг принимать в соображение не то, что они сделали, но то, чего они не успели доделать? Смита упрекают далее за то, что он не понял недостаточности свободы промышленности для противодействия развитию пауперизма, что он превознес до небес благие последствия конкуренции, не показав в то же время ее вредных последствий, ее страшного влияния на судьбу рабочих классов. Но тут надо еще решить вопрос: мог ли в самом деле Смит заботиться о том, чего еще не знали в его время? мог ли он обнять в своем уме разом и прошедшие, и настоящие, и будущие потребности общества? Доказывая необходимость конкуренции и свободы промышленности, восставая против монополий и искусственного поощрения одних промыслов в ущерб другим, Смит имел в виду самую гниющую язву своей эпохи и, заботясь об ее исцелении, упрочивал своими трудами торжество того начала, в осуществлении которого всего более нуждались современные ему поколения. Как же отвергать после этого его заслуги? как оспаривать его благотворное влияние на науку и жизнь? Другое дело—современные последователи Смита. Они заслуживают вполне ту неумолимую, беспощадную строгость, с которой преследует их новая школа. Они заслуживают ее потому, что продолжают недобросовестно и вопреки самым очевидным фактам защищать справедливость учреждений, несправедливость которых доказывается ежедневным опытом. Они заслуживают ее и потому, что все невольные, едва заметные недостатки своего учителя, все темные пятна его теории пре-

¹ В пример можно указать на статью об Адаме Смите, помещенную в «*Encyclopedie Nouvelle*» («Новая энциклопедия». — *Ред.*) Пьера Леру. В этой статье, между прочим, весьма серьезно доказывается, что Адама Смита нельзя называть философом, что он был не более, как пошлый, бездарный труженик, что он принадлежал к категории людей, не имеющих никаких идей и способных только к прилежному отысканию и затверживанию фактов и пр. и пр... Подобные крайности без сомнения столько же смешны, сколько и оскорбительны.

увеличили до крайности, усвоили себе с любовью и все уклонения от истины возвели на степень самой истины, придали им характер неприкосновенных, непогрешимых догматов. Но справедливо ли возлагать на самого Смита ответственность за недобросовестность и упорство его последователей? Уничтожайте последних и отдавайте в то же время должную справедливость первому! Вот что предписывают вам и здравый смысл и требования исторической истины. Деятельность исторических людей надо и ценить исторически, т. е. принимая в соображение не требования нашей эпохи, но требования той эпохи, в которую они жили и действовали. К несчастью эту истину весьма часто забывают в наше время и взамен прежнего, рабского подчинения авторитетам предаются противоположной крайности, с ребяческой неосмотрительностью стараются закидать грязью даже и то, что носит на себе несомненные следы величия и благородства. В последнее время расплодилось очень много таких господ, которые считают себя в праве отзываться с самым дерзким и оскорбительным неуважением о всех исторических лицах, не успевших удостоиться, по какой бы то ни было причине, их одобрения и симпатии. Для таких людей ровно ничего не стоит назвать какого-нибудь гениального философа, устаревшего может быть теперь, но много подвинувшего в свое время науку, добряком, пошляком, наивным мечтателем, некрупной личностью и т. п. учтивыми именами. Нетрудно решить, кому больше вредит такая детская заносчивость: великим людям или тем недозрелым выскочкам, которые позволяют себе столь грубые и неприличные выходки?

Самое лучшее средство для того, чтобы оценить заслуги Смита и понять его значение в истории науки, состоит в том, чтобы рассмотреть то отношение, в котором он находился к своим предшественникам. Смит далеко опередил и меркантилистов и физиократов во всем, что относится к сознанию существования науки, ее методы, ее основных начал, ее практических приложений.—Что касается до понятий о существе науки, то меркантилисты видели в политической экономии не более, как основанное на рутине искусство управлять народным хозяйством и финансами государства. Физиократы видели в ней уже науку, но науку, одинаково обнимающую собой все стороны общественной жизни; экономические вопросы у них соединялись постоянно с вопросами философскими, юридическими, нравственными, политическими; не имели для себя таким образом особого, самостоятельного Места и часто получали такие решения, который основывались на началах им совершенно чуждых и заимствованных из других сфер человеческого познания. Адам

Смит первый положил резкую границу между политической экономией и смежными с ней науками, первый стал обрабатывать политическую экономию, как особую самостоятельную науку, имеющую *свой* предмет, *свою* методу, *свой* определенный объем. Резкое отделение начал экономических от начал философии, политики и права оказалось впоследствии неправильным и вредным; но в свое время оно было необходимо и даже благотельно, потому что к синтетическому построению общественной науки можно было приступить не прежде, как после предварительного разложения этой науки на ее составные части и аналитической разработки каждой из этих частей в отдельности от других.—Относительно самого способа обработки науки мы уже видели, что меркантилисты, имея в виду одни практические цели финансового и хозяйственного управления, вовсе и не заботились о построении теории народного богатства, т. е. об изучении тех естественных законов, по которым совершается экономическое развитие каждого народа. Физиократы сознали в первый раз бытие таких законов и необходимость их изучения, но, приступив к этому делу без определенной, твердой методы, старались вывести существо экономических законов не из анализа действительных фактов, а из произвольных и мечтательных предположений. Адам Смит первый взялся за это дело так, как следовало за него взяться. К достижению цели, указанной физиократами, он пошел путем наблюдения и опыта, оставив тот бесплодный путь идеализма, который заставил его предшественников искажать и переиначивать факты, не подходившие под мерку их узких и односторонних теорий. Приложив методу наведения к исследованию важнейших явлений экономической жизни, Смит поставил навсегда политическую экономию в число наук положительных и точных. Его метода заключала в себе, правда, много недостатков, но основание ее было совершенно истинно, и только в способе ее приложения можно было заметить некоторые промахи и несовершенства.

Изучив внимательно и подробно все частные факты, служившие материалом науке, Смит дошел посредством этого прилежного и неутомимого анализа до сознания основного начала политической экономии, до истинного, вполне оправданного и доказанного понятия о существе и источниках народного богатства. Меркантилисты, приняв в основание частный и наглядный факт преимущества монеты над всеми продуктами и не сумев объяснить, как следовало, причин и значения этого факта, признали благородные металлы главным источником богатства и в умножении их количества видели самое верное

средство для обогащения частных лиц, народов и правительств. Физиократы, раскрыв эту ошибку своих предшественников, доказали ясно, что монета есть не более, как орудие для измерения богатств и для облегчения их обмена, и что самое богатство состоит в изобилии вещей, удовлетворяющих потребностям человека. Но, признав вещественность существенным характером и свойством богатства, физиократы впали в свою очередь в грубую ошибку, приписав одной только земле и земледельческому труду значение производительных сил и назвав все прочие отрасли промышленности непроизводительными и бесплодными. Адам Смит исправил эту новую ошибку и, рассмотрев внимательнее и глубже явления экономической сферы, первый высказал и положил в основание науки ту очевидную и великую истину, что *труд есть настоящий источник богатства* и что все отрасли промышленности одинаково производительны, как скоро им удастся создать в предмете новую ценность, прежде не существовавшую. Адам Смит, надо сознаться, не понял всей глубины и всего значения этого основного начала политической экономии, не сумел вывести из него всех тех последствий, которые можно и должно было из него вывести. Тем не менее нельзя не признать, что Смит оказал огромную заслугу науке, когда отвергнул односторонние и ложные гипотезы своих предшественников и признал в труде человека главное орудие экономического прогресса и основную идею экономической науки.

Наконец, что касается до практических результатов теории народного богатства, то нельзя не сознаться, что и в этом отношении Смит сделал один гораздо более, нежели все его предшественники, вместе взятые. Первые писатели о народном богатстве, принадлежавшие к меркантильной школе, поддерживали в своих сочинениях господствовавшую в их время систему хозяйственного управления, стараясь рационализировать и оправдывать основные начала тогдашней административной рутины. Они проповедывали поэтому необходимость постоянного содействия правительства предприятиям частных лиц, необходимость искусственного поощрения известных отраслей промышленности, преимущественно внешней торговли и мануфактурных промыслов, наконец необходимость монополий, привилегий, корпораций, таможен и всех т. п. учреждений, составлявших в то время настоящую причину медленных успехов производительности и крайней бедности производителей. Физиократы пошли в этом отношении дальше. Угадав потребность своего времени, они восстали против общего стремления тогдашних администраторов к стеснению произвольными законами и насильственными

мерами свободного развития промышленности и, провозгласив в первый раз знаменитое начало: *laissez faire, laissez passer*, потребовали как для блага производителей, так и для пользы самих правительств, чтобы частная промышленность предоставлена была сама себе, своим собственным силам и чтобы содействие; общественной власти не совращало ее с настоящих, нормальных путей, указываемых ей требованиями частного интереса, всегда единого с интересом общественным... Но физиократы, несмотря на усилия Тюрго, старавшегося приложить к самой жизни основные начала их учения, не успели придать надлежащий вес и авторитет своим идеям о пользе конкуренции и свободы промышленности. Главная причина неуспешности их усилий заключалась в том, что справедливость этих идей они доказывали доводами, выведенными из особенностей их взгляда на значение земли и земледельческого труда в производстве богатств. Это обстоятельство ослабляло силу их доказательств, которые притом по своей отвлеченности и по темноте изложения не могли производить на всех одинаковое впечатление. Совершенно иначе поступил в этом случае Смит. Он развил тоже учение о свободе промышленности и о необходимости соревнования между производителями, но развил его более удовлетворительным и полным образом и подкрепил справедливость своих мнений самыми очевидными, наглядными доказательствами, доказав положительно и ясно огромность вреда, происходящего от существования корпораций, монополий и привилегий, от отсутствия конкуренции между производителями, от так называемой охранительной системы. Аргументы Смита сильно подействовали на его современников и поколебали самые устарелые и твердые убеждения. Книга его удостоилась такой чести, какой редко удостоиваются книги: она принята была в руководство людьми практическими и администраторами, которые усвоили себе начала новой науки и мало-помалу перевели их в жизнь. Таким образом не подлежит никакому сомнению, что книга Смита весьма много содействовала освобождению народной промышленности от феодальных оков и стеснений. Важность такой заслуги может быть оценена вполне только теми, которые занимались историческим сравнением состояния промышленности в Европе в XVIII столетии и состоянием ее в настоящее время. Кто не знает, какими громадными, огромными успехами в развитии народного богатства сопровождалось освобождение народных промыслов от торжества начала соревнования над началом монополий?—Смита упрекают в настоящее время в том, что, заботясь единственно об умножении массы общественного богатства, об усилении

производительной деятельности народа и проповедуя для этой цели свободу промышленности, как самое верное и близкое средство, он не обратил никакого внимания на другой ряд вопросов, не менее важных, на вопросы о распределении богатств, не заметил даже, что неограниченная свобода промышленности, при разрозненности интересов между капиталом и трудом, должна была необходимо содействовать развитию пауперизма, обеднению рабочих классов и усилению денежной аристократии. Такие упрёки без сомнения справедливы; но справедливость их не дает нам однако никакого права отрицать пользу трудов Смита и забывать, что в историческом развитии экономических идей его учение было неизбежным, естественным моментом. Вопрос о распределении богатств действительно обойден был Смитом, который в этом отношении ограничился только тем, что описал весьма подробно и верно механизм этого распределения в современных обществах, насколько не подумав о том, что описанные им факты выказывали существование глубокой, требовавшей немедленного исцеления язвы в главных основаниях общественной организации. Но тут надо необходимо заметить, что вопрос о распределении богатств в эпоху Смита далеко не имел того значения, какое имеет он в наше время. В то время о нем еще рано было думать, потому что тогда самое развитие промышленности было еще слишком слабо и ничтожно. Понятно, что при недостаточности этого развития, при незнании тех громадных размеров, которые может принять производительность под влиянием благоприятных обстоятельств, не могло родиться и мысли о возможности уничтожения бедности и правильного распределения материальных благ по всем слоям общества. Главная, существенная потребность того времени состояла в усилении производительности, в уничтожении причин, препятствовавших ее свободному развитию. Угадав эту потребность и посвятив свои труды изучению средств для ее удовлетворения, Адам Смит исполнил то, в чем заключается настоящее и единственное призвание деятельности великих людей. Если он не сделал больше, то единственно потому, что не мог. Этого сделать в ту эпоху, в которую жил, и среди тех интересов, которые двигали современным ему обществом.

Таким образом, с какой бы точки зрения мы ни стали смотреть на заслуги и труды Смита, мы придем необходимо к одному и тому же заключению. Во всех отношениях опередив далеко своих предшественников, Адам Смит положил в первый раз твердые и верные начала в основание науки и, приложив опытную методику к решению большей части экономических

вопросов, *создал* в полном смысле этого слова учение о народном богатстве, о его существе, источниках и средствах умножения.

Обращаясь теперь к дальнейшему развитию политической экономии, посмотрим: во что превратилось учение, созданное Смитом, в руках его многочисленных последователей.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Многочисленные последователи Адама Смита, составляющие особую школу так называемых *экономистов*¹, не только распространяли и популяризировали, но и старались развивать далее основные начала системы своего учителя, то расширяя или ограничивая их значение, то выводя из них новые, не выведенные самим Смитом последствия. Таким образом в их руках политическая экономия получила новый вид, несколько отличный от того, какой она имела в сочинениях самого Смита. С одной стороны все принципы, принятые шотландским экономистом со множеством ограничений и оговорок, были доведены его последователями до крайности и превратились мало-помалу в истины безусловные, в правила, не допускающие никаких исключений. С другой, все зародыши ошибочного направления, принятого экономической наукою в начале нынешнего столетия, хотя уже заметны были и в книге самого Смита, но только в сочинениях его последователей успели развиться вполне и достигнуть надлежащей зрелости. На этом основании решились мы отделить систему Смита от системы его учеников и рассмотреть особо сначала самый принцип, а потом его злоупотребление. Первую половину этой задачи мы уже выполнили; теперь нам остается выполнить вторую.

Одна из самых существенных особенностей школы Кене заключалась в том, что все ее последователи, развивая и дополняя систему своего учителя, оставались постоянно согласны друг с другом и стремились к своей цели с удивительным единодушием. Этого единодушия, этой общности убеждений и взглядов напрасно стали бы мы искать в школе Адама Смита: в ней, как говорит Евг. Бюрет, «сколько ученых, столько и

¹ Во избежание недоразумений считаем нужным заметить, что в XVIII столетии название *экономистов* было присвоено школе физиократов. В настоящее время это слово имеет уже другое значение. В обширном смысле экономистами называют всех тех, которые работают политическую экономию, к какой бы школе они ни принадлежали. В тесном смысле экономистами называются только последователи Смита в противоположность социалистам.

различных наук»; в отношении к многим, даже важнейшим вопросам между наиболее известными экономистами, господствует самое радикальное разногласие и самая резкая противоположность. В этой школе нет решительно ни одного писателя, который бы не высказал какой-нибудь новой гипотезы, не построил какой-нибудь оригинальной теории и не подал тем повода к продолжительным и жарким прениям. Раздоры между последователями Смита возбуждали один за другим—Рикардо—своим учением о поземельной ренте, Мальтус—своей теорией народонаселения, Сей и Шторх своими мнениями о невещественных промыслах; Гранье—своим взглядом на труд, как на меру ценности и проч. и проч. Особенно резко выражается недостаток единодушия между экономистами во всем, что касается до определения важнейших терминов науки: богатства, полезности, ценности, капитала и т. д.; сами экономисты сознаются, что их терминология находится в самом жалком положении и что большая часть слов, входящих в состав экономического словаря, до сих пор понимается различно различными писателями. Наконец надо заметить и то, что даже общее направление школы не раз подвергалось изменениям под влиянием знаменитейших из последователей Смита; каждый из них сообщал этому общему направлению особый оттенок и таким образом образовалось внутри одной и той же школы несколько различных сект, получивших даже особые названия. Так английские экономисты, последователи Рикардо, образовали школу *метафизическую*, Мальтус и его ученики—школу *фаталистическую*, французские экономисты, последователи Сея—школу *описательную*, или как называют ее иначе, *либеральную*, хотя это последнее название употребляется иногда и для означения всей вообще школы Смита. Наконец в настоящее время образовалась еще новая школа—*электическая*, главная задача которой состоит в отсутствии всякой определенной системы и в стремлении соединить различные теории экономистов, как друг с другом, так и с противоположными им учениями Сисмонди и его современных последователей.

Указывая на этот недостаток единодушия, как на отличительный характер школы Смита, мы несколько не думаем отвергать существование в этой школе одного общего направления, которое получало, правда, различные оттенки в руках различных писателей, но тем не менее в своем существе оставалось постоянно одно и то же. Не соглашаясь друг с другом в решении многих частных вопросов, составляющих содержание политической экономии, все последователи Смита придерживались однако одних и тех же взглядов на существо науки, ее

цель, ее основное начало, ее практические применения. В отношении к этим важнейшим, существенным пунктам между ними нельзя встретить никаких разногласий и споров. Каждый из них в этом случае может быть принят за представителя всех, и следы общего стремления целой школы ясно заметны в трудах каждого из отдельных ее членов. Но всего яснее, всего резче высказались эти стремления в сочинениях знаменитого французского экономиста Ж. Б. Сея, которого поэтому и следует, предпочтительно перед всеми другими, признать главным органом и представителем так называемой экономической секты. В решении некоторых частных вопросов Сей отступился от мнений своих предшественников, даже от мнений самого Смита; но все существенные убеждения либеральной школы, составляющие ее задушевную, настоящую *profession de foi* нашли в нем для себя самого верного, самого ревностного последователя и защитника. Недостатки того нового направления, которое приняла политическая экономия со времени Адама Смита, у Сея, с одной стороны, обнаружились в первый раз с совершенной очевидностью, с другой—доведены были им до самых крайних последствий. Притом Сей особенно замечателен еще и потому, что первый формулировал и возвел на степень основных догматов науки те особенности общего направления школы, которым другие экономисты следовали полу-сознательно, нисколько не стараясь их рационализировать. Наконец в настоящем случае теории Сея в наших глазах придает особенную важность то обстоятельство, что этот писатель повидимому удостоился чести быть если не единственным, то по крайней мере главным руководителем и наставником г. Бутовского. На этом основании, излагая здесь отличительные черты системы экономистов, мы посвятим особое место Сею, и, обнаружив несостоятельность его учения, тем самым исполним и настоящую нашу задачу, то есть раскроем те причины, по которым не можем признать ученого достоинства и современности в сочинении г. Бутовского относительно его содержания и направления. Что же касается до формы этого сочинения, то о ней скажем мы ниже несколько слов.

Главные недостатки учения Сея и всех других экономистов смитовой школы заключаются в следующем:

Во-первых, в неправильном понятии о самом *предмете* науки. Мы уже заметили, что настоящим предметом политической экономии, при широком и многостороннем понимании существа этой науки, должно быть признано материальное благосостояние человека. Адам Смит назвал свое сочинение—исследованиями о существе и источниках *богатства* народов. Кроме

этого названия в сочинении Смита нет ни одного места, из которого мы бы имели право заключить о том, что считал он именно настоящим предметом политической экономии. Но Сей уже прямо назвал ее наукою о производстве, распределении и потреблении *богатства*. Все прочие последователи Смита, кроме Шторха¹, согласились в этом отношении с Сеем и постоянно придерживались определения, им высказанного. Этот взгляд на предмет науки имел и на самую судьбу ее весьма значительное и к сожалению весьма вредное влияние.

С первого взгляда может показаться, что между понятием о богатстве и понятием о благосостоянии нет существенного различия, и что эти два слова выражают одну и ту же идею. Если бы это было справедливо, то конечно не о чем было бы и спорить. К сожалению с таким мнением никак нельзя согласиться; говоря о благосостоянии, мы имеем всегда в виду известное *состояние человека*, при котором он является обладающим достаточным количеством средств для удовлетворения своих нужд и желаний; говоря о богатстве, мы напротив имеем самые средства удовлетворения человеческого потребностям, т. е. *вещи*, продукты, товары, подлежащие обмену. Настоящее отношение богатства к благосостоянию заключается в том, что первое есть необходимое условие для второго; первое есть средство, второе—цель. Именно это отношение и позабыли экономисты, когда признали богатство непосредственным предметом политической экономии. Отрешив от идеи богатства понятие о его назначении, они стали смотреть на первое, как на нечто особенное, самобытное, само-себе довлеющее,—позабыли, что оно теряет всякое значение, как скоро перестает служить орудием для удовлетворения потребностей человека и для улучшения его участи. Эта основная ошибка повлекла за собою и многие другие. Самые вредные ее последствия состояли в том, что неправильный взгляд на предмет науки, во-первых, изменил ее направление и способ обработывания, а во-вторых, послужил источником многих ложных решений, данных важнейшим вопросам политической экономии.

Когда экономисты, вместо того, чтобы признать основною идеею науки идею человека, стали изучать свойства самого богатства без всякого отношения к его виновникам и потребителям, т. е. людям,—политическая экономия превратилась есте-

¹ По определению Шторха предмет политической экономии составляют те естественные законы, которыми определяется благоденствие народов, т. е., как богатство их, так и образованность. Все прочие определения науки различаются друг от друга только в частных признаках, а не в основном понятии, которое во всех одно и то же.

ственно в теорию ценностей и обменов и перешла из разряда наук нравственных в категорию наук отвлеченных. Не понимая настоящего существа и назначения политической экономии, последователи Смита превратили ее в науку, подобную во всех отношениях математике. Как отвлеченное понятие величины составляет основную идею последней, так отвлеченное понятие ценности сделалось основной идеею первой. С этой абстрактной точки зрения обрабатывали науку особенно английские экономисты, между которыми первое место занимает Давид Рикардо, главный представитель и даже, можно сказать, главный виновник метафизического направления политической экономии. При таком направлении главным предметом ученых изысканий сделалась метафизика, или, если можно так выразиться, онтология народного богатства. В этом бы еще не было большой беды, потому что отвлеченные вопросы политической экономии составляют одну из важнейших частей этой науки и заслуживают без сомнения тщательной разработки. Но недостаток Рикардо и его последователей состоял в том, что они вдались в излишество и сделали из своих метафизических исследований не только главный, но даже почти единственный предмет науки, ограничив круг своей деятельности анализом отвлеченных понятий ценности, полезности, богатства, производства и т. д. Отрешаясь от действительности и ее интересов, они вращались исключительно в сфере безжизненных абстракций и по большей части оставались чуждыми всем живым вопросам, шевелившим умы их современников и вытекавшим логически из экономической жизни европейских обществ. Эта страсть к абстракциям и пренебрежение к тому, что перед ними воочию совершалось, имели самые несчастные последствия; сочинения экономистов наполнились метафизическими утонченностями и алгебраическими формулами, в высшей степени темными и непонятными даже для людей, совершенно знакомых с этим предметом; политическая экономия превратилась мало-помалу в загадочную, таинственную науку, доступную только для небольшого числа избранных ее адептов: в этом заключалось глубокое противоречие с самим характером этой науки, которая по свойству своего предмета, по своей близкой связи с материальными интересами людей, обязана была преимущественно заботиться о всеобщем распространении своих истин и излагать их следовательно в самой общедоступной и понятной форме. Вместе с этим ученые споры между экономистами превратились мало-помалу в нескончаемые и бесплодные диспуты, ничем не уступавшие знаменитым диспутам средних веков, спорам реалистов с номиналами, скотистов с фомистами и т. д. Спор о поземельной

rente, так долго волновавший школу Смита, всего яснее показывает на какие суетные предметы направляли экономисты свою деятельность, сколько ума, дарований и трудолюбия тратили они на бесплодные прения, в которых дело шло об одних словах, об одних диалектических тонкостях, вовсе не нужных для развития науки и еще менее нужных для успехов жизни. Излишняя узкость в определении науки породила таким образом и узкость взгляда на: ее объем и содержание: сделавшись отвлеченной теорией богатства, политическая экономия отказалась от своего практического значения, ограничила свое призвание самыми тесными пределами и перешла в число наук, изучаемых из одного любопытства и остающихся без всякого применения к действительной жизни, без всякого влияния на улучшение судьбы человека.

Впрочем самое вредное последствие ложного определения политической экономии состояло не столько в ограничении науки относительно ее объема, сколько в узкости и ошибочности направления, принятого ею при самом решении подлежащих ее ведению вопросов. Приняв в основание политической экономии не живую идею человека, но отвлеченное понятие богатства, экономисты всех школ, как английские, так и французские, поставили свой идеал экономического совершенства не в улучшении материального благосостояния как целого народа, так и отдельных его членов, а единственно в возможно большем увеличении массы богатств, т. е. продуктов, имеющих меновую ценность. Экономический прогресс, по их мнению, состоял в безостановочном усилении производства, в постоянном накоплении вещей, подлежащих обмену. В какой мере выигрывали от этого накопления ценностей производители и потребители? Как распределялись произведенные блага между различными классами общества? Какое влияние имело развитие промышленности на возвышение материального благосостояния всех и каждого? Все эти вопросы нисколько не занимали экономистов, постоянно имевших в виду не людей, а богатство, не производителей, а производство. Если человек и являлся в их науке, то являлся не как свободный производитель или потребитель, а единственно как машина, способствующая производству, как представитель той или другой производительной силы, капитала, таланта или труда. Физиократы определяли политическую экономию—искусством делать людей счастливыми; экономисты сделали из этой науки не более как искусство накапливать богатство в народе, не только не улучшая чрез это участи производительных классов, но даже, напротив, уменьшая во многих случаях их благосостоя-

ние, жертвуя в пользу весьма немногих выгодами и судьбою большинства. Следы этого абстрактного направления, этого постоянного подчинения интересов человека интересам промышленности ясно заметны во всех основных началах, составляющих сущность учения экономистов. Они отразились в их взглядах на ценность, в их нерациональном предпочтении ценности меновой—ценности потребительной, в их неудачном стремлении обосновать науку не на прямой полезности, выражении общего и основного факта, но на косвенной,—выражении факта произвольного и частного. Они отразились далее и во всем, что писали экономисты о выгодах конкуренции, разделения труда, машин, кредита, сосредоточения промышленных предприятий и т. д.; все, что могло усилить производство и содействовать умножению продуктов, было ими восхвалено, превознесено до небес; вредные последствия нынешних экономических учреждений, их бедственное влияние на судьбу рабочего класса совершенно ускользнули от их внимания; они не позаботились даже о том, чтобы указать эти последствия, оценить это влияние и поискать каких-либо средств для обеспечения работников от насилия капиталистов и злоупотреблений индустриализма. Но всего яснее и резче выразилось это благоговение экономистов перед продуктом и равнодушие их к судьбе человека в учении о валовом и чистом доходе, о социальном значении того и, другого; этим частным примером можно характеризовать всего точнее сущность абстрактного направления экономистов и вместе доказать самым убедительным образом всю ничтожность и непрактичность подобного направления. Известно, что в политической экономии постоянно делается различие между доходом валовым и доходом чистым (*Produit brut et produit net*); первым называется совокупность всех произведенных богатств, вторым—та часть произведенного богатства, которая остается за вычетом издержек производства. Что для частного лица доход чистый несравненно важнее валового, что каждый отдельный производитель тем богаче, чем значительнее разница между суммой продуктов и издержками производства,—в этом нет никакого сомнения. Но можно ли приложить то же самое начало к целому обществу? Можно ли сказать, что интерес общества состоит в том, чтобы постоянно увеличивать свой чистый доход, столь же постоянно уменьшая издержки производства? Очевидно, нет. В состав издержек производства входит между прочим и земельная плата; т. е. та часть продуктов, которые доставляют пропитание и содержание работникам, на счет которых живет самый многочисленный класс народа. Уменьшение земельной платы, или, что то же,

увеличение чистого дохода на счет валового может быть ежегодно для капиталистов и антрепренеров, но не может быть выгодно для общества, которое состоит как из капиталистов, так и из работников, двух классов, имеющих в этом случае интересы прямо противоположные. Стремясь к уменьшению издержек производства и к увеличению чистого дохода, общество должно неминуемо обогатить немногих промышленников и разорить большинство производителей. Но такое стремление едва ли может быть признано законным и полезным: интерес общества состоит не в обогащении немногих, но в улучшении судьбы всех,—не в сосредоточении всего богатства в руках одного класса, но в равномерном его распределении по всем классам. Этой-то простой истины не поняли или не хотели понять экономисты. Жертвуя в этом случае, как и во всех других, интересами человека интересам производства, они провозгласили, что чистый доход есть настоящий доход общества, что к его увеличению должны быть устремлены все усилия и старания промышленности. Англия послушалась этого совета и направила все силы к умножению своего чистого дохода на счет валового, к уменьшению издержек производства как в земледельческой, так и в мануфактурной промышленности. Что вышло из этого, известно каждому. Английские капиталисты и землевладельцы обогатились, но многочисленный класс работников обеднел страшным образом, и ужасная язва пауперизма пустила корни глубокой заразы как в городах, так и в селениях... Но до этого нет дела экономистам. Лишь бы увеличивалась масса народного богатства, а затем для них совершенно безразлично: разливается ли эта масса по всем слоям общества, принося всюду одинаковую сумму довольства и наслаждений, или скопляется, напротив, в руках немногих избранных, обращающих большинство нации в безответное орудие для своего возвышения и могущества. «Совершенно безразлично»—говорит в одном месте Рикардо, достигший до самой последней крайности в деле отвлечения и равнодушия к судьбе людей—«совершенно безразлично для человека, имеющего 20,000 франков капитала и получающего с него 2 000 франков ежегодной прибыли: употребляет ли его капитал 100 000 или только 10 00 работников. Разве не в том же состоит и истинный интерес народа? Лишь бы его чистый и действительный доход, его барыши и рента оставались те же,—какое дело до того, состоит ли он из 10 или из 12 миллионов людей».—«Поистине»—заметил в ответ на это Сисмонди—«после этого останется только желать, чтобы на всем острове остался только один человек, который, вертя постоянно колесом, производил

бы один посредством автоматов все то, что производит теперь целая Англия». Возражения Сисмонди повторил еще резче и сильнее один из экономистов смитовой же школы, Дроз, сделавший своим собратьям следующий вопрос: «кто для кого существует, человек для продуктов, или продукты для человека?» На этот вопрос экономисты отвечали, как и следует, презрительным молчанием. Только некоторые из них решились поднять брошенную перчатку и оправдать свою теорию от обвинений в жестокости и бесчеловечии. «Наука—провозгласили они гордо—стремится к истине, и только к одной истине; своей цели она достигает посредством *методы*. Политическая экономия есть наука положительная, не принимающая в себя ничего такого, что бы не было выведено путем строгого, логического доказательства. Любовь к ближнему и филантропия—прекрасны в практической жизни, но в науке они не могут и не должны иметь места. Политической экономии нет дела до того, как применяются ее принципы, кто пользуется ими, кому они вредят? Цель экономиста достигнута, как скоро он убедился в справедливости своего начала, в том, что это начало есть истина несомненная, строго доказанная. Но этот характер несомненных и доказанных истин имеют все экономические принципы, потому что все они не приняты *a priori*, но выведены правильным образом из наблюдения над фактами, путем положительной, истинно научной *методы*».

Защищая свое учение от нападений современных критиков, экономисты ссылаются всего чаще и охотнее на свою методику: так уверены они в ее высоком достоинстве и в непогрешимости всех результатов, ею доставленных. Посмотрим же теперь ближе на эту методику и постараемся указать с точностью как достоинства ее, так и недостатки.

Одна из главных заслуг Адама Смита состоит, как заметили мы выше, в том, что он умел воздержаться от соблазнительного примера своих предшественников—физиократов, считавших возможным объяснить синтетически, посредством смелых гипотез, все экономические явления и законы, не прибегая к подробному и последовательному анализу каждого из них. Адам Смит хотел сделать из политической экономии науку положительную, точную и для этой цели постоянно руководствовался в своих изысканиях правилами аналитической, индуктивной методики. Его последователи повидимому не уклонились от пути, указанного великим их учителем; так же как и он, они настаивали на необходимости удерживаться от преждевременного синтеза и не допускать в науку ни одного начала, не выведенного из строгого, добросовестного разбора фактов. Но если

вникнуть глубже в существо их логических приемов и способа их аргументации, то нельзя не убедиться, что не всегда удавалось им на самом деле следовать тем советам, справедливость которых они признавали на словах. Мало того, что иногда невольно, а иногда и с умыслом, отступались они от правил принятой ими методы и открывали доступ в своих теориях самым несбыточным предположениям, не находившим никакого оправдания в действительности; мало того, что, в большей части случаев они обнаруживали совершенное незнание истинных свойств положительной методы и вопреки самым несомненным законам логики считали достаточным для научного оправдания своих гипотез подкрепление их самым поверхностным анализом немногих, отрывочных и случайных фактов. Обо всем этом мы говорить теперь не будем, потому что ниже, при оценке главного начала, положенного ими в основание учения о свободе промышленности, мы будем иметь случай показать с надлежащей ясностью несогласие экономистов с их же собственными правилами относительно методы и явную склонность их к идеализму и к произвольным теориям. Теперь мы считаем нужным указать только на один, важнейший, по нашему мнению, недостаток экономической методы; именно на то, что, не поняв свойства и назначения политической экономии, они не поняли также и настоящих вытекающих из этих свойств условий успешного приложения своей методы к обработке экономической науки. Не уяснив себе существенного различия между политической экономией и другими положительными науками, они признали неправильно методу последних—вполне достаточной для научного построения первой, и таким образом, в своем неведении настоящего существа и значения избранного ими орудия, стали пользоваться им так искусно и необходимо, что испортили все дело и собрав множество богатых материалов, построили из них самое непрочное и непропорциональное здание, поражающее своим безобразием и ежеминутно грозящее падением.

Сравнив политическую экономию с науками естественными и, признав способ обработки последних единственно возможным для первой, экономисты стали неумоимо собирать отовсюду факты, изучать экономические явления во всей их подробности, сравнивать их и сличать между собой, сортировать по категориям и разрядам, разлагать на составные элементы, отвлекать общее от частного, схожее от различного. Это трудолюбие в накоплении и разработке материалов было без сомнения весьма похвально; но едва ли могло быть достаточно для решения всех задач политической экономии. К сожа-

лению экономисты остановились именно на этом анализе современных фактов и никак не хотели идти дальше. Они не поняли, что *общие* законы производства и распределения богатств, составляющие предмет политической экономии, не могут быть выведены из этого ограниченного анализа и требуют для своего вывода методы менее страдательной и более широкой. Изучение современной действительности в ее частных проявлениях может привести только к одному результату— к сознанию тех экономических законов, по которым совершается материальное развитие современных обществ, при настоящем их устройстве, при нынешних условиях их жизни. Но как узнать посредством наблюдения над окружающими нас явлениями степень необходимости, общности и разумности этих законов? Как отделить в них временное от вечного, условное от безусловного, случайное от необходимого? Очевидно, что одно такое наблюдение не может объяснить нам ни постоянных, непрменных условий существования и устройства обществ, ни общих, неизменных законов общественного развития. А между тем в этом именно и заключается главная обязанность и призвание науки. Наука должна исследовать общие и постоянные, а не частные и временные законы; последние важны для нее только как средство для познания и открытия первых. Этого-то именно и не поняли экономисты, когда ограничили свою науку описанием настоящего порядка вещей и анализом экономических феноменов, принадлежащих нашей эпохе и нашим обществам. Правда, свою задачу они исполнили с большим успехом и объяснили нынешний экономический быт во всех его мелочах и подробностях, хотя и тут дело не обошлось без ошибок и ложных выводов. Но описательная, статистическая часть науки далеко еще не составляет всей науки, или, вернее сказать, составляет не более как первую низшую ступень ее развития. Остановившись на этой ступени, экономисты малодушно отреклись от своего настоящего назначения и обратили свою науку в сбор любопытных, но отрывочных и частных сведений, принадлежащих по своему существу скорее к статистике, нежели к политической экономии.

Почувствовав эту слабую сторону своей методы, некоторые из экономистов, чтоб оправдать себя от сделанных упреков, впали в новую и еще большую ошибку. Их обвиняли в том, что, ограничив круг своей деятельности изложением существующего порядка вещей, они превратили политическую экономию в науку описательную, имеющую дело с одними явлениями и не восходящую до сознания их причин и законов. На это они отвечали самой странной и произвольной гипотезой—

предположением абсолютной необходимости всего, существующего в настоящее время. Нынешние законы производства и распределения богатств выдали они, без малейшего на то основания и вопреки свидетельствам истории, за законы общие всем временам, действующие одинаково на всех ступенях общественного развития. Частные факты нашей эпохи, обусловленные временными и местными данными, они стали излагать в форме непреложных законов, одинаковых всегда и везде. Возьмите любой курс политической экономии, пожалуй хоть курс самого г. Бутовского, везде вы найдете, что неизменные законы, основанные на самой природе вещей, смешиваются на каждой странице с случайными правилами, вытекающими из особенностей той или другой страны, того или другого времени; между этими двумя категориями экономических начал не полагается обыкновенно никакой разграничивающей черты, и ни одному из экономистов не пришло в голову, указав на возможность различения законов общих от законов частных, подумать о средствах для достижения этой цели, для отвлечения в конкретных явлениях всего необходимого и существенного от случайного и второстепенного. В этом именно и заключается один из главных источников экономических софизмов и заблуждений. Отчего, например, экономисты так мало обращали внимания на нищету и вовсе не заботились об отыскании средств для противодействия ее причинам? Понятно, что добросовестные из них руководились тут только тою мыслию, что эти причины пауперизма тесно связаны с самым устройством экономических отношений и носят на себе тот же характер необходимости, какой носит на себе, по их понятию, и самое это устройство. Этот частный пример показывает всего яснее, на какие грубые и вредные ошибки осуждал экономистов указанный нами недостаток их методы.

Но это еще не все. Одна из самых слабых сторон учения экономистов заключалась в той исключительности, с которой прилагали они свою методу к исследованию всех вопросов политической экономии. Мы заметили в самом начале нашей статьи, что призвание экономической науки состоит не в одном раскрытии, но и в правильной оценке основных начал нынешней экономической организации. Там, где все подчиняется известным, непреложным законам, которых человек никогда не в состоянии изменить, конечно не может быть и речи об оценке этих законов, о том, что хорошо в них и что дурно, что справедливо и что несправедливо. Но в экономическом мире, где кроме небольшого числа неизменных законов, вытекающих из самой природы вещей или человека, все экономи-

ческие начала и учреждения подвергаются беспрестанным изменениям и по воле людей то сохраняются, то уничтожаются,— наука не может отказаться от неотъемлемого права произносить свой суд над существующим порядком вещей, указывать его достоинства или недостатки, объяснять его разумность или неразумность. Нет никакого сомнения, что наука должна прежде всего раскрыть, что и как в ее сфере делается; но на этом она не может остановиться, а должна необходимо сличить открытое ею с требованиями разума и объявить, согласно ли оно с ними или нет? В противном случае она должна неминуемо потерять свое практическое значение и отбросить из своей среды все то, в чем именно и заключается ее важность и интерес. Такую именно участь и испытала теория, построенная последователями Смита. Обратив все внимание на описание и объяснение существующего, экономисты совершенно исключили из своей науки все исследования о согласии или несогласии современной действительности с требованиями разума и права. Наука, по их мнению, должна была только показать то, что есть, а не то, что должно быть; ее целью они признавали одно простое изложение, а не критическую оценку фактов. Узнав главные основания нынешнего устройства экономических отношений, они сочли себя вправе признать свои сведения вполне достаточными для удовлетворения потребностям как общества, так и науки; в какой мере эти основания экономической организации были рациональны и справедливы, до этого им не было никакого дела; отказавшись от своей обязанности раскрыть степень совершенства экономических учреждений, они насмеялись над теми, которые не разделяли такого узкого взгляда на науку и не довольствовались одним знанием фактов без знания их значения и смысла. От этого произошло, что мало-помалу, и скорее безотчетно, нежели сознательно, они пришли к тому нелепому убеждению, что все действительное—прекрасно, что всякий факт служит выражением разума, что все существующее справедливо только потому, что оно существует. Они вышли из того *начала*, что наука не должна заботиться о том, что справедливо и несправедливо, а кончили тем, что усвоили себе безобразную гипотезу абсолютной справедливости и полного совершенства всех существующих экономических учреждений. Такое странное ниспровержение самых основных законов логики повело естественно к упорному оптимизму, к недобросовестному отрицанию самых очевидных фактов и к бесплодному стремлению рационализировать и оправдывать все то, что представляло в *себе* самую вопиющую и возмутительную несправедливость.

Наконец всего яснее доказывает несостоятельность экономической методы стремление всех экономистов сделать из промышленных явлений—исключительный предмет своей деятельности и отделить свою науку самыми резкими границами от всех других смежных с ней частей науки общественной. В этом отношении физиократы опять имеют значительное преимущество над школою Смита. Для них общественная наука была едина и нераздельна; они понимали ясно, что все ее части тесно связаны друг с другом, что между явлениями общественными существует необходимая солидарность, и что ни одно из них не может быть объяснено само собой, независимо от других, служащих ему постоянно то причиною, то последствием. Этой простой истины не понял ни один из экономистов. Все последователи Смита справедливую мысль о необходимости разделения труда и занятий в науке довели до крайности и совершенно упустили из виду ту естественную связь, которая существует между материальными интересами народа с одной стороны и его интересами умственными, нравственными, политическими и т. д.—с другой. Разлучив то, что по своей природе должно было оставаться неразлучным, они старались обрабатывать политическую экономию, как науку совершенно отрешенную от всех других отраслей человеческого знания и не имеющую ни малейшей обязанности руководствоваться в своих исследованиях указаниями политики, права и философии. Понятно, что такое непонимание необходимого взаимодействия каждой отрасли общественных явлений на все другие должно было сопровождаться исключительностью взглядов на предмет науки и самой узкой односторонностию в решении тех задач ее, которых невозможно было решить по одним принципам экономическим, без сопоставления последних с принципами политическими и юридическими.

Заблуждения экономистов относительно определения науки и способа ее обрабатывания объясняют и все недостатки самого содержания их теории. Содержание политической экономии складывается из двух главных частей: первая рассматривает способ производства богатств, вторая—способ их распределения¹. Посмотрим теперь, до какой степени справедливы те

¹ Многие экономисты (в том числе и г. Бутовский) присоединяют к этим двум частям науки еще третью — о *потреблении* богатств. Согласно с мнением России и некоторых других новейших писателей, мы считаем такое деление неправильным, потому что из числа вопросов, излагаемых обыкновенно в этой третьей части, одни вовсе не подлежат ведению политической экономии, а другие не могут иметь самостоятельного места по внутренней связи своей с вопросами о производстве и распределении богатств.

начала, которые полагаются экономистами в основание как того, так и другого из этих учений.

В отношении к вопросам о производстве богатств экономисты, по исключению из общего правила, не ограничились одним описанием его механизма в современных обществах, но указали кроме того и те условия, от которых зависели, по их мнению, успешность и быстрота в развитии промышленности. Их теория усиления производительности чрезвычайно проста в своих основаниях и может выражаться вполне в четырех словах: *laissez faire, laissez passer*. Для умножения массы народного богатства, для приведения в действие всех производительных сил общества, экономисты требовали только одного—неограниченной свободы промышленности и совершенной независимости промыслов от вмешательства и распоряжений власти. Такое учение с первого взгляда представляется довольно странным; и человеку, незнакому с историческим развитием науки, трудно понять, что могло привести экономистов к такому отчаянному оптимизму, к такой уверенности в непогрешимости индивидуального интереса и в невозможности злоупотреблений и ошибок со стороны частных лиц, предоставленных собственным силам. Только тот, кто знает, как и при каких обстоятельствах произошло это учение, будет в состоянии понять его источник и относительную необходимость. Мы уже сказали, когда говорили о физиократах и Смите, что чрезмерное и неудачное вмешательство власти в дело народной промышленности составляло одну из главных причин, препятствовавших успехам и развитию последней. Отрицая пользу такого вмешательства и Доказывая необходимость освободить промышленность от феодальных стеснений, физиократы, Адам Смит и все его последователи действовали совершенно согласно с основной потребностью той эпохи. Но само собой разумеется, что это уничтожение старого составляло только одну, чисто отрицательную сторону задачи экономистов; другая, важнейшая сторона их призвания заключалась в деятельности положительной и творческой, в раскрытии рациональных условий для успешных действий общественной власти в сфере промышленных интересов. К сожалению последователи Смита не вполне поняли свое назначение и, остановившись упорно на одном отрицании, никак не хотели идти дальше. Вмешательство правительства—говорили они—приносило до сих пор более вреда, нежели пользы; следовательно это вмешательство абсолютно вредно и не должно быть ни в каком случае допускаемо. Такое заключение было совершенно неосновательно потому, что предполагало со стороны общества невозможное и жестокое равнодушие к судьбе

своих граждан. Если бы общественная власть предоставила промышленность на произвол частным интересам и оставила слабых без покровительства, а сильных без надзора, она бы отказалась вместе с этим от своего настоящего назначения, от того, в чем заключается ее прямая, непосредственная обязанность. Такое отречение общественной власти от своих прав было бы в высшей степени безрассудно и вредно. Оно уничтожило бы всякую возможность установить порядок в экономических отношениях и доставить правам всех и каждого надлежащее охранение и обеспечение. И действительно неограниченная свобода промышленности в тех государствах, где она осуществилась, сопровождалась самыми печальными последствиями, господством анархии, произвола и насилия. Вооружаясь против притязаний общественной власти руководить промышленною деятельностью народа, экономисты надеялись упрочить самым твердым образом независимость и достоинство каждого производителя; но их надежды не только не были оправданы действительностью, но и привели к противоположным результатам—к совершенному подчинению большинства наций исключительным интересам малочисленной касты. Увлекаясь своим политическим протестантизмом, экономисты не поняли, что только покровительство общественной власти может доставить достаточную гарантию независимости производителей, и что там, где нет такого покровительства, возможна только независимость отрицательная, номинальная, независимость *de jure, non de facto*¹. Как в сфере политической, так и в сфере промышленной настоящая свобода только и возможна под условием твердой организации общественных отношений; позабыв, что свобода никогда не обходится без порядка, экономисты поставили свою теорию в явное противоречие не только с фактами, но и с самыми основными правилами человеческой логики. Из того, что прежняя организация промышленности была несправедлива и нерациональна, они вывели то заключение, что всякая организация безусловно вредна и невозможна, что только неограниченная свобода может обеспечить производительности безопасность и успех. Очевидно, что такое заключение было слишком преждевременно и основывалось на силлогизме, весьма неправильно построенном. Первая посылка, приведенная ими в основание их вывода, уподобляла их только на одно: на осуждение тех экономических учреждений прежнего времени, которые подавляли свободную деятельность человека и в пользу немногих осуждали большин-

¹ юридическая, но не фактическая. — *Ред.*

ство на нищету и унижение. Но никакого права не имели они, основываясь на этой посылке, назвать *a priori* всякое учреждение стеснительным и вредным. Неблагоприятные последствия прежнего устройства экономических отношений доказывают только одно: необходимость уничтожения этого устройства и замены его новым, более разумным и справедливым. Экономисты вывели из сознания этих последствий совсем другой результат, но вывели его только потому, что не сумели отделить самое начало от способа его обнаружения и неправильно смешали два понятия, не имеющие между собой ничего общего, понятие об *организации* труда с одной стороны, понятие о *способе организации*—с другой.

Теоретические доводы, приведенные экономистами в оправдание своего учения о свободе промышленности, доказывают ясно, что последователи Смита в способе своей аргументации не всегда придерживались методы своего учителя. Возражениям своих противников, говоривших, что неограниченная свобода должна иметь необходимым последствием беспорядочную борьбу частных интересов, выгодную для одних, губительную для других, они противопоставили, *как* известно, свою гипотезу постоянного, безусловного единства между выгодами каждого частного лица и выгодами целого общества. «В обществе,—говорит одна из них, Гарнье,—не может быть относительно богатства никакого другого общего интереса, кроме соединения всех интересов частных; ошибаются те, которые предполагают существование национального интереса, противоположного интересам неделимых». То же самое начало принимается и всеми другими экономистами, которые на нем основывают свою мысль о невозможности вредной для общества коллизии между его членами в случае свободы промышленности и отсутствия организации. Эту мысль мы давали гипотезой, и действительно нельзя отрицать того, что она выведена совершенно *a priori* наперекор самым несомненным, наглядным фактам. Что по существу своему интерес частный и интерес общественный *должны* быть едины и тождественны—в этом нет никакого сомнения. Но что это единство, это тождество существует на самом деле, в настоящее время и при нынешнем устройстве обществ—с этим довольно трудно согласиться. В слиянии пользы общественной с пользою частной заключается высший идеал, к которому стремится человечество; и мера этого слияния составляет самый верный критерий для оценки общественной организации, которая тогда только достигнет высшей степени разумности и совершенства, когда уничтожит самую возможность столкновений между интересом частным и интересом общим.

Но можно ли утверждать серьезно, что солидарность частных интересов, необходимое условие для достижения этого идеала, уже осуществилась на самом деле? Разве не встречаем мы на каждом шагу, во всех сферах человеческой деятельности, глубокий разлад сил и страшный антагонизм индивидуальных стремлений? Разве во всякой стране не находим мы резкой противоположности между выгодами различных местностей и в каждой местности—между выгодами различных семейств, в каждом семействе—между выгодами различных его членов? В экономической сфере это разъединение сил еще очевиднее, чем где-либо; оно порождает в современных обществах постоянную, бесконечную борьбу между частными интересами, борьбу между различными отраслями промышленности, между отдельными ветвями одних и тех же промыслов, между различными классами производителей, между производителями и потребителями, между землевладельцами и земледельцами, между капиталистами и работниками, между работниками и работниками. Интерес капиталиста состоит в том, чтобы понижать задельную плату; интерес работника в том, чтобы ее возвышать. Цель каждого капиталиста—подорвать другие однородные предприятия и разорить своих соперников, цель каждого работника—лишить своих совместников занятого ими места и сопряженного с ним куска хлеба. Выгода производителя—продавать продукты как можно дороже, выгода потребителя¹—покупать их как можно дешевле. И после этого экономисты решаются говорить о солидарности интересов, о невозможности коллизии и борьбы. «Интерес общественный,—говорят они,—есть не что иное, как соединение всех интересов частных?». Но соединять интересы взаимнопротивоположные, отвечает им на его действительность, значит складывать там, где следует вычитать, выводить общий итог из суммы величин положительных с величинами отрицательными. Утверждать при таком порядке вещей, что организация бесполезна, что надо сложить руки и равнодушно смотреть на беспорядок, значит утверждать законность анархии и необходимость разлада. Там, где господствует всеобщая разрозненность интересов, смешно полагаться на неограниченный произвол враждующих, как на лучшее средство для водворения мира и согласия. В сфере экономической, точно так же как и во всех других сферах общественной деятельности, порядок и гармония не рождаются сами собой из нестройной борьбы противоположных стремлений. Забывая эту истину и стараясь удовлетворить всем интересам посредством сохранения существенных условий их разъединения и вражды, экономисты трудятся очевидно над решением нераз-

решимого вопроса—отыскивают сознательно квадратуру круга. Они не хотят понять, что неограниченная свобода только там и возможна, где безусловно невозможны столкновения и раздоры; пока не осуществилось это последнее условие, только общественная власть, представительница интересов всех и каждого, может своим вмешательством обуздывать сильных, покровительствовать слабым, отвращать несправедливости и противодействовать беспорядку. Отрицая необходимость такого вмешательства и опираясь при этом на мнимое единство индивидуальных целей, экономисты вступают в противоречие с самыми очевидными фактами и недобросовестно предполагают действительное существование того, к чему мы еще только стремимся и приближаемся,—существование всеобщей солидарности интересов и прочной ассоциации между производительными силами.

Другой аргумент экономистов в пользу свободы промышленности носит на себе также характер гипотезы, и притом гипотезы самой произвольной и несбыточной. Желая доказать, что в экономическом мире стоит только предоставить промышленность на произвол случая, чтоб достигнуть самых блистательных результатов, последователи Смита включили в число самых непреложных аксиом науки, не требующих даже и доказательств по причине своей очевидности, мысль о постоянном сохранении равновесия между производительностью и потреблением в случае независимости промыслов от вмешательства власти. Эта мысль, подобно предыдущей, есть не более, как неосновательное предположение, вовсе не сообразное с действительностью. На каждом шагу опыт противоречит этой гипотезе, доказывая, что несоразмерность производства с потреблением есть нормальный факт современных обществ и необходимое последствие отсутствия твердой и разумной организации труда. Ежедневно мы видим, что производительность народа, предоставленная собственным силам и лишенная возможности угадать требования потребителей, обгоняет в своем лихорадочном движении естественное развитие если не нужд, то по крайней мере средств потребляющего народонаселения. В последние пятьдесят лет беспрестанно случалось, что страшные кризисы, следствие загромождения рынков не находившими для себя покупателей продуктами, потрясали самые основания общественного благоустройства, разоряли и капиталистов и работников, пускали по миру миллионы людей и отзывались губительным образом не в одном экономическом, но и в нравственном упадке рабочих классов. Этого мало. Промышленные кризисы можно, пожалуй, рассматривать как

случайные, обусловленные внешними причинами, отступления от общего правила; но разве при нормальном, обыкновенном ходе событий мы не находим также беспрестанных и весьма значительных изменений в ценности товаров, разоряющих попеременно то производителей, то потребителей, иногда внезапного упадка цен, следствия излишества в предложении, иногда, напротив, неожиданного повышения их, следствия невозможности предвидеть увеличение спроса? Есть ли какое-нибудь средство объяснить эти факты, если предположить вместе с экономистами, что производство и потребление постоянно уравниваются друг с другом, по самой силе вещей, по какому-то таинственному, непостижимому для нас закону? И притом, не говоря уже о фактах, явно противоречащих этой гипотезе, спрашиваем: в чем заключаются логические ее основания? В необходимом единстве между интересом каждого частного лица и интересом целого общества, отвечают экономисты. Но этим ответом трудно удовлетворяться тому, кто не разделяет мистических верований школы Смита в непогрешимость и всемогущество частного интереса. Допустим даже, что интерес *каждого* бывает всегда един с интересом *всех*: какое право имеем мы выводить из этого начала то заключение, что неделимое всегда стремится самым верным путем к своей настоящей цели? Выгода самого производителя—говорят экономисты—состоит в том, чтобы соразмерять свое производство с нуждами и средствами потребления. Положим, что это так. Но кто же поручится нам за то, что каждый производитель будет иметь довольно проницательности и ловкости для того, чтобы достигнуть этой цели? Одного доброго намерения в этом деле еще недостаточно: необходимо иметь кроме того способность и средства к его исполнению. Но, во-первых, не все производители одинаково способны и проницательны, а во-вторых, при беспорядочной конкуренции и неограниченной свободе производства, ни один из них не имеет возможности узнать с точностью настоящее отношение предложения к спросу и предвидеть заранее те случайные изменения, которым беспрестанно подвергается это отношение. А чего нельзя предвидеть, с тем разумеется нельзя и соображаться. Равновесие между предложением и спросом было бы возможно только при твердой организации производства; оно решительно невозможно в таком устройстве, в котором судьба потребителей зависит от каприза и увлечений производителей, от их невежества и жадности, от судорожного напряжения сил, сообщаемого промышленности неограниченным соперничеством. Свобода труда может усилить производительность, но не может сохранить постоянную сораз-

мерность между производством и потреблением; думать противное, значит предполагать, что порядок рождается сам сабою из беспорядка, и что лучшее средство достижения какой-либо цели состоит в сохранении настоящих причин, препятствующих ее достижению.

Свобода промышленности, в сравнении с прежним экономическим бытом, основанным на монополиях, корпорациях и феодальных отношениях, представляется конечно важным усовершенствованием, значительным шагом вперед. В свое время она была необходима для того, чтоб сообщить промышленности энергию и жизненность, пробудить производительные способности человека и открыть им сферу для исхода и обнаружения. Никто не сомневается также, что независимости производителей и неограниченному их соревнованию обязаны мы преимущественно безостановочным и быстрым размножением народного богатства в последние пятьдесят лет. Но если легко оправдать свободу промышленности в отношении к прошедшему, то не так легко оправдать ее в отношении к настоящему и будущему. В момент падения феодальных учреждений она была необходима и благодетельна для человечества; в настоящую минуту она и недостаточна и вредна. В отношении к усилению производительности она без сомнения принесла и до сих пор приносит много пользы; но этот аргумент едва ли может иметь большое значение, потому что гораздо больше пользы принесла бы в этом отношении надлежащая организация труда, под влиянием которой промышленность могла бы развиваться еще безопаснее и быстрее. Притом если бы даже признать вместе с экономистами, что для умножения народного богатства свобода промышленности есть самое надежное средство, то и тогда нельзя бы было удовлетворяться этой системой и на ней остановиться, потому что истинный Интерес общества состоит не столько в размножении продуктов, сколько в улучшении участи всех классов народа, как высших, так и низших. Но в этом последнем отношении свобода промышленности сопровождается, как известно, весьма неблагоприятными последствиями. Вместе с постоянным умножением продуктов она столь же постоянно уменьшает участие самого многочисленного класса производителей в пользовании производимыми благами и своим вредным влиянием на способ распределения богатства обуславливает несправедливое решение всех общественных вопросов, связанных с этим распределением. На эти последние вопросы нам остается теперь обратить внимание читателей, для того, чтобы объяснить им вполне всю практическую несостоятельность начал, полагаемых в основание науки школою Смита.

В отношении к вопросам о распределении богатств политической экономии предстоит тройкое назначение: она должна, во-первых, объяснить механизм этого распределения в современных обществах, во-вторых, разложить главные пружины этого механизма на составные их части и отделить то, что в них есть общего и необходимого, от всего условного и частного, и наконец, в-третьих, указав идеал самого справедливого распределения благ,—открыть средства для постепенного осуществления этого идеала в самой действительности. Из этих трех задач экономисты выполнили только первую. Они описали весьма подробно и точно все то, что относится к нынешнему порядку распределения, показали меру участия каждого производительного класса в пользовании ежегодным продуктом труда и земли и объяснили те законы, по которым определяется нынче количество поземельной ренты—дохода землевладельцев, прибыли с капитала—дохода капиталистов, и задельной платы—дохода работников. Надо заметить впрочем, что эта описательная часть уже вполне была обработана самим Смитом, так что его последователям осталось только повторять с большею подробностью начала, высказанные учителем, причем однако же не обошлось без некоторых промахов, противоречий и неясностей. Что же касается до двух других задач науки, бесспорно заключающих в себе гораздо более интереса и важности, то за их решение экономисты и не думали браться. Сообразно с общим направлением своей методы, они, не прибегая ни к каким исследованиям, прямо признали современные законы распределения благ единственно возможными и следовательно необходимыми, несмотря на то, что эти законы сделались господствующими только с недавнего времени, и что в прежние времена система распределения была основана на совсем других началах, а вовсе не на началах свободной конкуренции и задельной платы. После этого понятно, что им должны были также остаться недоступными исследования о средствах удовлетворения требованиям правды в устройстве экономических отношений. Имея в виду одно умножение богатств и вовсе не заботясь о судьбе производителей, они не обращали никакого внимания на бедствия рабочих классов и ни мало не помышляли о необходимости установить более справедливые отношения между капиталистами и работниками. Современное положение вещей казалось им не только необходимым, но и в высшей степени разумным. Изменять его, по их мнению, вовсе не было нужно, тем более, что в их глазах неограниченная свобода промышленности должна была сама собою устроить все к лучшему, уничтожить нищету, водворить всеобщее благосостояние и обеспечить каждому из

производителей заслуженную им долю в массе народного богатства. Правда, факты противоречили на каждом шагу этому оптимизму, доказывая красноречиво всю его несостоятельность. Под влиянием свободы промышленности и разъединения производительных сил, вместе с умножением народного богатства, беднели и разорялись производители; доля капиталистов с каждым днем увеличивалась, доля работников с каждым днем уменьшалась; мелкие капиталы и небольшие предприятия гибли в неровной борьбе с большими капиталами и значительными предприятиями, которые в свою очередь подвергались ежеминутной опасности от беспрестанных промышленных кризисов, следствия беспорядочной конкуренции, недостатка сбытов, обеднения потребителей и чрезмерного напряжения производительных сил. Язва пауперизма распространялась с невероятною быстротою; задельная плата, единственный доход работника, под постоянным влиянием неограниченного соперничества и неразумного пользования выгодами машин и разделения труда, спускалась ниже и ниже и достигла наконец во многих местах до самого крайнего предела, за которым оставалось только умирать от голоду. Физический, умственный и нравственный упадок рабочих классов был прямым последствием такого положения вещей; в государствах, действовавших всего успешнее на поприще экономического развития, умножение бедности шло совершенно параллельно с умножением богатства; число преступлений увеличивалось в огромной пропорции; разврат распространял свое губительное влияние на все слои народонаселения; смертность между рабочими классами обнаруживалась в самых страшных размерах. Фабрики и заводы наполнялись женщинами и детьми, которые работали дешевле взрослых мужчин и мало-помалу вытеснили их из большей части отраслей мануфактурной промышленности. Участь этих несчастных, страдавших от чрезмерной продолжительности труда, от недостаточности вознаграждения, от жестокого обращения хозяев, становилась все ужаснее и ужаснее. В Англии такса бедных поглощала самую значительную часть государственных доходов. Число несчастных пролетариев, оспаривавших друг у друга кусок хлеба, недостаточный для утоления голода, беспрестанно увеличивалось; вопреки благонамеренным советам Мальтуса и его последователей, они множились с изумительной плодовитостью и уничтожали своим чрезмерным размножением все усилия благотворительности, все старания правительств. Противоположность между роскошью высших классов и бедностью низших достигла самых крайних пределов и вопияла к немедленному уничтожению неразумных учреждений, упрочивавших рабство труда под

гнетом капитала. Всеобщее неудовольствие и брожение умов, беспрестанные коалиции работников и восстания их против капиталистов,—все предвещало неминуемость социального кризиса и доказывало необходимость радикального преобразования экономических отношений. Одни экономисты оставались равнодушными к тому, что занимало и мучило всех; в своем упорном оптимизме, в своем недобросовестном презрении к фактам, не подходившим под мерку их узких теорий, они закрывали глаза при виде бедствий рабочего класса, и даже отрицали самое существование бедности. Посреди всеобщих жалоб на понижение задельной платы, на разорение производителей, на горькую участь труда, они не переставали вопреки очевидности повторять с невозмутимым спокойствием, что при неограниченной свободе промышленности и при постоянном соревновании между производителями *«богатства распределяются сами собой, совершенно естественным и справедливым образом соразмерно заслугам и правам каждого!!!»*

Все эти особенности общего направления экономистов отразились более или менее в трудах каждого из писателей школы Смита. Но самым полным и верным представителем этих стремлений был, как заметили мы выше, известный Жан-Баптист Сей. В его сочинениях и формулировались и сгруппировались все недостатки, нами указанные, недостатки, которые ни в одном из прежних экономистов не выразились с совершенной ясностью и во всей своей полноте. В истории науки Сей имеет особенно важное значение еще потому, что через него проникло в первый раз во Францию и оттуда распространилось по всей Европе учение английских экономистов. Он содействовал, больше, чем все другие писатели школы Смита, временному торжеству основных начал этой школы в мнении общественном. Но в высшей степени неосновательно приписывать Сею заслугу распространения теории Смита; Сей развивал и популяризировал не настоящую систему своего учителя, но систему, искаженную и видоизмененную его учениками, или, говоря точнее, свою собственную систему, вовсе не похожую на первоначальное учение шотландского экономиста. Сей поступил весьма недобросовестно, когда назвал себя учеником Смита, потому что справедливое начало второго имеет весьма мало общего с ложной теорией первого. Смит, например, никогда и не думал высказывать того грубого, узкого понятия о науке, которое высказал Сей. Он, правда, назвал свое сочинение исследованием о богатстве; но самое это название уже показывает, что он не считал богатства единственным предметом науки и не решился поэтому самому

дать своим частным исследованиям название политической экономии. Сей уже прямо назвал политическую экономию наукою о богатстве и на деле всегда придерживался этого определения, хотя впоследствии отступился от него на словах, придумав для своей науки название социальной экономии и подчинив ее ведению все отправления общественного организма. Смит обобщив явления экономические отдельно от прочих явлений общественных, но никогда не отрицал их взаимной связи и необходимости дополнять анализ интересов материальных анализом других интересов общественных; свою книгу он посвятил исследованию источников богатства, но обращал в ней внимание и на все другие, связанные с богатством вопросы, рассматривал например взаимные отношения развития материального и развития умственного и никогда не забывая при своих экономических исследованиях необходимость руководствоваться соображениями нравственными и политическими. Сей вовсе не понял мысли своего учителя и приписал ему весьма неправильно свой собственный недостаток, поставив ему в особую заслугу то, чего никогда и не делал Смит,—совершенное отделение начал экономических от начал философии, политики и права. Смит определял богатство ежегодным продуктом труда и земли; Сей отверг это определение и, признав меновую ценность настоящей ценности общественной и существенным признаком богатства, исключил из политической экономии понятие, лежащее в основании этой науки, понятие о непосредственном отношении вещей к нуждам человека. «Необходимость,—говорит он,—определять ценность вещей посредством обменов, или по крайней мере посредством возможности обменять их до желанию на известное количество других вещей, побудила дать *их общественной ценности, единственной ценности, о которой может быть речь в политической экономии*, название ценности «меново́й». Вместе с этим Сей изменил и самое направление политической экономии; превратив ее в отвлеченную теорию ценности и Обменов, он пришел естественно к ложному взгляду на цель экономической деятельности, к подчинению интересов человека интересам богатства. Смит, изучая законы экономического развития, пользовался каждым из своих открытий для вывода практических результатов, для указания правительствам и частным людям настоящих средств достижения их цели; Сей лишил политическую экономию всякого практического значения и ограничил ее призвание одним описанием настоящего порядка вещей. По его словам, наука должна иметь дело с тем, что есть, а не с тем, чего нет: «когда экономия,—говорит он,—обнаруживала притязание на управление государством, понятно, что она

могла внушать опасение власти; но это опасение не может уже существовать теперь, когда *она состоит только в описании того, что происходит в обществе*», и в другом месте: «экономисты XVIII века, считавшие своим призванием руководить правительственной деятельностью, и к несчастью также некоторые из современных писателей не поняли, мне кажется, настоящей цели и достоинства науки». Ничего подобного нельзя найти в сочинении Смита, который не мог ограничить Науку одним описанием современной действительности, потому что признавал вполне изменяемость нынешних экономических законов и необходимость отделять в них необходимое от случайного, постоянное от временного. В этом отношении весьма замечательно предостережение, сделанное Смитом в предисловии к первому изданию его «Исследований». — «Первое издание этой книги, — говорит он, — напечатано было в 1775 и в начале 1776 года. Поэтому в большей части случаев, когда говорится *о настоящем положении вещей*, следует понимать под этим — положение вещей во время сочинения книги или в эпоху, предшествующую этому времени. Я сделал много прибавлений к этому третьему изданию. Во всех этих прибавлениях *настоящее положение вещей* означает всегда то положение, в котором они находились в течение 1783 и в начале 1784 года». Сей не мог ни сделать, ни понять подобного предостережения; для него не существовало *настоящего положения вещей*, потому что в его теории прошедшее, настоящее и будущее составляли одно и то же. Смит допускал Изменяемость и подвижность экономических законов; Сей отвергал всякое движение в этой сфере и считал неподвижность одним из непременных атрибутов начал политической экономии. Смит, наблюдая над экономическими явлениями, понимал необходимость анализировать их причины и существо, означать меру их постоянства и всеобщности; Сей сделал смелую *посылку от настоящего к будущему* и, признав все существовавшее необходимым и неизменным, потребовал, чтобы политическая экономия не выходила из пределов страдательного наблюдения над современными фактами и не заботилась о том, согласны ли они или нет с требованиями разума и права? ¹ Очевидно, что между методой и наукой Сея и методой и наукой Смита не было ничего общего, кроме названия.

¹ В одном месте своего курса Сей говорит следующее: «Рассуждая с вами о тех законах, которым подчиняются люди и вещи, я вовсе не рассматриваю, заметьте это, м. г., *по какому праву* существует тот или другой закон, *какая обязанность* заставляет нас ему подчиняться. Нас занимает здесь *факт, а не право*. Я называю законом, как в физическом, так и нравственном мире, всякое правило,

«Труд человека есть настоящий и единственный источник богатства»,—сказал Адам Смит, положивший это начало в основание науки. Из этого начала он вывел то заключение, что «естественное вознаграждение труда, т. е. задельная плата должна равняться произведениям этого труда». Дальнейшее развитие этого вывода привело бы необходимо к безусловному осуждению нынешних законов распределения богатств между производителями. Но этого развития, о котором не позаботился сам Смит, нечего было и ожидать от Сея. Метода наблюдения привела Сея к тому заключению, что основное начало Смита односторонне и несправедливо, что великий экономист ошибся, когда приписал производительную силу одному труду человека. «Это ошибка,—говорит он,—анализ более точный доказывает, что образованием ценностей, мы обязаны действию труда, или, вернее, промышленности человека, соединенной с действием капиталов и естественных агентов». Исказив таким образом начало Смита присоединением к нему своей теории производительности капитала, Сей не мог уже согласиться с своим учителем относительно принятого последним юридического основания распределения благ, состоящего в праве труда на все свои произведения. Современное распределение богатств, основанное на преувеличении прав капитала и отрицании прав труда, должно было после этого показаться Сею в высшей степени справедливым и разумным. Ученик Смита и в этом случае совершенно отступил от основной идеи своего учителя. Точно такое же отступление сделал он и в отношении к учению о свободе промышленности. Вооружившись против неуместного вмешательства современных ему правительств в судьбу народных промыслов, Смит доказал пользу свободы труда, но означил при этом в той мере, в какой это было возможно в его время, различные неудобства этой свободы и необходимость известных ограничений этого начала. Сей отбросил все оговорки Смита и произнес решительное осуждение на всякую попытку организации экономических отношений, на всякое ограничение свободы производителей. В этом-то безусловном отрицании прав и обязанностей общественной власти относительно материальных интересов народа и заключается настоящая причина необыкновенного успеха и быстрого распространения теории Сея во Франции. Тео-

которому невозможно не подчиняться, но вовсе не забочусь о том, чтоб узнать, *справедлив этот закон или нет, вреден или благодетелен*; вопросы эти принадлежат к другой науке, а не той, которой мы теперь занимаемся (Cours d'Ec. pol. 5 v., p. 164). Подобные оговорки встречаются у Сея на каждом шагу.

рия эта была принята с восторгом французскою *«bourgeoisie»*¹, которая в неограниченной свободе промышленности находила самое лучшее средство упрочить свое могущество и обезопасить себя разом, как от влияния власти, так и от притязаний низших классов. Сей был самым верным органом интересов, идей и потребностей среднего сословия, его одушевляли те же начала отрицательного либерализма, какие руководствовали постоянно исторической деятельностью этого сословия. Этим объясняется, почему Сей сделался любимым, привилегированным экономистом *«bourgeoisie»*, почему его теория получила во Франции больше авторитета, нежели теория самого Смита, почему наконец теперь, когда наука приняла новое направление и стала заботиться в первый раз об интересах большинства, *его* начала стали возбуждать больше негодования, чем начала всех других экономистов, и обратили на себя особенное внимание современных школ, направивших *свою* полемику против Сея, как против самого опасного и злого врага новых идей и стремлений науки.

Эти новые стремления политической экономии, на которые нам остается теперь обратить внимание наших читателей, радикально противоположны тем тенденциям, о которых мы говорили до сих пор. Они образовались и развились в виде реакции против ложного направления экономистов, направления отвлеченного в теории и отрицательного в практике. Первым представителем и органом этой реакции, вызванной самим ходом экономических событий, был знаменитый историк и экономист—Симонд де Сисмонди. Труды его имеют важное значение в истории науки, потому что представляют собою посредствующее звено между системой учеников Смита и теориями новейших, социальных школ, обзору которых мы посвятим нашу третью и последнюю статью.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Переход экономических начал из науки в действительность сопровождался, как известно, двумя различными результатами: с одной стороны—сильным развитием производительности, с другой—быстрым распространением пауперизма. Сами экономисты не замечали, разумеется, этого дуализма, этого резкого противоречия между последствиями одного и того же начала. Ослепленные светлою стороною современной экономи-

¹ буржуазия. — Ред.

ческой организации, они оставляли без внимания мрачную ее сторону и закрывали глаза при виде страшной нищеты и страданий рабочего класса. Иначе и быть не могло, потому что идеал экономического благосостояния экономисты видели в одном умножении массы производимых продуктов, а вовсе не в улучшении судьбы каждого из производителей. Но чего не замечали они, то видели и понимали другие. Вредное влияние свободы промыслов и неограниченной конкуренции на распределение богатств было так очевидно, что не могло не броситься в глаза людям наблюдательным и чуждым предубеждений. И действительно мы видим, что еще прежде появления Сисмонди и прежде, чем самые факты доказали красноречиво несостоятельность экономического учения, являлись уже люди, которые не удовлетворялись блистательными обещаниями экономистов и, понимая всю непрочность их теорий, предсказывали вредные последствия неограниченной свободы промыслов. В конце XVIII столетия Неккер и Линге, в начале XIX Герреншванд, Овен и Фурье протестовали против знаменитого начала экономистов: *laissez faire, laissez passer*, и даже старались отыскать новую, более справедливую формулу для разумного устройства экономических отношений. Впрочем в то время было еще рано бороться с экономистами, которые могли указать на блистательные успехи промышленности, как на факт, повидимому вполне оправдывавший их теорию, между тем как противники их должны были ограничиваться одними пророчествами и не могли, как теперь, подтвердить свое недоверие ссылкой на самые факты. К этому надо присоединить и то, что протесты против учения экономистов по большей части были делаемы так называемыми утопистами, т. е. людьми, которые старались отыскать идеал общественной организации и заботились не столько об опровержении существовавших начал, сколько о построении новой теории; понятно, что их критика не могла иметь большого влияния на общественное мнение и должна была неминуемо подвергнуться той же участи, какой подвергались тогда а самые их утопии, т. е. невниманию или насмешкам. Для того, чтоб поколебать учение экономистов, необходимо было сразиться с ними на поле экономических же фактов, подвергнуть строгой критике самое основное начало их теории и обратить против них их же собственное оружие. Одним словом, только экономист мог опровергнуть учение экономистов. Этим объясняется успех критической деятельности Сисмонди и важное влияние его трудов на дальнейшую судьбу политической экономии.

Ученая деятельность Сисмонди в сфере экономических вопросов разделяется на два совершенно различных периода:

в молодости он был ревностным последователем экономических теорий, в защиту которых написал даже большое сочинение под названием: *De la richesse commerciale*¹. Но наблюдение над участью производителей в тех странах, где эта теория осуществлялась на самом деле, поколебало его прежние убеждения. Видя, что в этих странах постоянным размножением продуктов пользовались весьма не многие в ущерб огромному большинству народонаселения, он пришел к тому заключению, что экономическая система, увеличивающая массу народного богатства, но уменьшающая долю благосостояния каждого из производителей, не может быть системою справедливою и разумною. В этом отношении особенно поразил его пример Англии, где с одной стороны промышленность достигла до такой высокой степени развития, до которой она никогда не могла достигнуть в других странах Европы, но где с другой стороны образовалась и развилась с самою страшною энергиею та глубокая язва современных обществ, которую сама же Англия окрестила многозначительными именами *пауперизма* и *пролетариата*. Вот как описывает сам Сисмонди впечатление, вынесенное им из этой необыкновенной страны, и те научные результаты, к которым привело его подробное изучение ее быта²:

«Путешествие по Англии,—говорит он,—укрепило во мне убеждение в справедливости моих *новых начал*. Я видел в этой удивительной стране, которая, как кажется, совершает великий опыт для научения всего остального мира,—увеличение производства на ряду с уменьшением наслаждений. Масса народа забывает там, кажется, вместе с философами, что умножение богатств не есть цель политической экономии, но только средство, которым она располагает, для упрочения всеобщего счастья. Я ищу это счастье во всех классах и не знаю, где его найти? Высшая английская аристократия достигла действительно до такой степени богатства и роскоши, которая превосходит все, что видим мы в других странах. Однако же и она не *наслаждается сама тем* благосостоянием, которое, как кажется, приобрела насчет других классов народа; ей недостает безопасности, и в каждом семействе находишь гораздо больше лишений, нежели довольства. Если я вхожу в эти дома, не уступающие своим блеском королевским дворцам» то слышу от их обитателей, что отмена хлебной монополии, которой они пользуются в ущерб своим согражданам, уничто-

¹ О торговом богатстве. — *Ред.*

² См предисловие Сисмонди ко второму изданию его книги: *Nouveaux Principes d'Economie politique*. Paris. 1847. (Новые начала политической экономии. Париж. 1847. — *Ред.*)

жит все их богатства, потому что тогда доход с их поместий, занимающих целые провинции, перестанет покрывать издержки производства. Около этих глав семейств я вижу такое число детей, какое встречается только в аристократических фамилиях; многие из них имеют по десяти, двенадцати детей, а иногда и больше; но все меньшие сыновья, все дочери приносятся в жертву тщеславию старшего; капитал, который достанется на их долю будет меньше ежегодного дохода, назначенного их брату; им суждено вести жизнь безбрачную, и роскошь, которою они пользуются в детстве, искупается дорогой ценой, ценой тяжких лишений в продолжении всей остальной жизни.

«Несколько ниже этой аристократии титулованной и нетитулованной я вижу купечество, занимающее также почетное место; его предприятия обнимают целый мир; его агенты не смущаются ни льдами полюсов, ни зноем экватора; его богатейшие представители располагают миллионами. В то же время, на всех лондонских улицах, во всех больших городах Англии, магазины наполнены товарами, которых бы достало для потребления целого света. Но доставило ли богатство английскому купцу то счастье, которое может оно обеспечить? Нисколько. Нет ни одной страны, где бы так часты были банкротства. Нигде не разоряются с такой быстротою эти колоссальные богачи, из которых каждый может дать государству огромные суммы денег взаем и поддержать своим кредитом монархию или республику. Все жалуются на редкость, трудность и невыгодность промышленных операций. Два страшные кризиса, следовавшие один за другим в самый короткий промежуток времени, разорили множество банкиров и поколебали все английские мануфактуры; в то же время другого рода кризис разорил фермеров и отозвался в мелочной торговле. С другой стороны эта торговля, при всей огромности поля, на которое она простирается, уже не может занять собою всех людей, пробивающих себе карьеру; все места заняты; и в высших классах общества, точно так же, как и в низших, большинство людей тщетно предлагает свой труд и тщетно старается заслужить задельную плату.

«Это богатство английского народа, материальные успехи которого бросаются в глаза, принесло быть может пользу бедным классам общества? Нет, нисколько. Народ в Англии лишен в одно и то же время и достатка в настоящую минуту и безопасности в будущем. В деревнях нет более земледельцев; они уступили место поденщикам; в городах почти уже нет ремесленников; есть только мануфактуристы. Работник не пользуется положением независимым, он получает только задельную

плату, и так как эта задельная плата не может быть для него достаточной во все времена года, то он принужден почти ежегодно просить милостыни и пользоваться пособием таксы бедных.

«Эта страна, столь богатая, нашла, что гораздо благоразумнее продать все золото и серебро, которое она имела, обойтись без денег и производить обращение богатств помощью одной бумаги. Она сама лишила себя таким образом самого драгоценного из всех удобств монеты, постоянства ее цены; кредиторы провинциальных банков ежедневно подвергаются опасности и разорению от беспрестанных, некоторым образом эпидемических банкротств банкиров; и все состояния могут пострадать одинаково, как скоро война или революция подорвет кредит национального банка. Англия нашла, что гораздо выгоднее отказаться от тех отраслей земледелия, для которых требуется много рабочих рук, и вследствие того лишила работы половину земледельцев, покрывавших ее поля; она нашла, что гораздо выгоднее заменить работников паровыми машинами, и вследствие того выгнала, потом снова призвала и наконец опять выгнала из фабрик всех городских работников; и в настоящую минуту ткачи, уступив место машинам (power-looms), погибают голодной смертью; она нашла выгоду в том, чтоб понизить задельную плату донельзя, и работники, которые суть не что иное, как *пролетарии*, не побоялись увеличивать еще более свою нищету, вступая в браки и умножая число народонаселения. Она нашла свою выгоду в том, чтобы кормить ирландцев одним картофелем и одевать их одними рубищами, и теперь каждый пароход привозит ей легионы ирландцев, которые работают дешевле англичан и вытесняют их малопомалу из всех фабрик. К чему же привело наконец это постоянное размножение богатств? Неужели единственный его результат состоял в том, что по его милости все классы общества подверглись в одинаковой степени лишениям, беспокойствам и опасностям ежеминутного разорения? Думая только о вещах и позабывая о людях, не жертвует ли Англия целью для средства?..

«Пример Англии тем разительнее, что народ английский есть народ свободный, просвещенный, хорошо управляемый, и что все страдания его проистекают единственно от ложного экономического направления. Конечно иностранца поражают в Англии наглые притязания ее аристократии, которые увеличиваются по мере того, как богатства скопляются в одни руки. Ни в одной стране однако же не обеспечена так неприкосновенно, как в Англии, независимость всех классов общества,

и бедный, при всем своем уважении к аристократии, сохраняет тем не менее в глубине души сознание своего собственного достоинства. Ни в одной стране чувство доверия к закону и уважения к его предписаниям не проникает так глубоко все классы народа; ни в одной стране не найдем мы в богатых такого деятельного сострадания, такой готовности облегчать все возможные бедствия народа, нет ни одной страны, где бы общественное мнение имело такую силу, где бы министерство было составлено из людей, столько просвещенных, где бы оно показывало более готовности стремиться к общему благу и более способности к его достижению. Неужели все эти средства, все эти преимущества бесполезны для обществ человеческих? Да, когда к несчастью эти общества принимают ложное направление. Англия, имеющая более образования, могущества и свободы, чем все другие нации, достигла скорее всех других той цели, к которой устремилась вследствие сделанной ею ошибки. Ее жизненная сила и таланты ее государственных людей помогут ей, когда она захочет перейти с большей легкостью, чем все другие народы, на прямой путь; но наука имеет свои предрассудки, народы имеют свои привычки, и даже в настоящую минуту, при всей крайности своего положения, англичане не принимают ни одной меры, которая не способствовала бы к увеличению зла...

Таким образом пример Англии окончательно убедил Сисмонди в несостоятельности той экономической системы, которая интересам производства жертвовала постоянно интересами производителей. Это новое убеждение все более и более зрело в его уме по мере того, как он распространял свои исследования на материальный, умственный и нравственный быт низших классов общества в разных странах Европы. Случилось, между тем, что издатели эдинбургской «Энциклопедии» предложили ему написать для этого сборника статью о политической экономии. Сисмонди воспользовался этим предложением для того, чтобы высказать в первый раз все сомнения, возбужденные в нем ярким противоречием между теорией последователей Смита и экономическими фактами, обратившими на себя его внимание. Впоследствии собрав новые материалы в подтверждение своих идей и убедившись еще более в их справедливости, Сисмонди издал целый трактат о политической экономии и в нем изложил с большой подробностью все те доводы против учения экономистов, к которым привело его деятельное изучение современной ему экономической действительности.

Основная мысль, проникающая собой как это, так и позд-

нейшее сочинение Сисмонди¹, заключается в том, что политическая экономия в том виде, какой ей дали последователи Адама Смита, не заслуживает своего названия и не достигает своей цели,—что она есть не более как хрематистика, т. е. наука о богатстве, и что богатство, рассматриваемое этой наукой как самобытная цель человеческой деятельности, не имеет само в себе никакого значения и есть не более, как средство для достижения другой цели, для обеспечения каждому из членов общества возможно большей доли благосостояния и довольства. По его мнению, политическая экономия должна иметь преимущественно в виду счастье людей; она должна отыскивать средства для того, чтобы увеличить как сумму человеческих наслаждений, так и число лиц, принимающих в них участие. На этом основании он старался доказать в своей книге, что недостаточно заботиться об одном размножении продуктов,—что увеличение богатства должно иметь необходимым результатом—довольство и благо всех производителей,—что для этого развитие промышленности должно находиться в постоянной соразмерности с развитием народонаселения,—что наконец необходимо изменить существующий ныне способ распределения богатств между различными классами общества и уничтожить навсегда те аномалии экономического устройства, которые упрочивают теперь постоянное обогащение богатых и столь же постоянное обеднение бедных. Одним словом, Сисмонди хотел совершенно переменить направление и характер политической экономии; вместо отвлеченной теории богатства, он видел в ней науку практическую, находящуюся в постоянном соприкосновении с человеческими интересами и отыскивающую средства для их законного удовлетворения. Понятно, что при таком взгляде на предмет и цель науки, Сисмонди не мог иметь ничего общего с школой экономистов ни относительно способа обработки политической экономии, ни относительно коренных начал, принятых им в основание для решения всех экономических вопросов. С одной стороны, не придавая излишней важности отвлеченным вопросам, почти исключительно занимавшим прежних писателей, Сисмонди обратился преимущественно к исследованию задач практических и в особенности к изучению самого важного из современных вопросов—вопроса о пауперизме и судьбе низших классов общества. С другой стороны все важнейшие части политико-экономического учения были переработаны им сызнова и рас-

¹ Etudes sur l'economie politique. (Политико-экономические этюды, — *Ред.*)

смотрены с новой точки зрения; все экономические учреждения и начала, которые прежними писателями рассматривались со стороны влияния их на усиление производства, на умножение продуктов, были рассмотрены Сисмонди со стороны действия их на распределение богатств, на судьбу производителей. Новый взгляд на эти предметы привел естественно и к новым результатам. Прежние экономисты, рассматривая все экономические учреждения с своей исключительной точки зрения, не замечали их вредного влияния на участь рабочих классов и видели только их светлую сторону. Сисмонди показал в своем сочинении, что при нынешнем устройстве экономических отношений, при разрозненности капитала и труда, каждое экономическое учреждение является орудием обоюдоострым, заключает в себе и светлую и темную сторону. Он доказал ясными и красноречивыми фактами, что разделение труда, машины, неограниченное соперничество, сосредоточение промышленных предприятий и беспрестанное усиление производства содействуют в значительной степени развитию промышленности, но содействуют в то же время и постоянному обеднению производителей, беспрестанному понижению задельной платы и страшному упадку рабочих классов в физическом, умственном и нравственном отношениях. Вооружившись против начала неограниченной свободы промыслов, он доказал его несостоятельность для отвращения экономических бедствий и потребовал от правительств, чтоб они сами ограждали бедных от притеснений богатых и брали под свою опеку всех тех, которые не могли защищаться собственными силами от произвола и угнетения. Наконец, подвергнув в первый раз подробному и точному исследованию существо так называемых промышленных кризисов, он доказал, что производительность должна неминуемо соразмеряться с потреблением,—что эта соразмерность не может быть сохранена при настоящем порядке вещей,—что постоянное усиление производства только тогда может быть рассматриваемо как экономический прогресс, когда оно вызывается нуждами и средствами самих потребителей,—и что наконец чрезмерное размножение продуктов, не находящих для себя никакого сбыта, содержит в себе более зла, нежели блага для производящего народонаселения.

Подвергнув таким образом строгой и многосторонней критике все пункты экономического учения, Сисмонди оказал огромную услугу науке и вывел ее навсегда из той ложной колеи, в которую ввели ее так неудачно последователи Адама Смита. В этой критической деятельности и заключается собственно настоящая причина того важного значения, которое имеет

Сисмонди в истории политической экономии. Правда сказать, как говорят обыкновенно, что деятельность Сисмонди была деятельность чисто полемическая, отрицательная,—что в ней не было ничего положительного и творческого, было бы не совсем справедливо; трудно вообразить себе возможность успешной и дельной критики, чуждой всяких положительных идей и убеждений. Если критика Сисмонди была так могущественна и неотразима, что успела поколебать самые основания экономического учения, то единственно потому, что в ее основании лежали твердые убеждения и справедливые идеи. И действительно, разрушая теорию экономистов, Сисмонди действовал во имя положительного начала, им развитого и им положенного в основание политической экономии. В чем состояло это начало, мы видели выше. Твердое, непоколебимое убеждение в том, что богатство есть только средство, а не цель, и что усиление производства должно вести всегда к умножению благосостояния всех классов общества,—вот что дало смысл и значение критике Сисмонди, что доставило ему возможность выполнить свою разрушительную роль с таким блистательным успехом.

Впрочем нельзя не сознаться и в том, что Сисмонди, уничтожив теорию прежних экономистов и сообщив науке новое, более широкое и плодотворное направление, не повел ее сам по указанному им поприщу, но представил исполнение этой обязанности своим последователям и ученикам. Остановившись на отрицании прежней теории и на указании средств для построения новой, он не решился или не сумел привести свою мысль в действительное исполнение и восстановить на развалинах хрестоматистики новое здание политической экономии. К такого рода деятельности он и не был способен, потому что стремление к созданию нового необходимо предполагает безусловное отречение от всего старого, отречение, на которое никогда не мог решиться Сисмонди, преклонявшийся с уважением и любовью пред самыми устарелыми и осужденными на смерть учреждениями. Во всех трудах Сисмонди, и особенно в его трудах исторических и экономических, преобладало постоянно направление эклектическое, нерешительное, стремление удовлетворить разом самым противоположным требованиям и действовать во имя будущего, не отрешаясь безусловно от воспоминаний прошедшего. Ревностный защитник бедных классов, Сисмонди был в то же время аристократом по рождению и по симпатиям; его задушевная мысль, мысль, которую он положил в основание своей системы и которую высказывал на каждой странице своих сочинений, состояла в том, чтоб

соединить улучшение судьбы всех классов общества, и особенно низших, с упрочением в государстве существования богатой и могущественной аристократии. «Политические науки—говорит он в первой главе своего сочинения—имеют или должны иметь целью счастье людей, соединенных в общества. Они отыскивают средства для доставления им самого высшего блаженства, какое только совместно с их природою; они отыскивают в то же время средства и для того, чтобы сделать возможно большее число людей участниками этого блаженства. Ни в одной из политических наук не следует терять из виду эти две цели усилий законодателя: он должен заботиться в одно и то же время и о возвышении степени счастья, доставляемого человеку общественной организацией, и о справедливом участии всех и каждого в пользовании этим счастьем. *Он не выполнит своей задачи, если для доставления всем равной доли в наслаждениях сделает невозможным полное развитие некоторых избранных людей, если не позволит ни одному человеку стать выше себе подобных, если не представит ни в одном из них образца человеческому роду и руководителя в открытиях, приносящих всеобщую пользу.* Он не выполнит ее также, если, поставив себе единственной целью образование этих привилегированных существ, возвысит небольшое число их над другими их согражданами ценою страданий и унижений последних *Страна, в которой никто не страдает, но в которой также никто не имеет довольно достатка или возможности чувствовать живо и мыслить глубоко, есть страна полуобразованная, даже и в том случае, когда в ней низшие классы пользуются значительной долей благосостояния.* Страна, в которой масса народонаселения подвергается постоянным лишениям, мучительным беспокойствам относительно своего существования и всему тому, что подавляет душу, уничтожает нравственность и унижает характер, есть страна варварская и несчастная, хотя бы даже в высших ее классах были люди, достигшие высшей степени человеческого блаженства, люди, которые бы развили все свои способности, обеспечили бы все свои права, сумели бы доставить себе все наслаждения».

В этих словах Сисмонди обозначился резко тот дуализм, который лежал в основе всех его убеждений, экономических и политических. Как человек и мыслитель, Сисмонди сочувствовал всем страданиям и возмущался против каждой несправедливости; но как представитель касты, он не мог отрешиться вполне от некоторых исключительных или односторонних понятий, усвоенных с детства. В этом-то эклектизме Сисмонди и кроется настоящий источник его несостоятельности в отношении

ко всему тому, что выходило из пределов отрицания и критики. Этот человек, показавший столько силы и глубины в своем анализе недостатков существовавшей теории и несовершенств экономической организации; не мог никогда возвыситься до широкого взгляда на средства разумного преобразования экономических отношений. Как будто чувствуя свою неспособность к этому делу, он и не приступал к нему серьезным образом; но те немногие страницы его сочинений, в которых кроме отрицания проявляется и порыв к творчеству, к деятельности положительной, носят на себе ясный отпечаток узкости взгляда и неумения обнять вполне существо вопроса, довести основную мысль до всех ее законных последствий. Так например в одном месте своей книги Сисмонди для улучшения участи современного работника пролетария предлагает поставить его в совершенную зависимость от капиталиста, с тем, чтоб последний пекся о нем как о существе неполном и обращался с ним как обращается опекун с несовершеннолетним. Это странное предложение доказывает ясно, что Сисмонди во все не понимал настоящего смысла современных требований и думал отделаться ничтожными полумерами, когда дело шло о радикальном преобразовании на Западе экономического устройства. Понимая всю несправедливость настоящего порядка вещей, безусловно подчиняющего судьбу труда владычеству капитала, он признавал однакоже противоположность между работником и капиталистом—явлением естественным, необходимым и неприкосновенным. Горячо сочувствуя бедствиям пролетариев и стараясь склонить на их сторону мнение общественное, он не мог придумать никакого действительного средства для того, чтоб пособить их страданиям, и возлагал все надежды свои на сострадание и благоразумие самих же капиталистов. Мысль о возможности существенного преобразования самых отношений, существующих между капиталистом и работником, не приходила ему и в голову: он так привык к различию между богатым и бедным, что, восставая энергически против губительных последствий этого различия, допускал однакоже необходимость существования в государстве небольшого числа капиталистов, имеющих возможность «развить вполне свои способности и стать выше своих сограждан» Понятно, что этот дуализм сделал его совершенно неспособным к усвоению того взгляда на распределение богатств, до которого дошли новейшие школы, принявшие в основание им же высказанные начала, но не остановившиеся на половине дороги, а смело провозгласившие все те результаты этого начала, которых не замечал или не решался выразить сам Сисмонди.

Несмотря на все это, сочинения Сисмонди принадлежат бесспорно к числу самых отрядных явлений экономической литературы. Они имели важное значение в истории науки и огромное влияние на ее дальнейшую судьбу. Правда в первое время его «Новые Начала» имели мало успеха и не обратили на себя большого внимания. Первое издание их, сделанное в 1820 году, не достигло своей цели; экономисты отзывались об этой книге с пренебрежением; общественное мнение не могло тронуться доводами Сисмонди, потому что находилось еще под сильным влиянием школы Смита, указывавшей на блистательные успехи промышленности, как на прямой результат осуществления ее теории. Но мало-помалу обстоятельства переменились; беспрестанные промышленные кризисы и страшное развитие пауперизма открыли глаза самым близоруким людям и заметно поколебали авторитет последователей Смита. Между тем и сам Сисмонди, обогатив свой ум новыми познаниями и удостоверившись путем личного наблюдения в справедливости своих начал, заговорил смелее прежнего и во втором издании своей книги (в 1827 году) прибавил к ней несколько *новых глав, где высказал* решительнее и сильнее свое мнение о несостоятельности хрематистического направления и о вредных результатах свободы промыслов, неограниченной конкуренции, беспорядочности производства и несообразности его с потреблением. Это второе издание имело огромный успех и нанесло сильный удар теориям экономистов. Последователи Адама Смита старались опровергнуть начала Сисмонди, но слабостию своих возражений еще более усилили то невыгодное для них впечатление, которое произвели его сочинения на мнение общественное. Тщетно старались экономисты внушить презрение к обвинениям своего противника и выдать его взгляд за взгляд нелепый, не заслуживающий внимания людей серьезных. Усилия их не могли иметь успеха и не могли предотвратить быстрого распространения новой идеи; к несчастию для них, доводы их были слишком слабы, а факты, опровергавшие их теорию, слишком красноречивы и ясны. Мало-помалу число последователей их уменьшилось, число противников увеличилось. Под влиянием Сисмонди образовался в политической экономии целый ряд новых школ, которые оставили ложный путь, принятый экономистами, и решились проложить себе новую дорогу к открытию истины. С одной стороны непосредственным и прямым результатом трудов Сисмонди было появление школы *критической*, поставившей себе целью довершить дело им начатое и ниспровергнуть окончательно теорию экономистов. С другой стороны явились и такие писатели, которые, приняв за исходный пункт критику Сисмонди, не

удовлетворились одним отрицанием прежнего, но решились посвятить свои силы открытию нового и воссозданию разрушенного. Этим же движением вызваны были к жизни и те теории, которые появились прежде Сисмонди, но которые тогда не обратили на себя никакого внимания и только после протестов критической школы сделались мало-помалу предметом всеобщего и живого любопытства.

Самая характеристическая черта, резко отличающая все новейшие школы политической экономии от школ, им предшествовавших, заключается в их филантропическом, человечественном направлении. В противоположность прежним экономистам, имевшим всегда в виду не человека, а вещь, новые деятели науки заботятся преимущественно о судьбе и счастье людей, о средствах для уничтожения их страданий и облегчения их участи. При этом одни из них действуют робко и нерешительно, стараясь противодействовать злу разными частными и временными мерами, не уничтожающими его источника, ко отвращающими только некоторые из его последствий; другие напротив стремятся к своей цели более прямой дорогой и, понимая всю несостоятельность полумер для отвращения общественных бедствий, требуют существенного, полного преобразования в самом устройстве экономических отношений. Самое существо той цели, к которой стремятся последние, определяет ясно характер и направление их ученой деятельности. Вовсе не заботясь об изучении общих законов, по которым совершается материальное развитие общества, они имеют в виду только одно: найти идеал общественной организации, придумать такое устройство, которое бы могло уничтожить все страдания современного человека и обеспечить каждому из людей возможно большую долю богатства, наслаждений и счастья. Негодуя против несовершенства современных учреждений и стараясь отыскать средство для совершенного их преобразования, они естественно больше заботятся о будущем, чем о настоящем, и не столько изучают то, что есть, сколько рассматривают то, что бы могло и должно было быть. Вследствие такого направления результатом их трудов являются по большей части рассуждения о философских основаниях общественной жизни и о средствах для исцеления всех язв современного устройства, смелые проекты реформ и подробные предположения о способах водворения между людьми, живущими в обществе, справедливых и разумных отношений. Одним словом, как по своей цели, так и по своему удержанию, все системы новейших школ принадлежат бесспорно к категории так называемых *утопий*, представляя собой

все признаки тех смелых, большей частью фантастических гипотез и теорий, с которыми привыкли соединять это название.

На эти современные утопии не надо смотреть как на явление, свойственное только нашему времени и чуждое временам прошедшим. Стремление к отысканию идеала справедливейшей, совершеннейшей организации общества есть стремление, истекающее из самой природы человека и потому самому существующее всегда и на всех ступенях общественного развития. Везде и во все времена неудовлетворительность существовавшего порядка вещей вызывала собою появление мыслителей, которые отрешались смело от всех условий действительной жизни и придумывали средства для преобразования общества согласно с своими личными понятиями о справедливости и разумности общественных отношений. В древности подобные утопии встречались гораздо реже, чем в новые времена, потому что древние философы всегда подчинялись больше, чем новые, влиянию действительности, их окружавшей. Несмотря на то, и в древности находим мы республику Платона, которая есть не что иное, как смелая утопия, план самой идеальной, самой совершенной (по мнению ее автора) организации общества. В новые времена такие системы являлись гораздо чаще; между ними на первом плане является *Утопия* Томаса Моруса и за ней множество других: *Civitas soils*¹— Кампанеллы, *Oceana*— Гаррингтона, *Nova Atlantis*²— канцлера Бэкона, *Базилиада*— Морелли и т. д. Кроме таких частных, индивидуальных порывов человеческой мысли, мы находим и целые общества людей, которые отрешались на самом деле от неудовлетворявшей их действительности и старались осуществить в практической жизни свой идеал общественного устройства. В этом отношении можно указать в древности на орден пифагорейский и на секту эсеев, в позднейшие времена на общества гернгуттеров, квакеров, тун-керов, шакеров, менонитов, анабаптистов, адамитов, гласситов, милленариев и множество других. Все это показывает, что современные теории общественных преобразований не представляют собой явления исключительного и небывалого: утописты существовали всегда и везде, и история постепенного развития человеческих идей представила бы нам, если бы рассмотреть ее с этой точки зрения, непрерывный и последовательный ряд утопий, связанных друг с другом самыми тесными узами. Современные нам утописты суть только последователи, отчасти подражатели преж-

¹ Государство Солнца. — *Ред.*

² Новая Атлантида. — *Ред.*

них: их одушевляют те же идеи; они стремятся к той же цели и в большей части случаев выбирают даже те же самые пути для ее достижения. Между новейшими и прежними теориями существуют однако, несмотря на их сходство, и весьма важные различия. Эти различия вытекают из того, что прежние утопии придуманы были тогда, когда еще не существовало науки народного благосостояния, между тем как новейшие образовались уже после и вследствие построения этой науки. От этого и происходит, что новейшие школы, в своем стремлении к отысканию идеального устройства обществ, заботятся преимущественно о решении экономических задач, об организации хозяйственных отношений. Нынешним утопистам это дает огромное преимущество над их предшественниками, потому что выказывает с их стороны большую зрелость понятий и более верный взгляд на то, в чем именно и заключается настоящий корень всех общественных зол и настоящее средство для решения многих общественных вопросов. К этому можно присоединить и то, что новейшие утопии имеют гораздо больше исторического значения, чем прежние, потому что они развились совершенно логически из учения экономистов и в то же время как будто были вызваны самой силой обстоятельств, т. е. экономическими и общественными событиями настоящей эпохи. При всем том не следует однако же забывать, что нынешние утопии, по своему существу и по своей цели, имеют много общего с утопиями прежних мыслителей и находятся с ними в самой тесной и непосредственной связи.

Соединив название утопий с теориями новейших деятелей политической экономии, мы предвидим то заключение, которое выведено будет из этих слов большинством наших читателей. Все эти теории, скажут они, потому самому, что они суть не что иное, как утопии, не могут заслуживать внимания людей серьезных и следовательно не могут требовать для себя места там, где дело идет о Научных средствах для открытия истины. В самом деле в устах большинства людей с словом утопия соединяется обыкновенно значение невыгодное и даже презрительное, точно так же как и название утописта употребляется в большей части случаев в смысле оскорбительного, ругательного прозвища. Что касается до нас, то слишком далекие от того, чтобы соглашаться с утопиями или склоняться в пользу практических выводов из их учений, мы однакож, смотря на этот предмет с философско-исторической точки зрения, не можем с выражениями: утопия, утописты соединить того презрительного значения, какое привыкли им давать. Стоит только вникнуть глубже в настоящую основу и внутренний смысл утопий, чтобы

убедиться в неосновательности того насмешливого презрения, с которым встречаются обыкновенно так называемыми практическими людьми этого рода попытки человеческого ума. Собственно говоря, утопии, мечтания, стремления к лучшему, к идеалу представляют собой одну из самых необходимых, одну из самых естественных форм человеческой мыслительности. Всякий согласится, что нельзя осуждать безусловно тех проявлений умственной деятельности человека, которые основываются на самой природе его и вытекают необходимо из свойственных его организму стремлений. Но между тем кто же не знает, что человек, во всех тех случаях, когда его не удовлетворяет настоящее положение, не может не мечтать, не думать о лучшем, не стремиться путем воображения к идеалу, к состоянию совершеннейшему: эта необходимость искать в порывах ума и фантазии вознаграждение за гнетущую отсюда действительность, есть факт несомненный, всем известный, факт, который каждый из нас может подтвердить собственным опытом. И в этом факте нет ничего предосудительного или смешного, ничего такого, что бы вредило нам и отклоняло бы человека от настоящего его назначения. Напротив, мечтательность человека основывается всегда на начале совершенно разумном и приносит обыкновенно самую несомненную пользу. Какая мысль лежит в основании всякой утопии? Мысль о том, что действительность, неудовлетворяющая человека, не имеет в себе ничего безусловно необходимого, ничего постоянного и вечного, что в наших добродетелях, нравах, наслаждениях есть всегда ступень, которой еще достигнуть должно. Но спрашивается, что случилось бы с нашим усовершенствованием, если бы человечество подчинилось раз навсегда влиянию окружающей его действительности и признало бы себя не способным к ее изменению на лучшее? Очевидно, что не будь в человеке способности противопоставлять действительному факту свою идеальную утопию, не было бы и развития, Не было бы и прогресса.

Всякий из нас мечтал в детстве и строил утопии. В юношестве, всякий из нас мечтает и строит утопии в годах зрелого мужества, когда уже знает вполне действительность, когда уже убедился путем горького опыта в несбыточности своих надежд. Ни в один момент своего существования человек не может обойтись без иллюзии и мечтаний, но эти иллюзии и мечтания изменяются и преобразуются в своем характере и существе, по мере того, как человек растет и мужает; в детстве он мечтает, потому что не знает действительности; в годах взрослых он мечтает именно потому, что слишком хорошо ее знает и старается в своем воображаемом мире забыть хоть на минуту

те страдания, которым подвергается в мире действительном. В детстве мечтание бывает совершенно свободно; оно ничему не связывается и не стесняется, мечта сливается с действительностью. В годах взрослых мечта и сон не смешиваются с действительностью, но отделяются от нее и получают бытие особое, самостоятельное. Взрослый человек в своих утопиях отрицает действительность, но в то же время признает ее существование, принимает ее в соображение и действует следственно не с полной, как прежде, свободой, но с неограниченный произволом. Действительность сама по себе не противоборствует мечте, но, напротив, вызывает ее и производит; она только требует себе признания, требует, чтоб мыслитель отделил резкими чертами то, что действительно есть от того, что, по его понятию, может или должно быть. Удовлетворение этому требованию со стороны человека составляет признак наступления второго момента в развитии наших утопий; тут уже мечта не проникает действительность и не проникается ею, как прежде, но существует сама по себе, в совершенной от нее независимости. Эта независимость может быть опять двоякого рода, потому что, мечтая и строя утопии, человек может стать к действительности в двоякое отношение; или преследуя единственно свой идеал, гонясь за чистой, беспримесной, ничем не ограниченной мечтой, он оставит в покое действительность, не будет обращать на нее никакого внимания и удовлетворится вполне предоставлением полного простора разгулу своего воображения и своей фантазии, или, напротив, он захочет столкнуться с самой действительностью, прямо на нее обратить свои силы и переделать ее по внушению своего разума или своего чувства. В последнем случае он уже не довольствуется одним отвлеченным мышлением, а хочет действовать на самую жизнь, хочет пересоздать ее и возвести к своему идеалу, хочет, одним словом, осуществить свою мечту и осуществить ее, разумеется, во столько, во сколько это осуществление возможно и сбыточно. Но с той самой минуты, как человек перестает довольствоваться построением утопий в своем уме и хочет извлечь из них пользу для всего человечества, осуществив их в практической жизни, на него уже возлагается неперемнная обязанность отказаться от неограниченного произвола фантазии и подчинить свое воображение известным пределам. В таком случае он уже теряет право презирать и отрицать действительность, он должен, напротив, изучить ее и, открыв ее настоящее соотношение к своему идеалу, открыть в то же время и то, в какой мере осуществление этого идеала возможно, и в какой мере препятствует или содействует сама

жизнь желанному переходу идеи из сферы отвлеченной в сферу практическую.

История доказывает нам, что нет непримиримого противоречия между идеалом и действительностью, что действительность представляет нам постепенное осуществление идеала, точно так же, как с своей стороны идеал представляет нам только предвидение будущей действительности. В этом отношении можно сказать, что философия истории *занимает* середину между чистым идеалом и чистой действительностью; она есть не что иное, как выражение их взаимного отношения, наука, объясняющая способ перехода идеала в действительность и развитие действительности сообразно с идеалом. Но тут-то именно и раскрывается различие между утопией и наукой, или, лучше сказать, между утопией, произведенной одним воображением, и утопией как продуктом воображения, просветленного разумом. Утопия может быть совершенно непогрешима относительно своего содержания, а между тем несвоевременна относительно эпохи своего появления, так что, признавая вполне необходимость ее осуществления в действительности, мы однако будем иметь полное право назвать ее в данную минуту произвольной мечтой и несбыточной гипотезой. Этого не может никогда случиться в науке, назначение которой состоит именно в том, чтоб оценить рационально достоинство утопии, приняв в соображение не одно ее содержание, но и время ее появления. Поэтому и философия истории, как наука *положительная и точная*, не только показывает нам, что утопия бывает способна к осуществлению в жизни практической и осуществляется в ней действительно, но показывает нам также, в какой степени, в какое время и при каких условиях может произойти это осуществление. Обращаясь к философии истории, мы уже делаем огромный шаг вперед: из сферы мечтаний и снов, из области воображения мы переходим в сферу разума и науки, в область не мистического, но рационального предвидения будущих фактов. Конечно между идеалом и действительностью, как уже заметили мы выше, нет никакого противоречия; развитие идей соответствует развитию самой жизни, и то, что сначала является только идеей, впоследствии превращается мало-помалу в действительность. Но при всем том понятно, что идея или утопия уже по тому самому, что она есть предвидение *будущей* действительности, должна естественно находиться в прямом противоречии с действительностью *настоящей*. Основным характер утопии есть характер пророчества, апелляции от настоящего к будущему, так что утопия должна неминуемо обгонять действительность, и развитие идей должно всегда совершаться быстрее, нежели

развитие самой жизни. Всегда случается так, что в минуту появления утопии жизнь бывает еще неспособна или не готова к ее восприятию; и притом надо заметить, что если в первые времена слияние идеала с действительностью бывает невозможно, то причины этой невозможности заключаются не в одной действительности, но и в самом идеале. Обыкновенно утописты в своем тревожном нетерпении осуществить свой идеал обвиняют действительность и жалуются на препятствия, ею противопоставляемые, на то, что она своею косностью замедляет переход идеи из внутреннего бытия во внешнее. Подобные жалобы и обвинения не основательны. Часто и почти всегда причина замедления и застоя в действии идеала на жизнь заключается в самом же идеале, в его несовершенствах и недостатках. Отрицая эти несовершенства и жалуясь на одну действительность, утописты забывают, что если жизнь развивается постепенно, то и утопия подлежит также постепенному развитию и последовательному усовершенствованию. Мы уже сказали выше, что в развитии утопии бывает обыкновенно два момента: первый, когда воображению человека предоставляется полный разгул, когда оно действует совершенно независимо от действительности, как будто позабывая об ее существовании, и второй, когда воображение стесняется известными пределами и, принимая в расчет условия действительной жизни, в них отыскивает для себя необходимую точку опоры. Понятно, что как скоро целью утопии является не сама утопия, а осуществление ее в практической жизни, то вместе с этим является и необходимость поставить утопию на степень идеи, произведенной не одним воображением, но воображением ограниченным и умеренным действительностью, а между тем разом и вдруг этого сделаться не может, потому что в развитии идей, как и в развитии жизни, не бывает скачков, а все совершается постепенно, последовательно и в известном порядке. Поэтому-то всегда и случается, что утопия в первую минуту своего появления оказывается неготовой к слиянию с действительностью, не столько вследствие косности последней, сколько вследствие своих собственных несовершенств и своей собственной неразвитости. Исправить этот недостаток можно не иначе, как развив далее самую утопию и переведя ее из ее первоначальной фазы в фазу последующую. Но для этого необходимо освободить утопию от ее мистического, мечтательного характера и придать ей характер рациональный и положительный, необходимо, другими словами, изучить и понять действительность, раскрыть ее стремления и силы и сообразно с этим видоизменить самую мечту, сблизив ее с жизнью. Для этого уже недостаточно одного воображения; необходимы

Наблюдения и опыт, необходима наука. Но как скоро при построении наших теорий мы перестаем довольствоваться воображением и начинаем изучать самую действительность, утопия уже начинает терять характер утопии и принимает мало-помалу характер чисто научный. Таким образом утопия сама собой и вследствие присущей ей силы развития переходит в науку и мало-помалу из несбыточной мечты превращается в идею совершенно практическую и вполне способную к постепенному или даже немедленному переходу из сферы отвлечения в сферу действительности.

Прилагая все то, что сказали мы об утопиях вообще, к современным утопиям политико-экономическим, мы имеем полное право заключить, что нет ничего неосновательнее того презрения, с которым отзываются о них в наше время защитники неподвижности и застоя в жизни общественной. В том, что современная экономическая наука приняла направление по преимуществу утопическое, мы видим с одной стороны явление совершенно необходимое. Мы признаем это направление необходимым, потому что видим в нем прямое и естественное следствие неудовлетворительности и испытанной несостоятельности прежних школ для решения практических задач настоящего времени. Но с другой стороны, мы уже заметили выше, что утопия—утопии рознь, что настоящая, истинная утопия не есть только мечта произвольного воображения, но истина, вызванная действительностью и выработанная разумом. Утопия может иметь характер мистический и субъективный, она может иметь также характер научный и объективный; весь вопрос следовательно состоит в том, который из этих двух характеров есть характер современных социальных теорий? От решения этого вопроса зависит естественно и самое суждение о степени удовлетворительности и рациональности нынешнего направления политической экономии. Но само собой разумеется, что решить этот вопрос можно не иначе, как рассмотрев внимательно основные свойства этого направления и указав с точностью как достоинства его, так и недостатки. Для этого считаем достаточным указать в нескольких словах на главные черты, *общие* всем новым политико-экономическим школам, не вдаваясь в подробное рассмотрение каждой из этих школ порознь.

Новейшее направление политической экономии явилось, как уже заметили мы выше, в виде реакции против ложного направления прежних экономистов. В этом заключается историческое значение и разумное оправдание современных теорий, но в этом же самом заключается и настоящий источник их

непрочности и неудовлетворительности. Реакция против одной крайности всегда сопровождается неизбежным впадением в крайность противоположную; так точно случилось и с новыми политико-экономическими школами, которые, вооружившись против исключительных взглядов и исключительной методы экономистов, стали в свою очередь смотреть на свою науку и на способ ее обрабатывания с слишком односторонней исключительной точки зрения. Прежде экономисты слишком слепо преклонялись перед действительностию и, признавая ее безусловную необходимость, осуждали на застой как науку, так и жизнь; новые школы, вооружившись против такого направления, представили с своей стороны слишком много воли воображению и позабыли о необходимости умерить его разгул трезвым взглядом на практическую жизнь и постоянным изучением ее законов и сил. От этого и произошло, что утопии новых школ остались не более как утопиями и остановились упорно на первом моменте своего развития, вместо того, чтоб пойти далее и перейти мало-помалу из сферы воображения в сферу науки. От этого произошло также и то, что деятельность новейших школ сообщила политической экономии направление более широкое и благородное, но вместе с тем гораздо менее научное и совершенно чуждое положительного характера. Все это легко можно доказать, если обратиться к рассмотрению важнейших особенностей, характеризующих современное направление экономической науки.

Во-первых, во всем, что относится к понятию о предмете и призванию политической экономии, новые школы стали бесспорно несравненно выше экономистов и сумели возвратить науке то высокое значение, которое она утратила в руках последователей Смита. Вместо того, чтобы признать, подобно своим предшественникам, богатство предметом науки, они поставили целью своих изысканий благосостояние или счастье человека. Это самое заставило их перевести политическую экономию из сферы пустых и ни к чему не ведущих отвлечений в сферу действительных, общественных интересов. Вместе с этим изменились и способ обрабатывания науки и способ решения важнейших ее вопросов. Оставив в стороне метафизику богатства, так много занимавшую экономистов, новейшие школы обратились прямо к исследованию вопросов чисто практических, к изысканию средств для улучшения судьбы и быта людей. В основание для решения этих вопросов они приняли не отвлеченную идею ценности, но живую идею человека, и потому самому стали рассматривать все экономические учреждения не со стороны влияния их на умножение продуктов, но со стороны их действия на усовершенствование самого человека, в ум-

ственном, нравственном и особенно материальном отношениях. Наконец, одна из важнейших заслуг новой школы состоит в том, что она умела воздержаться от исключительности прежних писателей, принимавших политическую экономию за науку совершенно независимую, совершенно отрешенную от всех других частей науки общественной. Новые школы объявили с самого начала, что для них общественная наука есть одно органическое целое и что в политической экономии они видят не более, как одну сторону этого целого, состоящую в самой тесной и непосредственной зависимости от всех других его сторон. Все это доказывает, что в отношении к общему взгляду на науку и к способу его обрабатывания, новые школы пошли гораздо далее своих предшественников и сумели сообщить политической экономии новое, более рациональное и широкое направление. Но вместе с тем нельзя не сознаться, что даже и в этом отношении учение новейших школ наряду с светлой стороной представляет и темную. Так точно, как экономисты, распространивши отвлеченную часть своей науки в ущерб практической ее части, вдалились в ошибочную крайность, так точно и новые школы зашли в противоположную крайность, когда обратили все внимание исключительно на вопросы практические и пренебрегли исследованием вопросов теоретических. В политической экономии, как и во всякой другой сфере познаний, теория и практика, наука и искусство должны идти дружно, рука об руку; искусство должно необходимо опираться на науку; теория должна неизбежно иметь целию практику; если прежние экономисты не умели понять второй истины, то взамен того новые школы вовсе не поняли первой. Исключив из сферы своих изысканий целый ряд важных и многообъемлющих вопросов, они изуродовали свою науку и стеснили ее объем, а позабыв о необходимости доказывать осуществимость экономических реформ согласием их с экономическими законами, они лишили свое учение положительного основания и превратили его в ряд произвольных предположений, ничем не оправданных и не доказанных.

То же самое должно сказать и о методе, которой следуют в большей части случаев новейшие школы. И в этом отношении начало их нередко бросается в крайности и Излишества. Экономисты дошли до ложных и односторонних результатов, когда ограничились одним наблюдением над современными фактами и поставили себе целию объяснить существующее, насколько не заботясь о том, чтоб указать степень его справедливости или разумности. Метода экономистов, несмотря на при-

своеенное ей название, имела весьма мало общего с настоящей методой положительной, и потому новые школы поступили весьма рационально, когда решились повести науку по другому пути и ввести в нее понятие о праве, так неправильно из нее исключенное школою Адама Смита. Но новые школы в свою очередь впали в страшную ошибку и в самое ложное направление, когда, ограничившись одним изысканием «справедливого» и оставив без внимания исследование существующего и возможного, отвергли опыт и наблюдение, как методу вовсе не свойственную общественной науке. Противопоставив свой идеализм эмпиризму своих противников, они хотели провести одну идею права по всем частям экономической науки и вследствие того—одним вопросам не могли дать никакого решения, другие—решили самым произвольным и односторонним образом. В этом отношении мы видим опять в учениях прежних экономистов и новых школ две противоположные и равно ошибочные крайности; первые признают все действительное справедливым, вторые—все справедливое возможным. Одни унижают науку, употребляя ее как средство для оправдания современной действительности, другие отрицают самую действительность, нисколько не принимая ее в соображение при построении своих теорий. Очевидно, что ни в той, ни в другой методе нет признаков положительного, истинно-научного характера.

Что касается до содержания теорий господствующих новых школ, то, рассматривая его с одной экономической точки зрения, мы находим в нем данные для решения двух основных вопросов: во-первых, вопроса о производстве богатств; во-вторых, вопроса об их распределении. В первом отношении новые школы имеют опять огромное преимущество над экономистами. Отвергая начало неограниченной свободы промыслов, как начало неудовлетворительное и в теоретическом и в практическом отношении, они требуют *организации труда* и хотят, чтобы общество, не предоставляя производительности на произвол частным интересам, само установило соразмерность ее с потреблением. Принимая таким образом в основание своих теорий идею организации труда, новейшие школы понимают, что недостаточно доказать ее необходимость, что следует кроме того указать и самые средства для приведения этой мысли в действительное исполнение. Но, стараясь формулировать свою идею и объяснить подробно порядок разумного устройства экономических отношений, они избирают в большей части случаев ложный путь для выполнения этой задачи. С одной стороны, заботясь преимущественно о том, чтоб найти тип самой совершенной, самой разумной организации труда, они недо-

статочно сознают, что человечество не может делать скачков в своем развитии и не может следовательно перейти прямо и без приготовления из нынешнего своего состояния в состояние полного и безусловного совершенства. Если бы новые школы понимали эту истину, они бы обратили свое внимание преимущественно на то, чтоб найти средства для *постепенного* усовершенствования экономической организации. Но вместо того, чтобы стремиться к этой ближайшей и непосредственной цели, современные школы думают гораздо более о цели, слишком от нас отдаленной, и ограничивают свою деятельность одним стремлением к недостижимому для нас идеалу общественной организации. С другой стороны, в тех учениях, в которых идея организации труда не осталась в своей неопределенной всеобщности, но формулировалась полным и ясным образом, мы находим и другой важный недостаток: стремление к излишней централизации, к излишнему подчинению частных интересов интересу общему. В тех формах общественного устройства, которые придуманы новыми школами, личность человека или исчезает совершенно или подвергается самым стеснительным ограничениям. Вместо того, чтобы найти средства для примирения двух равно необходимых начал: индивидуализма и общности, современные теории по большей части жертвуют первым в пользу второго и подчиняют деятельность неделимого известным правилам, исполнение которых не может обойтись без принуждения или самопожертвования.

Остается теперь вопрос о распределении богатств, вопрос, на который новейшие школы обращали до сих пор наиболее внимания. В этом отношении они поступили опять совершенно сообразно с своей обычной методой. Стараясь отыскать справедливое, юридическое основание для разделения благ между членами общества, они весьма мало заботились о том, чтоб найти средства для немедленного облегчения бедствий рабочего класса и для улучшения настоящего порядка вещей во столько, во сколько это представляется теперь возможным и осуществимым. Взамен того, нельзя не сознаться, что юридическая часть этого вопроса была рассмотрена ими весьма подробно и многосторонно. Поставив себе задачей раскрыть требования правды относительно устройства экономических отношений, они вполне достигли своей цели и путем заблуждений и односторонних взглядов дошли мало-помалу до верного и ясного понятия о юридическом основании разделения благ. В развитии их идей относительно этого предмета мы находим известную последовательность и постепенный логический переход от взглядов ложных к взглядам более справедливым. Первые против-

ники учения экономистов обвиняли это учение преимущественно в том, что им упрочивается неравенство благ, и в свою очередь считали самым справедливым распределением богатств распределение их по равным долям между всеми членами общества. Но это заблуждение продолжалось недолго; позднейшие утописты доказали ясно, что идея абсолютного равенства благ есть идея не только чуждая всякого практического значения, но и несостоятельная по своей теоретической основе, потому что при различии человеческих потребностей равенство средств для их удовлетворения в существе дела упрочивает собою совершенное неравенство между людьми. Новейшие школы пошли в этом отношении далее; одна из них, стараясь по возможности согласить друг с другом все интересы, существующие в настоящее время, признала, что самое справедливое распределение богатств есть то, в котором назначается каждому члену общества известная доля, определяемая по мере его труда, капитала и таланта. Другая школа, отвергнув права капитала, как права, не имеющие никакого юридического основания, думала найти самую справедливую норму разделения благ в известной формуле: «каждому по мере его способностей, каждой способности по мере ее произведений» (*a chacun selon sa capacite, a chaque capacite selon ses oeuvres*). Наконец, третья школа, отвергнув мнения всех школ, предшествовавших и приняв в основание ту мысль, что богатство есть только средство для удовлетворения потребностей, и что следовательно не участие в производстве, а самые потребности должны служить мерилom для распределения, признала разделение благ по мере нужд и желаний каждого единственно разумным и справедливым разделением.

Обозрев таким образом самые общие черты деятельности современных школ, мы можем теперь вывести наше окончательное заключение о достоинствах и недостатках направления, принятого политической экономией в последнее время. Мы видели, что направление это, само по себе необходимое и полезное, оказывается во многих отношениях неудовлетворительным и недостаточным. Ему недостает, относительно взгляда на науку, более справедливой и многосторонней оценки ее назначения и объема; а относительно методы—более строгого подчинения воображения и фантазии наблюдательности и опыту. Все новые теории в современном их виде суть не более, как произвольные утопии и смелые гипотезы, опирающиеся только на основаниях юридических и вовсе не приведенные в согласие с действительностью и ее законами. Но мы уже видели, что истинное назначение утопии состоит в том, чтоб совер-

шенствоваться постоянно, сбрасывать с себя мало-помалу свой субъективный и мистический характер и, переходя в сферу науки, приобретать все те условия, от которых зависят рациональность и положительность ученых теорий. Этого назначения современные учения до сих пор еще не выполнили, но должны выполнить его рано или поздно; и в постоянном стремлении к такой цели заключается, по нашему мнению, как настоящее их призвание, так и залог для дальнейших успехов науки.

Указав в кратком очерке на историческую судьбу политической экономии, мы возвратимся теперь к произведению нашего русского экономиста. Распространяться о его недостатках мы считаем совершенно излишним после всего того, что говорили мы о недостатках теории, построенной последователями Адама Смита. Все то, что сказали мы выше об экономистах, может быть вполне приложено и к г. Бутовскому, который в своем «Опыте о народном богатстве» придерживается исключительно мнений и взглядов Ж. Б. Сэя и некоторых других писателей французских, принадлежащих к той же школе. Таким образом наш первоначальный отзыв об устарелости взглядов г. Бутовского и о несправедливости начал, полагаемых им в основание науки, считаем мы совершенно оправданным и вовсе не требующим новых доказательств.

Что же касается до оценки «Опыта о народном богатстве» относительно его формы, то и в этом отношении мы не можем сказать много хорошего о сочинении г. Бутовского. Его компиляция могла бы принести известную пользу русской публике, если бы в ней учение экономистов изложено было ясно, просто и общепонятно. К сожалению чрезвычайная неясность изложения—следствие неточности языка и напыщенности слога, составляет отличительный характер книги г. Бутовского. Читатель, знакомый с современным состоянием политической экономии, не узнает из этого сочинения ничего нового, не найдет в нем ни одной оригинальной мысли, ни одного самостоятельного взгляда. Что же касается до читателей, незнающих этой науки и желающих с нею познакомиться, то они наверное немного поймут из книги г. Бутовского, в которой неуместный пафос и беспрестанные риторические выходы затемняют смысл самых простых, самых ясных положений науки. Основываясь на всех этих соображениях, мы считаем себя вправе признать труд г. Бутовского неудовлетворительным и бесполезным во всех отношениях. Посвятив этой книге такой подробный разбор, мы имели в виду не внутреннее ее достоинство,

но единственно важность ее предмета, и необходимость, предохранить большинство публики от ложных взглядов на политическую экономию, взглядов, к распространению которых мог бы содействовать, несмотря на свою крайнюю неудовлетворительность, «Опыт о народном богатстве».

¹ В первой статье нашей о книге г. Бутовского сказано было, между прочим, несколько слов о системе меркантилистов. Один из наших читателей доставил в редакцию «Современника» письмо, в котором опровергает наш взгляд на это учение, полагая, будто мы *оправдываем* мнение меркантильной школы о важности денег. Возражения нашего противника весьма основательны и дельны, но в настоящем случае совершенно бесполезны. В нашем отзыве о меркантилистах прямо сказано, что система их несправедлива, и что деньги не могут быть признаны источником богатства. Автор письма, как надо полагать, введен был в заблуждение тем местом нашей статьи, где сказано, что «каждый производитель владение благородными металлами, обращенными в монету, всегда считает для себя более выгодным, нежели владение продуктами в натуре». Но из предшествующих этому месту и следующих за ним слов ясно видно, что мы говорили только о *производителе*, который действительно считает для себя более выгодным променять свои продукты на деньги, нежели хранить их без пользы в магазинах и кладовых. Автор письма доказывает, что полученные таким образом деньги не останутся в руках производителя, а в свою очередь будут променены им на другие продукты, для него необходимые, полезные или приятные. Но доказывать эту мысль было бесполезно, потому что нам никогда не приходило и в голову отвергать ее справедливость.



ОПЫТ О НАРОДНОМ БОГАТСТВЕ ИЛИ О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

СОЧИНЕНИЕ АЛЕКСАНДРА БУТОВСКОГО.
ТРИ ТОМА

Санктпетербург. 1847.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Исторические изыскания о последовательном усовершенствовании наших познаний открывают существование одного общего, неизменного закона, распространяющего свое действие на все проявления умственных способностей человека. По силе этого закона, науки, истекающие из ума человеческого, в своем постепенном развитии, проходят через три периода: мифологический, метафизический и положительный. Эти три периода отличаются друг от друга самыми резкими чертами; особенность каждого из них заключается в способе обработки науки и в существе тех побуждений, которые руководят умственную деятельность. Различие между первым и вторым состоянием наших познаний заключается в том, что философия метафизическая развивается преимущественно путем отвлеченного мышления и объясняет все явления—самодетельностью той внутренней сущности или той абстрактной идеи, которая предполагается присущею каждому внешнему феномену. Как мифологическая, так и метафизическая философия, радикально противоположны философии положительной, которая является всегда, во всех отраслях знания, последним звеном умственного развития и одна заслуживает название науки. Отличительный характер ее состоит в том, что, сознавая несостоятельность разума для открытия абсолютной истины, и отказываясь от несбыточной надежды проникнуть в существо и внутренние причины бытия, она старается только разъяснить совокупным действием рассудка и наблюдения действительные законы явлений, или те неизменные начала, которыми определяются взаимные *отношения их* друг к другу. Основные свойства новой методы, являющейся в этот третий, высший период развития науки и состоящей в анализе частных фактов, в раскрытии их соподчинения и связи и в последовательном выводе из них небольшого числа общих

законов, придают всем началам положительных теорий характер строго доказанных и поставленных вне всякого спора истин.

Существование этого основного закона не подлежит сомнению. Оно доказывается прежде всего наблюдением над историческою судьбою науки и над порядком развития умственной деятельности в отдельном человеке и в целом человечестве. Кроме этого эмпирического оправдания, можно привести еще оправдание рациональное, основанное на доказательстве логической необходимости такого закона, вытекающей из самых свойств нашей организации. Ум человека никогда не удовлетворяется отрывочным знанием фактов, но всегда нуждается в *теории*, объясняющей эти факты и связывающей их в одно целое, и притом теория для него необходима не только, как конечная цель, но и как исходный пункт его деятельности: отсутствие теории уничтожает возможность самого наблюдения над фактами. Если мы возьмемся за анализ частных фактов, не усвоив себе предварительно каких-либо общих начал, которые могли бы руководить нашей аналитической работой, то, с одной стороны, мы не в состоянии будем открыть общую связь между нашими частными наблюдениями, которые останутся, следовательно, совершенно бесплодными и не поведут ни к каким результатам, а, с другой—не будем иметь возможности, по неимению критерия для оценки подмеченных фактов, удерживать их в памяти и судить о степени их важности. Но если, таким образом, для успешности наблюдений, безусловно необходимы теории, то и, наоборот, для правильности теорий безусловно необходимы множество и правильность наблюдений. Очевидно, что в этом случае между нуждами человека и средствами их удовлетворения находится открытое противоречие. Соединение необходимости в частных наблюдениях для построения правильных теорий, с не менее настоятельною необходимостью в построении каких-либо теорий для возможности и правильности наблюдений, ставит человека в круг, повидимому, безвыходный. Средство выхода из него одно: образование и усвоение человеком мифологических идей, неправильных в своем существе, но необходимых для того, чтобы доставить человеку с самого начала точку опоры для его усилий и пищу для его умственной деятельности. В этом заключается, независимо от нравственных и общественных соображений, доказывающих необходимость мифологического направления первоначальной науки, самое существенное, логическое условие этой необходимости. Надо сказать также, что мифологическая философия, которая по своей непосред-

ственности и самородности одна только и бывает возможна на первых ступенях умственного развития, является вместе с тем и необходимым орудием для пробуждения и приведения в действие познавательных способностей человека. В настоящую минуту наш разум достиг до такой зрелости, что, не нуждаясь в посторонних побуждениях, предпринимает беспрестанно самые утомительные работы только для одной цели— для сознания истины, несмотря на то, что вековая опытность доказала ему и в этом отношении несбыточность его прежних самолюбивых надежд и необходимость довольствоваться исследованием предметов, для нас доступных, не тратя понапрасну своих сил на бесплодные усилия к решению вопросов, для нас неразрешимых. Но первоначально разум человека не имел и не мог иметь такой опытности и зрелости. Преувеличивая свое могущество, он считал себя способным к раскрытию всех таинств природы и к неограниченному влиянию на внешний мир. Только это естественное самообольщение и могло побудить человека к неутомимой деятельности и к постоянному напряжению умственных сил своих. Не будь этих возбудительных причин—человек никогда не вышел бы из своего усыпления. С другой стороны, понятно, что, при таких самолюбивых притязаниях, он не мог бы с первого раза ограничить себя тем тесным кругом, в который заключает нашу умственную деятельность положительная наука, предполагающая себе одну только цель — открытие законов взаимного соотношения явлений и уничтожающая самым безусловным образом все химерические представления человека.

Что касается до метафизического направления науки, то необходимость его, как момента переходного, очевидна сама по себе. Нет никакого сомнения, что положительная философия составляет высшее звено и конечную цель умственного развития во всех отраслях знаний. Но между мифологическим и положительным направлением существует такая несовместность, такая радикальная противоположность, что разум человека, развивающийся всегда медленно и постепенно, не может перейти вдруг и непосредственно из самого несовершенного состояния в самое совершенное. Такою невозможностию и обусловливается необходимость посредствующей ступени между этими двумя крайностями, т. е., такого направления, которое, по своему двусмысленному и нерешительному характеру, было бы способно подготовить мало-помалу переход разума от исключительно мифологической к исключительно положительной методе. Метафизика совершенно удовлетворяет этой потребности, потому что в объяснении каждого явления вводит пред-

ставление о присутствии соответствующей явлению и неразлучной с ним отвлеченной идеи (сущности). Такой взгляд на природу представляет уже значительный шаг вперед. Метафизические представления, побуждая человека стремиться к раскрытию внутреннего смысла фактов или присущей в них идеи, приучают его обращать постоянное внимание на самые факты. А так как, с другой стороны, по самой силе вещей, эти представления, достигая мало-помалу высшей степени утонченности, раскрывают всегда рано или поздно свое ничтожество и превращаются, наконец, для человека с здравым смыслом в простые отвлеченные названия действительных явлений, то понятно, что метафизическая философия носит сама в себе зародыш уничтожения и не может никогда иметь на ум продолжительного влияния. Ее назначение в каждой науке состоит единственно в отрицании мифологических идей и в подготавливании положительных знаний. Понятно, например, что построение метафизических теорий послужило самым естественным средством перехода от алхимии к химии, или от астрологии к астрономии.

Настоящая цель умственной деятельности человека состоит, без сомнения, в том, чтобы возвести каждую отрасль познаний на степень науки положительной, т. е. науки в настоящем смысле слова. Сознание этой цели и стремление к ее достижению составляет отличительный характер умственного направления нашей эпохи. Такое направление сделалось особенно преобладающим с того времени, как философский переворот, связанный с именами Бэкона и Декарта, сообщил новое движение науке, освободив ее от оков схоластики. С этого времени, постепенный упадок философии мифологической и метафизической и постепенное возрастание философии положительной—стались очевидны. Впрочем, несмотря на постоянное и неутомимое стремление разума к исследованиям чисто положительным, до сих пор еще истинная метода не успела распространиться одинаково на все сферы человеческих сведений. В настоящее время есть уже много таких наук, которые достигли в известной степени положительного состояния; но самое название положительных наук, которое обыкновенно им дается, показывает, что в других отраслях своей деятельности, разум человека еще не успел до сих пор попасть на прямой, настоящий путь. И действительно, мы находим еще теперь множество таких наук, которые не вышли из периода мифологическо-метафизического направления. Сюда принадлежат главным образом науки, посвященные исследованию различных явлений общественной жизни—правоведение, политическая экономия, и проч., и проч.;

словом, та совокупность наших познаний, которая означается обыкновенно именем *наук общественных*.

Что современное состояние так называемых общественных наук неудовлетворительно—в этом никто не сомневается. Остается объяснить причины и источник такого неудовлетворительного состояния—и это объяснение может представить только история этих наук, доказывающая, что, пройдя первый период своего развития, они остановились на втором и не успели еще вступить в третий. Развитие идей сосредоточивалось до сих пор в борьбе между двумя противоположными направлениями: мифологическим и метафизическим. Последователи первого являлись в этом случае представителями идей старых. Последователи второго являлись представителями идей прогресса и индивидуализма, врагами старого порядка вещей и провозвестниками нового. В существе дела, между идеями старины и прогресса, авторитета и индивидуализма, нет никакой существенной противоположности. В науке эти понятия, с первого взгляда противоположные, должны быть рассматриваемы как различные стороны одного и того же начала; в жизни тесное и неразрывное слияние их составляет главное условие. Порядок невозможен без прогресса, точно так же, как и прогресс не имеет другой окончательной цели, кроме прочного установления порядка. Индивидуализм—верховное начало и цель человеческой деятельности; авторитет—не что иное, как средство для достижения этой цели. К сожалению, как в жизни, так и в науке, эти понятия, в существе своем единые, противопоставляются до сих пор одно другому, как несовместимые и взаимно друг друга отрицающие. Самая узкая исключительность составляет общий удел последователей того и другого начала. Защитники старого, отвергая необходимость прогресса, осуждают общество на застой и неподвижность; защитники прогресса, распространяя свои идеи, ведут к произволу. Встречались, правда, в последнее время и попытки к примирению этих крайностей; но все эти попытки, выходявшие из ложных начал нерешительного эклектизма, вовсе не уничтожали того дуализма, который следовало уничтожить, а приводили только к механическому совокуплению двух принципов, искажавшему по большей части действительное значение того и другого.

Было время, когда общественная наука и общественная жизнь находились между собою в самой тесной связи: первая служила выражением и оправданием второй. Но когда историческое значение прежнего порядка вещей было уже совершенно исчерпано, общественная наука начала иначе смотреть на действительность, и в самой сфере общественных идей обнаружился

глубокий разрыв между двумя противоположными тенденциями— между уважением к старому и жаждою нового, между подчинением разума преданию и подчинением предания разуму. Этот разрыв идей, породивший в самой жизни столкновение противоположных интересов, существует и в настоящее время. Нельзя не сознаться, что этим результатом обязаны так называемым защитникам прогресса, которых мы, сообразясь с принятой терминологией, можем назвать представителями метафизического направления в идеях. В продолжение целого столетия они не переставали трудиться над отрицанием и разрушением того, что им казалось неразумным и что действительно потеряло уже всякое право на существование с тех пор, как, выполнив свою историческую задачу, перестало соответствовать общим интересам и потребностям и сделалось сильным препятствием к их дальнейшему развитию. Но одно разрушение старого в этом случае было недостаточно; необходимо было заменить его чем-нибудь новым, более разумным и более сообразным с требованиями современности. В этом последнем отношении, общественная наука оказывалась до сих пор совершенно несостоятельною. Все современные школы возникли из противопоставления идей прогресса—идеям неподвижности; их историческое назначение заключалось именно в борьбе против устарелых начал. Это назначение они выполнили с успехом, но на нем и остановились, потому что по своему направлению, исключительно метафизическому, не были способны к воссозданию того, что разрушили. Основные догматы их учения отличаются совершенным отсутствием положительности и творчества и преобладанием чисто отрицательного, критического направления. В основании всех их лежит одна и та же ошибка: признание правильным того переходного и аномального состояния, которое является неизбежным уделом в более или менее продолжительный промежуток времени, от падения старого до создания нового. Пример основной ошибки экономистов школы Адама Смита может всего лучше пояснить нашу мысль. Известно, что сознание последствий прежнего положения народной промышленности побудило эту школу требовать неограниченной свободы труда и поставить свой идеал экономического благосостояния в безусловной независимости промыслов. Очевидно, что в этом заключении две различные стороны, которые должны быть строго отделены друг от друга: первая сторона, чисто отрицательная, направленная против системы искусственного поощрения промышленности, совершенно справедлива в своих основаниях; вторая, представляющая в себе попытку обратить отрицательное начало; *laissez faire, laissez passer*, в основной закон экономиче-

ской организации, в высшей степени несостоятельна, как в теоретическом, так и в практическом отношении. Доказывать причины этой несостоятельности было бы здесь неуместно: достаточно только показать, что в этом случае Адам Смит и его последователи впали в заблуждение единственно потому, что, подобно всем мыслителям метафизической школы, распространили идеи свои о злоупотреблениях принципа на самый принцип и, вместо изучения необходимых условий для разумной организации труда, признали заранее неразумность всякой организации экономических отношений, основав свое суждение на неразумности прежних, опровергаемых ими форм этой организации.

Отличительный характер общественных наук в нашу эпоху заключается в крайней противоположности убеждений и взглядов, в совершенном отсутствии твердых, общепризнанных истин. В этом случае нельзя не заметить существенного различия между состоянием наук математических, естественных и т. д., с одной стороны, и состоянием наук общественных—с другой. В одних, несогласие между учеными обнаруживается только в отношении к некоторым частным, еще нетронутым или недостаточно обработанным вопросам; основные же их истины уже совершенно доказаны и единогласно признаются всеми. В других, напротив, мы не встречаем почти никаких доказанных и единогласно признанных решений; самые противоположные начала полагаются различными школами в основание этих наук, в которых притом запутанность и неопределенность идей увеличиваются еще более тем, что всяк тут судит вкривь и вкось о предметах, доступных в других науках только для небольшого числа людей способных и знающих. Разрушение прежних начал предоставило полный простор личным соображениям и фантазии каждого и произвело в сфере общественных идей умственную анархию, достигшую в последнее время до самых крайних пределов. Следы этой анархии так очевидны и преобладание метафизического направления в общественных вопросах так сильно, что самая мысль о возможности положить предел разногласию, применив положительную методу к решению этих вопросов, кажется ныне большинству людей мыслью странною. Общественные науки представляются нашему сознанию чем-то совершенно особенным, исключительным, вовсе неподходящим под общий закон умственной деятельности. Мы так привыкли к господству метафизики в этой сфере, что весьма равнодушно смотрим на это не-логическое раздвоение человеческой науки на две непохожие друг на друга части, из которых одна совершенно положительна, другая будто бы по самому свойству сво-

ему чужда всякой положительности. И в этом случае, переходное, аномальное состояние разума принимается нами за состояние необходимое и вечное. Когда, по редкому исключению из общего правила, являются люди с более широким взглядом на вещи, все глубокомысленные публицисты, юристы, экономисты и социалисты пожимают плечами и называют требования их нелепыми, утопическими. Им указывают на пример естественных и математических наук: они отвечают очень серьезно, что эти науки—одно, а общественные науки—другое, что первые могут быть утверждены на прочных началах, а вторые не могут. Да почему же *не могут*? Если только потому, что до сих пор не могли, так это еще не доказательство. Что сказали бы вы, если бы я указал на десятилетнего ребенка и сказал, что он никогда не может сделаться взрослым человеком, потому что в течение десяти лет не мог им сделаться? Вас рассмешила бы моя наивность. А разве не так же смешно видеть, как люди серьезные в серьезных вопросах наивно принимают действительное за критерий возможного и делают смелые посылки от настоящего к будущему? Неужели не суждено нам никогда избавиться от этой логики?..

Что науки общественные в настоящее время еще не достигли положительного состояния, что в них преобладает до сих пор метафизическое направление—это факт несомненный. Но разве не прошли чрез ту же самую фазу мифологическо-метафизического направления и другие науки, у которых теперь никто из нас не осмеливается отрицать положительного характера? Образованию химии предшествовало господство алхимии и ложных метафизических систем; те же ложные системы подготовили и переход человеческого разума от астрологии к астрономии. Таким же точно путем развивались и другие положительные науки. Мы заметили, в самом начале статьи, что в этом последовательном переходе разума от мифологии к метафизике, от метафизики к положительной науке, заключается общий, необходимый закон развития умственной деятельности. Почему же теперь действие этого основного закона, который осуществился; во всех сферах человеческого знания, не распространится только на сферу идей общественных? Очевидно, что такое предположение вечного младенчества общественных наук ничем не оправдывается и ничем не может быть оправдано. Было время, когда и другие науки, например, физика и химия, также находились в состоянии плачевном, также представляли смесь самых противоположных и произвольных теорий, основанных на отрывочных и неправильных наблюдениях. И об них говорили также, что им не суждено выйти из этого жалкого состояния, что

они по самому свойству своему должны вечно оставаться в непосредственной зависимости от личных мнений и субъективных взглядов. А между тем, опыт доказал противное. В физике и химии, мало-помалу, благодаря успехам наблюдения и разума, метафизическое направление сменилось направлением положительным: почему же не признать, что и в общественных науках рано или поздно совершится такое же преобразование? Очевидно, скептицизм наших современников в отношении к последним точно так же неоснователен, как был неоснователен скептицизм наших предков в отношении к первым.

Нас спросят, может быть, почему усилия разума преобразовать общественные науки оказывались до сих пор неудачными, между тем, как в других отраслях наших знаний, эти усилия увенчались самым полным и блистательным успехом? На это есть ответ очень простой. Независимо от того обстоятельства, что усилия разума к положительному построению общественной науки были до сих пор весьма редки, слабы и, главное, весьма нерациональны, медленность усовершенствования общественных идей в сравнении с быстротою развития прочих познаний объясняется весьма естественно основным различием между теми и другими. Общий закон постепенного возникновения положительной науки из мифологии и метафизики имеет одинаковую силу для всех сфер познания; но степень быстроты или медленности этого возникновения бывает различна по различию наук. Тут все зависит от самого свойства явлений, подлежащих изучению, от большей или меньшей трудности наблюдать над ними и рас-

крывать их соотношения. Понятно, что чем проще и общее явление, чем менее имеют они связи с интересами и страстями человека, тем легче наблюдать над ними и раскрывать их свойства, тем доступнее они для положительного изучения. Наоборот, чем многосложнее и специальное явления, чем значительнее их связь с интересами и страстями человека, тем труднее становится их изучение, тем медленнее идет положительная их разработка. История постепенного усовершенствования наших познаний доказывает, что различные науки достигают положительного состояния именно в том порядке, в каком следуют друг за другом самые явления, составляющие предмет их—относительно степени их простоты, общности и независимости, как друг от друга, так и от влияния страстей человека. В категорию положительных наук вошли прежде всего математика и астрономия; за ними физика, потом химия и, наконец, физиология. Но известно, что явления математические и астрономические по своей простоте, общности и самостоятельности, имеют огромное преимущество пред всеми другими; после них, в от-

ношении к этим свойствам, первое место занимают явления физические; второе—химические. Феномены физиологические отличаются особенно многосложностью, специальностью и зависимостью от других явлений; поэтому самому и физиологии развивалась медленнее всех других наук, и только в нынешнем столетии труды некоторых ученых, особенно же открытия Галля поставили ее, наконец, на степень теории положительной. Но очевидно с первого взгляда, что общественная наука в этом отношении уступает даже самой физиологии. Явления общественные несравненно сложнее и специальнее всех других имеют в себе гораздо менее самостоятельности, находясь в самой тесной зависимости от всех других явлений и в самой близкой связи с интересами и страстями человека. Этим объясняется медленность в развитии общественных наук и продолжительность их метафизического, нерешительного состояния. По самому свойству своего предмета, они, естественно, не могли освободиться так скоро, как освободились другие науки, от непрочности и шаткости наблюдений—недостатков, доставляющих возможность невеждам и софистам находить мнимо положительные данные в подтверждение самых неосновательных софизмов к истолковывать совершенно произвольным и односторонним образом все совершившиеся и совершающиеся факты.

Если разум человеческий не успел до сих пор утвердить общественной науки на положительных основаниях, то этот неутешительный факт может быть еще приписан и другой причине. Всякая наука основывается на наблюдениях; но для возможности и успеха наблюдений необходимы обилие и разнообразие явлений, подлежащих этим наблюдениям. В науках имеющих предметом изучение внешнего мира, это последнее условие не имеет никакого значения, вследствие постоянства и неизменности самых феноменов этого мира, остающихся всегда одинаковыми как по количеству, так и по качеству. Если в таких науках невозможны в первое время правильные наблюдения, то не от недостатка предметов для наблюдения, но от недостатка способности и умения со стороны самих наблюдателей. Совершенно иное в науках общественных. В них, независимо от неспособности наблюдателей, самым феноменам недостает долгое время условий обилия и разнообразия, необходимых для их научного изучения. Общественная жизнь развивается медленно и постепенно; в первое время, она так проста и однообразна, что не представляет собою достаточной пищи для умственной деятельности. И не в одни первые времена общественной жизни этот недостаток материалов для наблюдения составляет препят-

ствие к образованию положительной науки: препятствие это сохраняется весьма долго во всей своей силе и изглаживается только постепенно, мало-помалу. Можно даже сказать без преувеличения, что только в наше время сфера общественных явлений достигла, наконец, той степени обилия и разнообразия, при которой является уже возможность построить общественную науку на положительных основаниях. В этом отношении, особенно много содействовали к устранению указанного нами препятствия перевероты прошлого и нынешнего столетия. Пока прежний порядок вещей оставался еще цельным и неприкосновенным, можно было сомневаться на-счет истинного существа тенденций человечества, тенденций, которые недостаточно выказывались в совокупности прежних исторических фактов. С другой стороны, понятно также, что вследствие тесной зависимости общественных явлений от явлений составляющих предмет других наук, первые сделались доступны для положительного их изучения только со времени совершенного уразумения и объяснения последних. В этом отношении, особенно заметна и тесна связь, существующая между явлениями общественными и физиологическими. Само собой разумеется, что, не изучив природы человека индивидуального, невозможно было приступить к изучению человека общественного. Но физиологическое изучение человека, как заметили мы выше, достигло надлежавшей степени совершенства только весьма недавно, в начале нынешнего столетия. В этом заключается новое подтверждение той мысли, что положительное обрабатывание общественных наук только в наше время и сделалось возможно.

Сказанное нами достаточно объясняет причины безуспешности всех тех попыток, которые сделаны были до сих пор с целью извлечь общественные науки из их запутанного состояния. Понятно, что все такие попытки до самой настоящей минуты были еще слишком преждевременны, и уже по одному этому не могли принести никаких плодов. Таким образом, наши общие замечания о причинах медленности в развитии социальных идей освобождают нас от обязанности перечислять отдельно эти попытки и доказывать порознь их нерациональность и бесплодность. В настоящем случае, мы должны обратить внимание только на одну из них, именно, на труды той фаланги ученых, которая, ограничив круг своей деятельности одною из отраслей общественных явлений, торжественно объявила, что будет обрабатывать свой предмет путем положительной методы и построила на этом основании особую теорию, которую и старалась выдать на самом деле за теорию положительную. Мы имеем тут в виду труды так называемых экономистов, создавших, в конце прош-

лого и в начале нынешнего столетия, новую науку, получившую, как известно, название *политической экономии*.

Адам Смит, основатель политической экономии, и все экономисты, его последователи, признали с самого начала возможность утвердить свою науку на положительных основаниях и изъявили намерение постоянно следовать в изысканиях примеру ученых, обработывавших науки математические и естественные. Твердо убежденные в том, что цель эта достигнута и что созданная ими политическая экономия отличается характером совершенно положительным, они обыкновенно восхваляют самым преувеличенным образом свою методу и выставляют ежедневно свой способ исследований, как самый верный для успешного преобразования всех других частей общественной науки. Люди, мало знакомые с существом дела, простодушно верят этим гомерическим похвалам, на которые никогда не скупятся экономисты, если дело доходит до оценки их собственных подвигов. В последнее время, правда, усилия новейших деятелей науки поколебали значительным образом прежнее уважение к учениям экономистов. Тем не менее, внутри самой школы не перестают до сих пор еще веровать беспрекословно в непогрешимость методы Рикардо, Мальтуса, Сэ и других светил экономической теории. По весьма естественному, хотя и совершенно неосновательному самообольщению, современные последователи Смита, осуществляющие, как известно, в гигантских размерах систему взаимного самохваления, нисколько не смущаются жестокими нападками своих противников и, отвечая на них презрительным молчанием, продолжают гордиться твердостью своих начал и называть политическую экономию наукою положительною. Посмотрим же теперь ближе: заслуживает ли она действительно это название, и есть ли хоть тень справедливости в хвастливых отзывах экономистов о совершенстве и прочности построенной ими теории?

Если приложить к учению экономистов известную апофегму: «a fructibus cognoscetis»¹ и сделать посылку от результатов их методы к ее свойствам, то легко убедиться, что их способ изысканий не имеет ничего общего с тем, который употребляется в других науках, имеющих полное право называться положительными. Самый простой и вместе самый верный признак зрелости науки и ее положительного характера состоит в прекращении всякого разногласия между учеными относительно установления основных принципов и решения важнейших вопросов. В науке положительной, коренные истины признаются всеми

¹ вы узнаете их по их делам — *Ред*

одинаково и никем не оспариваются: в этом именно и заключается преимущество положительной методы над метафизической. Но в политической экономии напрасно стали бы мы искать этого признака положительности: в ней разногласия мнений и противоположность взглядов доходят до самой резкой крайности. Экономическая литература представляла всегда и представляет до сих пор хаос самых разнообразных толков, лабиринт, из которого трудно выпутаться. Последователи Адама Смита считают себя единственными представителями науки и называют расколом всякое поползновение к обоснованию экономической теории на иных началах; а между тем, сами они не могут согласиться друг с другом ни насчет настоящего значения терминов, беспрестанно встречающихся в их книгах, ни насчет существа основных идей, составляющих их *profession de foi*¹. Они требуют, например, чтоб политическая экономия отказалась от своего практического призвания и сделалась простою теориею ценностей, а между тем, до сих пор не могут условиться окончательно относительно значения ценности и разграничить это основное понятие от соприкосновенных с ним понятий полезности и богатства. В вопросах второстепенных и не столь существенных, мы встречаем между экономистами еще больше разногласия: вопросы о существе поземельной ренты, о способе измерения ценностей, об отношениях между народонаселением и средствами пропитания, о производительности торговой промышленности, о характере невещественных благ и пр. и пр. составляют до сих пор предмет самых жарких прений между знаменитейшими последователями Адама Смита. Этого мало. Разнообразные, отчасти даже противоположные мнения многочисленных учеников Смита, исключительно присваивающих себе название экономистов, не составляют еще, как известно, всей политической экономии. При нынешнем состоянии этой науки, существует еще и бесчисленное множество других экономических или так называемых социальных школ, которые, по словам экономистов, следуют ложному направлению и, как выразился неизвестный защитник г. Бутовского в своем «Ответе Отечественным Запискам», «силятся совратить науку с здравых путей», но которые тем не менее существуют и своим существованием доказывают отсутствие единодушия, следовательно и положительности в способе обрабатывания политической экономии.

Говорят обыкновенно, что борьба мнений и взглядов существует во всех науках, как необходимое условие для их развития. На это можно заметить, во-первых, что в тех науках,

¹ См. сноску на стр. 68. — *Ред*

которые уже достигли положительного состояния, подобная борьба служила только подготовлением и средством к прочному утверждению единогласно признанных начал; она в них существовала и, может быть, была действительно необходима, но мало-помалу прекратилась и сделалась совершенно невозможною с тех пор, как эти науки достигли известной степени совершенства, состоящего для них в определенности и прочности их оснований. Если, в настоящую минуту, нам случается встречать иногда и в науках положительных разногласие между учеными, то это разногласие относится всегда не к основным началам науки, вполне утвержденным и недопускающим спора, но к решению некоторых частных вопросов, решаемых иногда различно по недостаточности материалов и малочисленности наблюдений. Вообще, на борьбу мнений в науке должно смотреть как на факт аномальный, как на положение переходное, необходимое только до тех пор, пока увеличение числа и правильности наблюдений не доставило еще наблюдателям возможности утверждать свои мнения на прочных доказательствах и превращать их таким образом в несомненные истины. Но думать, что борьба и разногласие безусловно необходимы для наук—значит отвергать всякую возможность положительного их построения и повторять общую ошибку всех философов метафизического направления, постоянно смешивающих, как мы уже видели, средство с целью, и случайное, временное состояние науки с состоянием его конечным и постоянным.

Впрочем, надо заметить, что все ученые разногласия не могут быть подводимы под одну и ту же мерку; иногда они бывают действительно необходимы для предотвращения односторонних наблюдений и для просветления самых идей; такого рода споры сопровождаются полезными результатами и непременно оканчиваются рано или поздно желанным примирением. Но бывают и такие прения, которые ровно ни к чему не ведут и не только не содействуют уяснению вопроса, а, напротив, запутывают его и затемняют еще более. К последней категории должно причислить и те жалкие прения, которые волновали и волнуют до сих пор школу Адама Смита. История экономической полемики подтверждает справедливость наших слов о преобладании чисто метафизического направления в трудах этой школы. Порядок усовершенствования наук, называемых теперь положительными, в отличие от общественных, как неположительных, доказывает ясно, что плодотворность, непрерывность существования и сохранение связи со всем предшествующим и последующим развитием науки составляют отличительный характер всех концепций истинно научных и положительных.

Поэтому, если в какой-либо науке открытия позднейшие, вместо того, чтоб представлять собою естественное последствие и дальнейшее усовершенствование прежних открытий, принимают в руках каждого отдельного писателя характер убеждений совершенно личных, если, с другой стороны, основные понятия науки, вместо того, чтоб развиваться постоянно, не изменяясь однако в своем существе, беспрестанно подвергаются сомнениям и спорам и порождают бесплодные и бесконечные прения, насколько не подвигающие вопроса, то можно сказать с уверенностью, что в этих случаях, мы имеем перед собою не положительное учение, а теорию чисто метафизическую. Но спрашивается: разве не находим мы всех этих признаков метафизического направления в тех ученых спорах, которыми жила политическая экономия в течение последних пятидесяти лет? Экономисты нашего времени называют себя обыкновенно последователями Адама Смита; но стоит только сравнить внимательнее труды самого учителя с трудами его учеников, чтоб убедиться в несправедливости такого притязания. Адам Смит, собственно говоря, вовсе не имел в виду создать особую науку народного богатства: вся цель его, цель, которую он блистательно выполнил в своем превосходном сочинении, состояла только в том, чтоб разъяснить некоторые нетронутые до него вопросы общественной науки и преимущественно те вопросы, которые относятся к промышленному развитию народов. Для достижения этой цели он анализировал подробно и точно последствия разделения труда, значение монеты в обществе, образ действия кредитных учреждений и некоторые другие экономические явления, свойственные нашей эпохе и нашему быту. Но открытиям своим Смит никогда не думал придавать значение общих, необходимых законов: он видел в них только материалы для науки, а не самую науку, которая в его глазах, точно так же, как и в глазах всякого, знающего человека, не могла ограничиваться одним описанием случайных и временных явлений, составляющих притом не более, как одну только отрасль явлений общественных. Но последователи Смита не поняли намерений и мысли своего учителя. Они поспешили обобщить открытые им факты, придали им значение законов и притом законов неизменных, вечных и составили из них предмет особой, самостоятельной науки, которая превратилась в их руках в метафизику богатства, в отвлеченную теорию ценностей и обменов. Оставив без внимания все практические, реальные вопросы и обратив свою деятельность на предметы совершенно абстрактные, на диалектические утонченности, чуждые всякого положительного смысла, они изуродовали и исказили теории

своего учителя, вместо того, *чтоб* дополнить их и усовершенствовать. Бесплодные споры их о значении самых основных терминов науки: полезности, ценности, производства и т. д., можно сравнить, без всякого преувеличения, с эксцентрическими прениями средневековых схоластиков о свойствах и атрибутах вымышленных метафизических существ. Пример средних веков ясно доказал, что все эти бесконечные и нелепые споры о сущности абстрактных понятий, не имеющих действительного бытия, остаются всегда бесплодными и не приносят Никакой пользы науке. Конечный результат их даже положительно вреден, потому что такие диспуты в большей части случаев глубоко искажают инстинктивно верные внушения простого здравого смысла и превращают их в неясные, запутанные представления, которые не могут уже прилагаться к действительности и порождают только пустую и смешную игру слов. В политической экономии подобные споры не прекращались в течение целых пятидесяти лет; самые знаменитые экономисты принимали в них деятельное участие, целые фолианты написаны были для установления точного смысла научных терминов; а между тем, в настоящую минуту, ни один из этих терминов не имеет твердого, общепризнанного значения; запутанность идей и неопределенность слов достигли до такой крайности, до какой они никогда не достигали в других науках; даже то, что прежде было ясно и понятно, сделалось теперь в высшей степени темным и загадочным. Прежде, например, всякий человек, одаренный здравым смыслом, понимал ясно точное значение слов: *производство* и *производитель*; с тех пор, как экономическая метафизика взялась за их научное определение, их значение, по милости совершенно ненужных в этом деле утонченностей и абстракций, сделалось так темно и неопределенно, что люди совестливые, желающие выражаться ясным и точным образом, принуждены теперь прибегать к длинным и затруднительным перифразам для того, чтоб избежать употребления терминов, в высшей степени непонятных и двусмысленных. Точно такими же горестными последствиями сопровождалось, как известно, и схоластические диспуты средних веков о метафизическом значении слов: анализ и синтез, тело и душа, идея и факт и т. д.

Указав на внешние признаки метафизического направления политической экономии, мы бы должны были исчислить вместе с тем и те внутренние, существенные условия положительности, которых, по нашему мнению, недостает экономистам. Но выполнить эту обязанность будет гораздо легче и удобнее тогда, когда мы раскроем основные принадлежности истинно научных теорий и отличительные свойства положительной методы в ее

приложении к наукам общественным. В настоящую же минуту, для предупреждения ложного толкования наших слов, считаем нужным сделать только два предварительные замечания. Во-первых, не можем не заметить, что, признавая несправедливость мнения экономистов о положительном характере созданной ими теории, мы вовсе не думаем безусловно отрицать заслуги смитовой школы. Безуспешность стремления ее к положительному изучению экономических фактов мы готовы приписать скорее преждевременности самой попытки, чем неспособности или бездарности ее представителей. С другой стороны, нет никакого сомнения, что политическая экономия, если рассматривать ее с исторической точки зрения и в видах более практических, чем теоретических, была явлением в свое время необходимым, даже полезным и благотворительным. Хотя теперь исключительные принципы неограниченной свободы промыслов, проповедуемые экономистами, сопровождаются в приложении их к действительности весьма вредными результатами, однако, в момент своего происхождения, они имели бесспорно весьма важное и полезное влияние на преобразование экономических отношений. Каковы бы ни были современные заблуждения экономистов, справедливость требует признать, что в прежнее время они оказали человечеству действительную услугу, раскрыв всю нерациональность устарелых экономических форм, и вместе одно из самых сильных препятствий деятельному развитию промышленных сил. Мы нарочно выставяем на вид эту заслугу экономистов, для того, чтоб не подвергнуться со стороны людей, незнающих середины между безусловным одобрением и безусловным порицанием, несправедливому упреку в пристрастной и односторонней оценке трудов этой школы.

Есть и другое замечание, которое считаем нужным сделать теперь же, для предотвращения всяких недоразумений относительно нашего образа мыслей. В нынешнем состоянии политической экономии самое важное и многозначительное явление состоит, как известно, в борьбе двух главных школ: *старой*, состоящей из последователей Адама Смита, и *новой*, образовавшейся только в последнее время под влиянием критического анализа экономических теорий, сделанного Сисмонди и его учениками. Мы высказали откровенно своё мнение о методе и началах писателей первой школы. Из того, что мы считаем эту методику ложною и начала, ею раскрытые, неосновательными, некоторые из читателей выведут, может быть, заключение, что мы признаем справедливость методы и начал, усвоенных представителями новейшего направления политической экономии. Такое заключение будет совершенно несогласно с настоящим

существом нашего взгляда на науку. Отдавая полную справедливость благородству и возвышенности побуждений, руководящих деятельностью новой школы и сочувствуя вполне ее цели, стремлениям и надеждам, мы полагаем, однакож, что в истории науки она имеет, как и школа экономистов, одно переходное, чисто отрицательное значение. Назначение так называемых социальных школ, точно так же, как и назначение предшествовавших им школ экономических, состояло только в раскрытии несостоятельности существовавших в момент их появления начал и в содействии всеобщему признанию необходимости перестроить общественные науки путем новой, положительной методы. Экономисты выполнили свое призвание, когда доказали вредные последствия искусственного поощрения промышленности и убедили отказаться от этой ложной и неудачной системы, замедлявшей естественное развитие и успехи производительности. Социалисты точно так же исполнили свою задачу, когда подвергли критическому анализу теорию абсолютного невмешательства и бездействия правительств и доказав все ее ученое и практическое ничтожество, воззвали к жизни целый ряд новых, нетронутых экономистами вопросов. Но ни те, ни другие не сумели возвыситься от деятельности разрушительной к деятельности творческой и доказали ясно самую безуспешность своих попыток окончательно решить общественные вопросы, всю несостоятельность метафизической «методы для достижения» этой цели. Теории новейших деятелей политической экономии отличаются тем же отсутствием положительности, тем же преобладанием метафизического характера, которым отличаются, как мы уже видели, и теории их предшественников. В доказательство стоит только сослаться на бесчисленное множество социальных сект, на резкое разногласие их друг с другом, на совершенную противоположность в решении самых существенных вопросов. В этом отношении прежние экономисты имеют даже некоторое преимущество над своими современными противниками; обрабатывая свою науку чисто метафизическим образом, они никогда не сознаются в этом, и хотя не понимают истинных свойств положительной методы, однако признают открыто необходимость ее употребления для надлежащего решения экономических вопросов. Новейшие же писатели социального» направления, кроме весьма немногих исключений, даже не скрывают своего презрения к опытной, эмпирической методу, на которую смотрят они, обыкновенно, как на главный источник всех ошибок и промахов экономистов. Школа Смита старается скрывать свое метафизическое направление; школа социальная, совершенно напротив, выставляет его на показ и гордится им.

Некоторые из ее последователей вдаются даже в решительный мистицизм и, восставая с энергиею против всего, что носит на себе следы положительного изучения фактов, стараются дойти до открытия разумных оснований не путем наблюдения и рассудка, но путем какого-то таинственного вдохновения.

Таким образом, хотя обе экономические школы, собственно экономическая и социальная, обрабатывают науку в духе метафизического направления, однако, между ними есть та существенная разница, что новая школа вовсе не признает необходимости положительного перестроения общественной науки, между тем, как старая, признавая эту необходимость, имеет совершенно превратное понятие о своих заслугах в этом отношении. Что касается до нас, то мы осуждаем одинаково образ мыслей как той, так и другой школы. Впрочем, наш отзыв тогда только получит свое полное оправдание, когда мы раскроем во всей подробности истинный характер положительной теории и существо тех средств, которые могут действительно извлечь общественную науку из ее теперешнего, метафизического состояния. Доказав существование таких средств и объяснив, в чем именно они состоят, мы этим самым оправдаем вполне наши слова о совершенной несостоятельности всех экономических школ, существующих в настоящее время. Мы покажем экономистам, что господствующее в их трудах направление не имеет ничего общего с настоящим положительным направлением, и в то же время опровергнем мнение социалистов, отрицающих пользу положительной методы и докажем им, что приложение этой методы к общественным наукам не только необходимо, но и совершенно возможно.

Первое, важнейшее условие для возможности положительного образования науки заключается, без сомнения, в точном и ясном сознании предмета, цели и объема последней. Этого сознания в отношении к политической экономии не существует в настоящее время. Экономисты и социалисты до сих пор еще не согласились друг с другом относительно того, в чем заключается предмет, которым должна заниматься политическая экономия, как должна она им заниматься, и какое отношение должно существовать между нею и другими, смежными с нею науками. Что касается до первого вопроса, то, отстраняя все второстепенные, побочные разногласия в способе определения политической экономии, заметим, что даже самые противоположные мнения на этот счет сходятся между собою в одном пункте—в том, что признают все одинаково иногда прямо, а иногда и косвенно, материальную сторону общественной жизни главным предметом экономической науки. Действительно, поли-

тическая экономия, как указывает самое ее название, не может быть ничем иным, как наукою, объясняющею материальные интересы обществ, или, что одно и то же, явления экономической сферы. С этим определением, по причине его общности, согласятся наверное все читатели, каков бы ни был их образ мыслей, признают ли они предметом политической экономии богатство, как Сэ, или материальное благосостояние, как Сисмонди. Но теперь рождается новый вопрос, более затруднительный: как должна изучать наука свой настоящий предмет—экономические явления, и что именно должна она иметь в виду при этом изучении? Тут уже мы находим радикальную, непримиримую противоположность между мнениями старой и новой школы и объявляем наперед, что не можем согласиться ни с теми, ни с другими. Экономисты считают обыкновенно простое описание экономических фактов нашего времени единственным назначением науки. Правда, некоторые из них, в предисловиях к своим книгам, метят гораздо выше и обещают читателям раскрыть перед ними существо тех общих и необходимых законов, по которым совершается материальное развитие обществ; но эти обещания остаются всегда только обещаниями и никогда не приводятся в действительное исполнение. Вся деятельность экономистов ограничивается обыкновенно описанием и объяснением существующего порядка вещей: они собирают отовсюду и разлагают на составные части современные явления экономического мира, выводят из этого анализа познание экономических законов, действующих в настоящее время и при нынешних условиях общественной жизни, и потом, не делая никакого различия между прошедшим, настоящим и будущим, выдают все открытые ими правила, по большей части временные и случайные, за законы общие, постоянные, одинаково действующие во все времена и на всех ступенях общественного развития. Некоторые даже не употребляют и этой уловки, а объявляют прямо, что политическая экономия должна быть наукою чисто описательною, показывающею порядок производства, распределения и потребления богатств в современных обществах. Отказываясь, таким образом, от обязанности восходить от наблюдения над фактами к сознанию их законов, или употребляя для исполнения этой обязанности совершенно ложную методику, состоящую в произвольном смещении частных и временных законов с законами общими и необходимыми, экономисты искажают, кроме того, понятие о своей науке и другим образом, исключая из ее сферы все практические вопросы и не обращая никакого внимания на приложения ее истин к усовершенствованию экономического быта. Социалисты, с своей стороны, вдаются в

противоположную крайность и, пренебрегая изучением действительного, существующего, занимаются единственно исследованиями о будущем и возможном. Политическая экономия, в их глазах, есть наука чисто юридическая, определяющая взаимные права и обязанности общества и его членов в отношении к их материальным интересам. Основная идея ее—идея права, из которой должны быть выведены, по их мнению, решения всех общественных и экономических вопросов. Одним словом, политическая экономия, как понимают ее социалисты, принимающие в этом случае определение физиократов, есть не более, как искусство делать людей богатыми и счастливыми; ее призвание будет достигнуто, если она придумает такой способ устройства общественных отношений, который обеспечит каждому, пользование всеми возможными благами и который будет вполне сообразен с требованиями разума и справедливости. Возможно ли такое идеальное устройство? Может ли оно быть согласовано с существованием тех неизменных законов, которым безусловно подчиняется деятельность отдельных людей и целых обществ?—об этом социалисты заботятся весьма мало, потому что, наперекор экономистам, признающим все существующее разумным, принимают обыкновенно справедливое за единственный критерий возможного.

Не тратя понапрасну много времени и слов на опровержение ложных взглядов той и другой школы, скажем прямо, в чем заключается настоящее назначение политической экономии. Всякая положительная наука имеет целью раскрыть те общие законы, которым подчиняется известная сфера явлений. Она, правда, собирает и самые явления, анализирует их и описывает, но делает это обыкновенно не столько для познания самих фактов, сколько для познания тех законов, которыми определяется их взаимное соотношение. С другой стороны, практические приложения науки также не составляют еще всей науки, относительно которой описание фактов есть не более, как средство, а приложение открытых истин к действительной жизни не более, как внешняя цель. На этом основании и политическая экономия не может ни в каком случае ограничиваться ни одним описанием экономических явлений, ни одним исследованием практических вопросов, ни, наконец, эклектическим соединением того и другого. Настоящее, непосредственное назначение политической экономии заключается в раскрытии *экономических законов*. Указывая общий порядок материального развития обществ и необходимые для каждой эпохи условия экономического устройства, политическая экономия принимает, между прочим, в основу своих выводов непосредственное наблюдение над

экономическими фактами современной эпохи. Но подробное описание этих фактов составляет в руках экономиста не более, как один из необходимых материалов науки, которая, по своему свойству, не может ни остановиться на одном знании отдельных фактов без знания их взаимных отношений, ни смешать (как это сделали экономисты) частные и временные законы с законами общими и необходимыми. С другой стороны, нет никакого сомнения, что, изучив в подробности действительные явления экономической жизни и достигнув этим путем до сознания тех законов, изменение которых не зависит от воли человека, экономист не только может, но и обязан позаботиться о приложении своих теоретических познаний к практической жизни. Но понятно опять, что приложением научных истин к решению практических вопросов не может заниматься исключительно политическая экономия, во-первых, потому что при таком способе ее обработывания, она должна получить характер *искусства*, а не *науки*, а во-вторых и потому, что успешность практических приложений зависит всегда от разумности их теоретических оснований, т. е. от сознания того, в какой мере содействуют или препятствуют осуществлению надежд человека внешние, независящие от его воли обстоятельства. Что ж касается до мнения о возможности обосновать экономическую науку на одних началах юридических, то это мнение, по своей очевидной односторонности, не заслуживает даже и опровержения. Идея права—идея совершенно отвлеченная, из которой невозможно вывести решений для экономических вопросов как потому, что она понимается в разные времена и разными людьми различно, так и потому, что она может только навести на сознание идеала общественной организации, но не может ни в каком случае ни указать средства для осуществления этого идеала, ни доставить точное познание действительных законов экономического мира.

Итак, повторяем еще раз, прямая, главная обязанность политической экономии заключается в открытии тех общих, постоянных *законов*, по которым совершается материальное развитие обществ. Политическая экономия, при таком значении, не имеет ничего общего ни с описательною наукою экономистов, ни с юридическою наукою социалистов. Впрочем, как экономические, так и социальные взгляды не уничтожаются этим определением, а только теряют то, что в них есть исключительного, следовательно, ложного, и достигают синтетического единства в третьем, связующем их, но тем не менее самостоятельном, понятии. Политическая экономия изучает экономические законы; но *средство* для этого изучения заключается в описании

современных фактов, а *внешняя цель* его в приложении открытых истин к жизни и в преобразовании экономического устройства сообразно с требованиями разума и общей пользы.

Остается решить второй основной вопрос: какое отношение должно существовать между политической экономией и другими частями общественной науки? Тут мы встречаем опять два различные мнения. В XVIII столетии Кене и все его последователи—физиократы—смотрели на общественные науки, как на одно нераздельное целое и видели в политической экономии только одну из частей этого целого. Такого же взгляда придерживаются в настоящее время и школы социальные. Последователи Смита, напротив, требуют, чтоб политическая экономия оставалась наукою самостоятельной, *sui generis*¹, и отделялась самыми резкими границами от всех других наук, с нею соприкосновенных. Это требование всего яснее показывает, что экономисты, так много толкующие о необходимости ввести положительную методу в науки общественные, нисколько не понимают характера этой методы и условий ее успешного приложения. Между различными сторонами общественного организма, существует, по самому свойству последнего, такая солидарность, что ни одна из этих сторон не может быть изучаема отдельно от других. Все общественные явления тесно связаны друг с другом, и нет никакой возможности объяснить одно из них, не принимая в соображение всех остальных. Экономисты доказали сами примером своей неудачной попытки, что политическая экономия не может быть никогда наукою совершенно самобытною и отрешенною от других однородных с нею по предмету и по методу. Стоит только вспомнить о ложных и односторонних началах, усвоенных экономистами вследствие такого изолирования политической экономии, чтоб убедиться в совершенной невозможности анализировать с успехом материальную или промышленную жизнь общества, не прибегая в то же время к анализу умственной, нравственной и политической его жизни. Само собою разумеется, что в умственной сфере, точно так же, как и в промышленной, разделение труда составляет одно из важнейших условий успеха, и, следовательно, весьма возможно и даже необходимо обращать изучение экономических законов в предмет особой, специальной деятельности людей, преимущественно к тому способных или склонных. Но при этом никогда не должно забывать, что экономические законы не иначе могут быть поняты, как в связи с другими законами общественной жизни, и что, упуская из вида эту

¹ своего рода. — *Ред.*

связь, мы осуждаем сами себя на односторонность и неполноту выводов. Из этого необходимо следует, что отдельное изучение экономических фактов только в том случае и может быть допущено, когда можно обеспечить надлежащим образом безусловную зависимость политической экономии от прочих частей науки общественной, науки, в существе своем единой и нераздельной.

Мы видели, что настоящее назначение политической экономии состоит в раскрытии общих экономических законов из наблюдений над частными фактами. Мы также видели, что этой цели не иначе можно достигнуть, как посредством органического слияния всех частей общественной науки в одно целое. Теперь, для полного уяснения и оправдания нашей мысли, остается объяснить возможность *положительного* изучения общественных наук. Для этого мы должны показать, во-первых, важнейшие условия для успешности такого изучения и, во-вторых, средства для применения положительной методы к анализу экономических и социальных явлений.

Что касается до тех условий, от которых зависит возможность положительного перестроения общественных наук, то самое существенное из них состоит в противодействии метафизическому направлению, господствующему до сих пор еще в этой отрасли познаний. Отличительный характер этого направления относительно методы заключается в преобладании воображения над наблюдательностью, а относительно самой доктрины—в исключительном стремлении к раскрытию абсолютных истин; практическое последствие того и другого состоит обыкновенно в том, что наука теряет из виду существование естественных и необходимых законов, которым подчиняются все явления, и содействует таким образом распространению мысли о возможности произвольного, неограниченного изменения этих явлений влиянием и деятельностью человека. Понятно, что во всех этих трех отношениях—в отношении к методу, доктрине и практическим приложениям, общественная наука, при положительном ее изучении, должна получить характер совершенно противоположный метафизическому. Во-первых, относительно способа изысканий, необходимое условие для положительности общественных наук состоит в отстранении идеализма, как главного источника современной неустроенности и запутанности наших понятий. Отличительный характер истинно научных исследований заключается всегда, в противоположность метафизическим приемам, в полном, постоянном подчинении воображения господству методы наблюдательной и опытной, хотя, впрочем, и в положительных науках, права воображения не отрицаются безусловно, а только ограничиваются и стесняются. В науках естественных,

например, всякая ученая теория основывается всегда на фактах и состоит от них в совершенной зависимости; самое назначение таких теорий заключается единственно в том, чтоб объяснить действительные явления, т. е. обнаружить их настоящую связь и взаимные соотношения. Но само собой разумеется, что тех же самых правил мы должны придерживаться и при решении экономических вопросов, если только хотим действительно возвести общественные науки на степень наук положительных.

В отношении к самой доктрине, отличительный характер положительного направления, в противоположность метафизическому, состоит в постоянном стремлении к превращению всех понятий абсолютных в относительные. Понятно, что в такой науке, которая старается объяснить внутреннее существо вещей, начальные и конечные причины их бытия, все начала должны быть по необходимости абсолютны, между тем, как, напротив, в науке, изучающей только одни законы, которым подчиняются явления, все истины должны быть по необходимости относительны, так как в последнем случае ученые понятия постоянно совершенствуются вместе с постоянным усовершенствованием наблюдений, что уничтожает всякую возможность полного и окончательного раскрытия действительности в сознании. Нет никакой нужды доказывать, что это стремление к безусловности идей—самый верный признак отсутствия положительности, преобладает до сих пор во всех писателях, трудящихся над обработыванием наук общественных. Всякому, кто знаком с состоянием современной литературы, хорошо известно, что все школы, политические и экономические поддерживают, каждая с своей стороны, какой-нибудь безусловный, неподвижный тип общественной организации и отвергают тем всякую возможность изменения и развития общественных идей по мере изменения и развития самой цивилизации. Очевидно, что одно из важнейших условий для достижения положительности в общественной науке состоит в полном отречении ума от этих притязаний на безусловность своих понятий. По крайней мере, история прочих положительных наук доказывает, что положительного состояния своего они достигли не иначе, как путем постепенного перехода от понятий абсолютных к понятиям относительным.

Наконец, в-третьих, для возможности положительного изучения общественных фактов, необходимо отказаться навсегда от господствующего нынче стремления к безграничному и произвольному на них влиянию. То же самое стремление руководило прежде и всеми другими науками в их практических приложениях. Но относительно явлений астрономических, физиче-

ских, химических, даже физиологических, это самооболение человека, естественное в первое время, мало-помалу исчезло вследствие успехов положительной методы, раскрывшей существование естественных и необходимых законов, которым подчиняются все явления и которые не могут быть отменены нашим произволом. Но, в сфере общественной, эти несбыточные надежды, к сожалению, сохраняются до сих пор во всей своей силе. Все политические и социальные школы постоянно приписывают человеку власть изменять по произволу устройство общественных отношений и навязывать свои личные стремления целым народам или даже целому роду человеческому. Они всегда позабывают, что в этой сфере, точно так же, как и во всех других, существует известный порядок вещей, неизменный и необходимый, который ограничивает деятельность человека точными, постоянными пределами. Одна из главных целей приложения положительной методы к общественным наукам состоит именно в том, чтоб доказать существование этих независимых от воли человека законов и уничтожить таким образом заблуждение относительно неограниченной власти людей над миром общественных явлений. Впрочем, положительная философия, доказав в этом отношении несбыточность самолюбивых притязаний человека, должна доставить ему взамен утрачиваемых им иллюзий, недоступную для него в настоящее время возможность рационального предвидения предстоящих видоизменений. Такое предвидение, ограниченное, разумеется, известными пределами, доступно для человека в отношении к явлениям астрономическим, физическим, химическим и т. д.; нет никакого сомнения, что оно будет возможно и в отношении к явлениям общественным, как скоро наука положительная раскроет действительное соотношение этих явлений и тот необходимый, постоянный порядок, которому подчиняется общественная жизнь в своем постепенном развитии.

Таковы важнейшие результаты, к которым должно привести положительное изучение наук общественных. Но мы уже видели, что в наше время существует много людей, вовсе недопускающих возможности такого изучения. «Метода наук положительных», говорят они обыкновенно: «не может быть никогда применена к наукам общественным, по самому свойству последних». Несправедливость такого мнения откроется сама собою, когда мы докажем, что средства для подобного применения существуют, и объясним при этом, в чем именно они состоят. Сделать это весьма нетрудно: стоит только принять в основание способ обрабатывания наук, достигших уже положительного состояния, и применить его к наукам общественным, сделав в

нем лишь те необходимые изменения, которые обуславливаются самим существом и назначением последних.

В большей части наук положительных, самое первое и необходимое средство для успешного анализа явлений состоит в установлении, при их описании и изучении, двух различных, хотя и тесно связанных между собою точек зрения: *статической* и *динамической*. В физиологии, например, существуют два способа изучения человеческой природы—анатомический, состоящий в исследовании законов организации человека, и собственно физиологический, состоящий в объяснении самого процесса жизни. То же самое должно необходимо существовать и в науках общественных, которые должны объяснить, во-первых, естественные условия для существования каждого общества и, во-вторых, естественные законы движения и развития общественной жизни. В частности, если приложить эти начала к сфере материальных интересов, очевидно, что и политическая экономия, как одна из частей науки общественной, должна раскрыть, во-первых, общие условия всякой экономической организации и, во-вторых, общие законы материального развития общества. Впрочем, повторяем опять, между тем и другим взглядом существует самая тесная связь, так что каждый из них служит дополнением другому; и в свою очередь не имеет без него никакого значения. Заметим также, для большего уяснения этой мысли, что различие между статической и динамической точкой зрения в науке совершенно соответствует различию между идеею порядка и идеею прогресса в действительной жизни. Само собою разумеется, что статическое изучение общественного организма должно привести к построению положительной теории *порядка*, который, по своему существу, означает не более, не менее, как постоянную гармонию между различными условиями существования человеческих обществ. С другой стороны, очевидно также, что динамический взгляд на жизнь и судьбу человечества должен необходимо привести к образованию положительной теории *прогресса*, состоящего в постепенном развитии общественной жизни. Но как в действительности между идеями порядка и прогресса существует тесная солидарность, так и в науке между статическим и динамическим взглядом существует постоянное, неразрывное единство. Такая же солидарность, такое же единство существуют и между различными отраслями общественных явлений, с какой бы стороны мы на них ни смотрели, со стороны ли непрерывных условий их организации, или со стороны постоянных законов их развития и движения. Так как существование этой солидарности между различными отправлениями общественного организма никем не

оспоривается в настоящее время, то мы имеем полное права признать одним из самых необходимых условий положительного изучения общественной науки—постоянное сохранение самой тесной связи между всеми ее частями. Все экономические вопросы находятся друг от друга в такой зависимости, что ни один из них не может быть решен отдельно, независимо от решения других. На этом основании, самобытное существование политической экономии, о котором так хлопочут экономисты, не может быть допущено, как вредное для науки и несообразное с ее характером. Поэтому, говоря о политической экономии, мы; разумеет под нею не отдельную науку, не теорию *suū generis*¹, но одну из частей науки общественной, неразрывно связанную со всеми другими ее частями. Впрочем, как замечено выше, мы нисколько не отвергаем возможности и даже необходимости разделения занятий в науке. Мы полагаем только, что если можно признать пользу специального наблюдения над экономическими фактами, то никак нельзя надеяться на возможность полного уразумения этих фактов без постоянного присоединения к их анализу анализа других сторон общественной жизни, т. е. умственной, нравственной и политической.

Для положительного изучения фактов общественной жизни, как с статической, так и с динамической точки зрения, есть средства двоякого рода: прямые и косвенные. Первые состоят в различных способах изыскания, свойственных общественным наукам; вторые вытекают из необходимых отношений этих наук с другими науками положительными, так как изучение последних не может не иметь полезного влияния на развитие первых. Исчисление тех и других средств или пособий для обрабатывания науки познакомит нас всего ближе с истинным существом и характером положительной методы в применении ее к познанию общественных законов.

В науках общественных, точно так же, как и во всех науках положительных, важнейшие средства для открытия истины заключаются в употреблении метод наблюдательной, опытной и сравнительной. Относительно общественных фактов, значение и отличительные свойства каждой из этих трех метод состоят в следующем:

Во-первых, что касается до простого наблюдения, то надо заметить, что роль его в общественных науках до сих пор еще не оценена надлежащим образом. В этом отношении, наделал много зла исторический пирронизм прошлого столетия, сохранивший до настоящей минуты значительное влияние на напра-

¹ своего рода. — *Ред.*

вление умов. И теперь еще есть много таких людей, которые преувеличивают сверх меры, относительно общественных явлений, общие затруднения, свойственные всем видам наблюдения. Совершенно упуская из вида существование различных предосторожностей, предохраняющих наблюдателей от ошибок, они отвергают самым решительным образом достоверность всех наблюдений над общественными фактами. Современные приверженцы такого скептицизма не показывают, Впрочем, этой недоверчивости к наблюдениям прямым и непосредственным и ограничиваются в большей части случаев отрицанием достоинства наблюдений косвенных и посредственных, преимущественно же свидетельств исторических. Неосновательность этого скептического воззрения всего яснее видна из того, что оно в существе дела распространяется одинаково на все виды наблюдения и уничтожает, следовательно, доверенность не одних общественных, но и всех положительных наук. В самом деле, всякая наука, каков бы ни был ее предмет, не может ни в каком случае обойтись без так называемых исторических свидетельств: самые положительные и очевидные теории опираются всегда на таких наблюдениях, которые не были сделаны самим исследователем и были приняты им по утверждению и свидетельству первоначальных наблюдателей. Иначе и быть не может, потому что такой порядок вещей основан на законе разделения занятий, необходимом в каждой науке. Понятно, что наука развивалась бы весьма медленно и даже вовсе не могла бы делать успехов, если бы каждый ученый обязан был руководствоваться своими личными наблюдениями. С другой стороны, несправедливость этой недоверчивости видна также из того, что в этом случае скептические воззрения проистекают обыкновенно из источника совершенно ложного—из неправильного смешения двух различных понятий: понятия о *достоверности* наблюдений с одной стороны, понятия о *точности* (определительности) их с другой. Так как наши сведения о явлениях общественных, по причине особенной сложности последних, никогда не могут достигнуть большей точности и определительности, то предполагают обыкновенно, что эти сведения, по самому свойству их, не могут быть никогда совершенно достоверны. Но такое заключение несправедливо. Во всех положительных науках, истины, нами приобретаемые, имеют всегда одинаковую достоверность, хотя степень их точности и определительности может быть весьма различна. Причина та, что достоверность и определительность вовсе не одно и то же. Научное положение может быть в высшей степени нелепо и вместе с тем весьма точно, и, наоборот, оно может быть само по себе несомненно, а между

тем вовсе не имеет надлежащей определительности. Впрочем, это так очевидно, что не требует и доказательств.

Что касается до опытной методы, то она с первого взгляда кажется совершенно недоступною для наук общественных. Но если всмотреться внимательнее в существо последних, то легко убедиться, что в них может иметь место и опыт, если не прямой, то по крайней мере косвенный. Обыкновенно думают, что для производства опыта необходимо установить искусственно условия феномена. Но это обстоятельство не имеет в себе ничего существенного. Какой бы случай мы ни подвергали исследованию, искусственный или естественный, мы всегда будем иметь право сказать, что производим не наблюдения, а опыты, как скоро нормальное состояние рассматриваемого нами феномена подвергается каким-либо определенным изменениям. При этом, нам нет никакого дела до того, из какого источника вышли эти изменения; произведены ли они нами, или явились сами собою. В том и в другом случае мы извлекаем одинаковую пользу из наших опытов, потому что, изучая аномальное состояние феномена, разясняем себе условия его нормального состояния. Прямые, искусственно производимые опыты употребляются редко не в одних общественных, но и в физиологических науках, по причине необходимой сложности и взаимной солидарности физиологических явлений. В физиологии, этот недостаток заменяется возможностью производить косвенные опыты в так называемых патологических случаях, т. е. в случае болезни и расстройства человеческого организма. То же самое должно иметь место и в науках общественных. Тут этот патологический анализ состоит преимущественно в исследовании тех случаев, к сожалению, весьма частых, в которых основные законы, как общественной жизни, так и общественного развития, претерпевают различные изменения от влияния внешних и случайных причин. Нельзя не сознаться, *что этим* способом открытия истины пользовались до сих пор весьма мало в науках общественных, главным образом потому что сомневались в возможности раскрыть действительные законы общественного организма—научным анализом тех беспорядков и кризисов, которыми почти всегда сопровождается его развитие. Перевероты и кризисы, происходящие в обществе, говорят обыкновенно, не могут объяснить нам условий нормального его состояния, потому что во время таких кризисов приостанавливается или даже вовсе прекращается действие обычных законов общественной жизни. Такое мнение совершенно несправедливо, потому что в обществе точно так же, как и в отдельном человеке, болезненные кризисы не нарушают существенным образом, основ-

ных законов нормального организма, а только видоизменяют в различных степенях различные его проявления, причем даже существо этих проявлений и взаимные их отношения остаются всегда неприкосновенными. Но если, таким образом, коренные законы общества сохраняют всегда свою силу, даже в эпохи переворотов, то понятно, что наука имеет полную возможность делать логические посылки от анализа уклоняющихся от правила явлений к положительному объяснению нормального существования обществ.

Третий способ изысканий, свойственный наукам общественным и состоящий в употреблении сравнительной методы, заслуживает особенного внимания, потому что составляет самое верное орудие для объяснения феноменов сложных и в особенности для изучения свойства живых существ. В общественных науках, есть несколько различных способов употребления сравнительной методы. Первый из них, имеющий наименьшую важность, употребляется всего чаще в науках физиологических и вовсе не употребляется в общественных, несмотря на то, что и в последних он может принести значительную пользу. В физиологии, как известно, для объяснения организации человека прибегают весьма часто к сравнению ее с организацией других животных; но в общественных науках считают, неизвестно почему, унижительным и притом совершенно бесплодным всякое сравнение между обществами, которые образуются человеком, и теми обществами, которые образуются некоторыми из других животных. Несправедливость такого взгляда видна из того, что явления общественные суть не что иное, как естественное дополнение и последствие явлений индивидуальной жизни; если сравнение различных степеней животной иерархии содействует объяснению явлений второго рода, то оно должно также содействовать и объяснению явлений первого рода. Применение этой методы к наукам общественным только в том отношении недостаточно, что не может принести никакой пользы изучению общества в динамическом отношении, потому что общества, образуемые животными, не подлежат, подобно человеческим обществам, постоянному и постепенному развитию. Зато, в статическом отношении, употребление такой методы может доставить науке богатую жатву, и хотя до сих пор никто еще не пытался воспользоваться этим средством для раскрытия естественных законов общественной жизни, однако некоторые писатели прежнего времени, например, Фергюзон, понимали вполне возможность такой попытки и анализировали подробно те условия, от которых зависит успех ее.

Второй способ сравнения в науках общественных, имеющий

гораздо более важности и значения, состоит в рациональном сопоставлении различных, в одно и то же время существующих на земном шаре обществ. Этот способ сравнения особенно важен в том отношении, что им можно воспользоваться для того, чтоб характеризовать с точностью различные существенные фазы в постепенном развитии человечества. Известно, что, в отношении к этому развитию, одни народы отстали от других в более или менее значительной степени, так что в настоящую минуту, вследствие такого неравенства, мы находили у многих современных нам племен такое общественное состояние, которое прошло уже невосвратно для народов, достигших высшей степени цивилизации. Даже в одной и той же стране, в одном и том же городе можно иногда сравнивать разные фазы цивилизации посредством сравнительного изучения в особенности умственного быта разных классов общества. Дальнейшие выгоды этой методы заключаются в том, что, во-первых, она может приносить одинаковую пользу, как для статического, так и для динамического изучения общества и, во-вторых, может применяться с равным успехом ко всем возможным ступеням общественного развития. Между полуживотным состоянием эскимосов и образованностью европейских народов—бесчисленное множество посредствующих форм общественной жизни, которые каждым народом были пройдены в историческом развитии одна за другою, но которые в настоящее время существуют одновременно у разных племен на разных пунктах земного шара. Сверх того, в истории каждого образованного и развитого народа, встречается также много интересных для изучения, хотя и второстепенных по своей важности ступеней общественной жизни, о которых, по недостатку исторических свидетельств, мы можем составить надлежащее понятие не иначе, как посредством сравнительного изучения сосуществующих в один момент времени обществ. Наконец, надо заметить и то, что употребление такой методы в высшей степени рационально, потому что основывается на несомненном законе необходимого и постоянного тождества в порядке развития каждого общества, несмотря на влияние климата, племени и обстоятельств исторических—влияния, изменяющего не самые законы общественного развития, но только степень быстроты или медленности в постепенном переходе народа из одного состояния в другое.

Третий и самый важный способ сравнительного изучения общественных фактов известен под именем *методы исторической*. Метода эта состоит в сравнении разных ступеней общественной жизни, которые уже успело пройти человечество в

своем постепенном развитии. Нет никакой надобности настаивать на необходимости употребления этой методы, высокое значение которой никем теперь не оспаривается. В этом отношении, мы должны только заметить, что историческому анализу приписывают слишком ограниченное значение, когда видят в нем средство для раскрытия одних законов человеческого развития, т. е. для объяснения общественных фактов с одной только динамической точки зрения. Вследствие тесной солидарности, существующей между всеми частями общественной науки, историческая метода может содействовать также в значительной степени изучению общественного организма в статическом отношении, тем более, что законы бытия обнаруживаются всего очевиднее во время движения и развития. Особенная же важность исторической методы состоит в том, что рациональное ее употребление содействует научному предвидению настоящих изменений общественного устройства. Впрочем, во всех этих отношениях мы имеем в виду только то, чем *должна* быть историческая метода, а вовсе не *то*, что она *есть* в настоящую минуту. До сих пор, этим важным орудием для усовершенствования общественных наук пользовались весьма мало и, главное, весьма нерационально и неудачно. В пример можно привести экономистов школы Смита, которые беспрепятственно толковали о необходимости приложить положительную методику к изучению политической экономии, а между тем почти вовсе не употребляли или употребляли весьма односторонне важнейшее из орудий этой методы—исторический способ изысканий. Все наблюдения их ограничивались до сих пор самым тесным кругом—экономическими явлениями настоящего времени и эпох, непосредственно предшествующих нашему столетию. Весьма немногие из них восходили выше, и то более для археологических целей, нежели для объяснения общих экономических истин. Даже те, которые занимались специально историей политической экономии, никогда не сознавали ясно всей важности исторической методы и не умели понять, что их изыскания, если бы они, разумеется, совершались по определенному и рациональному плану, не только могли бы объяснить порядок материального развития обществ, но могли бы также раскрыть общие экономические законы,

Это беглое перечисление важнейших логических орудий, свойственных общественным наукам, доказывает, что мысль о возможности положительного изучения этих наук вовсе не утопия, что в средствах для такого изучения нет недостатка, и что мы одни виноваты, если не умеем или не хотим воспользоваться этими средствами. В прежние времена, употребление

метафизической методы в общественных науках было в известной степени извинительно, потому что тогда всякая попытка к положительному их перестроению была бы преждевременна и неудачна. Но теперь нет ничего такого, что могло бы воспрепятствовать успеху подобной попытки, тем более, что современная положительная наука, в лице одного из замечательнейших ее представителей, успела уже доказать совершенно научным образом и необходимость и возможность употребления положительной методы для изучения общественных фактов¹.

Впрочем, обзор одних прямых средств для открытия истины в общественных науках не может еще дать надлежащего понятия о характере и свойствах положительной методы. Кроме средств прямых, нами указанных, есть еще и средства косвенные, вытекающие из соотношений науки общественной с другими науками положительными. В настоящее время, по большей части или не знают этих соотношений, или пренебрегают ими: общественная наука изучается и обрабатывается обыкновенно, как наука отдельная, независимая, занимающая совершенно самостоятельное место в энциклопедии человеческих познаний. Это стремление к изолированию общественной науки чрезвычайно вредно, потому что выражает в себе отсутствие одного из важнейших условий положительности и доставляет самое значительное пособие господству метафизического направления. Постоянное подчинение философии общества прочим частям философии положительной, с одной стороны—по свойству взаимных отношений, существующих между этими частями, безусловно необходимо, а с другой—чрезвычайно полезно и важно, как потому, что каждая положительная наука может доставить много необходимых данных для решения общественных вопросов, так и потому, что изучение этих наук есть самое лучшее средство для приучения разума к приемам положительной методы. Мы слишком уклонились бы от настоящей цели нашей статьи, если бы вошли в подробное рассмотрение тех отношений, которые существуют между частями положительной философии и вместе той пользы, которую можем извлечь из этих отношений, если не станем пренебрегать ими и будем постоянно иметь их в виду. Не можем не заметить, однако, что необходимость обрабатывать общественную науку в связи со всеми другими отраслями наших познаний, осно-

¹ Мы говорим об Огюсте Конте (Comte), которому обязана своим происхождением так называемая «положительная философия». В трех последних томах своего курса Конт объяснил весьма подробно и удовлетворительно способ положительного обрабатывания общественных наук.

ывається на початку абсолютно раціональним і в вищій ступені очевидним. Поступенне розвиток суспільної життя представляє нам, як відомо, ряд таких явищ, які необхідно передбачають існування двох різних сил, учасників в їх утворенні: во-перших, людства, яке розвивається, і, во-других, тієї зовнішньої середовища, в якій починається це розвиток. Але після цього зрозуміло, що без точного пізнання властивостей і образу дії кожної з цих двох сил, неможливо вивчати позитивно співвідношення суспільних фактів. С однієї сторони, пряме участь людства в утворенні цих фактів обумовлює собою необхідність безпосереднього підпорядкування соціальної науки—наукам, що вивчають властивості органічних тіл і пояснюючим дійствительні закони людської природи. С другої сторони, вплив фізичного світу на розвиток суспільної життя зв'язує стільки ж тісно зв'язують властивості науки суспільні з тими науками, які досліджують властивості неорганічних тіл і відкривають таким чином характер зовнішніх умов, необхідних для існування і розвитку людства.

Сукупність як прямих, так і косвенних способів дослідження, властивих суспільним наукам, складає те, що ми називали до сих пор *позитивною методою*. Ця методика, при раціональній, правильній її використанні, може, без сумніву, замінити з успіхом нинішню метафізическу методику, неспроможність якої виявляється з кожним днем: більше і більше. Приклад астрономії, фізики, навіть фізіології доводить, що во всіх сферах пізнання, міфологічні віровчення і метафізическі відволеченості не доставляють належного задоволення потребностям людського розуму, і що тільки система таких відомостей, які отримані шляхом позитивних досліджень, заслуговує по праву названня теорії, *наука*. На цьому основанні полагам, що ніхто не обвинить в преувеличенні і песимизмі, якщо ми скажемо, що, по нашому мненню, в теперішній час не існує суспільної науки в точному, широкому значенні цього слова. Треба мати дуже вузьке і обмежене поняття про гідності і існування науки, щоб називати цим багатозначним іменем нестройну масу самих протилежних ідей і гіпотез, безладний хаос самих різноманітних толків і суджень. Те з наших читачів, які погодяться хоч на мить відірватися від поглядів, засвоєних ними а priori¹, і подивитися на предмет з точки зору, нами вказаної,

¹ наперед. — *Ред.*

сознаются, что только одна бедность языка может оправдать то смешение, которое мы делаем беспрестанно между двумя совершенно различными значениями одного и того же слова. Что касается до нас, то мы никак не можем принимать за одно: понятие о возможности науки и понятие о действительном ее существовании; если мы говорили о «науке общественной», как о чем-то действительно сущем, то потому только, что не хотели отступать от общепринятой терминологии и затемнять наш язык употреблением неологизмов. Но повторяем еще раз: мы не считаем себя в праве признавать следы научности и положительности в такой методе, которая не в состоянии доставить уму никаких прочных и верных результатов и которая, даже в тех редких случаях, когда наводят нас на сознание истинных начал, не умеет ничем подкрепить эти начала и доказать научным образом их справедливость.

После всего сказанного о существе и свойствах положительной методы, едва ли нужно доказывать, что эта метода оставалась всегда совершенно чуждою всем прежним и нынешним писателям, строившим экономические, политические и социальные теории. Впрочем, для того, чтоб убедиться в этом ближе, мы можем прибегнуть к самому легкому и верному средству—к сравнению современного состояния общественных теорий с современным состоянием наук положительных. Просим читателей припомнить то, сказанное нами выше о необходимых результатах положительного изучения каждой науки и посмотреть, в какой мере достигли этих результатов политическая экономия, юриспруденция, политика и все другие отрасли общественной науки; прекратилась ли в них неустроенность и запутанность идей, осуществилось ли необходимое подчинение фантазии наблюдениям и опыту, отказались ли современные философы от несбыточных надежд на доступность человеку абсолютных истин.. Мы уверены, что найдется много людей, которые никак не согласятся с нашим мнением о необходимости всех этих умственных перемен для прочности и *успехов* общественной науки; но уверены также, что ни один из людей, знакомых с современным состоянием ученой литературы, не решится утверждать серьезно, будто эти перемены (какова бы, впрочем, ни была их польза и необходимость) совершились уже на самом деле. Нам могут, конечно, сказать, что мы от общественных наук требуем слишком многого, что они, по самому свойству своему, никогда не могут достигнуть указанного нами состояния; но во всяком случае, даже самый отчаянный и недобросовестный оптимист не посмеет не сознаться, что при современном положении этих наук, ни одна

из них не удовлетворяет нашим требованиям и не может быть названа *положительною* в том смысле, в каком мы понимаем это слово.

Если теперь, вместо того, чтоб рассматривать общественную науку, как одно нераздельное целое, обратим внимание на одну из частей ее, политическую экономию, то убедимся опять, что теперь нет ни одной категории экономических фактов, которая была бы объяснена путем настоящей положительной методы. В первой рецензии нашей на книгу г. Бутовского, мы сказали, между прочим, что «для успехов политической экономии в настоящее время недостает только одного условия: *той истинно научной и верной методы*, которая одна может, положив конец и бредням отвлеченной метафизики и грубому обожанию фактов, доставить прочное и надежное средство для раскрытия истинных начал науки не из произвольных и мечтательных соображений, а из действительных и точных данных, собираемых наблюдением и объясняемых разумом». Эти слова, настоящий смысл которых, сколько нам кажется, должен быть теперь совершенно понятен читателям, возбудили крайнее негодование в неизвестном авторе «Ответа Отечественным Запискам», помещенного в «Северной Пчеле». Человек посторонний и мало знакомый с предметом спора может подумать при чтении этого «Ответа», что, причисляя отсутствие истинно научной методы к важнейшим причинам несовершенства экономических исследований, мы взвели на политическую экономию самое неосновательное, самое неудачное обвинение. А между тем, тот горестный факт, на который мы указывали в этой фразе, так очевиден и неоспорим, что даже сами экономисты нисколько не думают отвергать его справедливость. Один из них, Росси, в своем разборе экономических сочинений архиепископа Уатле, обвиняет, в самых резких выражениях, всех своих собратий в совершенном неведении правил истинной ученой методы. «В настоящую минуту» говорит он с горечью «нет никакой методы в науке экономической; а между тем, без методы не может существовать и наука» (Journal des Economistes, 1844, Janvier.)¹

Вовсе не разделяя мнений Росси относительно того, какая метода должна быть употребляема в политической экономии, мы, однако, вполне соглашаемся с его отзывом о несовершенствах способа изысканий, усвоенного нынче экономической наукою, и выписываем с удовольствием этот отзыв, доставляющий возможность подкрепить нашу мысль ссылкой на мнение одного из из-

¹ Журнал Экономистов. 1844, январь.—*Ред.*

вестнейших экономистов настоящего времени. Впрочем, доказывать подробно эту мысль, после того, что сказали мы о существовании положительной методы, считаем совершенно бесполезным. Экономисты сами красноречиво доказали свое неведение истинных свойств положительной науки, когда поставили *себе* в особенную заслугу так некстати сделанное ими отделение политической экономии от остальных частей общественной науки. Кроме Адама Смита, никогда непринимавшего, как заметили мы выше, собранных им материалов для науки за самую науку, все без исключения экономисты следовали обыкновенно, при образовании экономических теорий, одному из трех, одинаково ложных путей: или старались объяснить все факты в высшей степени произвольными и выведенными совершенно *a priori* гипотезами, или ограничивали круг своей деятельности одним описанием современных экономических явлений, или, наконец, держались той странной и антилогической методы, по которой все условное признается необходимым, все временное—вечным и все существующее—справедливым и разумным.

Согласятся или не согласятся читатели с нашим мнением о необходимости перехода общественных наук из метафизического периода в положительный, во всяком случае после всего нами сказанного, они поймут те причины, которые побудили нас признать современное положение политической экономии плачевным, а все экономические и социальные теории—односторонними и ложными. Ограничившись оправданием нашего первоначального отзыва о неудовлетворительном состоянии экономической науки, мы исполнили бы только половину нашей задачи и оставили бы нерешенным вопрос: следует ли признавать такое состояние нормальным и необходимым? На этом основании решились мы изложить здесь в кратком очерке свои мнения о необходимости радикальных перемен в направлении и способе обработки политической экономии. Сверх того, объяснив настоящие свойства положительной методы и показав, что она не имеет ничего общего с методою экономистов, мы этим самым доказали справедливость своих слов о невозможности признать удовлетворительным сочинение г. Бутковского, излагающего политическую экономию в том самом духе, в каком излагают ее все другие экономисты. Теперь нам остается доказать только, что, независимо от этого важнейшего недостатка, состоящего в исключительной приверженности к ложным принципам и ложной методе экономистов, «Опыт о Народном Богатстве» дает вообще весьма неверное понятие о современном состоянии политической экономии и может быть отнесен по справедливости, как сказали мы в

нашей первой рецензии, к числу компиляций весьма неудачных и плохо составленных.

Но, переходя, таким образом, от общих начал, высказанных нами для оправдания нашего взгляда на книгу г. Бутовского, к непосредственному разбору самой книги, считаем необходимым, прежде подробного анализа частных промахов и недостатков этого сочинения, сделать о нем предварительно одно *общее* замечание.

Известно, что при нынешнем состоянии политической экономии, в этой науке существуют две противоположные школы, подразделяющиеся на бесчисленное множество сект. Каждая из этих школ и сект полагает в основание науки какое-либо особое начало. Но само собою разумеется, что это разногласие относительно основных начал науки не могло не отразиться и в состоянии всех частных вопросов, входящих в состав ее. И действительно, в этом отношении, все экономические вопросы делятся сами собою на три категории, по степени единодушия или разногласия в способе их решения.

К первой категории должно отнести те вопросы, которые решаются совершенно одинаково писателями всех школ и направлений, как экономистами, так и социалистами. Таких единогласно признаваемых истин в политической экономии встречается весьма немного; тем не менее, нельзя отрицать их существования. Так же, как и все другие, еще неустановившиеся науки, политическая экономия, при всей своей неустроенности, может указать на небольшое число начал и фактов, совершенно ею доказанных, поставленных вне всякого спора и составляющих ее категорическое содержание. Сюда принадлежит особенно та часть этой науки, которая объясняет механизм производства и распределения богатств в современных обществах и описывает различные экономические феномены так, как они проявляются в наше время и при настоящем устройстве общественных отношений. Самые твердые и несомненные результаты, приобретенные политическою экономией, относятся к той *описательной* части, которая до сих пор обращала на себя преимущественно внимание всех экономистов, принадлежавших к школе Адама Смита.

К следующей за тем второй категории экономических вопросов необходимо причислить те из них, которые составляют настоящий предмет разногласий и спора между двумя главными школами, на существование которых указали мы выше. Вопросы этого рода по большей части решаются одинаково всеми экономистами старой школы; но их единогласные решения также единогласно отвергаются писателями новой школы,

которые в свою очередь стараются разрешить их по-своему. Таким образом, эти вопросы представляют в своей совокупности гипотетическое содержание политической экономии; в отношении к ним, до сих пор положительно дознано наукой, только одно, неудовлетворительность прежних решений и необходимость заменить их новыми. Но эти новые решения или еще не отысканы, или, если и отысканы, то не всеми признаны. Главная заслуга новой школы состоит именно в разрушении прежних учений, в раскрытии несправедливости тех начал, которые были положены в основание науки Смитом и его учениками. Что же касается до попыток этой школы к восстановлению разрушенного, к открытию других начал для замены прежних, то все эти попытки оставались до сих пор, более или менее безуспешными. Нельзя не сознаться, к сожалению, что в этот разряд нерешенных задач входит большая часть важнейших экономических вопросов и особенно все те, которые имеют практическое значение и относятся не к простому изучению настоящего порядка вещей, а к рациональной оценке *его* справедливости и к отысканию средств для его усовершенствования.

Наконец, особую, третью категорию экономических вопросов должны составить все те, в отношении которых существует разногласие даже между экономистами смитовой школы. Вопросы этого рода составляют самую неопределенную, самую запутанную часть политической экономии; каждый писатель решает их по-своему, и в отношении к ним нельзя найти двух экономистов, совершенно согласных друг с другом. Сюда принадлежат особенно, во-первых, общие вопросы о предмете, назначении и границах политической экономии; во-вторых, вся отвлеченная, метафизическая часть этой науки, занимающаяся определением отвлеченных понятий богатства, полезности, ценности и т. д., и наконец, в-третьих, даже некоторые пункты чисто описательной части, как, например, вопросы о народонаселении, о поземельной ренте, о невещественных промыслах и т. д.

Сочинение г. Бутовского, как видно из самого его заглавия, представляет полный курс политической экономии и обнимает все части этой науки. Хотя всего полнее изложена в нем описательная часть, однако и все другие экономические вопросы рассматриваются автором с большей или меньшей подробностью. Но само собой разумеется, что мнения и выводы г. Бутовского имеют неодинаковое достоинство, смотря по тому, к которой категории экономических вопросов они относятся. Отношение автора к каждой из этих категорий определяется,

естественно, его общим направлением, состоящим, как мы заметили прежде, в исключительной приверженности к тем началам, на которых основывается учение Ж.-Б. Сея и его современных последователей¹.

Во-первых, во всем, что относится к категорическому содержанию науки, к истинам доказанным и единогласно признанным всеми, г. Бутовский повторяет только то, что излагается одинаковым образом у всех других экономистов. Понятно, что в отношении к вопросам этого рода, мнения г. Бутовского не могут заключать в себе никакой несообразности, не могут подлежать ни малейшему спору. И действительно, в этом отношении, кроме некоторых частных промахов, «Опыт о Народном Богатстве» представляется вообще довольно удовлетворительным. Но эта удовлетворительность относится только к содержанию, а вовсе не к форме. Что г. Бутовский изложил безошибочно все общие места политической экономии, так превосходно изложенные в прежних сочинениях—в этом еще мы не видим большой заслуги: для этого стоило только взять в руководство любой курс политической экономии и пересказать своими словами его содержание. В этой категории экономических вопросов, самобытность и дарования писателя могли обнаружиться или в дополнение прежних открытий новыми наблюдениями и исследованиями, или в лучшем, совершеннейшем способе изложения открытых другими истин и начал. Ни того, ни другого не находим мы в книге г. Бутовского. Воспользовавшись трудами своих предшественников, он не прибавляет к ним ничего нового, ничего своего; во всей его книге нельзя найти ни одного оригинального замечания, ни одного мнения, которое бы не было заимствовано из сочинений прежних писателей. Впрочем, это отсутствие самобытности мы не ставим в вину г. Бутовскому: самобытность, как удел таланта,

¹ В «Ответе Отечественным Запискам», помещенном в 208 номере «Северной Пчелы», сказано было, что г. Бутовский несправедливо причислен нами к последователям Сея, мнения которого опровергаются русским экономистом во многих местах его «Опыта». На это мы заметим, что разногласие в некоторых частных пунктах науки не может быть принимаемо в соображение, когда дело идет об общем направлении писателя. В решении всех основных, существенных вопросов политической экономии г. Бутовский является верным последователем школы Ж.-Б. Сея. Он отступает от мнения этого писателя только в объяснении некоторых частных, второстепенных пунктов и отступает от них не потому, что *сам* открыл их неудовлетворительность, а потому, что эта неудовлетворительность указана в сочинениях позднейших последователей Сея, так что даже с этой стороны книга г. Бутовского не представляет никаких следов самобытной ученой деятельности.

не может быть равно всем доступна. Даже при недостатке этого условия, произведение нашего автора могло бы быть признано заслуживающим одобрения и признательности, если бы в нем чужие открытия и мнения изложены были ясно, просто и общепонятно. Сделать это было весьма нетрудно при том обилии образцов, которые представляет в этом отношении как прежняя, так и нынешняя экономическая литература. Но тут-то, к несчастью, и обнаруживается вся неудовлетворительность произведения г. Бутовского. В отношении к способу изложения, книга г. Бутовского ниже всякой критики; самые слабые руководства, не только иностранные, но и русские, имеют над ней несомненные преимущества. Мы уже указали на напыщенность ее слога и недостатки ее языка. Но этого мало. В отношении к форме, сочинение г. Бутовского отличается еще множественством других, более существенных недостатков, именно чрезмерною растянутостию, несоразмерностию частей, неисканным их расположением, отсутствием всякой внутренней системы, и, наконец, что всего важнее, крайней темнотою и неясностью выражения, и притом той темнотою, которая есть следствие не отвлеченности содержания, а просто плохого писателя. Эти именно недостатки (существование которых докажем мы ниже) и побудили нас назвать «Опыт о Народном Богатстве» плохой и неудачно составленною компиляцией, не имеющей никакого значения для людей, знающих политическую экономию, и совершенно бесполезной для тех, кто не знает этой науки и желает изучить ее основания. Последним мы посоветовали и посоветуем опять не прибегать к книге г. Бутовского, а обратиться лучше к изучению экономических начал в самом их источнике, то-есть, в сочинениях английских и французских экономистов, которых бы вовсе не мешало для этой цели перевести на русский язык.

Что касается до экономических вопросов, неправильно решенных прежними экономистами и составляющих слабую сторону их теорий, то понятно, что г. Бутовский, как верный последователь старой школы, как ученик Ж.-Б. Сея, решил их совершенно так же, как решали все его учителя. Нисколько не заботясь о современных требованиях науки, об открытиях, сделанных позднейшими писателями, автор «Опыта» выдает за несомненные, бесспорные истины самые ложные гипотезы и самые явные заблуждения своих предшественников. Он как будто и не подозревает, что в последнее время экономическая наука сделала огромный шаг вперед и путями строгого, критического анализа обнаружила недостатки прежней теории, отделив в ней произвольное от необходимого и ложное от истин-

ного. Все, о чем писал Сисмонди, о чем говорили так много и так энергически сначала критическая, а потом социальная школа, осталось, как надобно предполагать, вовсе неизвестным автору «Опыта», новейших сочинений о политической экономии. Мало того, что все спорные вопросы науки он разрешил в духе прежней школы и не привел никаких новых доказательств в подтверждение своих мнений, он не потрудился даже опровергнуть возражения, сделанные новыми школами, и защитить свои убеждения от их энергических нападков; об этих нападках он в большей части случаев даже вовсе и не упоминает, а если и упоминает, то не иначе, как изменяется самым неблагоприятным образом их значение и смысл. Отчего происходит это—мы не можем решить. Знаем только, что, читая его книгу, находим на каждой странице ясные следы крайней односторонности и устарелости взглядов.

Но всего яснее, всего резче обнаруживается совершенная неудовлетворительность сочинения г-на Бутовского в тех частях науки, которые составляют до сих пор предмет полемики между экономистами смитовой школы. При изложении этих частей, писателю, принадлежащему к этой школе, предстоит сделать одно из двух: или решить по-своему эти спорные вопросы, или, по крайней мере, не высказывая собственного мнения, изложить подробно все предположения экономистов, означив с ясностью как достоинства, так и недостатки каждого из них. Г. Бутовский не сделал ни того, ни другого. По большей части, он не высказывает сам никакого мнения, а между тем, неизвестно почему, считает бесполезным «вдаваться в полемику» и объяснять различные взгляды известнейших экономистов на тот или на другой сомнительный пункт науки. В таких случаях, он или беспрестанно противоречит сам себе, опровергая на одной странице то, что сказал на другой, и напрасно прибегая к эклектизму для примирения как своих, так и чужих антиномий, или, всего чаще, отделяется самым неумеренным употреблением риторики в напыщенных фразах, не имеющих никакого внутреннего значения и заменяет недостаток идей излишеством слов. В «Опыте о Народном Богатстве» есть несколько глав, которых решительно невозможно понять; читатель несведующий примет их, может быть, за глубокую, доступную только для немногих премудрость; но читатель опытный, знающий науку, поймет сейчас, в чем дело, и догадается, что в этом случае, в темноте формы выражается только совершенное отсутствие содержания. Читая эти главы, ясно видишь, что, насчет спорных вопросов науки, г. Бутовский решительно не имеет никакого определенного убеждения; по крайней мере, никак нельзя понять, в чем

состоит это убеждение и как смотрит автор на мнения других экономистов, с которыми из них соглашается, которые отвергает...

Все эти предварительные замечания служат к определению той методы, которой должно следовать при разборе книги г. Бутовского. Читатели поймут, что, для оправдания наших заключений, нет никакой нужды рассматривать по одиночке все без исключения выводы русского экономиста. По частям можно судить и о целом; способ решения важнейших вопросов может дать достаточное понятие и о способе решения остальных. Притом же, если б мы захотели разбирать всю книгу, главу за главой, страницу за страницей, то нам пришлось бы дать этому разбору слишком громадный, несоответствующий цели объем. На этом основании, мы решаемся, для подтверждения своих выводов, рассмотреть в следующей статье только самые важные из вопросов, решенных г. Бутовским в его книге.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Оканчивая первую статью о книге г. Бутовского, мы указали в немногих словах на важнейшие ее недостатки и обещали подтвердить свое мнение подробнейшими доказательствами. Приступая теперь к исполнению этого обещания, просим читателей припомнить содержание тех заключений, оправданию которых мы посвящаем эту статью. Сообразно с этим содержанием, мы должны теперь доказать, во-первых, что г. Бутовский относительно всех вопросов, решаемых различно экономистами, не предлагает сам никаких определенных решений и противоречит себе на каждом шагу; во-вторых, что во всех частях науки, обработанных новыми школами, он придерживается устарелого и неправильного взгляда прежних писателей, и наконец, в-третьих, что даже объяснение категорического, бесспорного содержания политической экономии не может быть признано удовлетворительным, по причине неполноты и беспорядочности изложения, темноты и напыщенности слога и даже, местами, безграмматичности языка—недостатков, характеризующих сочинение г. Бутовского со стороны формы.

Докажем сначала первое из этих заключений. Для этого достаточно будет разобрать две первые главы «Опыта о Народном Богатстве», в которых излагаются общие понятия о политической экономии и предварительные определения важнейших экономических терминов. В этих двух главах, предмет которых составляют самые запутанные и спорные вопросы науки,

всего яснее обнаруживается искусство г. Бутовского прикрывать недостаток убеждений и незнание дела набором громких и пустых фраз. С другой стороны, вопросы, решаемые в этих главах, принадлежат, как видно с первого взгляда, к числу самых важных, самых существенных вопросов, от решения которых зависит и самый взгляд на науку, и способ ее изложения. Поэтому, нам кажется, что дело г. Бутовского будет совершенно проиграно в мнении читателей, если мы успеем доказать, что он не успел ни составить себе ясной идеи о предмете, методе и пределах политической экономии, ни определить точным и верным образом основные понятия своей науки—понятия о полезности, ценности и богатстве.

Следуя порядку изложения, принятому самим автором, начнем с первого параграфа его «Вступления», в котором рассматривается, как сказано в оглавлении, *предмет* науки народного богатства или политической экономии». Считаем нелишним предупредить читателей, что в отношении к этому вопросу существует несколько разных мнений. Одни признают предметом политической экономии—богатство (школа Смита); другие—материальное благосостояние или довольство (Сисмонди, Дроз, Видаль); третьи—общественную жизнь во всех ее проявлениях (новейшие школы). Надо заметить притом, что, вследствие различных определений слова «богатство», экономисты школы Смита, повидимому, согласные друг с другом в существе дела, понимают весьма неодинаково настоящий предмет своей науки. При таком разногласии естественно рождается вопрос: которого из этих мнений придерживается г. Бутовский в своем определении? Выписываем его собственные слова.

«Политическая экономия (так оканчивает он свой первый параграф), разлив идею полезного, откроет законы, по которым люди, не изменяя всем прочим условиям усовершенности рода человеческого, обретают в своей собственной деятельности и в природе их окружающей средства к удовлетворению своим потребностям.

Последняя наука составит предмет нашего изложения». (Стр. VI)

Остановимся на этом определении и заметим прежде всего, что им вовсе не решается тот вопрос, который мы сейчас себе задали и который должен бы быть решен именно этим определением, как видно из самого заглавия параграфа. Г. Бутовский как будто нарочно употребил такие неопределенные и неясные выражения, чтоб не высказать прямо своего мнения и оставить читателей в недоумении, чьих начал он придерживается: Сея, Сисмонди, или, новейших школ? Нечего и говорить, что читатель, вовсе незнакомый с политической экономией и только

что приступающий к ее изучению, не будет иметь возможности составить себе ясное понятие об этой науке, основываясь на определении г. Бутовского, определении, поражающем многочисленностью собранных в нем признаков и неопределенностью каждого из них в частности. Но всего замечательнее, что выписанные нами строки, в которых решается самый основной вопрос науки, вопрос об ее предмете, представляют уже в себе как бы предвкушение тех резких противоречий, которыми наполнен «Опыт о Народном Богатстве». В них говорится, что политическая экономия с одной стороны—развивает *идею полезного*, а с другой—открывает законы, по которым люди *обращают средства для удовлетворения своим потребностям*. Не говоря уже о том, что выражение: «развить идею полезного» не имеет решительно никакого значения, заметим только, что при таком определении соединяются два понятия, из которых одно есть только вид другого. Идея полезного в обширном смысле есть идея сообразности средства с целью вообще, какова бы ни была эта цель. Но, по словам г. Бутовского, к сфере политической экономии принадлежат только те средства, которые сообразны с целями человека, т. е. с его стремлением к удовлетворению своих потребностей. Очевидно, что, основываясь на одной и той же фразе, мы можем по произволу дать политической экономии или обширное или тесное значение, признать предметом ее идею целесообразности вообще, смешав ее таким образом с метафизической и естественной теологией, или, напротив, ограничив круг ее деятельности исследованием того только, что полезно в отношении к человеку» что сообразно с *его* целями. Г. Бутовский мог бы весьма легко избежать такого противоречия, если б вспомнил кстати о словах Росси, с мнениями которого он соглашается в большей части случаев. «Ценность,—говорит Росси (Cours de con. pol. Legon III¹),—есть не что иное, как полезное, рассматриваемое в его специальном отношении к удовлетворению наших нужд: следовательно, это—идея не столь обширная, как идея о безусловно полезном. Слово полезное может быть применяемо, в его отвлеченном и общем смысле, к таким вещам, которые не возбуждают в нас ни желания, ни страха. Если нам изложат систему мира, мы можем назвать полезным для механизма вселенной существование известного числа солнечных систем; но это будет не более, как акт нашего разума, неимеющий никакой связи с удовлетворением наших потребностей».

Итак, определение предмета политической экономии, сле-

¹ Курс политической экономии. Лекция III. — *Ред.*

данное г. Бутовским, *по* неясности и различию соединенных в нем признаков, не может еще быть названо определением. Вопрос о взгляде автора на предмет науки остается еще, следовательно, нерешенным. Поищем же для его решения других данных, более удовлетворительных. Одну из таких данных представляет самое заглавие книги, которое ясно показывает, что г. Бутовский считает предметом политической экономии «народное богатство»¹. И действительно, в двух первых частях «Опыта» есть много мест, подтверждающих справедливость такого заключения. В предисловии, например, г. Бутовский говорит, что «его целью было представить в сколь можно ясном и простом изложении естественные законы производства, обращения, распределения и потребления *богатства народного*». Далее, как в первых двух главах, так и в последующих, г. Бутовский часто употребляет выражение: «политическая экономия *или* наука о народном богатстве». Наконец, в девятом параграфе второй главы (стр. 57) он повторяет снова, что цель науки народного хозяйства состоит в том, чтоб изложить «естественные законы производства, обращения, распределения и потребления *богатства* в обществе». Такое мнение, в существе своем несправедливое, весьма понятно со стороны последователя Сея; непонятно только, что г. Бутовский в одной и той же главе — мало того, в одном и том же периоде, высказывает на этот счет мнения, взаимно друг друга уничтожающие. В фразе, выписанной нами из предисловия, к тем словам, в которых говорится, что автор имел целью изложить законы производства, распределения, обращения и потребления *богатства* народного, присоединены слова: «и те логические условия этого движения, от которых наиболее зависит степень общественного *благосостояния*». Далее, во втором параграфе «Вступления», в котором доказывается, что политическая экономия принадлежит к разряду наук нравственно-политических, говорится уже прямо, что благосостояние есть настоящий предмет этой науки.

«Политическая экономия или наука о народном *богатстве*, исключительно посвящающая себя изучению средств, помощью кото-

¹ Не мешает заметить, что г. Бутовский дал своей книге два заглавия. Что-нибудь одно или эти два заглавия означают одно и то же, и тогда одно из них совершенно бесполезно, или между ними есть различие, и тогда мы имеем полное право предполагать, что г. Бутовский не имеет ясного понятия о значении изложенной им науки. Это предположение тем правдоподобнее, что слово «политическая экономия» в буквальном его смысле вовсе не означает науки «о народном богатстве».

рых люди, в обществе живущие, достигают возможного *благосостояния*¹, принадлежит к подразделению наук политических». (Стр X, XI).

Таким образом, г. Бутовский на одной странице признает, вместе с Сеем, предмет политической экономии богатство, а на другой соглашается с мнением противника Сея—Сисмонди, доказывающего, как известно, что наука о богатстве должна быть названа хрематистикою, а не политической экономией, и что последняя должна заниматься исключительно *благосостоянием* человека, живущего в обществе, а вовсе не богатством. Но это еще не все. Стоит только вникнуть глубже в смысл фразы г. Бутовского, выписанной нами из первого параграфа, чтоб убедиться, что он вовсе не думает отвергать мнение новейших школ, признающих необходимым соединить все общественные науки в одно целое. В этой фразе он говорит прямо, не делая никаких оговорок, что политическая экономия должна заботиться об открытии законов, по которым люди обретают *средства для удовлетворения своим потребностям*. Но очевидно, что под этими словами он разумеет как вещественные, так и невещественные средства, как физические потребности человека, так и потребности его умственные, нравственные и т. д.; в противном случае он выразился бы без сомнения иначе и сказал бы, что ведению политической экономии подлежат одни только вещественные средства, служащие к удовлетворению материальных потребностей человека. Опустив эти эпитеты, он выразил тем самым, что разделяет вполне не только прежний, но и позднейший образ мыслей учителя своего Сея, который, как известно, признав политическую экономию, в своем первом «Трактате», наукою о богатстве, отступился впоследствии от этого мнения и в своем последнем «Курсе» включил в сферу экономической науки все различные отправления общественного организма. Г. Бутовский и тут остался верен учению Сея, высказав, подобно ему, два мнения совершенно противоположные о самом существенном вопросе науки. Не делая никакого различия

¹ В том, что г. Бутовский употребил здесь слово «благосостояние», нельзя видеть простой случайности: то же выражение употребляется им и во многих других местах «Вступления». На стр. XXVI он говорит, что теория политической экономии образуется «из общих законов, по коим люди стремятся к обеспечению своего *благосостояния* в жизни общественной», а на стр. XXXVII повторяет, что она «излагает законы, на которых утверждается *благосостояние* народное». Еще резче выражается г. Бутовский в седьмой главе первого тома, где говорит, что «цель всех вообще промыслов заключается в самом человеке, в доставлении ему наибольшей степени *благосостояния*».

между материальными и нематериальными потребностями человека, г. Бутовский говорит о потребностях вообще. Но сам же он утверждает, что в человеке, кроме физических нужд существуют еще многообразные потребности—потребность знать истину, потребность наслаждаться изящным, потребность осуществлять в своих поступках и в отношениях к другим людям идею добра, идею права. Те различные науки, которые, как сознается сам же автор, указывают средства для удовлетворения всех этих умственных, нравственных, эстетических потребностей, т. е. философия, эстетика, нравоучение, правоведение—входят, следовательно, по понятию г. Бутовского, в состав политической экономии, заслуживающей, без сомнения, в таком случае названия «общественной науки». С этим мнением нашего экономиста мы совершенно согласны, но не можем понять одного: почему в начале страницы он говорит о науке народного богатства, как о науке самостоятельной, а в конце той же страницы уничтожает ее самостоятельность и соединяет ее с философией, нравоучением, правоведением и эстетикой в одну науку, которой дает общее, впрочем, весьма неправильное название политической экономии?

Основываясь на том, что мы сейчас сказали, имеем полное право заключить, что г. Бутовский признает предметом политической экономии—богатство, вместе с последователями Смита, благосостояние вместе с Сисмонди и все общественные явления вместе с новейшими школами. Очевидно, что он не успел составить себе определенного понятия о настоящем предмете «той науки, изучению которой посвятил» как говорит сам «несколько лет своей жизни».

Но погодите: это еще не все. Вместе с вопросом о предмете политической экономии тесно связан другой, также основной вопрос, о назначении и обязанностях этой науки в отношении к ее предмету. Мы уже видели, что и насчет этого вопроса существует несколько противоположных мнений. Школа Смита, ограничивая круг своей деятельности описанием существующего порядка вещей, требует, чтоб политическая экономия не заботилась об оценке его разумности и об указании средств для исправления его недостатков. Новейшие школы, напротив, придают политической экономии назначение исключительно практическое и хотят, не изучая существа экономических законов, открыть верные средства для обеспечения возможно большего благосостояния всем членам общества. Признав несправедливым как то, так и другое мнение, мы сказали (в нашей первой статье), что как вся общественная наука, так и одна из

частей ее—политическая экономия—должны собственно изучать действительные законы общественной жизни, с тою, впрочем, целью, чтоб, не ограничиваясь одним удовлетворением любопытства, применить приобретенные познания к усовершенствованию общественного быта. По нашему мнению, деятельность практическая, о которой всего более хлопочут социалисты, не составляет исключительного назначения науки, но входит, однако, в круг ее ведения, как один из самых необходимых элементов. Для большего уяснения нашей мысли, можем сказать, что общественная наука должна, по нашему понятию, разделиться на две части: первой, теоретической, должно достаться в удел простое изучение и изложение общественных (в настоящем случае—экономических) законов; второй, практической,—указание надлежащих средств для освобождения общественного организма от современных его болезней и недостатков. Такой взгляд может, по нашему мнению, примирить экономистов с социалистами и отделить в каждом из этих мнений—справедливое и основательное от того, что в них есть слишком безусловного и исключительного¹. Но г. Бутовский вовсе не допускает необходимости такого примирения; он говорит весьма решительно, что политическая экономия не должна подавать никаких прямых советов, а должна излагать просто естественные законы производства, распределения и употребления богатств (стр. 51). Он разделяет ее на две части: теоретическую и прикладную; но прикладная часть, так, как он ее определяет, не имеет ничего общего с частью практической, так, как мы ее понимаем. По его словам (стр. XXX), прикладная политическая экономия должна прилагать общие теоретические сведения не к открытию средств для усовершенствования общественной организации, но единственно к объяснению различных результатов, которыми сопровождаются экономические законы, в существе своем одинаковые при различных обстоятельствах места, времени и народа. На этом основании, г. Бутовский энергически: вооружается против тех писателей, которые, кроме прикладной части, допускают еще и существование особой собственно практической части. Он считает их «противниками науки» и называя «практическую экономию»—«наукою мнимую», говорит прямо,

¹ Как безусловны в этом случае суждения экономистов, видно из следующих слов Сея и Сеньйора «Когда экономия (говорит Сей) изъясняла притязания на управление государством, понятно, что она могла внушать опасения власти; но этой опасности нечего бояться теперь, когда наука состоит единственно в описании того, что и как происходит в обществе». — «Экономист (говорит Сеньйор) не может дать ни одного практического совета; выведенные им заключения не дают ему на то ни малейшего права».

что не только не может признать ее, но не может даже и дать себе отчета в ее существовании, независимо от теории» (стр. XXVIII). Последние три слова не должны вводить в заблуждение. Г. Бутовский нападает не на разрыв практики с теорией, но на самое стремление сообщить политической экономии практическое значение. Это видно из предыдущих его слов, нами выписанных, и еще более из всего содержания его книги, в которой, согласно с обещанием, сделанным на стр. 51, не подается почти ни разу ни одного прямого совета, а излагается просто нынешний порядок производства и распределения богатств в современных обществах.

Но если так, то почему же г. Бутовский, столь решительно восстающий против людей, которые допускают существование практической экономии, говорит сам на стр. XI, что политическая экономия *«исключительно посвящает себя изучению средств, помощью которых люди, в обществе живущие, достигают возможного благосостояния?»* Если действительно исключительное назначение политической экономии состоит в изучении средств для достижения благосостояния, то ясно, что она—наука исключительно практическая, вовсе не имеющая теоретического характера. Г. Бутовский может нам сказать, что мы привязываемся к словам, случайно у него вырвавшимся; но на это мы ответим, что такой случайности в употреблении слов нельзя допустить в фразе, где предлагается прямое определение науки, тем более, что совершенно такие же фразы встречаются и в других местах его «Вступления». Для примера можно привести стр. XXV, на которой читаем следующее:

«Она (политическая экономия) предохраняет их (правителей) от множества заблуждений, ошибок, открывает им настоящие причины множества фактов, их занимающих, *указывает вернейшие средства к отвержению различных неудобств, с которыми они принуждены бороться* (стало быть, практическая экономия не есть наука «мнимая?»). Даже не применяемая, и тогда, *когда ее советы раздаются в пустыне* (стало быть, политическая экономия имеет право давать советы?), политическая экономия предлагает драгоценное содействие людям государственным —они видят *в ней критику на существующее* (стало быть, политическая экономия состоит не в одном простом изложении экономических законов?), и могут судить о тех недостатках в устройстве общественном, которых отвратить не позволяют обстоятельства, от них независимые. В таком случае они, по крайней мере, могут издалека приготавливать благотворные перемены, которыми воспользуется потомство».

Не правда ли, как клянутся эти слова с тем, что говорил автор на странице XXVIII о невозможности допустить существование практической экономии? Да послужит это новым примером готовности г. Бутовского приносить логику в жертву

эклектизму! Ясно, что русский экономист так же мало понимает настоящее назначение политической экономии, как мало понимает он и существо ее предмета!

С такою же логичностью решен автором и вопрос о методе, свойственной экономической науке. Мы уже видели, что и в этом отношении существуют два противоположные мнения. Большая часть экономистов настаивает на необходимости употреблять в исследовании экономических вопросов методу эмпирическую, опытную. Социалисты, напротив, восстают с негодованием против «грубого» эмпиризма своих противников и выводят все экономические начала из идеи разума и права. Что касается до г. Бутовского, то, не придерживаясь исключительно ни одного из этих мнений и не заботясь также о их примирении, он разом принимает и разом отвергает то и другое... Странно, а между тем так! Наш автор, с одной стороны, берет в эпиграф к своему сочинению слова Гумбольдта: «Законы природы должны быть не изобретаемы а priori, но открываемы наблюдением» и повторяет несколько раз, следуя экономистам, что настоящее орудие для усовершенствования политической экономии заключается в наблюдениях, опыте и анализе. С другой стороны, в своем «Вступлении» он, по примеру социалистов, сильно вооружается против эмпиризма и нападает на него беспрестанно, кстати и некстати, в самых резких и энергических выражениях. «Подобно физическим, нравственные науки, говорит он на странице III, восходят от рассеянных фактов к законам, помощи наблюдений и анализа». Прекрасно. Значит, в политической экономии, по мнению автора, должно следовать не идеализму, а методу эмпирической? Нет, возражает автор, эмпирическая метода есть метода ложная и вредная.

«Надо свергнуть иго эмпиризма» (Стр. IV). «Эмпиризм и ложные системы — вот камни преткновения, которых должны избегать науки физические. Эмпиризм, ложные системы и влияние страстей на убеждения — вот тучи, затмевающие настоящие законы, по которым должна следовать свободно разумная деятельность человека: их-то стремятся рассеять науки нравственные. (Стр. V, VI) В новейшие времена наука народного хозяйства рассеяла наконец тучи эмпиризма и систем, ее затмевавших. (Стр. XVIII). В исследовании законов экономических.. должно бороться с эмпиризмом, который угрожает этой науке более, чем всякой другой. (Стр. XXXII). В последнее время политическая экономия, отбиваясь от эмпиризма... и т. д.» (Стр. XXXVII).

Спрашивается теперь: как примирить эпиграф сочинения с этими резкими выходками против эмпиризма? Ясно, что г. Бутовский или не хорошо знает значение технических терминов науки, или, что гораздо вернее, не имеет сам определенного мнения на счет экономической методы и только бессознательно

повторяет с чужого голоса самые противоположные суждения и толки.

Впрочем, исчислить все противоречия, встреченные нами в книге г-на Бутовского, решительно невозможно: они попадают на каждом шагу, на каждой странице. Сделанные нами выписки достаточно показывают, что г. Бутовский—эклектик по преимуществу, и притом такой эклектик, который соединяет белое с черным без всякого умысла, а просто, потому что не отличает ясно одного от другого. С другой стороны, очевидно также, что «Вступление» г. Бутовского не разрешает ни одного из основных вопросов, которые следовало в нем разрешить, не определяет ни предмета политической экономии, ни ее назначения, ни, наконец, ее методы. Взамен этого, мы находим во «Вступлении» (которое, надо заметить, занимает восемь параграфов и 39 страниц) длинные и весьма красноречивые рассуждения о предметах, о которых собственно не следовало бы и рассуждать. В нем говорится весьма подробно и, разумеется, высоким слогом о том, что политическая экономия есть наука нравственно-политическая, что она имеет тесное соотношение с другими нравственными и физическими науками, что она проливает свет на историю и статистику, что наука она важная и полезная, что изучать ее очень трудно, что писать экономические руководства еще труднее и проч., и проч. Несмотря на то, что все эти истины давно сделались аксиомами, г. Бутовский доказывает их справедливость систематически, самыми убедительными доводами. Все это, впрочем, весьма понятно. Надо же, чтоб было какое-нибудь вступление. Надо же чем-нибудь его наполнить. А если не можешь решить основные, спорные вопросы науки, то поневоле станешь распространяться о вопросах второстепенных, не возбуждающих ни малейшего спора. А в этом отношении нельзя не отдать должной справедливости г. Бутовскому: он имеет удивительную, редкую способность говорить много и хорошо о предметах, повидимому, совершенно ничтожных—способность, которую можно назвать, говоря высоким слогом,—красноречием.. Впрочем, для того, чтоб яснее доказать читателям это умение нашего автора прикрывать цветами риторики отсутствие убеждений, и познакомиться их с языком, слогом и манерою изложения русского экономиста, мы изложим содержание первого параграфа его книги, частою своими словами, частью (где будет нужно) словами самого автора.

Этот первый параграф носит, как сказано, следующее заглавие: «Предмет науки народного богатства или политической экономии». Само собою разумеется, что, не определив предмета

науки, нельзя приступить и к ее изложению. Но вопрос а том, как определяет его г. Бутовский? В таком важном и спорном вопросе ему предстояло сделать одно из двух, или привести все мнения писателей и, разобрав каждое из них, высказать, в заключение свой собственный взгляд, или, наоборот, начав с развития своих собственных мнений, перейти потом к оценке чужих взглядов, несогласных с этими мнениями. Ни того, ни другого не сделал г. Бутовский. Параграф свои он наполнил совершенно посторонними рассуждениями, имеющими весьма мало связи с определением предмета политической экономии. Читатель, мало знакомый с этой наукой и желающий познакомиться с нею ближе, жестоко ошибется, если, понадеясь на заглавие этого параграфа, будет ожидать от него точного определения политической экономии. Вместо подобного определения, г. Бутовский предлагает ряд таких мыслей, которые вовсе не ведут к решению настоящего вопроса. Он начинает с того, что доказывает необходимость постановления пределов каждой науки и разделяет всю сферу познаний на две половины, причисляя к одной науки физические, к другой — науки нравственные. Не считая нужным доказывать правильность такого деления наук, в существе дела весьма нелогического и давно уже отвергнутого современными учеными, он продолжает так:

«Как не заметить тут важного различия между науками физическими и нравственными. Первые обогащают ум наш познаниями, (,) открывают тайнства природы, (,) объясняют ее законы, (,) предают нам ее силы; в борьбе разума с вещественностью эти науки можно уподобить нервам, по которым впечатления внешние проникают до мозга. Они-то указывают людям все, что может быть полезно или вредно в природе; (,) все, что может служить к достижению различных целей; (,) все, чего должно избегать. Вторые, излагая в стройном порядке пути, по которым должна направляться свободно разумная деятельность человека для достижения, или избежания различных результатов, не только обогащают нас познаниями, но также руководят нас в жизни, в сношениях с природой и нам подобными, провозглашают законы развития наших сил и познаний. Их можно уподобить мускулам, приемлющим движение от мозга и сообщающим его членам огромного тела человечества» (Стр. II—III).

Да в чем же состоит это *важное* различие между науками физическими и нравственными? спросите вы. Выписанные нами слова не дают никакого ответа на этот вопрос. Различие по предмету уже прежде указано было автором. Различие между нервами и мускулами весьма фигурно, но вовсе не ясно. Притом же, давно известно, что *comparaison nest pas raison!*¹ А кроме этой метафоры во всей выписке нет ни одного

¹ Сравнение не может служить доказательством — *Red.*

слова, которое могло бы уяснить значение этого важного различия. «Науки физические обогащают наш ум познаниями»; но и науки нравственные обогащают нас тем же; последние «не только обогащают нас познаниями, но и руководят нас в жизни, в сношениях с природой и нам подобными»; да ведь и первые также «указывают людям все, что может быть полезно или вредно в природе; все, что может служить к достижению различных целей, все, чего должно избегать». Из слов автора должно заключить даже, что различия собственно нет никакого, что науки нравственные суть только отрасль физических, потому что последние указывают *все*, что может служить к достижению различных целей. Притом же, если бы различие и было указано действительно, то спрашивается: какую пользу принесло бы оно для определения предмета политической экономии?

После краткого и опять-таки ничем недоказанного разделения человеческой деятельности на пять категорий (полезное, правое, доброе, изящное, истинное), г. Бутовский пользуется случаем для того, чтоб проехаться на счет эмпиризма, который представляется ему, неизвестно почему, самым важным препятствием к *усмотрению* законов нравственного мира и потом прибавляет:

«Другие важные препятствия к усмотрению настоящих законов мира нравственного заключаются в наших страстях, в побуждениях, сильно увлекающих свободно разумную волю, и которых источник не в разуме, но в телесной половине нашего существа или в воображении».

Странно. Каким же образом страсти и побуждения, в которых, как сказано было выше, «кроется начало свободно разумной деятельности человека», увлекают теперь свободно разумную волю и препятствуют усмотрению законов нравственного мира? Замечательно также, что по определению автора, воображение и телесная половина нашего существа—одно и то же. Но продолжаем выписки:

«Множество степеней представляет развитие страстей. Вы откроете влияние этих аномальных (И стало быть, нормальный человек должен быть бесстрастен?) побуждений *и в тихом, почти незаметном, внушении своекорыстия, и в бурных порывах зависти, мщения, в молчаливом сопротивлении скрытого самолюбия, и в неистовых проявлениях гордости, в смутной наклонности к неге и удобствам жизни, и в сластолюбии Сарданапала*»

Не правда ли: как хорошо и сильно сказано? Вот образец истинно ученого слога, соединяющего точность выражения с живостью и рельефностью образов! Особенно нравится нам

фраза о «сластолюбии Сарданапала»: в двух словах показаны разом и знание риторики, и уважение к нравственности, и ненависть к чревоугодию, и глубокие сведения в истории. Прекрасно. Одного только не можем понять: почему именно автор считает внушения своекорыстия—«тихими, почти незаметными», порывы зависти и мщения—«бурными»; самолюбие—«скрытым», а склонность к неге и удобствам жизни—склонностью «смутною». Почему также, по его мнению, самолюбие сопротивляется и притом сопротивляется молчаливо; а гордость проявляется неистовым образом. Нам кажется, что фраза вышла бы еще лучше, если бы автор перестановил как-нибудь все эти эпитеты, положим, хоть так:

«Вы откроете влияние этих аномальных побуждений и в бурных порывах своекорыстия, и в неистовых проявлениях зависти, мщения, и в смутных внушениях скрытого самолюбия, и в молчаливом сопротивлении гордости, в тихой, почти незаметной склонности к неге и удобствам жизни и в сластолюбии Сарданапала».

Если желаете, можете переставить слова иначе—смысл их несколько не изменится; одно только должно оставаться неприкосновенным: это—эффектная фраза о сластолюбии Сарданапала...

Но хорошего понемногу. Не выписываем следующей затем выходки против страстей, хотя и в ней есть много замечательного, например, хоть то, что в те «торжественные минуты, когда разум, созидая науку, действует свободно и царственно,—человек *возвышается над собственным существом*», т. е. перестает быть человеком. Не выписываем также и вторичной выходки автора против бедного эмпиризма, которому жестоко достается на каждом шагу. Заметим только, что вслед за этими вставочными рассуждениями о вредном влиянии страстей и эмпиризма, автор переходит прямо к определению различных нравственных наук (к числу которых относит между прочим и философию) и говорит: «*Так* (к чему относится это *так*—неизвестно), «руководимая светильником разума *философия* укажет настоящие стези для достижения познания *истинного*, как в мире физическом, так и в мире нравственном» (полно, в этом ли состоит предмет философии? Не смешивает ли ее автор с логикою?); «*эстетика* в обширном значении слова откроет людям (законы?) гармонии, согласия и т. д.». Фраза оканчивается определением предмета политической экономики, или, лучше сказать, подобием определения, потому что, как мы видели, в нем соединено множество признаков, совершенно бесцветных по своей излишней общности и, сверх того, резко противоречащих один другому. Спрашивается теперь;

к чему ведет весь этот параграф и не лучше ли было бы, если бы автор, вместо своих красноречивых возгласов о гнусности страстей и эмпиризма, высказал коротко и ясно, совершенно с заглавием параграфа, мнение свое о настоящем предмете политической экономии?

Переходим теперь к разбору главы: «О богатстве вообще». В этой главе определяется значение важнейших терминов политической экономии, выражающих основные ее понятия. Кто не понимает смысла этих терминов, тот не поймет и самой науки. Посмотрим же теперь: имеет ли автор «Опыта» скольнибудь определенное понятие о значении слов: «полезность», «ценность» и «богатство».

В первом параграфе этой первой главы, г. Бутовский доказывает, по своему обыкновению, весьма красноречиво, что человек «влачит цепи организма», что он имеет потребности, что потребности эти разнообразны, что счесть их невозможно, и т. д.: все, как видите, истины несомненные, но истины совершенно известные и вовсе не требующие доказательств. Что изложению политической экономии должно предшествовать изложение теории потребностей—в этом нет никакого сомнения. Но в таком случае надо или сказать все, или ничего не говорить; а выбрать благоразумную (?) середину и высказать несколько пустых фраз, по нашему мнению, совершенно бесполезно. Весь этот параграф о потребностях может быть пропущен при чтении, и читатель ничего от этого не проиграет. Ошибаемся: он проиграет в том отношении, что лишит себя эстетических наслаждений, которые может доставить ему пафос г-на Бутовского. Он пропустит, например, поэтическое уподобление человеческой души «музыкальному инструменту, в котором образование настраивает множество струн, которые без него (без инструмента?) оставались бы в вечном безмолвии».

В следующем затем параграфе определяется, как сказано в заглавии, «понятие о полезном». Начинается с того, что автор полагает различие между нуждами и желаниями человека. Различие—действительно важное; но, во-первых, не мешало бы определить его поточнее, а во-вторых, незачем было и упоминать о нем, если не выводить из него никаких последствий. А последствий г. Бутовский не вывел решительно никаких и указал на это различие только для того, чтоб сделать по этому случаю быстрый набег в область изящного и распространиться с своим обыкновенным красноречием о «бурных и пламенных проявлениях» страсти, о «томлении и скорби», ощущаемых человеком, и пр. и пр. Впрочем, тут же, после ловкого набегу в область изящного, наш экономист решил также

сделать набег (не совсем, впрочем, удачный) и в область философии.

«Пораженные (говорит он) мрачною стороною потребностей, томлением, которое предшествует их сознанию (почему томление *предшествует* сознанию потребности?) и которое неразлучно с их тщетностию, Диоген и его последователи принимали за идеал счастья отсутствие нужд и желаний. Все усилия их учения клонились к тому, чтоб освободить человека от ига потребностей и приблизить его к состоянию тела неодушевленного. Но несмотря на самоотвержение, с которым киники (от чего же не циники?) старались поддерживать свой софизм, прилагая пример к советам (стало быть, киникам действительно удалось приблизиться к состоянию тела неодушевленного?), их учение к счастью не имело успеха. Опираясь на факт справедливый, на тягостное ощущение, сопровождающее всякую неудовлетворенную потребность, эта школа забывала, что наслаждение, приносимое удовлетворением потребностей, перевешивает тягость их сознания (в сознании потребности нет ничего тягостного; тягостно только сознание невозможности удовлетворить потребности), а еще более то, что по сущности своей человек должен беспрестанно совершенствовать самого себя, и что нельзя допустить в нем усовершенности, заключив его в тесный круг немногих нужд, которых невозможно избежать Гораздо правильнее судили стоики, допускавшие это развитие (какое развитие?) во всей его полноте, но под скипетром разума и в постоянной покорности его внушениям». (Стр. 4, 5).

Во-первых, все, что говорится здесь против учения к(ц)иников нашим Кикероном, совершенно противоречит тому, что говорил он выше о гнусности страстей и вредном их влиянии. Если страсти «беспрестанно бросая волю людей то в ту, то в другую сторону, запутывают или подкупают (?) соображения разума, заглушают его внушения, воздвигают стену между знанием истинных законов и предубеждениями современников(?)», значит к(ц)иники совершенно правы, утверждая, что человек должен подавить в себе страсти и отказаться от их удовлетворения. Если же, напротив, в страстях человека заключается главная причина его усовершенности, его постоянного стремления к лучшему, то незачем было нападать на страсти и распространяться с таким многословным красноречием о губительных их последствиях. Что-нибудь одно: страсти или хорошая вещь, или дурная, надо или радоваться их влиянию на человека, или сожалеть об этом влиянии. Но соединять оба эти мнения—значит идти наперекор самым очевидным законам логической последовательности. Если г. Бутовский надеялся избежать противоречия, положив различие между страстями и потребностями, и думал, что выходки против первых не мешают ему признавать законность вторых, то он жестоко ошибся и, что еще хуже, ошибся умышленно, прибег-

нув к пустой игре слов... Основное начало страстей и потребностей—одно и то же; страсть та же потребность, но потребность, достигшая высшей степени энергии и настоятельности. Если страсть явление аномальное, если она не имеет никакого права требовать себе удовлетворения, то и потребность, как низшая ступень страсти, не имеет также этого права, не может быть никогда признана законною. Признавать законность удовлетворения потребностей, как делает г. Бутовский, и отвергать в то же время законность удовлетворения страстей—значит противоречить самому себе и приносить логику в жертву предассудкам.

Во-вторых, нельзя не заметить, что, восхваляя нравственное учение стоиков, г. Бутовский не совсем верно и ясно представляет себе его настоящее значение. Если наш экономист не удовлетворялся своим заглядыванием в область изящного и захотел еще заглянуть в область философии, то не мешало бы лучше познакомиться с этой областью хоть посредством какого-нибудь руководства к истории философии. Это избавило бы его от той ошибки, в которую он впал невольно, по недостаточному знанию истории греческой философии и внутреннего содержания стоического учения. С чего взял он, что стоики допускали *полное развитие страстей и потребностей* в человеке? Как можно было противоположить систему стоиков системе циников, когда первая была только дальнейшим развитием второй, точно так же как эпикуреизм был дальнейшим развитием учения Аристиппа и школы киренейской?.. Для оправдания наших слов, выписываем изложение нравственного учения стоиков из книги, по которой учатся и которую *знают* учащиеся в наших университетах:

«...Нравоучение стоиков имеет в виду одно только всеобщее, разрушая, попирая все особенное, индивидуальное в человеке. Жить согласно со всеобщей природою — вот самое первое выражение их нравственного начала. Но чего же требует общий закон природы от известного рода существ? Это определяется особенною природою каждого существа, к коей всеобщая природа как бы открывает свою волю. Отсюда новое выражение стоического, нравственного начала: жить согласно с человеческою природою. Но особенную природу человека составляет не другое что, как здравый разум. И так жить согласно с здравым разумом — вот последнее стоическое выражение нравственного начала. Но одно согласие деяния с всеобщей природою, или с природою человека, или с требованиями здравого разума, не составляет еще существа добродетели, как понимают ее стоики. Они различают два рода деяний пристойные деяния и деяния совершенные. Пристойными называют они все то, что происходит согласно с природою, и действия сего рода приписывают не только детям, но и неразумным животным и даже растениям. Такие действия сами по себе еще не могут быть названы ни добрыми,

ни худыми. Добрыми делаются они от того, что предпринимаются вследствие одобрения разума, и тогда-то получают достоинство деяний совершенных. Твердое, неизменное расположение души действовать всегда *только* по внушениям здравого разума, есть характер стоической добродетели. *Человек совершенно свободный от страстей, т. е. от неразумных, страдательных движений сердца, ничем не возмущаемый в спокойствии своей разумной деятельности, поставляющий все свое благо в добродетели, есть в понятии стоиков, муж истинно добродетельный, истинный мудрец*. (Энциклопедия Законоведения г. Неволлина. Т. I, стр. 257, 258).

Не правда ли, как согласны с *духом* этого строгого учения слова г. Бутовского, объявившего весьма решительно, что стоики допускали *полное* развитие страстей и потребностей, но под скипетром разума и в постоянной покорности его внушениям. И как кстати экономисту, изучающему средства для удовлетворения материальных потребностей человека, придерживаться такого учения, которое отвергает законность этих потребностей, проповедует презрение к внешним благам и отдает полное предпочтение жизни созерцательной пред жизнью деятельною, деятельности внутренней пред деятельностью внешнею? Соединение стоицизма и политической экономии—вот истинное явление редкое и небывалое

Из области философии г. Бутовский снова возвращается к политической экономии и тотчас после изложения системы стоиков определяет экономическое значение слова «полезность». Нельзя не сознаться, что переход от одной материи к другой не совсем логичен и естествен. Но дело не в том: гораздо любопытнее знать, как определяет наш автор понятие о полезности. Заметим, что это—основное понятие науки, по сознанию самого же г. Бутовского, что, следовательно, обязанность экономиста состоит в том, чтоб определить его самым точным и ясным образом и предупредить своим определением всякую двусмысленность, всякое недоразумение или сомнение. Заметим также, что само по себе значение этого слова весьма ясно, что оно употребляется всегда и всеми для означения одного и того же понятия о сообразности средства с целью вообще или с целью человека в особенности. В отношении к употреблению этого термина, собственно говоря, могут родиться только два вопроса: во-первых, можно спросить: как должно понимать слово «полезность» в политической экономии? Следует ли соединять с ним идею о целесообразности вообще, или только идею об удовлетворении потребностей человека? Во-вторых, необходимо решить также, к чему именно относится название полезности—к самому ли *предмету*, удовлетворяющему потребности, к присущему ли предмету, *свойству* удовлетворить

потребности, или, наконец, к самому понятию о том и другом, к *суждению* нашего ума, признающего известный предмет способным к удовлетворению потребностей? Посмотрим, как решает оба эти вопроса г. Бутовский?

«Идею *блага* или *полезности* должно естественно относить ко всему, что отвращает недостаток, порождающий в нас нужду или желание; ко всему, в чем содержится условие нашего довольства; короче, ко всему тому, что может служить к удовлетворению наших потребностей».

Из этого определения выводим мы два заключения: во-первых, благо и полезность, по мнению г. Бутовского, синонимы; во-вторых, полезностию называется все, что служит к удовлетворению наших потребностей. На двух следующих страницах г. Бутовский повторяет несколько раз выражение: «*блага или полезности*». Все это доказывает, что г. Бутовский называет полезностию—самый предмет, служащий к удовлетворению наших потребностей. Убеждение это высказано, как видите, весьма определенно и довольно решительным тоном. *Но* эта определенность и решительность убеждения не более, как мираж, оптический обман. Стоит только перевернуть страницу, чтоб убедиться, что и тут, точно так же, как в других случаях, г. Бутовский не имеет определенного и решительного мнения. Не более, как через несколько строк, он совершенно отрицает то, что сказал выше о значении полезности. На странице 8 он говорит, что «*полезность есть понятие*», а на странице 6 выражается таким образом: «человек *признает полезность в данном предмете*» (стало быть, полезность не есть самый предмет, а существует в предмете, не есть самое благо, а есть свойство блага) «тогда только, когда с одной стороны ощущает потребность, ей соответствующую, а с другой постигает соотношение между этою потребностию и этим предметом существующее». Очевидно, что г. Бутовский называет полезностию в одно и то же время и самый предмет, и свойство предмета и, наконец, понятие человека об этом свойстве. Вот, что называется ясным и точным определением. Не забудьте, что так определяется основной, важнейший термин науки, выражающий ту экономическую идею, из которой вытекают и на которой основываются все остальные.

Переходим ко второму вопросу. Из определения, нами выписанного, видно, что г. Бутовский употребляет слово «*полезность*» в тесном смысле, применяет его только к тому, что удовлетворяет потребности человека. Но он вслед за этим говорит следующее:

«В значении безусловном, мы не можем постигнуть во всей полноте *блага* или полезности. Ограниченность наших познавательных сил, с одной стороны, заглушая в нас самих иные понятия о лучшем, из которых рождаются потребности, с другой, не позволяя нам отличать полезного свойства множества предметов, будет всегда к тому преградой неодолимой. Восходя до высших отвлеченностей, ум убеждается, что в творении нет ничего бесполезного, что премудрость создателя связала все существо тесными узами; но эти узы для нас сокрыты. Наши наблюдения могут следить за бесконечную нитью творения; но при всех усилиях умозрения и учености, нам не открыть множества таких полезностей, которых отсутствие однако причинило бы важное расстройство в нашем бытии. Правда, круг наших познаний расширяется и, по временам, в него входят открытия важные, озаряющие благодетельным светом деятельность людей; но сколько законов, сколько элементов в природе и в нас самих еще покрыты завесой неизвестности. Вот почему для нас понятие о полезном всегда останется *условным*».

Что это такое? К чему тут вся эта метафизика, и как согласить ее с тем, что сказано выше? «Идею *блага* или полезности должно относить ко всему, что служит к удовлетворению наших потребностей», говорит г. Бутовский. Прекрасно! Значит, понятие о полезности есть понятие условное и не может быть никогда безусловным. Нет, продолжает г. Бутовский, понятие о полезности есть собственно понятие безусловное, но условным оно является только вследствие ограниченности наших познавательных способностей. Ясно, что г. Бутовский смешивает два понятия совершенно различные: он хочет сказать, что человек, вследствие ограниченности своих способностей, не всегда может открыть в предмете присущую предмету полезность, или, если называть полезностию самый предмет, не всегда понимает, что тот или другой предмет есть действительно полезность и благо. Другими словами, он хочет сказать, что наши понятия о полезности суть понятия неполные, несовершенные, что в мире есть множество предметов, которые бы могли быть весьма для нас полезны, но полезности которых мы не замечаем, не видим. Мысль, как видите, весьма справедливая и простая; но г. Бутовский пожелал выразить ее философским языком—и выразил совсем не то, что хотел выразить. Вместо того, чтоб говорить о невозможности постигнуть во всей полноте настоящее отношение потребностей человека к средствам их удовлетворения, он заговорил о безусловной полезности творения, о целесообразности природы—и вышло нехорошо, очень нехорошо. Если уже раз дано полезности значение «всего, что служит к удовлетворению потребностей человека», то незачем уже перепутывать понятия и придавать полезности значение целесообразности, употребляя *слово это* для означения такого свойства, которое не

имеет ровно никакого отношения к потребностям человека. И потом, что за необыкновенная, диовинная философия Ограниченность познавательных способностей человека такова, что при всех усилиях умозрения и учености, мы никогда не в состоянии будем понять полезность, т. е. целесообразность всего существующего. Каким же образом после этого «ум человека, восходя до высших отвлеченностей(?), убеждается, что в творении нет ничего бесполезного, что все существующее связано тесными узами; *но эти узы для нас сокрыты*». Как же тут понять? Если «эти узы для нас сокрыты», то каким образом мы можем убедиться в их существовании? Если вы предполагаете, что ум человека никогда не постигнет и не в состоянии постичь полезность всего существующего, то откуда же взялось у вас убеждение, что действительно все существующее—полезно? Ум дошел до такого убеждения, до которого он не может прийти. Как вам нравится такой силлогизм? Ясно, что тут прикосновение к философии со стороны г. Бутовского еще неудачнее прежнего

«Человек (продолжает г. Бутовский) признает полезность в данном предмете тогда только, когда, с одной стороны, ощущает потребность ей соответствующую, а с другой постигает соотношение между этой потребностью и этим предметом существующее. Под этим только двояким условием, понятие полезности становится на степень *интереса* и побуждает людей к ее приобретению и употреблению».

Что значит фраза: «понятие полезности *становится на степень интереса*»—мы решительно не понимаем: оборот совершенно неясный. Мы поняли из всей этой фразы только то, что г. Бутовский смешивает полезность с ценностью. В куске хлеба я признаю полезность во всякую минуту дня, потому что признаю в нем способность удовлетворять известную потребность, которую я себе могу представить всегда, но которую не всегда ощущаю. Однакож, когда к суждению моего ума присоединяется порыв воли, когда во мне рождается аппетит, и я ощущаю потребность есть, тогда не останавливаясь на одном признании полезности в куске хлеба, я признаю в нем уже ценность, стараюсь приобрести его и употребить в дело. Другими словами: человек признает в данном предмете полезность, когда постигает соотношение, существующее между этим предметом и какою-либо потребностью. Этим он ограничивается до тех пор, пока не ощущает сам этой потребности; как скоро он ощущает ее действительно, как скоро назначает предмет для удовлетворения этой потребности, он признает уже в этом предмете не одну только полезность, но и цен-

ность. Но из слов г. Бутовского выходит, что полезность и ценность—совершенно одно и то же. Впрочем, удивительный взгляд нашего экономиста на значение ценности будет разобран в своем месте. Теперь ограничимся обзором его мнения о значении полезности.

«Что люди не всегда правильно усматривают полезность (продолжает он), что во множестве случаев они заблуждаются в самом свойстве своих потребностей и увлекаются грубыми инстинктами или страстями, в том нет никакого сомнения. Тогда они руководятся мнимыми или только минутными интересами, которым часто приносят в жертву свое будущее благосостояние. Опытность, рассудительность, добродетель во всех положениях общественных действий в противную сторону (?) и, указывая человеку на его настоящие интересы, уклоняют его деятельность от путей ложных и опасных. Другой цели не имеют науки нравственно-политические (стало быть это — науки чисто практические?), которые суть не что иное, как систематическое изложение выводов вековой опытности народов. Там, где наиболее господствует начал, ими усмотренных и доказанных, наиболее также господствует между людьми здравых понятий об истинно-полезном».

Поразительные противоречия. Давно ли, кажется, г. Бутовский отделял так резко начало *полезного* от начала *доброго*, и нападал на Сисмонди за его претензии соединить эти два начала в экономических исследованиях? (см. «Вступление»). Давно ли называл он полезностию все то, что служит к удовлетворению наших потребностей? А теперь, вы видите, он говорит уже совсем другое. Из его слов выходит, что полезное и нравственное одно и то же, и что не всякая полезность действительно полезность. На странице 5 наш экономист признавал полезным все, что удовлетворяет потребности; на странице 6 он делает различие между потребностями и отделяет потребности, внушенные опытностию, рассудительностию и добродетелию, от потребностей, внушаемых грубыми страстями и инстинктами; что удовлетворяет первые, то истинно полезно, а что удовлетворяет вторые, то мнимо полезно, в существе дела даже бесполезно. Мысль чрезвычайно оригинальная! Впрочем, несмотря на новизну такой мысли, мы предпочитаем прежнюю, старую, ту, которая выражена г. Бутовским на странице 5. Смеем думать, что, говоря о полезности, нечего обращать внимание на свойство и источник потребностей, не для чего отделять потребности нравственные от безнравственных, хорошие от дурных? А не то, придется, пожалуй, к самым странным и не совсем согласным с действительностию результатам. Вино удовлетворяет потребности человека, и полезность его признается всеми единогласно. Но по системе г. Бутовского

выходит, что люди в вине «неправильно усматривают полезность», что они руководятся в этом «грубыми инстинктами и страстями», что науки нравственно-политические и вековая опытность народов, раскрывая вредные последствия пьянства, доказывают тем самым, что не в вине, а в чистой воде заключается истинная полезность. Любопытно было бы послушать, что скажут о таком выводе наши откупщики и виноторговцы?¹

В заключение этого параграфа «о полезности» г. Бутовский доказывает, что значение блага или полезности нельзя ограничить тесным кругом вещественности, что, кроме благ внешних, люди еще нуждаются в благах внутренних, что здоровье, познания, добрые привычки суть также полезности и блага. В подтверждение этого мнения, он ссылается на авторитет Шторха. Но что было совершенно уместно в сочинении Шторха, то вовсе неуместно в сочинении г. Бутовского. Здоровье, образованность и нравственность были действительно причислены Шторхом, вместе с богатством, к полезностям или благам. Но Шторх был в этом случае совершенно последователен сам себе. Он считал предметом политической экономии не одно богатство, но и благоденствие народов, т. е., как богатство их, так и цивилизацию. Поэтому и курс свой разделил он на две части: в первой изложил теорию благ вещественных, во второй теорию благ невещественных. Но г. Бутовский называет политическую экономию—наукою о народном богатстве и излагает в своем «Опыте» только одни законы производства, распределения и потребления богатств. Если же, как говорит он на странице 9, внутренние блага принадлежат также к числу полезностей, а развитие идеи полезного составляет предмет политической экономии, то ясно, что он не должен был в своем курсе политической экономии ограничиваться одним изложением хрематистики, а должен был, сообразно с своим взглядом на науку, изложить вместе с этим, как теорию народной образованности, так и теорию народной нравственности. Другими словами, г. Бутовский, признающий на самом деле богатство и одно только богатство предметом политической экономии, противоречит сам себе, когда, согласно с мнением Шторха и новейших школ, расширяет понятие полезности на блага внутренние и невещественные, доказывая таким образом невозможность отдельного существования политической экономии и необходимость

¹ На странице 46 г. Бутовский говорит: «Моралисты, может быть, упрекнул нас в том, что мы называем благом предметы, того не заслуживающие в смысле нравственном; но в этом определении мы имеем в виду одни только потребности, не входя в рассмотрение их свойств». Противоречия на каждом шагу!

соединения всех общественных наук в одно органическое целое.

Переходим теперь к третьему параграфу первой главы, в котором дается «понятие о ценности». Указав весьма много-словно и не совсем ясно на различие благ безмездных и естественных от благ приобретенных или произведений, г. Бутовский говорит:

«От трудности добывания предмета, в котором признана полезность, зависит его *ценность*,

Адам Смит различает две ценности: *ценность потребительную* и *ценность меновую*. Последнюю мы займемся ниже. Первой он придает обширное значение *полезности*. Для ясности, кажется, лучше оставить *ценности* значение исключительно ей свойственное. В моем изложении она всегда будет выражать полезность, которой приобретение сопряжено с трудностями, и не будет ни в каком случае относиться к благам природным и безмездным, которые без всякого усилия достаются людям».

И далее:

«Ценность исчезает, едва прекратится полезность или потребность предмета, в котором она оказалась. По сему можно сказать, что основание ценности заключается в полезности, что оно (т. е. основание) есть качество, исключительно свойственное предметам полезным или потребительным, но оказывается в них по мере трудности, сопряженной с их приобретением. С одной стороны полезность, с другой трудность добывания — вот два условия, из совокупности которых в каком-либо предмете образуется ценность: ее не может быть там, где нет одного из этих условий». (Стр. 11, 12 и 13).

Мы очень хорошо понимаем, что можно превосходно знать науку во всей ее полноте и впадать иногда в ошибки и промахи при изложении некоторых частных, второстепенных ее пунктов. Но ошибаться в самом основном понятии своей науки, в ее азбуке—этого мы решительно не понимаем и не можем понять! Оспаривать ли определение ценности, сделанное г. Бутовским? Право, если подумаешь о достоинстве и назначении критики, то убедишься, как для нее невыгодно опровергать серьезными доказательствами такие мнения. Не серьезными доказательствами встретили бы мы сочинение математическое, в котором утверждалось бы, что прямая линия не есть кратчайшее расстояние между двумя точками,—а ведь определение ценности в политической экономии совершенно соответствует определению прямой линии в математике! Но... мы взялись разобрать подробно ошибки и промахи г. Бутовского и не можем остановиться на половине дороги, не можем пропустить без внимания самые крупные недосмотры его книги. Делать нечего! Станем излагать экономические аксиомы, азбуку поли-

тической экономии, испросив наперед извинения у читателей, знающих эту науку.

Для выражения основной идеи политической экономии и различных ее оттенков существует, кроме слова *полезность*, еще и другой термин: *ценность*. Ценность бывает двоякого рода: во-первых, *ценность в потреблении* или потребительная (*valeur en usage, valeur d'utilité*), во-вторых, *ценность в обмене* или меновая (*valeur en échange*). Эти три термина: полезность, ценность потребительная (или просто ценность) и ценность меновая выражают, собственно говоря, одно и то же понятие—понятие об отношении потребности человека к предмету, служащему для ее удовлетворения; но каждый из них выражает это общее понятие особым образом, т. е. выражает различные его оттенки и стороны, различные моменты его развития. Самое обширное значение имеет слово «полезность»: оно прилагается ко всему, что может служить к удовлетворению человеческих нужд; в этом, как мы видели уже выше, согласны все экономисты; и единственный упрек, который им можно сделать на этот счет, состоит в том, что по неточности выражения они весьма часто называют *полезностью как самый предмет*, в котором она существует, так и приговор нашего ума об ее существовании, между тем, как в существе дела полезность, в техническом, точном ее значении, выражает только особое свойство предмета—такое свойство, вследствие которого он является способным к удовлетворению той или другой потребности того или другого человека. Но самое этимологическое, буквальное значение слова доказывает, что не всякая полезность есть ценность, что между этими двумя названиями есть какое-то различие. В самом деле, силою рассудка мы можем открыть в данном предмете существование полезности и можем в то же время не признавать в этом предмете ценности, не ценить его. Ценить предмет, значит—желать иметь его, желать приобрести его и владеть им. Но есть множество предметов, которые каждый из нас признает полезными и которых, однакож, он вовсе не желает иметь или приобрести. Суждение ума о полезности предмета не всегда соединяется с порывом воли к этому предмету, с существованием потребности в его употреблении и усвоении. Силою рассудка я постигаю полезность старинного, истертого экземпляра книги, перепечатанной новым, лучшим изданием. Понимаю, что существует известная потребность, которой может удовлетворить этот экземпляр, что есть антикварии, которые собирают подобные редкости и дорожат ими. Поэтому, я не усомнюсь ни на минуту признать в этом экземпляре существование полезности. Но это суждение моего ума есть еще не более,

как суждение. Оно не возбуждает во мне никакой потребности, не порождает во мне никакого желания, оставляет меня холодным и спокойным. Я знаю, что этот истертый экземпляр будет иметь ценность для антиквария, и не признаю в нем никакой ценности для себя, потому, что предпочитаю новую книгу—старой и вовсе не желаю обладать библиографическими редкостями. Таким образом, если признание полезности, как дело ума, есть признание, делающееся одинаково всеми, то признание ценности, как дело воли, зависит уже совершенно от действительного существования известной потребности в известном лице и в индивидууме: полезностию мы называем вообще свойство вещи удовлетворять потребности, какие бы то ни было и чьи бы то ни было; ценностью мы называем в частности такое свойство вещи, вследствие которого признаем ее способною для *непосредственного* удовлетворения потребностей, в нас существующих. Но очевидно, что в том случае, когда, не признавая в предмете ценности, мы признаем в нем, однако, полезность, мы делаем это только потому, что, не ощущая потребности, соответствующей предмету, знаем, что есть другие люди, которые ощущают эту потребность. Понятно, что для таких людей предмет, нами пренебрегаемый, имеет ценность; а так как эти люди могут в свою очередь обладать предметами, имеющими ценность только для нас, а не для них, то понятно, что, посредством обмена, каждый из нас может получить в свои руки тот предмет, который имеет для него не одну полезность, но и ценность. Мне достался в руки старый экземпляр старинной книги; для меня он не имеет никакой ценности, потому что не может доставить непосредственного удовлетворения ни одной из моих потребностей; но я знаю, что антикварий, признающий ценность в этом экземпляре, обладает старою монетою, которая, подобно экземпляру, имеет ценность не для того, кто ею обладает, но для меня, лица постороннего. Узнав это обстоятельство, я сознаю в то же время, что экземпляр книги, которым до сих пор пренебрегал, может принести мне пользу, может быть обменен мною на монету, которую мне хочется иметь; сознаю, следовательно, что этот экземпляр, не имеющий для меня никакой непосредственной, прямой ценности, может иметь для меня ценность косвенную, может удовлетворить мою потребность *посредственно*, доставив мне, путем обмена, монету, следовательно, предмет для меня непосредственно нужный и полезный. Таким образом рождается понятие о ценности в обмене, о *ценности меновой*.

Ценностию меновою, по единогласному определению всех экономистов, называется такое свойство предмета, вследствие

которого, не признавая в нем для себя никакой прямой ценности, мы можем, однакож, извлечь из него пользу, посредством его обмена на другие предметы, способные к непосредственному удовлетворению наших нужд. Само собою следует из этого определения, что ценность меновая существует только там, где есть прямая ценность и, следовательно, полезность. Владелец монеты не согласится променять ее на мой экземпляр, если он вовсе не желает приобрести этот экземпляр и владеть им; если нет нигде такого человека, который бы признавал прямую для себя ценность в этом экземпляре, то он не может иметь никакой ценности, ни прямой, ни косвенной, ни потребительной, ни меновой. С другой стороны, понятно также, что не всякий предмет, имеющий прямую ценность, имеет и ценность меновую. Портрет лица мне близкого может иметь для меня ценность значительную, но я не найду ни одного человека, который бы пожелал иметь этот портрет и согласился пожертвовать для его приобретения частью своей собственности. Наконец, самое важное отличие ценности меновой от прямой заключается в том, что последняя может существовать во всяком предмете, имеющем полезность, между тем, как первая никогда не существует в так называемых безвозмездных, естественных и неограниченных благах. Воздух имеет прямую ценность, но не имеет меновой, именно потому, что он дан человеку самою природою в обилии и безвозмездно, так что каждый человек может им пользоваться, не делая для этого никаких усилий и не мешая другим пользоваться этим воздухом. Понятно, что в отношении к таким предметам, не может существовать обменов, потому что обмен предполагает жертвование одним предметом для приобретения другого, а никто не согласится жертвовать благами, приобретение которых стоило ему известных усилий, за такие блага, которыми он пользуется безмездно и в количестве неограниченном. Из этого следует, что меновая ценность может существовать только в таком предмете, в котором соединены два необходимые условия: во-первых, полезность и, во-вторых, большая или меньшая трудность добыть, приобрести такой предмет.

Несмотря на разногласие между экономистами относительно определения этих важнейших терминов науки, все они согласны, что меновая ценность предмета зависит от трудности его добытия, и что в этом именно заключается различие между ценностью прямою и косвенною. Самый трудный и спорный вопрос—вопрос о различии между полезностью и ценностью прямою или потребительною. Предложенное нами теперь решение этого вопроса основывается, с одной стороны, на буквальном, общепринятом значении слов «полезность» и «ценность», а с дру-

гой, на необходимости различать в науке то, что есть не более, как суждение ума, от того, что является выражением воли, или, говоря точнее, выражением действительной потребности; существующей в индивидууме. Притом же, и сами экономисты по большей части противопоставляют ценность полезности в том же самом смысле, в каком и мы противопоставили эти два понятия, хотя на словах им почти никогда не удается определить в ясных и точных выражениях существо отношений между полезностью и ценностью. Если экономисты часто отступают от этих начал, основанных на авторитете здравого смысла и общепринятой терминологии, то потому только, что не всегда заботятся о точности, и определенности выражений. К этому недостатку присоединяется и другой, еще более содействующий сбивчивости и запутанности научных терминов. Страсть к отвлеченностям и к метафизике часто заставляет экономистов пренебрегать требованиями здравого смысла, забывая о необходимости придерживаться по возможности этимологического и вульгарного смысла слов и не давать каждому термину произвольных и различных значений. Так, в настоящем случае, многие из экономистов, и в том числе сам Адам Смит, придумал два разные термина: полезность и ценность, для выражения двух разных понятий, впоследствии потеряли из виду это различие и стали употреблять в своих сочинениях без разбора одно слово вместо другого. Таким образом, понятия о полезности и ценности так перепутались, что некоторые писатели решились объявить прямо, что эти два слова в существе дела означают одно и то же. Так, Мальтус в своем известном сочинении «Об определениях в политической экономии», говорит без обиняков, что «ценность в потреблении есть синоним полезности», что «она редко является в политической экономии», и что, говоря просто о ценности, без приложения к ней особого эпитета, он понимает под этим выражением не потребительную, но меновую ценность. — Точно то же признает и Шторх в своем сочинении «Du revenu national»¹. (Стр. 6).

«Мы принимаем», говорит он: «только один вид ценности: ценность меновую; слово потребительная ценность кажется нам совершенно излишним. В самом деле, что такое ценность в потреблении, как не полезность вещи? Но если так, то слово «полезность» совершенно достаточно. Те, которые принимают два вида ценности, утверждают, что полезность вещей есть только способность их служить к удовлетворению потребностей человека, между тем, как *ценность* означает полезность признанную. Эта утонченность (*subtihte*) не имеет никакого основания. Никогда не делается вещь полезною

¹ «О национальном доходе». — *Ред.*

только потому, что она может иметь это свойство; для этого необходимо, чтобы свойство это было признано тем, для которого вещь может быть полезна».

С таким мнением невозможно согласиться, потому что ни один писатель не имеет права исключить из науки, по произволу или капризу, тот или другой термин. Если термин существует и употребляется,—значит, с ним связано понятие, необходимое в науке. Если два различные слова употребляются одним писателем как синонимы, другим—как выражения совершенно различные, то следует не исключить одно из этих слов, а установить раз навсегда для каждого из них точное, определенное значение, соображаясь, разумеется, как с общепризнанным их значением, так и с существом самых понятий, требующих для себя выражения. Сам Шторх чувствовал, что невозможно исключить из политической экономии слово «ценность», и старался потому в своем «Курсе» разграничить его ясными чертами от слова «полезность». Придуманное им для этого средство не имело никакого успеха между экономистами, потому что было совершенно произвольно в основании и не совсем согласно с обычным употреблением слов. Воспользовавшись некоторыми намеками Кондильяка и Гарнье, Шторх придал слову ценность весьма определенное, но совершенно новое и ничем не оправданное значение. По его словам (*Cours d'economie politique. Introduction generale. T. I, p. 36—38*)¹:

«Полезностию называется то свойство вещей, которое делает их способными к удовлетворению наших потребностей. Но полезность вещей не обнаруживается сама собою; надо открыть ее. Это — дело *рассудка*. Инстинкт, такт, случайность заменяют иногда рассудок; но за исключением инстинкта, непогрешимого во всех тех случаях, когда он необходим для нашего сохранения, другие руководители часто ошибаются, когда не призывают рассудка к себе на помощь. Таким образом, отношение, существующее между нашими нуждами и полезностию вещей открываем мы силою ума, и в этом именно заключается отличительный характер человека. У животных для раскрытия этого отношения существует только инстинкт; это — руководитель верный, но покидающий их с той минуты, как перестает быть необходимым для их сохранения. Приговор, произносимый нашим рассудком насчет полезности вещей, дает этим вещам *ценность* и превращает их в блага. Для того, чтобы вещь имела ценность, недостаточно, чтобы она существовала и могла быть полезною: необходимо также, чтоб эта полезность была признана. Отсюда мы выведем то важное последствие, что ценность имеет источником не те причины, которые дают бытие вещам, но суждение лиц, желающих употребить эти вещи для удовлетворения своих потребностей. Всякая вещь, имеющая ценность, получала свое бытие или от природы или от человеческого труда и одолжена своей по-

¹ Курс политической экономии. Общее введение Том I, стр. 36—38. — *Ped.*

лезностью одной из этих двух причин; но отсюда нельзя заключить, что во всякой вещи, произведенной природою или трудом, есть уже и ценность. Таким образом, для того, чтобы создать ценность, необходимо соединение трех условий: 1-е, нужно, чтоб человек имел или ощущал потребность; 2-е, чтобы существовала вещь, способная удовлетворить эту потребность, и 3-е, чтоб полезность этой вещи была признана рассудком. Итак, ценность вещей есть не что иное, как их относительная полезность, та полезность, которую признают в них лица, употребляющие их для удовлетворения своих нужд».

Как ни ясно, как ни справедливо с первого взгляда это предположение Шторха, но при внимательном рассмотрении оно является неудовлетворительным и нерешающим вопроса. Ценность, говорит он, есть относительная полезность; но сама полезность, как выражение известного отношения между нуждами человека и средствами их удовлетворения, есть свойство также относительное; следовательно, выражение: «относительная полезность» не имеет в этом случае никакого смысла. «Ценность, говорит далее Шторх, есть признанное рассудком свойство вещи удовлетворять наши потребности». Но очевидно, что он в этом случае придал ценности значение полезности; оставалось определить смысл последнего слова, и тут-то Шторх не сумел выпутаться из затруднения, которое сам для себя создал. Из его слов следует, что полезность есть также свойство вещи удовлетворять наши потребности, но свойство, еще не открытое человеком, еще не признанное рассудком. Но что еще не признано, не раскрыто рассудком, то не может иметь и места в науке. К чему нам такой термин, который выражает свойство, неизвестное нам, недоступное для нас? Он совершенно бесполезен, и придавая полезности то значение, которое придает ей Шторх, мы можем весьма легко обойтись без этого слова. Справедливость этого замечания всего яснее видна из того, что сам Шторх признал ее в своем позднейшем сочинении: *Du revenu national* и объявил, как мы уже видели, что полезность и ценность имеют одно и то же значение, что последнее слово совершенно бесполезно, и что мнение тех, которые видят в ней признанную рассудком полезность, есть не более, как утонченность, не имеющая никакого основания.

Таким образом, ссылаясь на то, что мы сказали выше, имеем право заключить теперь, что все мнения экономистов о значении ценности и об отношении ее к полезности, могут быть подведены под четыре категории. Одни, как, например, Адам Смит, делая различие между этими двумя терминами, неясно определяют это различие и употребляют их часто без разбора, один вместо другого. Другие, как, например, Мальтус, признают решительно и прямо оба эти слова синонимами и настаивают

на необходимости исключить из политико-экономической терминологии то или другое из них. К третьей категории следует отнести мнение Шторха, который видит в ценности полезность относительную и признанную рассудком человека. Наконец, к четвертой категории принадлежат те писатели, которые разделяют мнение, высказанное нами выше, и считают необходимым отделить в науке результат деятельности всеобщего ума от выражения действительных потребностей каждого неделимого порожденья, связав с первым понятием название полезности; со вторым—название ценности.

Так как последнее мнение нам кажется самым логическим и справедливым, то весьма понятно, что те же самые причины, которые приведены нами в оправдание этого взгляда, заставляют нас отвергнуть заранее всякую теорию, с этим взглядом несогласную. Еслиб г. Бутовский не сошелся с нами в своем определении ценности и усвоил себе мнение Мальтуса или Шторха, мы сказали бы, что его определение неправильно, и что его неправильность доказывается как историей науки, так и началами, изложенными нами выше в подтверждение нашего мнения. К сожалению, мы не можем ограничиться теперь таким отзывом, находя у русского экономиста не только односторонность и неправильность взгляда, но и промахи против самых элементарных, общеизвестных начал политической экономии. Автор «Опыта» не захотел ни смешивать полезность с ценностью, по примеру большей части экономистов, ни признать эти два термина однозначными, по примеру Мальтуса, ни, наконец, различать их так, как различает их Шторх. Не довольствуясь обычным определением этих понятий, с которого начинается всякий экономист свой курс и от которого всегда отступает страницы через две, много через четыре, г. Бутовский определяет значение слова «ценность» по-своему и старается объяснить ее отношения к полезности новым, совершенно оригинальным образом. Хотя вопрос этот мы считаем уже вполне решенным и вовсе не требующим нового решения, однако стремление г. Бутовского к самобытности скорее возбудило бы в нас сочувствие, еслиб, разумеется, оно не приводило к результатам, доказывающим такую несамостоятельность мышления. Мы никак не можем допустить со стороны писателя право придавать тому или другому термину науки произвольное, основанное только на личном взгляде, значение. Но еще менее можем мы допустить такое право в отношении к терминам, вполне установившимся, имеющим для всех и каждого значение ясное, определенное, вовсе не подлежащее сомнению или спору. Если же является писатель, который, под предлогом установления смысла неопре-

деленных, не одинаково понимаемых слов, перемешивает все понятия и термины и придает выражениям техническим, бесспорным—значение совершенно новое и неправильное, то весьма естественно, что попытке такого писателя мы не только можем, но и должны противопоставить самое безусловное осуждение. Если же это смешение понятий и отрицание общепринятого смысла терминов делается без всякого умысла, бессознательно и наивно, то, очевидно, оно должно уже быть приписано не излишней самонадеянности, а чему-нибудь другому... Под этот последний случай приходится подвести, к сожалению, и попытку г. Бутовского к новому, оригинальному разграничению значения слов «полезность» и «ценность».

Утверждая, что ценность предмета зависит от трудности его добывания и что блага природные и безмездные, при всей своей полезности, не имеют ценности, г. Бутовский доказал ясным и положительным образом, что он плохо знаком с политической экономией, что он перепутывает даже те сочинения, из которых составил свою компиляцию, смешивает ценность потребительную с ценностью меновой, и что еще хуже, с *ценой* вещи, т. е. с ее меновой ценностью, выраженной в деньгах. Разные экономические школы, ныне существующие, во многом и очень во многом не согласны друг с другом; но определение меновой ценности принадлежит к числу тех немногих пунктов, которые не могут и возбуждать спор, в отношении к которым согласны друг с другом писатели всех школ, всех направлений. Г. Бутовский определяет ценность потребительную совершенно так, как определяют *все* другие писатели—ценность меновую. По его словам, потребительную ценностью называется такая полезность, приобретение которой сопряжено с известными трудностями; по словам всех экономистов, без исключения, в этой трудности добывания именно и заключается главный признак, характеризующий ценность меновую и отличающий ее от ценности потребительной. Гарнье, один из современных экономистов, говорит, между прочим, в своем руководстве (в котором, заметим мимоходом, высказаны только начала, единогласно признаваемые всею школою Смита), что «ценность меновая» (мы переводим буквально) «имеет два источника: 1) полезность вещей; 2) большую или меньшую трудность их добывания; и можно сказать вместе с Дженовези, что единственные вещи, не имеющие меновой ценности, суть те, которые не удовлетворяют наши нужды, или хотя и удовлетворяют, но существуют для всякого в изобилии» (page 13)¹. То же самое и почти в тех же

¹ Стр. 13. — *Ред.*

выражениях повторяли и повторяют все экономисты, прежние и нынешние, Ад. Смит, Рикардо, Мальтус, Мекколох, Сеньор, Боченен, Сей, Росси, Дроз, Дюнойе и пр., и пр. Мы были бы очень благодарны г. Бутовскому, если б он указал нам хоть на одного экономиста, отступающего от этого общего определения меновой ценности и определяющего ценность в потреблении так, как он сам ее определяет. Не думаем, чтоб он мог удовлетворить это требование. Не думаем также, чтоб он мог подкрепить чьим бы то ни было авторитетом свой взгляд на блага естественные, как на предметы, вовсе не имеющие ценности. Что в этих благах нет ценности меновой—с этим мы совершенно согласны; но утверждать, что в них нет и прямой ценности, значит предполагать, что они не имеют полезности, а сделать такое предположение может только тот, кто, неясно понимая значение технических терминов, употребляет их невпопад и потому впадает в самые странные ошибки. В этом случае мы сошлемся на авторитет всех экономистов, всех последователей Адама Смита. Вот что говорит один из них, Гарнье:

«Кроме ценности в потреблении, вещь иногда имеет еще и ценность меновую, потому что она производится в количестве ограниченном, потому что все не могут пользоваться ею в равной степени. Воздух полезен, но не имеет ценности меновой, потому что каждый вообще может им дышать по мере своих нужд. Вода из Сены, в Париже, принадлежит всем и каждому; но так как ее нужно принести, а для этого необходимо сделать пожертвование или предпринять труд, то большая часть жителей соглашаются платить за нее, следовательно, в Париже вода имеет ценность меновую. Подобно воздуху, она имела ценность *естественную*, водонос дал ей новую полезность, или, точнее, ценность, — ценность меновую. На этом-то основании Ж. Б. Сей признал существование двух ценностей, ценности *естественной* и ценности *данной*» (page 12).

Эти слова Гарнье доказывают, что экономисты не признают в благах естественных и неограниченных—ценности меновой, но признают в них всегда ценность естественную или прямую, Г. Бутовский серьезно полагает, что он высказал новый, оригинальный взгляд на значение ценности, между тем, как на самом деле сделал только забавную ошибку, смешав понятие *ценности* с понятием *цены*. Конечно, трудно поверить, что подобный промах мог сделать экономист, посвятивший изучению политической экономии несколько лет своей жизни. Но, к сожалению, параграф о ценности в книге г. Бутовского представляет на каждом шагу ясные, неопровержимые доказательства этой ошибки. Утверждая, что «воздух имеет огромную полезность, но не имеет ценности (т. е. ценности меновой)», автор прибавляет:

«Заключите человека в смрадную темницу, куда воздух скупо проникает, и воздух, которым он не дорожил на свободе, вдруг получит для него ценность огромную: несчастные узники разве не платят больших сумм тюремщикам за одно дозволение подышать свежеею атмосферою и взглянуть на светлое небо».

Разоблачите смысл этой фразы, несколько затемненный риторикой, и выйдет следующее: воздух не продается и не покупается, следовательно, не имеет ценности меновой, *следовательно* не имеет и прямой ценности. Заключенный в темнице платит деньгами за позволение подышать чистым воздухом, и в этом случае воздух имеет цену, *следовательно* и ценность. Вот силлогизм г. Бутовского, силлогизм, без сомнения, не заслуживающий и опровержения. Впрочем, в этом отношении особенно замечательно то место параграфа, в котором г. Бутовский утверждает, что «между благами приобретенными наиболее ценности мы видим не на стороне тех, в которых наиболее заключается полезности», что «нигде человек не Может обойтись без хлеба», что «гораздо менее нуждается он в золоте и серебре», но что *«везде однако последние ценятся выше первого»!!!*... Припомните, что тут дело идет не о ходячей цене золота и хлеба, а о ценности их, о ценности прямой и потребительной. По мнению г. Бутовского, в золоте и серебре больше прямой ценности, чем в хлебе!!!!... Что сказать о таком заключении? Что сказали бы о нем Адам Смит и его последователи?..

Говорить ли о взгляде г. Бутовского на сущность и значение *богатства*? После его определения ценности, определение богатства уже не может возбудить ни малейшего удивления. Долго останавливаться на нем решительно не стоит: мы и то разобрали слишком подробно первые параграфы книги. Заметим только, что мнение автора о богатстве ничем не лучше его мнений о полезности и ценности. И тут встречаются на каждом шагу самые поразительные противоречия. Г. Бутовский начинает, например, с того, что, задав себе вопрос: в чем состоит богатство? отвечает на него установлением двух разных значений этого слова. Богатство, по его мнению, означает, с одной стороны, известное *положение* человека, то-есть «обладание средствами более или менее существенными к удовлетворению потребностей»,—с другой, самый *предмет*, т. е. «блага приобретенные, полезности, для снискания которых Необходимо должно одолеть некоторые препятствия». Вслед затем он говорит, что «блага, полезность и богатство суть синонимы». Да как же это так? Если богатство есть синоним блага, то каким образом случается, что это слово означает, по словам автора, известное положение или состояние человека? И притом довольно странно

выставлять на показ такой нелогический дуализм. Нет никакой возможности придавать два совершенно различные значения слову, выражающему такое понятие, которое составляет предмет науки и от которого она даже заимствует иногда свое название. Читатель имеет полное право потребовать от г. Бутовского, чтоб он, излагая науку о народном богатстве, соединял с словом «богатство» только одно значение, значение—определенное и постоянное; в противном случае, читая книгу, будешь встречать недоразумения и неясности на каждом шагу. А с другой стороны, непонятно и то, зачем г. Бутовский отступает в этом случае от общепринятого обыкновения называть богатством—не самое состояние человека, но предметы, одаренные свойством полезности и служащие к удовлетворению наших нужд. В этом случае мы можем еще раз противопоставить ему авторитет самих же экономистов, Адама Смита, Сея, Мекколоха, Гарнье, Росси. Последний говорит в своем курсе, что «ценность и богатство суть понятия соприкасающиеся, хотя и не однозначащие. Ценность не есть богатство, точно так же, как непроницаемость не есть тело, точно так же, как весомость не есть камень. Ценностию называем мы отношение; богатством—совокупность всех предметов, в которых это отношение осуществляется. Вот что говорит нам здравый смысл, от которого в (настоящем случае наука не имеет права отклоняться». (4-те leçon)¹—«Богатством или благами» говорит Гарнье «называют все то, что служит к удовлетворению наших потребностей... Ценность есть не что иное, как выражение того отношения, которое существует между нашими нуждами и вещами, составляющими богатство». (Р. 2—10). В своих «Исследованиях» Адам Смит называет постоянно богатство «ежегодным продуктом труда и земли». Наконец, по словам Мекколоха (Note sur Adam Smith, 1, p. 1)², «словом «богатство» означаются всегда все товары или продукты, необходимые, полезные или приятные для человека и сверх того одаренные меновой ценностью». Очевидно, что при всем разнообразии этих определений, все экономисты сходятся между собой в том, что означают словом «богатство» не положение, а предмет или вещь. Очевидно также, что г. Бутовский, удалившись от общепринятого значения, которое принадлежит этому термину в экономической терминологии, весьма неправильно смешивает слово *богатство* с словом *благосостояние*!

Далее, г. Бутовский говорит о значении богатства следую-

¹ 4-я лекция. — *Ред.*

² Замечания об Адаме Смите, I, стр. 1.—*Ред.*

щее: «Благо, полезность, богатство суть синонимы. Нет предмета, способного к удовлетворению какой-либо из наших потребностей, к которому нельзя было бы отнести эти выражения». В другом месте находим такое определение: «Как предмет, как цель нашей деятельности, богатство состоит исключительно в благах приобретенных, в полезностях, для снискания которых необходимо должно одолеть некоторые препятствия, и потому имеющих ценность». Но мы уже видели, что не всякая вещь, способная к удовлетворению наших нужд, имеет, по мнению г. Бутовского, ценность. Что же такое богатство? спросим мы еще раз после этих двух определений, из которых одно явно противоречит другому...

Такое же противоречие встречается и ниже. «С точки зрения общественной», говорит г. Бутовский, согласный в этом случае с другими экономистами школы Смита: «к нему (к богатству) должно относить одни ценности потребительные, *меновые*» (стр. 42). Через несколько страниц, заключая последний параграф первой главы, г. Бутовский выражается следующим образом:

«Для Государства всего выгоднее, чтоб препятствие к добыванию благ приобретаемых беспрестанно уменьшались, чтоб ценность их, вследствие того, понижалась и чтоб они приближались к свойству благ неограниченных, безмездных; всякий раз когда деятельность народная может достигнуть подобного результата, она умножает богатство, наслаждения и благосостояние лиц, народ образующих. Напротив, для Государства, в смысле экономического, всегда невыгодно усиление препятствий к добыванию благ приобретенных, каков бы ни был источник этих препятствий; оно поднимает их ценность, делает их менее доступными потреблению, а вследствие того уменьшает богатство, наслаждения и благосостояние народа.

Посему частный интерес никогда не находится в противоречии с интересом общественным, пока рассматривать ценность благ приобретенных с точки зрения потребительной. Между ними может быть противоречие, когда эта ценность рассматривается с точки зрения меновой. Руководясь соображениями первого разряда, люди заботятся о возможном умножении полезностей с наименьшими усилиями; увлекаясь соображениями второго разряда, они более заботятся об умножении ценности, нежели полезности *и принимая первую за богатство, тогда как она есть только выражение отношения между этим богатством и нашими потребностями*, впадают часто в заблуждения и сами создают новые препятствия к благосостоянию народному» (стр. 49—50).

Эти строки, открыто противоречат всему, что говорится на странице 42. И потом, если ценность не надо смешивать с богатством, если первая означает только отношение между богатством и потребностями, то каким же образом сказано выше, на той же 42 странице, что богатство состоит из ценностей, и притом богатство индивидуальное из ценностей потребитель-

ных, а богатство общественное из ценностей меновых?.. Не-
понятно

Но всего замечательнее в параграфе о богатстве следующая фраза: «богатство начинает иметь *ценность*, по мере усилий, требуемых с нашей стороны, для приобретения» (стр. 47). Богатство, заметьте, *начинает* иметь ценность; следовательно, может быть и такой момент, когда богатство ее не имеет; и необходимо прибавить, что такое предположение сорвалось не случайно с пера автора, а развито с довольно большой подробностью и повторяется несколько раз. Каким образом может случиться, что предмет, не имеющий ценности, делается богатством—этого мы решительно не понимаем. Да и довольно трудно понять эту фразу, потому что она противоречит значению богатства в науке. Ни одному из экономистов не приходило еще в голову утверждать, что богатство может состоять из вещей, не имеющих ценности. Мысль эта—мысль самого г. Бутовского, и в этом случае он является уже не последователем экономистов, а писателем совершенно самобытным. Недаром объявил он в своем предисловии, что «для выполнения своего плана, руководился не только уроками ученых, которым наука политической экономии обязана своим существованием и своими успехами, но *старался поверить их на деле собственными наблюдениями*». Теперь мы уже знаем, в чем состояли «собственные наблюдения» г. Бутовского и к каким результатам они привели его

Но довольно! Подробным разбором «Вступления» и первой главы «Опыта» мы утомили, может быть, читателей, но достигли вполне своей цели. Каждый, кто прочтет наш разбор, убедится, что г. Бутовский ошибочно понимает как предмет и цель политической экономии, так и о значении основных и важнейших ее терминов. Таким образом, первое из трех заключений, к которым привело нас чтение «Опыта о Народном Богатстве», считаем мы вполне оправданным и доказанным. Переходим теперь к оправданию второго и постараемся доказать основательность нашего отзыва о крайней устарелости мнений и взглядов г. Бутовского, составляющей один из самых важных и существенных недостатков его книги.

Несколько раз уже имели мы случай говорить об односторонности и неверности направления, принятого г. Бутовским, и об исключительной приверженности его к экономической теории, созданной Ж. Б. Сеем и его последователями. Г. Бутовский принадлежит, по своим убеждениям, к школе тех писателей, которых называют в настоящее время *экономистами*, принимая это слово в тесном и специальном его значении. Причины,

заставляющие нас признавать учение так называемых экономистов односторонним и ложным, изложены в нашей первой статье и повторять их в настоящем случае было бы бесполезно. Что же касается до приверженности г. Бутовского к этому учению, то она доказывается всей его книгой, и вероятно сам он не будет оспаривать этого пункта: по крайней мере, неизвестный сотрудник «Северной Пчелы», принявший на себя защиту «Опыта о Народном Богатстве», поставил автору его в особенную заслугу его исключительную приверженность к теориям экономической школы. Если же г. Бутовскому, как мы видели выше, случается иногда отступать от мнений экономистов и возвещать такие идеи, которые каждому из последователей Смита показались бы странными ошибками, то все эти неудачные отступления должны быть почитаемы отступлениями совершенно бессознательными и невольными. Источник их заключается единственно в том, что автор «Опыта», составляя свою книгу из сочинений экономистов, не всегда понимал значение их теорий, и в особенности не всегда умел, при переводе их идей на русский язык, сохранить с надлежащей точностью смысл и содержание подлинника.

В настоящем случае, говоря об устарелости мнений г. Бутовского, мы разумеем под этим словом не одну только приверженность его к началам экономистов, но нечто другое, в наших глазах еще менее извинительное. При существовании в политической экономии множества различных школ, мы не удивляемся, что г. Бутовский примкнул к одной из них, объявив себя ревностным, верным ее последователем. Мы удивляемся только, что, согласившись с началами экономической школы, он не потрудился познакомиться с началами других школ, не потрудился, следовательно, приобрести надлежащее сведение об историческом развитии и современном состоянии науки. Нам кажется, что в этом заключается самая первая, самая важная обязанность каждого писателя, каковы бы ни были его убеждения, к какой бы из существующих школ ни принадлежал он. Если б г. Бутовский, решившись писать о политической экономии, выяснил себе с самого начала ее теперешнее положение, начала каждой из господствующих в ней систем и потом уже, убедившись в справедливости одной из них и в несправедливости всех других, стал излагать свои личные убеждения, как истины непреложные и несомненные, мы бы только пожалели о том, что он сделал неудачный и ошибочный выбор. Совсем другое должны мы сказать теперь, когда видим, что автор «Опыта» поддерживает так горячо начала экономистов только потому что не ознакомился с началами, им противо-

положными, не знает исторической судьбы науки и того дальнейшего развития, которое получила она после Смита и Ж. Б. Сея. В таком случае, говоря о книге Бутовского, мы не напрасно употребили слово «устарелость»; да, мы видим тут устарелость, которая происходит единственно от недостаточного знания, от решимости автора говорить и писать о предмете, известном ему только с одной его стороны. Это оправдывается всей его книгой.

В подтверждение своих слов укажем с самого начала на странный пропуск, уже прежде замеченный нами в книге г. Бутовского. Ни в одной из ее частей не нашли мы изложения истории науки и существа систем, возникших в последнее время. Правда, автор «Опыта» может в этом случае подтвердить слова своего неизвестного защитника и сказать, что, по его понятию, история науки не может и не должна предшествовать самому ее изложению. Но на это мы имеем полное право ответить, что такое понятие о политической экономии совсем несогласно с теперешним ее состоянием. Когда в науке существует одновременно несколько различных партий, когда все эти партии развились исторически одна из другой, тогда объяснение причин и значения спора, происходящего между ними, является первою обязанностью каждого писателя, желающего познакомить своих читателей с началами и содержанием науки. В противном случае, т. е. если писатель не выполняет этой обязанности, можно сказать смело, что он вводит своих читателей в заблуждение и выдает им за несомненные, общепризнанные истины, такого рода начала, которые; в существе дела поддерживаются только одной партией и оспариваются всеми другими. Мы не думаем, чтоб писатель какой бы то ни было партии мог поступать таким образом с своею публикой и скрывать от нее существование и важность происходящей перед его глазами.

Впрочем, гораздо лучше ничего не говорить о началах своих противников, нежели выставять их в ложном виде или опровергать резко, ничем не доказывая. Когда писатель объявляет себя последователем известного учения и позволяет себе отзываться самым строгим образом о системах, этому учению противоположных, на нем лежит обязанность объяснить читателям значение этих систем и подробно изложить причины, заставляющие его отвергать их справедливость. В противном случае, унижается достоинство науки и ученый спор превращается в размен пустых слов. Лучше молчать о том, чего не знаешь, нежели отзываться об этом с самоуверенностью, ничем не подтверждая справедливости своих слов. С этим согласится

всякий; не соглашается только г. Бутовский, приписывая своим противникам такие идеи, которых они вовсе не имели и произнося против них жесткие приговоры, ни на чем не основанные и ничем не подкрепленные. Мы уже видели, что автор «Опыта» вовсе не считает нужным знакомить читателей с мнениями и взглядами своих противников. Это несколько не мешает ему, однакож, отзываться о них следующим образом:

«Поверхностный мыслитель оплакивает неизбежное неравенство благ; грубый коммунист проповедует настоящее восстание бедных против богатых(?); социалист, увлекаемый несбыточными мечтами, громоздит фантастические системы, низводит разум на степень инстинкта, и хочет превратить мир человеческий в пчелиный улей, где всем будет довольно меду и цветов. Жалкие и бесплодные усилия ума человеческого — Как эти люди, между которыми без сомнения есть много добросовестных и даже рассудительных, если отвлечь их от упрямой мечты, не замечают, что не люди сделали этот мир — который они мечтают преобразовать, таким, как он есть. Творец подчинил человечество законам, столь же логическим, если можно так выразиться, как и всех других тварей: мы можем только распознать, разгадывать эти законы, и сообразуя с ними нашу свободно разумную деятельность, избегать слепого руководства инстинктов и гибельных последствий, иногда с ними неразлучных: другой цели, кроме исследования этих законов, не имеют науки нравственно политические, и в том числе политическая экономия, так точно, как исследование законов мира вещественного составляет предмет отдела наук физических. И те, и другие могут ошибаться, дурно усматривать истину и выводить ложные заключения, но ни те, ни другие не стремятся изменить творение, которого законы хотят исследовать. Системы, нами упомянутые, начинают с того, что создают себе мысленно каких-то небывалых людей, проводят губку (!) по всему, что нам указывают и физиология и психология, и на этом рухлом, воображаемом фундаменте строят в своей мечте новые общества, как дети строят домики из карт. Фантазия всегда и везде играла людьми, подобные системы возникали, цвели, шумели в древности и в средние века, как и ныне; следы их эфемерного существования откроем у китайцев, у индийцев, у греков, у римлян, на западе и на востоке, на севере и на юге; везде поприще наук устлано их развалинами; но человечество не изменилось; оно везде одно и то же: и под варварской оболочкой дикаря, как и под лоском самого утонченного просвещения, везде найдете в нем одни и те же инстинкты, одни и те же побуждения, и благодаря небо, везде одну и ту же способность свободно разумную» (т. III, стр. 396, 397).

Несколько выше г. Бутовский говорит следующее:

«Разбитые на одном пункте, эмпиризм и ложные системы переносят свои знамена на другое поприще: убежденные в бессилии эмиграции против нарушения равновесия между числом людей и средствами к благосостоянию и продовольствию, они хотят найти врачевание в мнимых улучшениях порядка распределения богатств. Вы сетуете, гласят они, на слишком слабую долю одних; вы напоминаете бедному о его скудности и приглашаете его к воздержности,

благоразумию; но по какому поводу вы терпите богатых, забирающих себе львиную долю из народного производства? Уменьшите достаток одних, увеличьте достаток других, дайте всем поровну, и все будут довольны и счастливы; опасения кончатся; предосторожности станут бесполезны. Вот идея, которую живут целые группы систем, и которую каждая настраивает на свой лад. *Мы не станем ни исчислять, ни описывать этих странных и часто забавных учений: чтоб выставить их превратность, представим только несколько окончательных соображений о влиянии распределения богатства на движение народонаселения и вообще на число и благосостояние людей*» (т. III, стр. 390, 391).

На всю эту филиппику г. Бутовского против современных учений, мы ответим только: ни один писатель не может требовать от своих читателей, чтоб они верили на слово его приговора, когда эти приговоры приведены без всяких доказательств и когда не изложено даже содержание той системы, которая уничтожается ее критиком. Г. Бутовский говорит, что он «не станет ни исчислять, ни описывать этих странных и часто забавных учений». Если так, *то* как же он решается нападать резко и диктаторским тоном на эти учения, которых он не хочет даже и излагать своим читателям?.. И потом, на чем основано это пренебрежение нашего экономиста к теориям новейших школ? Что они неудовлетворительны и неполны—с этим мы и сами соглашаемся; но каковы бы ни были их недостатки, они тем не менее существуют, приобретают с каждым днем новых последователей, поддерживаются людьми учеными и даровитыми и, следовательно, вовсе не принадлежат к числу тех отсталых идей, с которыми можно обходиться без церемоний, ничем не стесняясь. Нам просто кажется, что г. Бутовский отзывается так лаконически о новейших школах только потому, что не имеет о них надлежащего понятия. По крайней мере, намеки на идеи этих школ, изредка встречающиеся в его фразах, ясно показывают, что все эти современные идеи представляются ему вовсе не тем, что они на самом деле.

Мы уже говорили прежде (в нашей первой рецензии) О забавной ошибке, сделанной г. Бутовским по поводу опровержения теории коммунистов. Автор «Опыта» нападает на них за то, что они требуют *равного раздела богатств*, между тем, как они, совершенно напротив, *отвергают равенство благ* и считают необходимым распределять богатства различными долями, смотря по нуждам и потребностям каждого. Заметим теперь, что г. Бутовский предполагает вообще, что основная идея всех других систем состоит также в требовании *равного раздела богатств* между всеми членами общества. Мы уже видели, что, по его словам, новейшие школы будто бы говорят

экономистам следующее: «уменьшите достаток одних, увеличьте достаток других, дайте всем поровну, и все будут довольны и счастливы; опасения кончатся; предосторожности сделаются бесполезны. Вот идея, которою живут целые группы систем и которую каждая строит на свой лад». Можем уверить почтенного автора, что он в этом случае сильно ошибается и напрасно приписывает новейшим деятелям науки такие идеи. Кроме одной школы, доказывающей справедливость уравнивания не богатств, а заделной платы, нет в настоящее время ни одной системы, которая поддерживала бы устарелую и давно уже отвергнутую мысль о возможности разделить общественное богатство поровну между всеми. Одни из новейших школ считают самым справедливым распределением богатств—распределение их по мере способности и труда; другие—по мере труда, капитала и таланта; третьи, наконец, по мере самых потребностей, требующих себе удовлетворения. Но нет между современными писателями ни одного, который бы защищал утопию абсолютного равенства благ, утопию столько же неосновательную в теоретическом отношении, сколько ничтожную в отношении практическом.

Вообще, каждая глава «Опыта о Народном Богатстве» доказывает, что автор этой книги не знаком с новейшими сочинениями о политической экономии. Это видно из того, что, излагая различные начала, высказанные экономистами, он по большей части и не упоминает об аргументах, противопоставленных им в новейшее время, и нисколько не считает нужным разбирать эти аргументы и стараться об их опровержении. Но между тем известно, что важнейшая заслуга Сисмонди и всех школ, вызванных его книгою, состояла именно в критической оценке экономической теории, в раскрытии всех промахов ее и недостатков. Г. Бутовский, скажут нам, не признает основательности этой критики: прекрасно! Но разве это освобождает его от обязанности пересмотреть сделанные на его теорию обвинения, или, по крайней мере, упомянуть об них, чтоб читатель знал, что не всеми признается одинаково непогрешимость экономических начал. Притом же, надо заметить, что основательность некоторых из обвинений, сделанных критической школой, признана в настоящее время самими экономистами; но даже и об этих обвинениях не говорит ничего г. Бутовский: так устарели уже теперь те руководства, которые он выбрал для составления своей книги! Почти все экономисты, например, отказались уже от той странной мысли, будто увеличение чистого дохода, т. е. уменьшение издержек производства и заделной платы выгоднее для общества, нежели увеличение дохода валового.

вого. Г. Бутовский, между тем, повторяет с голоса прежних писателей, что «чистый доход увеличивает в одно время богатство и благосостояние народное и что к его усилению должны стремиться все старания промышленности» (т. III, стр. 6). Точно так же самые замечательные из современных экономистов, например, Росси, вполне уже согласились с новейшими школами относительно логической и практической невозможности включить земельную плату в понятие о капитале, а г. Бутовский продолжает попрежнему поддерживать это ошибочное начало прежних экономических теорий (т. I, стр. 41). Наконец, даже вредное влияние разделения труда, машин и; неограниченной конкуренции на участь работников и в особенности на понижение земельной платы ускользнуло от его внимания, несмотря на то, что факты новейшей экономической истории доказали ясно действительность этого влияния, которого даже сами экономисты в настоящую минуту уже не решаются отрицать безусловно.

Вообще, доказывать подробно устарелость и односторонность мнений г. Бутовского решительно невозможно, потому что в таком случае пришлось бы разбирать и опровергать каждую главу, каждую фразу его сочинения. Того, что до сих пор мы сказали, будет достаточно для каждого из читателей...

Остается поговорить о недостатках книги г. Бутовского относительно ее формы. Но и в этом отношении нет никакой надобности подтверждать наш отзыв подробными доказательствами; выписки, сделанные нами выше из «Опыта о Народном Богатстве», служат полным оправданием всех наших заключений. Доказывать, что места, приведенные нами из книги г. Бутовского, написаны языком не совсем грамотным, кудреватым, напыщенным, растянутым и, следовательно, вовсе не ученым—совершенно бесполезно. Странно было бы доказывать то, что не требует доказательств

В заключение этого длинного разбора считаем необходимым сделать одну оговорку. Несмотря на наши неблагоприятные отзывы о книге г. Бутовского, мы должны сознаться, что, при всех своих недостатках, она заключает в себе и нечто хорошее. Это «хорошее» состоит, например, в некоторых практических, весьма полезных советах, которые подает автор «Опыта» людям, занимающимся писанием и сочинением плохих книжонок и вообще всякому, кто, пленяясь известностью ученою и литературною, пускается на такое поприще, на котором не может действовать успешно как по недостатку таланта, так и по ограниченности познаний. Размышления, предлагаемые по этому поводу г. Бутовским, не совсем новы; но они так верны сами по

себе, так сильно высказаны, что мы не можем отказать себе в удовольствии выписать некоторые из них, в заключение нашего разбора.

«Удовольствие, говорит г. Бутовский, сопровождающее некоторые занятия, умножает число лиц, им предающихся. Художества, литература (и наука — надо прибавить) принадлежат к этому разряду. Многие увлекаются в это звание страстию, не только не обладая настоящим талантом, но даже не имея довольно терпения, ни довольно средств для полного и основательного изучения искусства, которое должно служить для них средством к пропитанию самих себя и своих семейств. Бедность артистов, поэтов вошла в пословицу, кроме немногих исключений истинных талантов и даже гениев, не признаваемых и гонимых, оно большей частию постигает посредственность, которая, стремясь за венцом славы, известности и богатства *сгорает на огне соперничества как мотылек на свечке*. На одного Пушкина, которому платили по червонцу за стих, на одного Рафаэля, которого картины покрывались дублонами, сколько жалких рифмоплетов и площадных вздыхателей проживают век в бедности и неизвестности, сколько мнимых живописцев принуждены низойти на степень маляров, и упражнять свою кисть на лавочных вывесках.

Преувеличенные надежды на успех действуют на людей едва ли еще не сильнее страсти.. Так везде множество лиц, одержимых обманчивою уверенностью в своей звезде, метят в знаменитости всякого рода, ученые, литературные, государственные и скользят на покатости, где может удержаться одна только твердость воли или истинное призвание» (т. II, стр. 392, 393).

В политической экономии, как справедливо замечает автор, подобные явления встречаются особенно часто.

«Ей (т. е. политической экономии), говорит г. Бутовский, грозит важная опасность от самих ее сподвижников, и в особенности от тех, которые, будучи поражены блистательной стороной ее выводов, принимают их безусловно, не углубляясь в их значение, не прилагая к ним критики собственного разума, не восходя до начал науки; разносят эти выводы, подобно знаменам по ратному полю словопроения, и резкостью своих заключений, докторальностью тона, неловкостью объяснения возбуждают недоверие к самой науке. Как правильно можем мы повторить вместе с наукой слова баснописца:

Избави, боже, нас от таких друзей..

К числу этих друзей нельзя не причислить и тех, которые вменяют себе в воображаемый долг излагать свои неполные и нескладные мнения в брошюрах или в книгах, годных более для затмения истины, нежели для ее прояснения. *Если эти сочинения отличаются талантом изложения, завлекательностью слога, то их по справедливости можно назвать опасными, не для людей серьезных, знакомых с началами науки, но для толпы, которая верует в печатное, и которой подобные книги, открывая один угол истины, но не объясняя в точности связи между различными ее проявлениями, внушают понятия сбивчивые и превратные*» (т. I, стр. 35).

Последнее замечание г. Бутовского нам кажется особенно справедливым и оно-то, заметим, побудило нас. посвятить его

книге такой подробный разбор. Надо еще прибавить, что автор «Опыта» выбрал в этом случае самое выгодное предположение, допустив, что экономические руководства, плохие по содержанию, отличаются, однако, талантом изложения и завлекательностью слога. Бывает ведь и так, что сочинение плохо по своему содержанию и еще плоше по форме. Вот тогда-то уже можно смело сказать, что автор такого сочинения «скользит по покатоности» выбранного им поприща и «сгорает на огне соперничества, как мотылек на свечке».

Вообще, все размышления г. Бутовского о необходимости строго преследовать писателей, «вменяющих себе в воображаемый долг излагать свои неполные и нескладные мнения в брошюрах или в книгах»,—в высшей степени основательны и справедливы. С этим мнением теперь вероятно все будут согласны.



ОГЛАВЛЕНИЕ

От издательства	3
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ в. А МИЛЮТИНА. Вступительная статья доктора экономических наук <i>И. Блюмина</i>	4
МАЛЬТУС И ЕГО ПРОТИВНИКИ.	39
I. Историческое развитие вопроса о народонаселении. Маль- тус Судьба его учения.	46
II Критический взгляд на результаты теории Мальтуса	68
III Критический взгляд на существо теории Мальтуса	99
IV. Обзор новейших теорий народонаселения.	139
ПРОЛЕТАРИИ И ПАУПЕРИЗМ В Англии и ВО ФРАНЦИИ.	158
Статья первая.	—
Статья вторая.	237
ОПЫТ О НАРОДНОМ БОГАТСТВЕ ИЛИ О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.	273
Статья первая	—
Статья вторая.	304
Статья третья и последняя.	331
ОПЫТ О НАРОДНОМ БОГАТСТВЕ ИЛИ О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.	358
Статья первая.	—
Статья вторая и последняя	401



Редактор *С. Басист*

Переплет и титульный лист работы
худ. *Н. А. Седельникова*

Подписано к печати 28 июня 1945 г. А 17836 Объем
28 п. л. Тираж 10000 экз Заказ № 729 Цена 10 руб.

3-я типография «Красный пролетарий» треста «Поли-
графкнига» Огиза при Совете Министров РСФСР. Москва
Краснопролетарская 16.